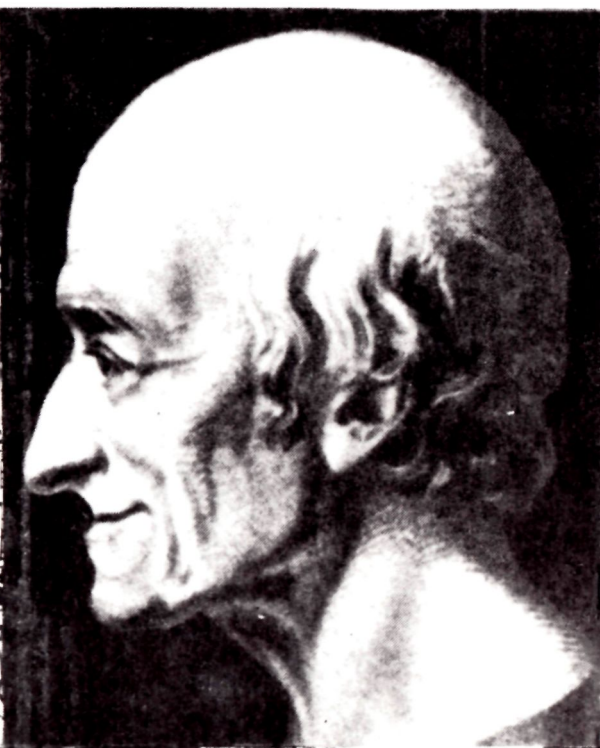


ВОЛЬТЕР



А. Акимова



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Voltaire;

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 13
(489)

МОСКВА
1970

А. Акимова

ВОЛЬТЕР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1Ф
А39

Благодарно посвящаю эту книгу памяти Владимира Сергеевича Люблинского, так много сделавшего для советской вольтерיאны.

Автор

Часть I

ГЛАВА I

КЕМ ОН БУДЕТ, ИЛИ ДВА ВЕКА

Если бы отец мог предвидеть, что литература не помещает, но поможет его младшему сыну приобрести огромное состояние, стать самым знаменитым человеком Европы, некоронованным королем, а сын — что юриспруденция заслужит ему как адвокату справедливости не меньшую признательность современников и потомков, конфликта между королевским советником, казначеем и сборщиком пеней Счетной палаты метром Франсуа Аруэ и Франсуа Мари Аруэ могло бы не произойти.

Но недаром Бальзак устами Кинола заметил: «Если» — это те лошади, на которых изобретателя везут на кладбище». Ни отец, ни сын Аруэ не предвидели, и литература и юриспруденция враждовали. Враждовали не только они.

1711-й. Коллеж Луи ле Гран окончен. Отец определил Франсуа Мари, как тот ни сопротивлялся, в школу право-ведения. Еще раньше, в 1706-м, крестный и воспитатель, аббат-либертен, вольнодумец Франсуа де Кастанье Шатонеф ввел мальчика в общество «Тампль». Какое забавное чередование! Всю неделю его обучали святой вере отцы иезуиты. По воскресеньям он брал уроки безбожья, причем тоже преимущественно у духовных лиц. Теперь же Аруэ-младший — полноправный член общества или кружка.

Название двузачно. «Тампль» по-французски — «храм». И это действительно храм — поэзии, хорошего вкуса, вольнодумства. Но «Тампль» — это и название парижского дворца опального вельможи, храброго полковника, генерал-лейтенанта, герцога Филиппа Бурбона де Вандома, внука Генриха IV и его окутанной легендами, как и сам король, возлюбленной, Габриель д'Эстре. До на-

чала XVIII века, подобно своим предкам, Вандом был и верховным приором ордена Мальта. Орден собирался в Тампле.

Франсуа Мари был представлен герцогу еще воспитанником лица. Но познакомился с хозяином Тампля только в 1715-м, после смерти короля-солнца. Герцог был в ссылке. Но дух Вандома, верховного приора либертинажа конца царствования Людовика XIV, витал во дворце, где собирались на свои знаменитые ужины члены кружка.

Либертинаж — от французского слова «liberté» — «свобода» — зародился много раньше. Аристократическое свободомыслие прошло через весь XVII век. Карл Маркс не раз называл его мостом от «века Людовика XIV» к «веку Вольтера», чего сам будущий Вольтер, конечно, тогда знать не мог.

Примечательно, что и слово «либертинаж» тоже сразу приобрело двойное значение — и «свободомыслие» и «распущенность». Двузначность носила полемический, враждебный характер. Противники либертенов утверждали — тот, кто позволял себе отступать от религиозной догмы и авторитарной морали, делал это лишь для того, чтобы сбросить всякую нравственную узду. Реакционеры намеренно смешивали вольнодумство с «озорным безбожием» некоторых молодых аристократов, уже в начале XVII столетия откровенно кощунствовавших по отношению к религии и столь же откровенно предававшихся пороку. На самом деле «озорное безбожие» не имело ничего общего с подлинным философским либертинажем, наследующим вольнодумству Возрождения. Либертены опирались на Монтеня. Их «евангелием» был трактат ученика этого философа Шарона «О мудрости», написанный около 1615 года.

Философские воззрения либертенов балансировали между пантеизмом, деизмом и атеизмом; последним, правда, реже всего. Вслед за Монтенем и Шароном либертены сводили философию с небес на землю, отделяя ее от теологии и заменяя бога *человеком*. Нормой человеческого поведения они объявили *следование природе*, а законы природы отождествляли с *мировым разумом* и *справедливостью*. Это восходило к гуманизму Ренессанса, его культу жизни, земных наслаждений и имело корни, еще более глубокие, в учении античного философа-материалиста Эпикура. Не случайно либертена уже начала следующего

столетия, учителя Франсуа Мари, поэта Шолье называли «Анакреоном «Тампля», имея в виду его близость к эпикурейской лирике греческого певца наслаждения, чье имя стало нарицательным.

Эпикуреизм, понимаемый возвышенно, а не вульгарно, объединял наслаждение с добродетелью, трактовал его как уважение человека к себе, способность подняться над превратностями судьбы.

Именно такой эпикуреизм воспринял будущий Вольтер от старших членов «Тампля». А к либертенам эпикуреизм перешел от плеяды философов Возрождения, не только французского, но и итальянского, английского... От Монтеня — непосредственно и через Шарона... Но и от Лоренцо Валла, Веспуччи, Томаса Мора...

Нельзя хотя бы не упомянуть и о французском философе-материалисте Гассенди, неутомимом противнике философии схоластической. Он шел дальше Декарта, чья слава в веках много громче. Декарт воевал со схоластикой, противопоставляя ей *разум*, Гассенди — *опытное знание*. «Чувства, — провозглашал он, — никогда не обманывают». Поэтому всякое суждение разума должно опираться на показания чувств. Декарт отделял мысль от материи. Гассенди критиковал его дуалистическую метафизику и вслед за философами древности Эпикуром и Лукрецием считал — в основе всего лежит материя.

Что же касается свободомыслия «Тампля», оно было обращено не одним эпикуреизмом либертенов XVII столетия, но и скептицизмом Пьера Бейля, автора «Исторического и критического словаря», где автор подверг разрушительному сомнению все религии и религию как таковую, не делая выводов сам, но подводя к ним читателя. Просто поразительно, как один человек мог написать такой колоссальный труд! (Издание 1820 года состоит из 20 томов.) Теперь и мы получили впервые возможность прочесть его «Словарь» на русском языке, хотя и не полностью.

Скептиком был и Монтень.

Но, может быть, самое важное не происхождение взглядов «Тампля», а то, что его эпикурейская, анакреоническая лирика, знаменитые ужины и вольнодумные разговоры служили открытым вызовом официальному ханжеству и мракобесию двора престарелого Людовика XIV.

Немало нагрешив за свою долгую жизнь, король-солнце к концу царствования подпал под полное влияние религиозной и чопорной Ментенон. Недаром, тяготясь из-за своей набожности незаконной, греховой связью даже с его величеством, мадам не захотела довольствоваться положением первой официальной фаворитки, как довольствовались не только скромная Лавальер, но и властная Монтеспан. Вероятно, по настоянию Ментенон Людовик с ней обвенчался, хотя и тайно. Ей помогло, конечно, и то, что король к этому времени овдовел. Мадам же овдовела давно. Ее муж, писатель Скаррон, автор «Комического романа», был калекой. Это давало современникам основание думать: хотя и воспитанная в строгих правилах, маркиза Франсуаза д'Обинье вступила в брак больше для его друзей. Прошлое этой святоши тоже отнюдь нельзя было считать безгрешным.

Не случайно короля и Ментенон венчал духовник его величества, *иезуит* Ла Шез, глубокой ночью совершив тайную мессу в одном из кабинетов Версаля. Так же не случайно мадам добилась, чтобы преемником престарелого Ла Шеза был избран иезуит из иезуитов, отец Телье, чье влияние на Людовика XIV оказалось наиболее пагубным.

Сейчас же вернемся к королеве из королев, прозванной современниками Султаншей. Выбор короля на этот раз многим показался странным. Уже к началу их сближения Ментенон была достаточно пожилой женщиной, на три или на четыре года старше самого Людовика. Несмотря на аристократическое происхождение, мадам так долго занимала положение настолько скромное, что его можно назвать даже униженным... Это не меньше заставляло удивляться неожиданному возвышению вдовы Скаррона. Нашлись при «большом», то есть королевском, дворе и злые языки, говорившие — на самом деле мадам якобы лишь сводила его величество с более молодыми и привлекательными женщинами.

А сколько прежде ходило слухов о придворных девицах и дамах, деливших августейшую постель! Причем достаточно было такому слуху возникнуть, чтобы перед счастливицей склонялись так же низко, как перед фавориткой открытой, официальной. Особенным почетом, большим, чем сама королева, порой искавшая ее покровительства, пользовалась мадам де Монтеспан (предшественница де Ментенон), хотя, по-своему заботясь о соблю-

дении приличий, видимости нравственности, Людовик афишировал знаки супружеского внимания к забытой Марии-Терезии. У Монтеспан и покои были куда роскошнее, чем у королевы Франции, и шлейф фаворитки носил не простой паж, но герцогиня, и охрана состояла из специально назначенных дворян. Правда, в начале ее фавора король старался не обнаруживать совсем уже вопиющей безнравственности, двойного прелюбодеяния: Монтеспан была замужем. (И супруг ее, маркиз, не боялся устраивать сцены ревности обожаемой жене и даже коронованному сопернику.) Поэтому Людовик пользовался любившей его, бескорыстной и непритязательной Лавальер как ширмой — впрочем, весьма прозрачной. Потом ширма была снята.

Примечательно, что король больше, чем законных, любил своих побочных детей. Объяснение тому двоякое. Можно предположить — это пристрастие происходило оттого, что законные дети считались «детьми Франции», а незаконные принадлежали только отцу. Но можно найти причину этой любви и в другом. Король, как широко известно, говорил: «Государство — это я». Легитимизируя побочных детей, провозглашая сыновей от фавориток принцами, он тем самым утверждал свою самодержавную, абсолютную власть. Собственной волей приравнивал легитимизированных принцев к принцам крови, законным представителям династии.

Особенное значение это приобрело после смерти дофина, единственного сына Людовика XIV и Марии-Терезии, а затем и внука, герцога Беррийского, когда наследником французского престола стал малолетний правнук короля — будущий Людовик XV. Еще раньше его величество женил принца крови, сына своего брата, Филиппа Орлеанского-старшего и внука Людовика XIII, то есть «внука Франции», герцога Шатрского, вошедшего в историю под именем Филиппа Орлеанского-младшего, регента, на мадемуазель Блуа, своей побочной дочери от Монтеспан. Это тоже имело немалые последствия.

Но так или иначе забота короля о незаконных детях создавала видимость добродетели: чадолубие всегда считалось ее признаком.

К тому же Людовик XIV не одобрял извращенного разврата, преследовал и наказывал тех, кто был в нем уличен.

Эти приступы «нравственности» — разумеется, весьма своеобразной — объясняют, почему выбор короля уже в конце 70-х годов XVII столетия пал на Ментенон и в особенности влияние, которое она постепенно приобретала на него и на ход государственных дел. Ее владычество, продолжавшееся тридцать два года, до самой смерти Людовика, оказалось самым длительным и самым могущественным.

Властолюбие все больше соединялось в монархе с набожностью. Иезуиты сумели его убедить: «Всякое иное религиозное учение... посягает на власть короля и заражено независимым и республиканским духом» (Сен-Симон, «Мемуары»), а сами эту власть, в полном согласии с Ментенон, себе подчинили.

А «большой двор» с сожалением вспоминал о веселых днях Лавальер и пышности времен Монтеспан. Чистота нравов, а точнее — мрачная чопорность, томительная скука, введенная Ментенон, «большому двору» не нравилась, но он вынужден был им подчиняться так же, как «малые дворы». И вспомнить только, что перед своим возвышением она была гувернанткой детей короля от Монтеспан! Ее письменные отчеты о своих воспитанниках и привлекли внимание Людовика. А потом вдова Скаррона стала поверенной и советчицей своей патронессы, для того чтобы ее заменить.

Но теперь даже все беседы короля с его министрами велись в апартаментах мадам де Ментенон. Внешне, правда, она держалась весьма скромно. «Очень редко, — свидетельствует Сен-Симон, — вставляла свое слово; еще реже это слово имело существенное значение». Но зато заранее договаривалась с министром, и он никогда не решался противоречить ее желаниям. Без мадам не решались ни одна милость, ни одно назначение. Это же относилось и к большинству других, более важных государственных дел. Действовала она всегда очень ловко, предоставляя его величеству думать, что он решает все единолично, хотя на самом деле решал меньше всех, кто управлял государством, управляя его главой.

Такова была обстановка при «большом дворе», а круги от этого центра расходились широко тогда, когда Франсуа Мари кончил коллеж и стал членом кружка. Прежнее веселье и распущенность зато не только сохранились, но и возросли при дворе Филиппа Орлеанского-

младшего, ненавидимого Людовиком и его морганатической супругой.

Недаром они окрестили либертенов «Тампля» «фанфаронами порока», А порок для короля и Ментенон воплощался в Орлеанском и его тезке и друге, Вандоме, под чьим командованием принц служил во время войны за испанское наследство. Иначе как «приспешниками сатаны» и тоже «фанфаронами порока» оба Филиппа высочайшей парой не назывались.

Уже то, что членами «Тампля» были духовные лица — аббаты де Бюсси, Куртен, Сервьен, Шолье, Шатонеф, — служило подчеркнутым вызовом ханжескому двору и церкви.

Все они или принадлежали к знатым фамилиям, или находились с ними в свойстве. Так, к примеру, аббат Сервьен был шурином Сюлли-старшего и дядей младшего... Аристократический характер оппозиционного кружка явствовал и из того, что в него входили герцоги — де Сюлли, де Фронзак, д'Арамбер, маркизы — Комартен де Сент-Анж, де Ла Фар, или Лафар, кавалер, а позже герцог де Сюлли, кавалер Эдди. Самым знатым из них был принц Конти, принадлежавший к боковой ветви королевской фамилии.

Не все либертены «Тампля», как положивший начало французской «легкой поэзии» Шолье, Лафар, Куртен, Сервьен, писали стихи или песенки. Но все знали и любили литературу, все были людьми широко образованными и свободомыслящими.

Самую громкую славу кружку принесли поэты Шолье и Лафар. Аббат Сервьен не блистал так, как они, зато заставил хохотать весь Париж, исполнив на сцене оперы рефрен во славу короля, но с двусмысленно перевернутыми словами. Его живой ум, обширные познания, сочетающиеся с прекрасными манерами, не вызывали ни в ком сомнения. В Академию Сервьен был избран, очевидно, не только за песенки, но и за талант собеседника, весьма ценившийся в те времена. Правда, за то же самое незадолго до смерти Людовика XIV «фанфарон порока» в сутане вынужден был сменить кресло «бессмертного» на менее мягкую скамью в Венсеннском замке. Вот почему туда и направил свое «Послание» ему Франсуа Мари.

Словом, Аруэ-младший встретил в «Тампле» лучшее, чем располагала тогда Франция в сфере мысли. Вероятно, без «Тампля», как и без коллежа Луи ле Гран, он не стал бы Вольтером. «Исторический и критический словарь» его воспитал, но с автором он не смог познакомиться лично. Будучи протестантом, тот давно уже жил в Голландии, где преподавал в Высшей школе, и умер в 1706 году. О Пьере Бейле постоянно говорили в кружке.

И не меньше — о замечательной женщине, которую они называли своей мадонной, — Нинон де Ланкло. Она окончила свой долгий и славный век годом раньше, чем Пьер Бейль. А Вольтер назвал себя ее наследником, когда много позже — в 1751-м — написал биографию Нинон, очень далекую от «альковной истории», в духе которой чаще всего вспоминали о знаменитой куртизанке. И наследником ее считал себя вовсе не потому, что она завещала десятилетнему тогда мальчику, сыну своей недавно скончавшейся приятельницы мадам Аруэ и своего нотариуса, в награду за живость и поэтическое дарование две тысячи франков на покупку книг... Наследником — в смысле духовном.

Это аббат де Шатонеф, один из ее возлюбленных, представил знаменитой куртизанке и покровительнице муз своего воспитанника.

Судьба ее была поистине удивительной. Дочь свободомыслящего и просвещенного дворянина Анри де Ланкло, воспитанная отцом в духе эпикурейской философии, получившая благодаря ему прекрасное образование, пикантная и привлекательная, Нинон предалась любви в семнадцать лет, еще в родительском доме, и предавалась ей чуть ли не до самой смерти. Среди ее многочисленных любовников называли принца Конде, самого кардинала Ришелье, Рамбулье, Ларошфуко, Севинье, герцога Шатрского, Сент-Эвремона. Со многими из них ее связывала близость и духовная. Она давала полезные советы Мольеру.

Франсуа Мари разделял преклонение перед ней старших членов «Тампля», и на долгие-долгие годы Нинон де Ланкло стала для него идеалом свободной любви, олицетворением протеста против ханжества, именующего себя добродетелью. Уже не Аруэ-младший, но Вольтер не только написал ее биографию, но и сделал прототипом положительной героини своей комедии «Поверенный»,

где честность и бескорыстность куртизанки противопоставлены жадности богатого банкира.

Но и сам кружок произвел на него ошеломляющее впечатление. Юный Франсуа Мари был прямо-таки завоорожен, покорен тем, что здесь говорилось похода. За ужинами «Тампля» господствовали скептическое отношение к религии и официальной нравственности, политически-опозиционные настроения.

И самое главное — среди этих аристократов-вольнодумцев юноша сразу почувствовал себя своим. Аруэ, казалось ему, он был случайно обязан только тем, что появился на свет. (В этом, как мы узнаем позже, Франсуа Мари имел тоже основания сомневаться.) А сам он такой же грансеньёр-либертен, как все члены «Тампля». Поэтому неопит кружка считал совершенно естественным держаться наравне с принцем Конти за ужином, где каждый старался превзойти другого умом и отвагой суждений. Раз здесь все принцы и поэты, а он поэт, значит, и он — принц.

Пусть среди аристократов по крови думать подобным образом было легкомысленно, но сам Конти, наиболее высокопоставленный среди всех либертенов, так молод, так остроумен и вовсе не собирается разрушать убеждения Франсуа Мари, что поэт и принц то же самое.

Судя по всему, молодой стихотворец, парировавший любой словесный удар всегда бывшим у него наготове экспромтом, к тому же с вполне приличными манерами, пришелся в обществе ко двору. Пусть большинство его членов были людьми пожилыми, жизненным девизом им служило наслаждение. А если так, различие в возрасте между ним и маркизом де Комартемом не имело значения, как думал Франсуа Мари, не имело значения и то, что он сын чиновника, человека третьего сословия, несмотря на купленный отцом герб... Пройдет еще немало лет, пока палочные удары лакеев кавалера де Роана, предательство герцога де Сюлли и других вельможных друзей откроют ему истинную цену их демократизма, заставят понять, что они-то отнюдь не считают поэта равным принцу.

Позже поймет он и истинную цену их вольнодумства. Зачитываясь «Историческим и критическим словарем», автор которого станет одним из главных духовных отцов Вольтера, либертены «Тампля» недостаточно делали для

распространения вольнодумных идей, борьбы с католической церковью и старым порядком.

Пока же Франсуа Мари изо всех сил старается заставить их не замечать, что он еще почти ребенок. Больше всего заботится он, как бы не отстать от старших членов общества в смелости суждений, пикантной приправе к блюдам и закускам. Они хвалят его стихи, пока еще такие же легковесные, как их собственные, — добавим мы от себя — прекрасно. Смеются его шуткам — того лучше. Дни и ночи пропадает Франсуа Мари у Сюлли и других либертенов, если они не собираются в это время в замке Тампль.

Между тем времяпрепровождение, уместное для пожилых и молодых аристократов с вполне достаточным годовым доходом и положением в «свете», для вольнодумствующих духовных лиц, получающих свою долю церковной десятины, и чаще всего сыновей таких же вельмож, не годится для младшего сына метра Аруэ, которому после окончания коллежа нужно выбрать солидную профессию и делать карьеру. Во всяком случае, так думает его отец. И дело даже не в кутежах и увлечении поэзией. Напротив, королевскому советнику импонируют высокопоставленные сотрапезники и собутыльники сына. И в свободное время почему бы ему не развлекаться, не сочинять стихов? Дело в серьезном выборе между юриспруденцией и литературой.

Когда Франсуа Мари кончил коллеж, отец спросил сына, кем тот собирается стать.

— Писателем, — без тени колебания ответил юноша.

И тут-то метр Аруэ, кстати сказать, любитель литературы и театра, приятель Корнеля и Буало, высказался очень резко:

— Писатель — это человек, который ничего не имеет и поэтому не может не быть в тягость родным.

Сын остался, однако, при своем мнении. Да иначе и быть не могло. Гении не выбирают профессию — она выбирает их.

Так начался их конфликт, которым современные французские вольтеристы, Рене Помо и Андре Делатр фрейдистски объясняют недовольство Вольтера религией и старым порядком. Объяснение нужно поставить с головы на ноги. Напротив, в споре между отцом и сыном отразились противоречия и движение самой истории, столкновение

отходящего «века Людовика XIV» с будущим «веком Вольтера».

Метр Аруэ считал существующее в тогдашней Франции положение вещей неизменным и единственно возможным. А раз так, Франсуа Мари должен выбрать доступную его кругу профессию, которая обеспечит его самого и позволит служить установленной богом королевской власти, то есть юриспруденцию.

Молодой Аруэ рассуждал совсем иначе. Действующий общественный порядок лишен разумного основания, его нужно изменить. Небесный закон и нравственные принципы, якобы его оправдывающие, Франсуа Мари к тому времени отвергал начисто. В своем сознании он уже разрушил сословные перегородки и установленные им пределы личной судьбы, был уверен, что не происхождения, но природные дарования, знания, личные достоинства, должны определять место человека в обществе. Разумеется, здесь сыграли свою роль иллюзии, вызванные тем, что принц Конти и остальные аристократы-либертены держались с ним словно бы наравне. Но не в одних иллюзиях дело. Так или иначе Франсуа Мари был убежден, что достигнет самого высокого положения и принесет больше всего пользы людям, став писателем. Ведь его и в коллеже считали поэтом, и он удостоился поцелуя старшего собрата — Жана Батиста Руссо.

А главное — Франсуа Мари не хотел служить старому порядку. Пусть еще и не проявив себя пока ничем серьезным в литературе, философии, истории, политике, он думал, по всей вероятности, именно так.

Но и у отца была своя правда. Это потом — уже не Франсуа Мари Аруэ, но Франсуа Мари Аруэ де Вольтер станет одним из первых независимых писателей. Тогда же литературой можно было заниматься, лишь имея либо собственное состояние, либо могущественного покровителя и живя на его подачки. А последнее не могло не претить королевскому советнику, самому себе обязанному всем, чего он достиг и что имел.

Потом Франсуа Мари поймет это очень хорошо. Именно для того, чтобы стать независимым, он составит себе состояние и будет всеми способами его приумножать, всеми мерами будет добиваться возможности писать и печатать то, что хочет, и бороться за уважение, которое общество должно оказывать писателям и артистам. Пока же

он, не считая, тратит отцовские деньги, когда удастся их заполучить, или делает долги, опять-таки в расчете на родительский кошелек.

Отец настоял на своем. Сын вынужден был поступить в школу правоведения. Но он не переставал протестовать и сопротивляться. Прежде всего варварский язык старинных французских законов оскорблял его воспитанный аббатом де Шатонефом, отцами иезуитами, преподавателями коллежа, а теперь еще и отточенный в кружке «Тампль» изысканный вкус.

Франсуа Мари манкировал занятиями в школе не только поэтому, но и потому, что там неинтересно. Стать потом прокурором, нотариусом, судейским чиновником, даже адвокатом, значило поставить себя на общественной лестнице ниже тех аристократов, которым он как писатель был равен, не говоря уже о службе короне, о чем он и думать не желал.

Вот что значил спор между юриспруденцией и литературой, между Аруэ-старшим и Аруэ-младшим.

Но веский аргумент, чего не знал тогда Франсуа Мари, был и в пользу юриспруденции. Познания в действующем тогда и позже во Франции уголовном и гражданском праве пригодились ему и для ведения процессов своих возлюбленных, маркизы дю Шатле и графини фон Бентинк, и, главное, посмертной реабилитации Каласа и де Лабарра, спасения жизни Сервена, реформы законодательства Швейцарии, но... и для вздорных тяжб с соседями.

Значит, нельзя не признать заслуг отца, настоявшего, чтобы его младший сын окончил школу правоведения.

Но юридический талант Вольтера проявится много позже. А пока Франсуа Мари Аруэ отдает такое явное предпочтение поэзии, вольнодумным беседам, бражничанию и обществу либертенов, чтению опасных книг перед изучением пандектов, что метр Аруэ вынужден принять крутые меры. Он отправляет слушника в Гаагу, секретарем французского посольства. По странному совпадению королевским послом в Нидерландах (без этого знакомства ничего бы не вышло) был назначен брат аббата, маркиз де Шатонеф. Сам же аббат к тому времени умер и не мог заступиться за своего воспитанника, защитить его от замаскированной ссылки.

ГЛАВА 2

МЛАДШИЙ СЫН МЕТРА АРУЭ

Однако нужно рассказать по порядку то, что мы знаем о младшем сыне метра Аруэ, прежде чем ему пришла пора выбирать профессию.

Как трудно установить истину и как легко ее запутать! Вот первый пример. Хотя выписка из церковной книги сохранилась и в ней все это указано, и дата и место рождения великого человека, а имя его матери неоднократно подвергалось сомнению.

Выписка гласит: «В понедельник, 22 ноября 1694 года в парижской церкви Сант-Андре дез Арт был крещен Франсуа Мари, родившийся накануне законный сын метра Франсуа Аруэ, королевского советника, старшего нотариуса Шатле Парижа, и его жены, мадам Мари Маргарит, урожденной Домар». Между тем первый биограф Вольтера и его друг Кондорсе называет другую дату рождения писателя — 20 февраля 1694 года. Задержку с крещением он объясняет тем, что младенец был хил и слаб, боялись — не выживет. А крестив с таким опозданием, должны были и день рождения перенести на девять месяцев. Кондорсе отмечает и вторую неточность выписки: мадам Аруэ звали не Мари Маргарит, а Мари Катрин.

Современный биограф Вольтера Г. Крузеньер подерживает февральскую версию: «Не удивительно, что, родившись 20 февраля, он из-за слабости здоровья был крещен лишь 22 ноября».

Вольтерист конца прошлого века Бон оговаривает допущенную причтом в акте о крещении Франсуа Мари Аруэ ошибку с именем его матери. Зато он приводит письмо родственника семьи, Пьера Бии, его отцу, отправленное из Парижа 24 ноября 1694 года: «У наших кузенов появился еще сын, он родился три дня тому назад». Но Бон, ссылаясь на другого биографа, Клюгенсона, называет иное место рождения Вольтера. Сестра метра

Аруэ, мадам Маршан, жила в окрестностях Парижа, в прелестной деревушке Шатене. Беременная Мари Маргарит, или Мари Катрин — в том же письме Пьера Бии говорится, что она была очень больна, — перед родами поселилась у золовки.

Бон объясняет и почему, появившись на свет в Шатене, младенец был крещен в Париже. По действующему еще тогда ордонансу Карла V от 5 августа 1371 года, только парижским буржуа предоставлялось право приобретать и занимать высокие должности. А в этом праве для сына родители Франсуа Мари были весьма заинтересованы.

Другие исследователи, напротив, настаивают на том, что будущий Вольтер родился на подворье Шатле — высшей судебной инстанции Парижа, в доме, где семья продолжала жить и потом, и во всем прочем не отклоняются от метрических данных. Так принято в современной Вольтериане, западной и советской. Рене Помо, правда, указывая как дату рождения Франсуа Мари Аруэ 21 ноября, добавляет: «Сам Вольтер настаивал на том, что родился 20 февраля».

Разумеется, не столь существенно, родился ли великий человек 20 февраля или 21 ноября, в Шатене или в Париже, звали его мать Мари Маргарит, или Мари Катрин. Я привела эту путаницу, касающуюся таких простых фактов, лишь как доказательство того, что во многом, касающемся, казалось бы, столь досконально изученной биографии Вольтера, истину установить не просто. Будучи вообще великим мистификатором, Вольтер проявлял особую скрытность в том, что относилось к его происхождению и семье. По всей вероятности, это объясняется тем, что он хотел войти в историю не как Аруэ, но как Вольтер. Очень важна была частица «де» перед новой фамилией. Де Вольтер — означало поэт, равный принцу. Аруэ — сын нотариуса, казначея, хотя формально и этой фамилии предшествовало «де». А тут еще и угрожавшая по воле отца карьера по судебному ведомству... Этого сын ему никогда не смог простить. Тут, очевидно, и разгадка, почему Вольтер, свято чтя своих духовных отцов — Бейля, Монтеня, Фонтенеля, либертенов «Тампля», чтя их мадонну, позже Локка и Ньютона и даже иезуита отца Поре, не любил вспоминать о метре Франсуа и пошедшем по его стопам брате Армане.

Вот отчего де Вольтер в 1741 году пишет своему поверенному в делах в Париже, аббату Муссину: «Я посылаю Вам мою подпись для грамот и доверенностей. Я забыл свою фамилию д'Аруэ, забыл ее очень охотно. Посылаю Вам и другие грамоты, где употребляется эта фамилия, которой я, несмотря ни на что, не придаю значения».

Да был ли еще старший нотариус Шатле и его действительным отцом? Слишком упорен слушок, что своим появлением на свет Вольтер был обязан одному из двух ближайших друзей дома, поэту-песеннику Рошебрюну или аббату де Шатонеф. Недаром последний стал и крестным отцом и воспитателем мальчика. Подозрение вызывает уже и само имя Франсуа Мари — по официальной версии в честь имен отца и матери. Но ведь и именем аббата было Франсуа! Вольтер считал себя сыном Рошебрюна.

При всем при том будущий Вольтер считался сыном метра Аруэ, вырос в доме на подворье Шатле, и не только семья, но и ее генеалогия сыграли свою роль в становлении великого человека.

Вопреки утверждению Андре Делатра: «Почти ничего не известно об его отце, его брате, его сестре, его зяте», мы о них всех, так же как о предках Аруэ и Домар, располагаем вполне достоверными документальными сведениями.

Род Аруэ, чем тоже можно объяснить неприязнь к этой фамилии Вольтера, происходил из расположенной на севере провинции Пуату Вандеи, страны шуанов, где консервативные традиции были сильны задолго до Великой французской революции.

Своеобразным парадоксом можно считать, что эти крестьяне, подобно своим соседям, так же, как их подлинный или мнимый потомок, хотели стать «принцами».

Первый Аруэ, известный новейшим биографам — прежде их родословная начиналась с XVII столетия — уже в конце XV, был кожевником. Много кожевников встречается и среди его потомков. Так как для дубления кожи требовалась в изобилии вода, он арендовал земельный участок на берегу реки.

В XVI веке Франция славилась производством кож и шерсти. Ткали уже и сукна.

Постепенно благодаря этим ремеслам Аруэ обогащаются. В 1523-м Эленус Аруэ-старший становится уже землевладельцем. Он покидает свою деревушку Сен-Жуен де Марн и обосновывается в деревне Сен-Лу, около Эрво, центра маленького края. По идущему еще от средних веков названию приобретенных им земель этого Аруэ именуют, как если бы он был аристократом, Сьер де ла Мот у Фее или Сьер дю Пи дю Синь.

Это легко объяснить тем, что Пуату не имела настоящих сеньоров. Вместо замков здесь господствовали большие, крепкие дома, принадлежавшие зажиточным кожевникам, суконщикам и разбогатевшим торговцам, мечтавшим стать «благородными».

Аруэ тоже стараются породниться с дворянством. И в поисках их аристократической родни мы находим семью Пиду. Символическое совпадение — по материнской линии от нее происходит знаменитый баснописец, предшественник просветителей Лафонтен. Он и Вольтер в некотором отношении родственники.

Хотя еще и в первую четверть XVII столетия Аруэ верны семейной традиции и продолжают быть кожевниками, мы встречаем среди них и адвоката Туара, считавшего себя дворянином.

Первый Аруэ, который сделает решительный скачок для возвышения рода, — Франсуа. В 1625-м, оставив Сен-Лу, он переезжает в столицу, становится парижским буржуа. Мало того, по матери, жене Эленуса-младшего, урожденной де Марсетон, и бабушке он и дворянин. А через год после переезда он женится на дочери богатого парижского купца-суконщика, которая подписывается Мари де Мальпар.

Оставив навсегда шкуры и кожи, метр Франсуа Аруэ-старший тоже становится торговцем сукном, открывает лавку на улице Сен-Дени. Это вполне отвечает духу времени. При Людовике XIII торговля нарядными тканями, так же как и другими предметами роскоши, процветает.

Дед или тот, кто считался дедом Вольтера, умер, не дождавсь женитьбы сыновей. Вдова его скончалась в 1688-м.

А седьмой и младший сын их, тезка отца, Франсуа Аруэ, по совету постоянной посетительницы родительской лавки, мадам Консер, женился 7 июня 1683 года на

девушке, любезной, живой, остроумной и привлекательной. Она-то уже бесспорно стала матерью будущего Вольтера.

Сам философ тем не менее вопреки свидетельству документов, да он и не мог не знать семейной истории Аруэ, подвергал сомнению все, что касалось его происхождения. Даже в письме от 7 апреля 1773 года, начав с рассуждения, что остров Делос имеет своего Аполлона, а Афины — свою Минерву, Вольтер затем переходит к тому, что споры о месте рождения его собственных предков до сих пор продолжаются. Надо ли это понимать как намек на то, что не метр Франсуа Аруэ был его подлинным отцом, или как желание быть только Вольтером? Скорее всего, правильны оба ответа.

О самом старшем нотариусе Шатле, достигнувшем потом и более высокого положения, известно немало. Сын купца, внук земледельцев и деревенских кожевников и ткачей, он еще больше, чем отец, ставший парижским буржуа, стремится выбиться в люди. Родился метр Франсуа Аруэ в 1650-м. В 1675-м купил себе первую должность. Затем приобрел и другие и дворянский герб — три красные лилии на золотом поле.

Мари Маргарит, или Мари Катрин, принадлежала к почтенной фамилии служилых дворян Домар де Мелон той же провинции Пуату, что и Аруэ. Ее отец был секретарем уголовного суда, дядя Симфорьен, муж крестной Франсуа Мари, — шталмейстером, государственным контролером и, очевидно, приносил пользу семье племянницы положением при дворе.

Мадам Аруэ, надо думать, не без оснований принято считать легкомысленной. Уже на склоне лет Вольтер говорил: она в исчерпывающей мере обладала острым умом своей нации, но ее развлечения не свидетельствовали, что она во всем строго следовала евангелию. К этому можно было бы добавить и седьмую заповедь Ветхого завета, вполне вероятно, нарушаемую мадам.

Связи ее, как ни понимать это слово, несомненно, способствовали карьере мужа и благосостоянию семьи. Скорее всего именно она подарила метру Франсуа доверие герцогов Сен-Симон, герцогов Ришелье, знатных фамилий — де Комартен, де Никола, де Шатонеф и еще многих. Считалось почетным быть клиентом этого нотариуса, который не составил частной практики и поступил на

королевскую службу. Метр Аруэ славился не только деловым умом, но и безупречной честностью. Трудно было сыскать лучшего поверенного в делах.

Знакомству семьи Аруэ с аббатом де Шатонефом способствовал сосед — доктор Сорбонны Никола Депрео Буало.

Перенесемся в 1694 год. В феврале ли, в ноябре — какое это имеет значение — у короля-солнца должен был появиться еще один подданный. У кюре церкви Сант-Андре дез Арт — еще один прихожанин. Впрочем, вполне вероятно, что, как отец и старший брат Арман, ожидаемый ребенок станет янсенистом (католическая секта, приближающаяся к протестантам).

Но вот на что еще не купивший дворянского герба метр Аруэ, насколько мы его знаем, должен был уповать твердо. Если бог пошлет ему вместо умерших во младенчестве Франсуа Армана и Робера снова сына, этот пойдет еще дальше отца, сделает большую карьеру, выбьется из третьего сословия во второе, то есть из буржуа во дворяне. (Того же, разумеется, он хотел и для Армана, но этот не подавал больших надежд.) Вот же младшие сыновья доброго знакомого, драматурга Корнелия стали офицерами, а старший служит при посольстве. Сын руанского негоцианта женился на дочери интенданта полиции, маркиза д'Аржансона, и, глядите, он — фельдмаршал! А внук книготорговца, сын генерального откупщика сделался сперва парламентским советником, затем председателем парламента и завершил свою карьеру придворной должностью суперинтенданта королевы. Да и ныне покойный министр финансов Кольбер, правая рука короля, тоже вышел из третьего сословия, был сыном реймского купца.

И все-таки, если родится мальчик, лучше всего в соответствии с семейными традициями Домар де Мелон, а теперь уже и Аруэ, пустить его по судебному ведомству. Здесь тоже можно достигнуть немало. Конечно, это лишь догадки, но, исходя из того, чего метр Аруэ добивался от младшего сына потом, весьма правдоподобные. Вполне вероятно, что мысль о школе правоведения возникла у метра Аруэ еще до рождения младшего сына.

Несмотря на то, что мадам шел всего тридцать четвертый год и роды ожидалась пятые, она тяжело болела. Кроме того, в Париже было тревожно. Возможно, если

поверить тому, что будущий Вольтер появился на свет в Шатене, это и побудило его мать поселиться в тиши у золовки.

Зима и весна 1693—1694 годов были голодными. Как всегда после неурожая, голод, не покидая сел, перебрался в города и самую столицу.

Метр Аруэ не торговал хлебом ни оптом, ни в розницу. Он вообще ничем не торговал. Но голодная толпа с каждым днем все решительнее и решительнее угрожала: если ей не помогут, она пойдет громить дома всех богатых. А богатым метра Аруэ можно было считать наверняка. Людовик XIV делил финансы Франции на три категории. К первой он относил деньги, хранившиеся в его собственной шкатулке, ко второй — те, что находились в кассе королевского казначейства, к третьей — те, что он милостиво оставлял в кошельках своих подданных. Содержимое кошелька старшего нотариуса позволяло причислить его к держателям финансов Франции третьей категории. (Потом, став казначеем Счетной палаты, он приблизится и ко второй.)

Бесспорная неточность в акте о крещении Франсуа Мари — слабенького младенца крестили не в церкви. Кюре с причтом пригласили на дом, опасаясь, что иначе новорожденный не переживет и крестин. Кто мог тогда предвидеть, что он, постоянно болея, удержится на этом свете до восьмидесяти четырех лет?

Конечно же, крестины почтили своим присутствием друзья семьи, Комартен де Сент-Анж, аббат Жодуэн, возможно, сосед, доктор Сорбонны, академик Буало, законодатель классицизма. Всех называть не стану, к тому же это лишь предположения, но не могу не упомянуть аббата де Шатонефа и Рошебрюна.

Вряд ли родителям ребенка, причту и многим гостям нравилось, что мессу заглушали доносившиеся с улицы крики взбунтовавшихся подмастерьев. А они наверняка доносились, потому что чаще всего именно по понедельникам бунтари обходили все мастерские и требовали, чтобы к ним присоединились те, кто еще продолжал расширять галуны или лудить посуду. По преданию, кто-то из присутствовавших на крестинах — возможно, это был аббат де Шатонеф — заметил: а не предвещают ли крики, что родился будущий вольнодумец и безбожник?

Предсказание начало сбываться довольно быстро, и

аббат этому немало способствовал. Детство Франсуа Мари было безбедным, но мальчик рано стал интересоваться бунтами, шум которых проникал и потом сквозь толстые стены мрачных комнат их дома. Франсуа Мари постоянно требовал, чтобы родители подавали нищим.

Рано пробудившийся в нем интерес к литературе не удивителен: в тесный круг семейных друзей, кроме Рошебрюна и Буало — как сатирик он был известен под фамилией Дебрео — входили и другие писатели. Аббат де Шатонеф этот интерес направлял, помог мальчику уже к трем годам выучить наизусть басни Лафонтена, а несколько позже познакомил с вольнодумной поэмой «Муизад».

Разница в возрасте между братьями была в девять лет: младшему исполнился год, когда старший поступил в янсенистский коллеж. Но совсем еще маленьким Франсуа Мари изводил Армана эпиграммами собственного сочинения.

Под влиянием крестного младший сын метра Аруэ стал критиковать религию гораздо раньше, чем как следует познакомиться с ней.

Нельзя недооценивать и влияние матери, женщины не только умной и остроумной, но и по тем временам хорошо образованной, прекрасно начитанной. Она только умерла слишком рано, когда Франсуа Мари исполнилось всего десять лет.

Недаром вскоре, будучи представлен аббатом Нинон де Ланкло, мальчик произвел на покровительницу муз такое прекрасное впечатление, что она завещала ему уже упомянутые две тысячи франков на покупку книг. Вполне вероятно, что сам метр Аруэ оформил завещание. Знакомство с этой такой старой и такой молодой женщиной было одной из главных удач детства Вольтера. То, что он еще ребенком встретил Нинон де Ланкло и еще несколько людей, стоявших выше ходячих мнений, доказало ему уже тогда, что человек рождается свободным.

Некоторая широта взглядов отличала и самого метра Аруэ. В известной мере она проявилась в том, что, будучи янсенистом, он в отличие от старшего сына отдал младшего в иезуитский коллеж. Правда, это решение скорее всего определили не только настояния аббата де Шатонефа, справедливо доказывавшего, что ни в одном учебном заведении мальчик не смог бы получить лучшего

образования, но и шансы на приобретение там аристократических связей, преимущества для будущей карьеры Франсуа Мари. К тому же янсенисты преследовались, хотя это и не коснулось семьи Аруэ.

Метр сам посещал спектакли Комеди Франсез и, вероятно, возил туда детей. Не только он, но уже и его отец нисколько не напоминали мольеровского Журдена и Тюркаре Лесажа.

Больше всего Вольтер-писатель обязан отцу тем, что в родительском доме имел возможность наблюдать людей самых разных. У метра Аруэ бывали так называемые парламентские дворяне, произведенные в кавалеры за службу в магистрате и так же, как он сам, купившие гербы. Он не только посещал отели — особняки своих высокопоставленных клиентов и брал нередко Франсуа Мари с собой, но и удостаивался их визитов. Конечно, Франсуа Мари ребенком встречался и с буржуа, не оставившими торговли: дед по отцу был владельцем суконной лавки. Потому-то Вольтер еще в детстве узнал все слои общества тогдашней Франции — от голодающих крестьян и бунтующих подмастерьев до вельмож.

Так же рано благодаря отцу он смог познакомиться и с законами, управляющими государственной машиной. В 1701 году метр Аруэ за 10 тысяч франков приобрел должность казначея и сборщика пеней Счетной палаты. Мальчик не мог не слышать, что должность куплена. Какое значение имело то, кому были уплачены деньги — предшественнику метра в этой должности или королю?! Полагаю, что скорее королю. Торговля должностями к концу царствования Людовика XIV стала одной из самых выгодных статей государственного дохода. Недаром генеральный контролер Демаре заметил, что финансы королевства не иссякнут, пока во Франции не переведутся дураки, которые покупают должности. Метра Аруэ к дуракам причислить никак нельзя. Не стоит ли перевернуть формулу? Можно ли назвать умной систему, при которой должности предоставляются не тем, кто их достоин, но тем, кто в состоянии их купить?!

Очень любопытно стихотворение Беранже «Крестины Вольтера». Приняв официальную версию: мальчика Франсуа Мари крестили в церкви — что в данном случае неважно, — поэт дает различные варианты его будущей судьбы.

Органист пророчит, что сын пойдет по пути отца. Священник, плененный прекрасными глазами крестной матери, видит в крестнике земного ангела — «святого». Причетник добавляет — «по уму пойдет он в мать». Четвертое предсказание — станет «инквизитором». Затем появляется тень насмешника Рабле и пророчит мальчику, что он будет мудрецом, прославится под именем Вольтера, поразит мир «как философ и новатор, и как смелый реформатор, даже Лютера затмит, суждено ему, малютке, с корнем вырвать предрассудки». Кюре приказывает взять тень под стражу, но это не удается. Исчезая, Рабле наказывает своему преследователю бояться младенца: «В нем есть искра, вас сожжет его огонь».

ГЛАВА 3

ШПАГИ И „АКАДЕМИИ“

— Пожалуйте шпагу, ваша светлость! — просил привратник, склоняясь в почтительнейшем поклоне перед мальчиком лет девяти-десяти в расшитом камзоле, туфлях с пряжками, большой шляпе, брал из светлейших рук шпагу и вставлял ее в деревянную стойку у главного входа коллежа сразу на две улицы — Реймс и Шьен.

— Пожалуйте шпагу, маркиз! — говорил привратник следующему воспитаннику.

— Пожалуйте шпагу, граф!..

У Франсуа Мари шпаги, скорее всего, не было. А если и была, ему привратник так низко не кланялся. Напротив, можно себе представить, как низко нагнулись они с отцом, проходя в это памятное сентябрьское утро 1704 года через массивную дверь. Что значили красные линии на золотом поле купленного герба метра Аруэ в сравнении с истинной родовитостью будущих однокашников его младшего сына!

На треугольном фронте золотыми буквами сверкала латинская вывеска: «Коллегиум Людовикус Магнус».

Если у королевского советника и была собственная карета, то уже наверняка, когда воспитанники разъезжались по домам на праздники или вакации, тот же привратник не выкликал ее, выходя на улицу, так же громко и торжественно, как кричал: «Карету монсеньёра принца де Монморанси!», «Карету монсеньёра принца де Роана!», «Карету монсеньёра герцога де Ришелье!», «Карету графа де Гиша!», «Карету интенданта полиции маркиза д'Аржансона!»

Франсуа Мари не могла не поразить грандиозность самого здания коллежа Людовика Великого, где ему предстояло учиться и жить.

Иначе коллеж назывался «Лицей Клермон» — по имени своего учредителя, Гильома дю Пре, епископа Клермона, и принадлежал ордену иезуитов. Позже мальчик

узнал историю коллежа. Основанное 13 февраля 1662 года, это привилегированное учебное заведение, назначением которого было готовить королевских министров и духовных сановников, сперва расположилось в отеле Шарля де Потье, герцога и епископа Лангрского. Затем оно поглотило еще три коллежа — де Момутье, Мон и Шоле. Расширившись, Людовикус Магнус, или, как его чаще называли по-французски, Луи ле Гран, разместился на юге — на улице Сен-Дени, на севере — на улице Сен-Бенуа. Третья стена его глядела на улицу Сен-Жак. Здесь был второй вход в коллеж.

Думал ли Франсуа Мари о карьере, которая ожидала его, если он успешно окончит коллеж? Вряд ли. Ему было всего десять лет, и мальчика уже тогда отличали скептический ум и привитое аббатом де Шатонеф вольнодумие. Но зато о ней думал метр Аруэ, которого не могли не заворожить грандиозность здания, кареты с гербами знатнейших фамилий Франции, даже стойка для шпаг.

Пусть его младшему сыну не отвели отдельной спальни, как сыновьям Монморанси, Роана, Ришелье, д'Аржантала. Место мальчика, как и других воспитанников неаристократов, в общей спальне. Ну что же, можно примириться и с этим, лишь бы Франсуа Мари учился в коллеже прекрасных искусств, хорошего тона и «высшего света» и его однокашниками были обладатели отдельных спален и наследники высоких титулов и огромных поместий! Мир устроен так: каждому — свое. Недурно иметь кровать и в общей спальне Луи ле Гран!

Что же касается Франсуа Мари, для него разделение по спальням не прошло бесследно. Ведь это была своего рода модель разделения общества.

Чему выучился Франсуа Мари за семь лет, проведенных им в коллеже Луи ле Гран? Мы уже знаем, что с нападками на религию он познакомился раньше, чем с ней самой. Правоверным католиком его не смогли сделать и отцы иезуиты, какими бы превосходными педагогами они ни были. Да что там правоверным! Уже Кондерсе приводит, а последующие биографы за ним повторяют слова преподавателя коллежа, отца Леже, предсказавшего ученику Франсуа Мари Аруэ, что он со временем станет главой французских деистов. Отцу Леже нельзя отказать в проницательности, так же как и его коллеге,

отцу Паллу, сказавшему, что этот мальчик пожираем тщеславием, стремлением стать знаменитым. Последнее, впрочем, не совсем точно: не тщеславие, но предчувствие своей гениальности, миссии, выполнить которую он рожден, — вот что отличало от других воспитанников будущего Вольтера.

Надо отдать справедливость отцам иезуитам: образование, даваемое в Луи ле Гран, было для начала XVIII столетия и фундаментальным и широким. Вольтер, правда, потом сетовал, что о своей родине, ее истории, ее географии, государственном устройстве он в коллеже не смог узнать ничего. Но что касается остального, самый перечень дисциплин, которым там обучали, свидетельствует — коллеж совмещал в себе среднее и высшее учебное заведение, соперничая с соседней Сорбонной. Воспитанники его проходили математику — элементарную и высшую, физику и химию, философию, риторику, высшую грамматику, то есть лингвистику, после грамматики школьной. Однокашник Вольтера Юванси вспоминал, что базой всех занятий была латынь, но сверх нее они изучали и все остальное, как в университете.

Общеизвестно, что, едва ли не самый образованный человек своего века, Вольтер был философом, историком, в круг его занятий входили и естествознание, и физика, и математика. Несмотря на указанные пробелы, основу его обширнейших познаний и самую любовь к наукам заложил коллеж. И все-таки, вероятно, самым главным из курса, пройденного в Луи ле Гран, были для него литература и лингвистика. Правильно заметил современный французский биограф Вольтера Жан Орьё: «Вольтер родился писателем и был бы им, если бы учился и у янсенистов или кальвинистов, но Вольтером он стал благодаря иезуитам. Они привили ему вкус к классицизму и выучили тому языку, которым написаны «Меропа» и «Кандид». Тот же Юванси перечисляет древнегреческих и древнеримских авторов, которых изучали они в коллеже: Эзопа, Гипократа, Лукиана, Теофраста, Гомера, Плутарха, Геродота, Софокла, Еврипида (перечень неполон. — А. А.). У того же Юванси мы находим и любопытную подробность: когда отец Поре задавал им выучить наизусть тот или иной отрывок или изречение одного из античных авторов, Вольтер никогда не занимал места более высокого, чем третье или четвертое. Он был весьма

посредственным эллинистом и плохо «цицеронизировал», неважно владея и латынью. «Правда, — пишет в своих воспоминаниях Юванси, — Франсуа Мари пользовался ею в диалогах образовательного характера и даже шутках, но она не сформировала будущего Вольтера так, как других, сделавших карьеру, воспитанников: д'Аржансонов, Булье, Эно...

Структура администрации коллежа была такой: во главе его стоял ректор. Он имел два «уха» — материальное и моральное, отцов прокураторов. Существовал еще и префект занятий, который посещал классы и спальни, давал темы сочинений. Классные руководители занимались примерно тем же, что делают они и в наши дни.

В том, что Луи ле Гран сформировал Вольтера именно Вольтером, вероятно, наибольшую роль сыграли «академии». Сверх классных занятий старших учеников собирали для диспутов на различные научные, философские, исторические, литературные темы, для чего их и разбили на «академии». Каждая «академия» имела президента, секретаря и советников. Ораторы объявлялись заранее. Отцы иезуиты придавали «академиям» такое значение, что, не желая прекращать их занятия на лето, снимали на время каникул дом за городом.

А трагедии, комедии, балеты, которые силами воспитанников ставились в коллеже, — не послужили ли они превосходной школой для будущего первого драматурга Европы, талантливого актера, режиссера? Особенно сильное впечатление произвел на Франсуа Мари праздник в коллеже 1706 года.

Несомненную пользу принесли ему и уроки богословия: для того чтобы бороться с религией, нужно ее знать.

И за все это Вольтер надолго сохранил благодарность своим учителям-иезуитам. В первую очередь он высоко чтит отца Поре, прославленного и за стенами Луи ле Гран. Этому преподавателю был обязан не только знанием античной литературы, но и первыми своими опытами в поэзии и драматургии. Много и часто писал ему, часто упоминал о нем в письмах другим корреспондентам. Для примера приведу выдержки из одного письма ученика учителю, приложенного к экземпляру «Генриады»: «Отцу Шарлю Поре. Около 1730 года. Если Вы еще помните, преподобный отец, человека, который вспоминает о Вас всю свою жизнь с наиболее чувствительной

благодарностью и величайшим почтением, смотрите на меня, как на сына, через много лет преподносящего родителю плоды своих трудов в искусстве, которому тот некогда его обучал. Из предисловия Вы узнаете, какого рода это произведение. А я узнаю из Вашего заключения, каковы его достоинства. Не смею льстить себя надеждой, что избегну упреков, которые услышу во Франции, никогда не имевшей эпической поэмы. Но если «Генриада» Вам понравится, если Вы сочтете, что я извлек пользу из Ваших уроков...» (В кабинете Вольтера всегда был портрет Поре.) Может показаться парадоксом, что поэму о религиозной терпимости, защищающую гугенотов, Вольтер послал католику, иезуиту, и с таким нетерпением ждал его суда. Но «Генриада» как литературное произведение, подобно ранее написанному «Эдипу» и многому написанному им позже, действительно была плодом уроков отца Поре, хотя и не его одного.

Благодарную память великий человек сохранил и о других отцах иезуитах из Луи ле Гран. Даже самые «академичные» из них «вложили в руки ребенка Ювенала и Горация». С особенной нежностью Вольтер говорил об отце иезуите, соединявшем блистательное воображение с характером и сердцем, наиболее простодушными, — хранителе библиотеки коллежа, насчитывавшей двадцать тысяч томов, и, конечно, воспитанник Аруэ ею пользовался. Хорошему отношению Вольтера к отцу Турнемину не помешало потом даже, что тот издавал «Журналь де Треву», неукротимо враждовавший с просветителями. В 1746 году он радовался, что Турнемину понравилась «Меропа».

Несмотря на недостаточные успехи в греческом и латыни, этот ученик прославил коллеж. Время от времени Людовик XIV одаривал наиболее выдающихся воспитанников Луи ле Гран книгами. Франсуа Мари Аруэ однажды удостоился королевского подарка. Как отмечено в одной монографии об иезуитах, 1 января 1710 года за латинские стихи он получил первый приз и «Историю гражданских войн во Франции» Девиля. Одинаково пророческим можно счесть и то, за что он заслужил награду, и награду саму. За стихи, пусть не латинские, но французские, он в последующей жизни получит немало поощрений, хотя и хулы не меньше. В гражданских войнах, пусть не оружием, но пером, словом, защитой не-

справедливо осужденных, будет участвовать десятилетиями.

Еще и еще раз спрашиваешь: почему борец с религией, и в первую очередь католической, а ее авангардом были иезуиты, к отцам из Луи ле Гран так долго относился с расположением? Разгадка, мне думается в том, что он воевал как просветитель, как писатель. Поэтому и ценил учителей, которым был обязан основами образования и литературной школой.

У иезуитов он научился и некоторым полемическим приемам и тактике боя. Не у них ли он позаимствовал свой извечный принцип: *ударить и отдернуть ударившую руку?*

Придет, конечно, и такое время, когда к иезуитам Вольтер станет относиться, как к злейшим врагам, станет их непримиримым противником, но отнюдь не как учителей коллежа.

И еще одним, не менее важным он обязан Луи ле Гран — дружбой на долгие-долгие годы, до самой его или их смерти, с однокашниками — Ришелье, братьями д'Аржансонами, еще большей с Сидевилем, особенно с «ангелом-хранителем» — графом д'Аржанталем, и самим великим искусством дружбы.

ГЛАВА 4

ДИПЛОМАТИЯ, ПИМПЕТ, ПОЭЗИЯ...

«В конце концов дипломат тоже не такая плохая профессия, — вероятно, думал метр Аруэ, провожая Франсуа Мари в эскорте посла. Не кружилась ли эта трезвая голова, когда он представлял себе младшего сына на приемах во французском посольстве и посольствах других государств в Нидерландах и словно видел, как мальчик своей скачущей походкой перепрыгивает ступеньки иерархической лестницы? Кто знает, при его остром языке, умении ладить с высшими, держась с ними как равный, до каких дипломатических постов дослужится Франсуа Мари?

И опять метр Аруэ был прав и не прав. Его младший сын в самом деле увлечется дипломатией, будет ездить с правительственными поручениями, хотя и без большого успеха, к Фридриху II, к советам Вольтера будет прислушиваться министр Людовика XV герцог де Шуазель, международная политика станет одним из главных пристрастий и занятий секретаря или пажа французского посла в Нидерландах. Но... произойдет это через долгие и долгие годы.

А сейчас задумаемся над тем, почему так быстро закончилась его дипломатическая карьера. Юноша, сопровождаемая маркиза до Шатонеф, приехал сюда в сентябре. В декабре он был отослан обратно в Париж. Ответ на это дает переписка — виною тому Олимпия Дюнуайе; друзья и сам Франсуа Мари называли ее Пимпет...

Отсюда и пренебрежительное отношение к службе в посольстве, и безразличие к нравам Голландии — все заслонила собою любовь. Мадемуазель была красива, она была француженкой, родители ее — гугенотами-эмигрантами. Мать Пимпет — литератор, издатель газеты, иногда и книг, — стала яростной противницей любви дочери и молодого Аруэ. Почти все это можно почерпнуть из его писем к возлюбленной и ее не слишком грамотных

ответов. Скандал, устроенный мадам Дюнуайе, и послужил причиной высылки бедного юноши. Пимпет осталась в Гааге. Ничего нет удивительного в том, что она при ее легкомыслии быстро утешилась с неким Гийо до Мервилем, а затем вышла замуж за графа.

Остальные дошедшие до нас сведения о Пимпет и ее семье противоречивы, а значит, не вполне достоверны.

Этот эпизод из биографии молодого Вольтера, может быть, и не заслуживал бы нашего внимания, столько в его жизни потом было несравненно более значительного, если бы в нем не проявились новые стороны неудержимого темперамента и редкостная изобретательность.

Франсуа Мари тогда так безумствовал, что маркиз де Шатонеф был вынужден, перед тем как отправить юношу обратно, держать его под домашним арестом в посольстве. Короткая, но бурная история этой любви развивалась по всем правилам авантюрного романа. В ней участвовал и сапожник, который под предлогом починки туфель доставлял письма влюбленных друг другу. Решив тайком увезти свою красотку в Париж, Франсуа Мари позаботился и о мужском костюме для Пимпет, не говоря уже о карете. Драма, как видите, была и с предполагаемым переодеванием.

Не утихомирился неистовый и столь же изобретательный влюбленный и после того, как его выслали из Гааги. Додумался и до такого курьеза — попробовал заручиться поддержкой одного из отцов Луи ле Гран и епископа города Эвре, соблазняя их перспективой вернуть католической церкви заблудшую не по своей вине гугенотку.

Потом, правда, узнав, что она быстро утешилась с другим, прустил Пимпет ее измену, а вскоре и вовсе о ней забыл.

Любовь прошла, но зато остались письма к Олимпии, едва ли не первый образец эпистолярного искусства Вольтера. Вот отрывок из письма Франсуа Мари его возлюбленной еще из Гааги: «Если я не смог Вас убедить, я прощаюсь с Вами, мое обожаемое сердце! В последний раз я говорю Вам это, отдавая Вам всю нежность, которой Вы заслуживаете... Да, моя дорогая, я буду любить Вас всегда; влюбленные, менее верные, говорят то же самое, но их любовь не основана на такой исключительной почтительности. Я же люблю Вашу добродетель так же, как Ваше лицо, и не прошу у неба ничего, кроме того, чтобы

оно дало мне возможность черпать около Вас благородные чувства, моя нежность позволяет мне рассчитывать на Вашу. Я льщу себя надеждой, что вызову у Вас желание увидеть Париж...»

А вот первые строчки следующего письма, отправленного в конце ноября, дней через пять после первого: «Я здесь заключен именем короля, но мне оставили жизнь и любовь, которую я питаю к Вам. Да, моя дорогая, моя возлюбленная, я увижу Вас сегодня вечером, даже если для этого должен буду положить свою голову на эшафот. Во имя бога, не говорите со мной, употребляя те же суровые выражения!..»

Итак, у сына и у отца опять неудача. Франсуа Мари снова в Париже, но в полном подчинении у разгневанного метра Аруэ. Отец знал о его похождениях и раньше и очень сердился. Перед высылкой из Гааги проказник писал ему: «Я согласен, о мой отец, отправиться в Америку и даже жить там на хлебе и воде, но с условием, что перед отъездом получу разрешение обнять Ваши колени...»

Дипломатический ход этот помог. Грешник не был отправлен в Америку, а всего лишь определен писцом в контору парижского адвоката (по другой версии — прокурора Шатле) Алена. Снова юриспруденция! Теперь бы, казалось, пора с ней смириться. Франсуа Мари угрожает еще большая опасность. Недовольный его недостаточными покорностью и усердием, метр Аруэ хлопочет о «леттр каше» (тайном ордере на арест), чтобы запрягать негодника в Бастилию, если по-прежнему будет отлынивать от настоящего дела.

И все равно единственным приобретением, вынесенным из этой новой каторги, Франсуа Мари считает клерка Никола Тьерьо, друга на долгие годы, увы, не очень верного. Письмами к нему мы обязаны самыми глубокими познаниями о жизни Вольтера в Англии. Но это будет потом. А сейчас поэзия, одна лишь поэзия! Он продолжает, несмотря ни на что, писать стихи, рифмует даже в частных письмах.

Меньше всего Вольтер прославлен как лирик. Это не лишено оснований: его эпоха отнюдь не лирична. И все-таки недаром Гёте и Пушкин ценили лирику Вольтера,

в том числе и раннюю. Не говоря пока о его сатирических стихах — речь о них пойдет дальше, — даже еще не Вольтер, но Франсуа Мари Аруэ внес в лирическую поэзию Франции движение мысли, политической, философской, освободил ее от жеманства, сумел ввести живое дыхание жизни. Уже в его юношеских стихотворениях извечная тема любви неотделима от утверждения свободы человека. Послание заключенному в Венсеннский замок, аббату Сервьену, после советов не унывать, оставаться бодрым и веселым кончается декларацией: «Философ свободен и в цепях» (1714). А рядом с ним стоят послания следующего года тому же Сервьену или аббату де Бюсси (точно не установлено), где автор утешает человека, потерявшего любовницу: «Истинная мудрость в том, чтобы избегать грусти в объятиях наслаждения». Здесь же программные для автора строчки: «Жить в тоске, петь лишь по обязанности для меня значит — не жить».

Позже, в эпоху регентства, он еще разовьет эти мотивы утверждения счастья на земле, в противовес небесному спасению мотивы антихристианские. В «Послании к мадам Ж...» 1716 года Франсуа Мари Аруэ утверждает: «Удовольствие есть предмет, долг и цель всех разумных существ», и еще: «Любовь создана для подобных Вам, а спасение — для ханжей... слушайте только Ваших истинных чувств... любовники существовали прежде, чем в мире появились христиане».

Это плоды уроков, вынесенных из общества «Тампль». Недаром так много стихов посвящено либертенам. Из замка Сюлли, куда его вышлют при регенте, Франсуа Мари отправит аббату Шолье письмо в стихах: «Вам, Анакреону «Тампля». Вам, чья мудрость, проповедующая наслаждение, прославлена и Вашими стихами и личным примером, Вам, чья лютня звучит так приятно, я, когда подагра приковала Вас к постели, посылаю эти строки... благодарно вспоминая, как Вы пели «Токану» (гимн кружка. — А. А.), сидя за столом богов...» (перевод, увы, прозаический, мой. — А. А.).

Герцогу Вандомскому юноша пишет: «Привет Вам, самому любезному из принцев, из Сюлли, от аббата Куртена и незначительнейшего поэта...»

В его ранних стихах видны уже уроки гениального насмешника над ханжеством, Рабле, хотя тогда его считали только забавником, не причисляя к высокой лите-

ратуре, и других жизнелюбцев из кружка Маргариты Наваррской, уроки скептиков Монтеня и Бейля. Эти уроки смелой французской мысли XVI и XVII столетий Франсуа Мари получил в обществе «Тампль». Но надо было уметь ими воспользоваться! Еще в коллеже познакомился он с жизнерадостной моралью наслаждения античных философов Эпикура и Лукреция. Теперь она тоже оплодотворяет его стихи.

Противопоставить земное небесному требовало время, его новые силы. Он сам был этой новой силой.

Но писать стихи, хотя он и сочиняет их, как поет птица, Франсуа Мари мало. Он еще хочет стихами и прославиться. Случай предоставляется вскоре после его возвращения из Гааги. Академия объявляет поэтический конкурс.

Он представил благонамереннейшую «Оду на обет Людовика XIII». Такого рода поэтическое притворство автору не впервой. Еще в коллеже, когда за очередную нечестивую выходку воспитаннику Аруэ грозило исключение (как раз тогда отец Леже предсказал, что он станет знаменем и главой французских деистов), Франсуа Мари перевел на французский с латыни две религиозные оды своих воспитателей, причем так искусно, что вызвал у авторов слезы умиления. Этим, так же как и безупречным поведением и усердными молитвами, столь же лицемерными, он и спасся от исключения.

Премию присудили не Аруэ, но некоему аббату, которому покровительствовал де Ламот Удар, известный поэт, еще больше прославившийся как участник спора о древних и новых писателях. Не помогло и то, что Франсуа Мари просил отзыва на свою оду у Жана Батиста Руссо. Тот ответил весьма сурово, что ни Корнель, ни Расин, ни Депрео не писали для премии.

Раз так, побоку Академию! Поэт осмеивает ее в сатирической поэме «Трясина». Мадам Дюнуайе, простив ему попытку увезти дочь, издает поэму в Гааге. Автору грозят неприятности, и отец отправляет его в имение маркиза Луи де Комартена. Старик рассказывает гостю о Людовике XIV, при дворе которого служил, и о Генрихе IV. Это пригодится потом Вольтеру.

ГЛАВА 5

СТИХИ ПРИВОДЯТ В БАСТИЛИЮ

Наступает и 1715 год, поистине исторический. Кончается «век Людовика XIV». Его сменяет знаменитое регентство, преддверие, даже начало «века Вольтера». То, что Франсуа Мари Аруэ примет эту фамилию после заключения в Бастилию, тоже исторически не случайное, своеобразное пересечение судеб принца и поэта, напрасно считавшего себя равным принцу. Он-то герцога Орлеанского отправить в тюрьму не мог...

Конечно, младший сын казначея и сборщика пеней Счетной палаты допущен во дворец не был и не мог быть свидетелем болезни и смерти короля-солнца. Не присутствовал он и на заседании парламента Франции, когда утверждался новый король, ребенок Людовик XV, и регент при нем. Но, во всяком случае, Франсуа Мари, недавно вернувшись в столицу, видел, как ликовал Париж, словно проснувшийся от долгого тяжелого сна, и сам, наверно, ликовал вместе со всеми. Никогда еще не собирались такие толпы народа на парижских улицах и площадях. Никогда еще бульвары не были так запружены каретами и колясками, столько всадников не скакало во весь опор. А другие экипажи въезжали в столицу через все заставы: это возвращались те, кто не по своей воле покинул Париж. Из открытых дверей кафе, из распахнутых настежь окон домов доносился веселый шум, заглушая редкие возгласы горя.

Не один Париж, но вся Франция ликовала. Даже в церквях молились не за упокой души умершего короля, но благодарили бога, что наконец прибрал его к себе.

Как свидетельствует тот же Сен-Симон, сдерживались, соблюдая приличия, только другие государства Европы, хотя и имели не меньше оснований радоваться, отделавшись наконец от монарха, предписавшего им свои законы и лишь смертью избавленного от готовившегося уже справедливого возмездия. Все дворы и правительства под-

черкнуто восхваляли покойника и оказывали ему положенные почести. Они не забыли славных трех четвертей царствования, продолжавшегося семьдесят два года, и не вспомнили о бесславной последней четверти. Император Священной империи даже надел траур, как по отцу, и запретил все публичные развлечения: в Вене были дни карнавала. Только французский посол позволил себе нарушить приказ, устроив единственный в городе бал.

Французы, казалось, просто с ума сошли от счастья, что избавились от своего короля, так же как некогда сходили с ума, им восторгаясь. Добро, сделанное покойником Франции, было сделано так давно, что молодое поколение о нем и не подозревало. Ничто больше не напоминало о том, что воспитанник Мазарини некогда избавил родину от гражданских войн и посягательств иноземцев. Это Вольтер потом напишет «Век Людовика XIV», воздав должное историческим заслугам короля, но напишет много позже, и в его книге чаши благодетелей и злодеев будут колебаться.

И все это общенародное ликование началось с раннего утра 1 сентября. Ровно в восемь часов тридцать минут на балконе дворца появился первый камергер герцога Бульонский и во всеуслышание провозгласил:

— Умер король Людовик Четырнадцатый! — Чуть помедлив, он крикнул еще громче: — Да здравствует король Людовик Пятнадцатый!

По другой версии объявлял офицер, сперва в шляпе с черным пером, затем — с белым.

Что этому предшествовало? 19 августа Людовик XIV заболел, чтобы больше не поправиться. Не помогало и ослиное молоко, которым поили его величество врачи. Сонливость, мучительная жажда, лихорадка все усиливались. 26-го умирающий велел привести к себе дофина, сопровождаемого герцогом Менским, и наказал пятилетнему правнуку быть таким же христианским королем, как он сам.

Людовика не могло не мучить и поразительное равнодушие окружающих. Кроме личных лакеев и еще очень немногих, никто не сожалел о том, что его величество расстается с жизнью и престолом.

Существует версия, по которой Ментенон бессменно дежурила у его постели, пока, не простившись с принцами крови и принцами легитимированными, с придвор-

ными, чиновниками, прислугой, король не сказал ей: «Теперь и вы уходите, мадам! Это слишком трагический спектакль. Но он скоро кончится». Однако большего доверия заслуживает свидетельство Сен-Симона, по которому она вела себя совсем иначе. Любопытно, что много позже опубликованные одним из самых радикальных просветителей, Лябомелем, письма и мемуары мадам де Ментенон стали книгой, беспощадно разоблачающей Людовика XIV, его царствование, абсолютизм.

Король был в сознании до последней минуты. Но по вине кардинала де Роана мог бы и остаться без предсмертной мессы, не пропустив почти ни одной за свою долгую жизнь. Нашелся все-таки священник, который мессу отслужил, но это был отнюдь не Телье, уставший напутствовать умирающего.

Что не горевал герцог Орлеанский, удивляться не приходится. Но не утруждал себя внешними проявлениями скорби и герцог Менский. Впрочем, равнодушие и даже радость Орлеанского была Людовиком заслужена, неблагодарность Менского ему поделом.

Поведение обоих во время болезни короля легко объяснимо.

Первый, «внук Франции», не имея причин сожалеть о настоящем, мог быть вполне уверенным в своем будущем. Помимо права быть регентом при малолетнем племяннике, которое давало ему происхождение, Филипп оплатил это право и своей женитьбой на мадемузель Блуа, ценой унижения, став зятем его величества. Проявив на краю могилы поразительное двуличие, король эту уверенность еще укрепил. Последними словами, сказанными им Орлеанскому, были: «Вы не найдете в моем завещании ничего, чем могли бы быть недовольны. Я поручаю вам дофина. Служите ему так же верно, как служили мне!» Конечно, конец фразы звучал двусмысленно и не слишком искренне — признание умирающего, что он злоупотреблял властью, почему, вероятно, понадобятся некоторые реформы. Но то и другое было произнесено вскользь, а затем последовала эффектная тирада: «Вы увидите одного короля — в могиле, другого — в колыбели. Сохраните навсегда память об одном и блюдите интересы другого!»

Вряд ли можно особенно доверять и искренности обещания Орлеанского, что он будет свято выполнять все

наказы его величества. Но обманутым, во всяком случае пока, был все-таки он.

Второй же — принц легитимированный — не нуждался уже в умирающем. В отличие от Орлеанского Менский знал истинные намерения своего отца.

27 августа король торжественно вручил президенту парламента де Месму и генеральному прокурору д'Агессо свое завещание, которое должно было быть вскрыто только после его смерти. Сославшись на усталость, Людовик о содержании завещания ничего не сказал.

Но, естественно, государственным предначертаниям покойника не суждено было сбыться. Завещание он составил в пользу легитимированных принцев. Им предоставлялось даже право наследовать престол. Управление Францией до совершеннолетия Людовика XV поручалось опекунскому совету из «побочных», близких им маршалов, в том числе де Виллара, министров во главе с герцогом Менским. Филипп Орлеанский получал по завещанию ничего не значащее право председательствовать на заседаниях совета.

Но уже 2 сентября парламент, утвердив на престоле Людовика XV, почти во всем остальном признал королевское завещание недействительным и назначил регентом Филиппа Орлеанского.

Тому были исторические причины.

Назначение это было predetermined тем, что герцог обладал теми качествами и исповедовал те убеждения, которых нация требовала от человека, способного стать во главе государства и сделать его во всем противоположным прошлому царствованию.

Конечно, потом управлял не один Орлеанский, и немалую роль в переменах, происшедших сразу, происходивших потом, и хороших и дурных, играли и кардинал Ноайль, и Сен-Симон, и воспитатель Филиппа, аббат, затем кардинал Дюбуа, члены совета регентства.

Для начала Орлеанский вернул парламенту Франции отобранное у него Людовиком XIV право «представления», утверждение государственной власти. Без этого герцог не смог бы и сам вопреки королевскому завещанию стать регентом. Не случайно речь, произнесенная Филиппом на заседании 2 сентября, поддержали не только

принцы крови, но и д'Агессо, и генеральный адвокат Омер Жоли де Флери. Герцог тогда же обещал вернуть не одному парламенту Франции, а и провинциальным парламентам все утраченные ими права. И не только обещал, но обещание выполнил.

В первые годы регентства надежды, которые на него возлагали, были даже превзойдены. Уже 5 сентября 1715 года единовластных министров заменили шесть советов: военно-морской, финансовый, торговый, иностранных и внутренних дел, дел духовных. Это ослабило деспотическую централизацию. В 1716-м Конде, принц крови, обратился к регенту с просьбой отнять у легитимированных принцев данные им покойным королем права. Орлеанский пошел дальше. Эдиктом от 8 июня 1717 года утверждали права нации. При прекращении династии королевская семья лишилась права распоряжаться короной — только нация могла найти выход из этого несчастья разумным выбором короля. Парламентам была возвращена вся полнота их прежней деятельности. Может быть, всего поразительней эдикт от 7 декабря 1715 года: регент не побоялся раскрыть перед Францией беспорядочное состояние государственных финансов... Не удивительно, что поговаривали уже и о созыве давно упраздненных Генеральных штатов. Это была любимая идея оппозиционно настроенного по отношению к покойному королю герцога Сен-Симона, друга регента, без помощи которого он мог бы и не выиграть битвы в парламенте. Для спасения государства от полного банкротства назначили комиссию под председательством известных финансистов братьев Пари. Уменьшили проценты с государственных бумаг, жалованье чиновникам, сократили их число. Стали чеканить монету низкого достоинства. Счетные книги велись теперь в двух экземплярах. Забота регента и его помощника о подъеме разоренного донельзя народного хозяйства выразилась и в покровительстве, оказываемом промышленности, торговле, земледелию. Разделив народное возмущение откупщиками, регент их прижал и наиболее злостных выставил у позорного столба с дощечкой «Гонитель народа» на груди.

Но принятые меры положения не спасли. К концу 1716-го государственный дефицит выразился в сумме 93 миллионов франков. Нищета низов общества не уменьшилась. Отсюда и восторг, с которым регент, чьи добрые

намерения несомненны, принял систему Ло, шотландского экономиста, который тоже искренне хотел превратить Францию в самую богатую страну Европы. Крах системы привел к полному разорению тех, кто рассчитывал разбогатеть, и окончательно уронил регента в глазах всех слоев общества. Но это было потом.

Пока же Орлеанского благословляли, и больше всего за перемены в религиозной политике. Он не только облегчил положение гонимых покойником сект, но освободил из тюрьмы многих янсенистов. Недаром Людовик XIV считал их республиканской партией в церкви. Регент изгнал за пределы Франции ненавидимого всеми духовника покойного короля Телье. Вернул из ссылки кардинала Ноайля и назначил его председателем совета по духовным делам, а тот был давним защитником янсенистов. Был даже поднят вопрос об изгнании ордена иезуитов. Но и сейчас их лишили права исповедовать и проповедовать, что тоже немало. Возник еще более радикальный проект возвращения во Францию гугенотов, окончательно изгнанных после отмены Людовиком XIV Нантского эдикта Генриха IV. Сперва отрицательное отношение регента к булле «Unigitus» — тогда фокусу всех религиозных распрей — выразилось даже в том, что по приказу Орлеанского рукой палача были сожжены брошюры, ее поддерживающие.

Надо стать на точку зрения верующих в бога-отца и бога-сына, почитающих апостолов и святых французов того времени, и сразу станет понятным их недовольство Версалем и Римом. Легко сказать, булла осуждала даже учения апостола Павла и святого Августина! Парламентам были разосланы приказы уничтожать книги, противоречащие булле, а ей противоречило решительно все, и наказывать за книги, которые еще только должны были выйти. Сам по себе этот диктат, оскорблявший достоинство парижского парламента в дополнение к тому, что его заставляли узаконивать побочных сыновей короля, возмутил председателя и советников.

Конечно, не все отваживались на открытое сопротивление. На собрании епископов сорок высказались за буллу, четырнадцать — против нее. Ведь Сорбонне, не принявшей буллы, велели внести ее в реестр.

Не одни духовные, но и светские французы тоже разбились на два лагеря. Симптоматично, что после прихода

Филиппа Орлеанского к власти противники буллы стали носить значки «Регентство» или «Конституция».

Это не удивительно: ведь еще смолоду герцог был либертеном или по меньшей мере к ним близок. Просвещенность, свободомыслие, природный ум и были теми качествами, которые должны были сделать Орлеанского главой государства. К этому надо добавить подчеркнутую простоту обращения. И, став регентом, Орлеанский отказывался разговаривать с теми, кто становился перед ним на колени.

На публичных балах-маскарадах в зале Оперы он как бы установил всеобщее равенство, разрушив сословные перегородки. Не отожествляя себя с государством, регент содержал своих любовниц на собственный счет, не позволяя им вмешиваться в дела Франции, не назначал своим мало достойным друзьям, прозванным им «висельниками», пенсий, не предоставлял доходных должностей.

Недостатки «фанфарона порока» также исторически предопределили его избрание регентом. «Великому посту» конца прошлого царствования должна была быть противопоставлена «масленица», ханжеству — полная свобода нравов, лицемерной добродетели — откровенность разврата. Слухи о кровосмесительной связи Орлеанского с родной дочерью, герцогиней Беррийской, очевидно, были ложными, так же как то, что он отравил Людовика XIV. Однако они служили главными козырями противников регента, им верили многие современники, верил и Вольтер.

Между тем он сам своей дерзкой непочтительностью к вышестоящим, колкостью стиля, а главное, критицизмом, расходившимся широко от критики всех и всего на оргиях в Пале-Рояле — резиденции Орлеанского, обязан «нравам регентства», памятным всем, в то время как реформы регента и его поворот к реакции помнят одни историки. Первой ласточкой критической мысли просветителей оказались «Персидские письма» Монтескье (1722 г.), утверждавшие — мысль должна быть свободна, подчинена лишь законам природы, естественному праву, знаниям.

Сейчас же отношение Аруэ-младшего к герцогу Орлеанскому-младшему сложно и противоречиво, как сложно и противоречиво само регентство. Многим «за» проти-

востоят много «против». Словно бы Франсуа Мари должен был считать — пришло его время. Началась новая жизнь в Париже, новая жизнь в «Тампле». Во главе стола за ужинами кружка теперь сидел его основатель, его верховный приор, хозяин дворца герцог Вандомский. А Франсуа Мари пользуется еще и большим успехом в тоже оживившихся парижских салонах. Не может не быть ему по душе и то, что запрещаемые при Людовике XIV брошюры и памфлеты, выводящие на чистую воду злоупотребления и язвы общественной жизни, теперь благодаря ослаблению гнета сыплются как из рога изобилия. В них, правда, не меньше нападок и на нравы регентства. А ослабление гнета не означает его упразднения. Франсуа Мари испытает это. Намеков на связь с дочерью регент не прощает.

Но и без того все не просто. «Против», повторяю, не меньше, чем «за». Старая приятельница Франсуа Мари герцогиня дю Мен (или Менская) ненавидит регента: он занял место, предназначенное ее мужу. Не слишком благосклонна к Орлеанскому и подруга Аруэ-младшего, маршалша де Виллар.

Однако не только их влиянием объясняется то, что, сам отнюдь не безгрешный, молодой поэт считает регента антихристом. Конечно, Франсуа Мари доволен тем, что положен конец ханжеству. Чего стоит уже одно то, что теперь не обязательно посещение церкви?! Но наслаждения, которым предаются регент и «висельники», больше напоминают ад, праздники сатаны, чем земной рай. Это же пир во время чумы! Не случайно и моровая язва в Марселе не заставила Орлеанского отказаться от оргий. Аруэ-младший сам был не прочь от спекуляций. Но — один из немногих — он не был захвачен безумием, охватившим тех, кто в жажде обогащения поверил в систему Ло, хотя есть и другая версия.

Стиль рококо, в литературе подготовленный «легкой поэзией» аббата Шолье и его собственной, не мог не быть близок Аруэ-младшему. Но он тогда считал своей миссией возрождение классицизма и создание эпической поэмы, воспевающей славные события отечественной истории.

И еще «против», может быть самое важное. Мало что изменилось в жизни Франции. Нантский эдикт не восстановлен, гугеноты, чье изгнание нанесло такой ущерб бо-

гатству страны, не возвращены. Да и о каком богатстве, о каком процветании может идти речь? Не меньше стало и при регентстве голодных бунтов, бунтов подмастерьев. Разве для тех, кто гнет спину на полях, отдавая почти весь урожай помещику, церкви, государству, для тех, кто слепнет в мануфактурах над гобеленами для дворцов или парчой для наряда вельмож, жизнь стала сплошным праздником? Праздником стала она только для высших слоев общества, не думающих о завтрашнем дне. Разве победили справедливость и правосудие?

Так должен был думать Вольтер, знаменующий собой ранний этап Просвещения, выступающий еще в защиту всего недифференцированного третьего сословия. Поэтому и в первой своей трагедии «Эдип», в поэме «Лига, или Генрих Великий», казалось бы столь далеких от современности, молодой автор поставил самые жгучие ее вопросы. А ведь та и другая написаны в восьмилетие регентства.

Конечно, выбор Вольтером этих жанров был продиктован не только соображениями осторожности. Но то, что он таким образом стал маскировать свои взгляды, несомненно, связано с переменами, быстро происшедшими в герцоге Орлеанском. Политическая линия начала регентства, противостоящая политике конца прошлого царствования, продолжалась, к сожалению, очень недолго. Причины тому были и крупные и мелкие. Страх перед иезуитами, с одной стороны, и, с другой, — гораздо более оправданный, — перед усилившимися религиозными распрями — янсенисты отличались еще большей нетерпимостью, — влияние аббата Дюбуа, стремившегося стать кардиналом, заставили Орлеанского отказаться от сопротивления булле «Unigitus». Уже декларацией от 7 октября 1717 года он запретил печатные издания, которые можно было заподозрить в неуважении к папе. Напрасно Сен-Симон втолковывал регенту то, что он и сам понимал раньше: булла ограничивала права французского престола. Избежать этой декларации было тем легче, что прежде Климентий XI буллы не одобрял. Но теперь Рим получил полную свободу действий, а Орлеанский в награду за покорность — папское послание с требованием полного подчинения булле.

Эти действия регента вызвали волну всеобщего недовольства и оппозицию со стороны парламента. Раз так,

обещание, данное Орлеанским 2 сентября 1715-го, — не предпринимать ничего, касающегося общественного блага без их совета, мудрых указаний, — было беззастенчиво нарушено. В 1718-м, как в 1667-м, парламентам снова запрещено вмешиваться в дела управления государством, дела финансовые. О праве «представления» больше и речи быть не могло.

Недовольство общества регентом еще усилилось. В декабре 1718-го был раскрыт заговор против него, в котором принимали участие и иезуиты. Несмотря на преследования авторов, Францию еще больше наводняли памфлеты, жестоко высмеивающие регента.

К тому же Филипп Орлеанский сблизился с папой и объявил войну своему тезке Филиппу V, королю испанскому. Не состоялся и предполагавшийся брак Людовика XV с инфантой испанской, хотя она четырехлетней девочкой приезжала во Францию.

В 1720-м из-за краха системы Ло регенту грозило свержение. Возник даже проект выкрасть короля во время его прогулки в Венсеннском лесу и объявить совершеннолетним. Регент и его приближенные приняли крутые меры, наводнили улицы Парижа войсками, и взрыва не произошло.

Но словно бы другой человек, а не тот, которым был он прежде, добиваясь от парламента утверждения нового проекта и получив отказ, обозвал президента де Месма старой свиньей, послал его подальше и получил в ответ:

— Монсеньёр, я не раз имел честь беседовать с королем, но и он не позволял себе подобных выражений...

Тогда регент пригрозил выслать весь парламент из Парижа. Месм заявил, что ни один советник, ни один чиновник не тронется с места.

Намерение тем не менее было осуществлено. Прежде чем выслать парламент в Понтуан, Орлеанский предусмотрительно переехал со своей семьей в Версаль и туда же перевез Людовика XV. Это тоже придумал Дюбуа, злой гений регента и регентства. Так или иначе все вернулось на круги своя. Никто уже не вспоминал о коротенькой оттепели после суровой зимы.

Регент власть удержал, но популярность потерял окончательно. Буря памфлетов на его политику и личную безнравственность, безбожие, несмотря на репрессии, ста-

ла свирепствовать с еще большей силой. Распространялись уже и листовки «Долой тирана!». А наряду с этим снова ожила иллюзия справедливого монарха. Те же, кто требовал свержения Орлеанского, еще громче кричали: «Да здравствует король!», словно при правлении Людовика XV их ожидала лучшая участь.

Иллюзии должны были кончиться зато у самого регента. Сослав после 1720-го и «висельников», он был мертв как государственный деятель, как личность, несомненно яркая прежде, еще до того, как от апоплексического удара умер физически. И привычное объяснение — неслыханная распушенность погубила в нем справедливого правителя — требует серьезных поправок. Невозможность при том же абсолютизме сделать страну богатой, народ — счастливым, установить терпимость и равенство, тяжело переживаемая потеря им популярности заставляли Орлеанского, несмотря на пошатнувшееся здоровье, по-прежнему продаваться пьянству и любовным утехам, словно радостно идя навстречу смерти. Между тем это давало еще большие козыри его противникам. Критика личных недостатков регента поддерживала атаку все большей и большей реакционности его правления.

А добрые намерения у несчастного, несомненно, были. Примечательно, что в 1718-м на премьере «Эдипа» Вольтера, не только разрешенного регентом, но с его дозволения посвященного герцогине Орлеанской, произошел следующий случай. Произнося реплику: «Когда он видит себя из-за ужасной связи кровосмесителем, отцеубийцей — и все-таки добродетельным», актер повернулся к регенту, как бы бросая эти слова ему в лицо. Публика остолбенела. Герцогиня Беррийская смертельно побледнела под румянами. Но регент поднял руки в белоснежных манжетах и громко зааплодировал. Он не мог, разумеется, не понять дерзкого намека, но придал большее значение тому, что было сказано о сохранившейся добродетели, и сочувствовал общему направлению трагедии.

После спектакля поэт и принц окончательно примирились, обменявшись шутивными фразами. Вольтер попросил регента больше не заботиться о его бесплатном жилище и пропитании (намек на Бастилию, откуда недавно вышел). Тот обещал и — можно считать — обещание выполнил. Больше серьезным преследованиям при Орлеанском Вольтер не подвергался. Правда, и он теперь

откровенных сатир на герцога и его дочь не писал. К тому же она умерла в 1720-м.

Эта подглавка может показаться слишком далекой от непосредственной биографии Вольтера. Но если Франсуа Мари Аруэ родился в 1894-м, в «век Людовика XIV», то Франсуа Мари Аруэ де Вольтер, можно сказать, родился в 1715-м, с началом регентства.

Началось, однако, опять с неприятностей. Уже в 1716-м, если не в 1715-м, Аруэ-младший был заподозрен в сочинении сатир на регента. Одну из них — латинское стихотворение «Царствующий ребенок» (название прозрачно: Людовику XV было пять или шесть лет) — он действительно написал. Это известно из доноса бравого офицера де Берегара, подосланного полицией, которому признался в своем авторстве сам Франсуа Мари Аруэ. То, что стихотворение полно непримиримой критики старого порядка, говорит о бесчисленных бедствиях французского народа, простили бы. Но молодой поэт весьма недвусмысленно обличал и пороки регента.

Первая расправа за дерзость не заставила себя ждать. Вопреки распространенной точке зрения, что Франсуа Мари сам бежал из Парижа на Луару, к герцогу де Сюлли, документы и письма говорят другое. 7 июня 1716 года регент отдал письменный приказ выслать Аруэ-сына в Тюль. Но Аруэ-сын забил такую тревогу: «куда это собираются его выслать?», «есть ли в Тюле герцогини, на каком языке там говорят?» — что отец пожалел его (несмотря на все угрозы, родительское сердце не камень) и добился замены Тюля замком Сюлли на Луаре (Сюлли сюр Луар).

Франсуа Мари должной благодарности к отцу не питал. К черту семью! В этом замке он будет жить у друга, герцога де Сюлли, которого, кстати, больше помнили как кавалера де Сюлли. (Герцогом сделала его недавно смерть старшего брата.) Франсуа Мари знал его еще по «Тамплию». Он был племянником легкомысленного аббата де Сервьена. У Сюлли говорили на хорошем французском языке, не то что в Тюле, и, прямо скажем, эта ссылка не должна была быть так уж тяжела. Герцог не женат. В замке постоянный галантный праздник. Чего Франсуа

Мари мог еще желать? Здесь построили и театр. Страстный театрал, Аруэ всех привел на сцену. Интриги завязывались в пьесах, которые тут ставились, но продолжались и развязывались под тенью деревьев парка и в альковах. Из этого восхитительного мирка Франсуа Мари пишет стихами и прозой друзьям по «Тамплю». Увы, некоторых членов кружка нет уже в живых. Маркиз Ла Фар умер в 1712-м, аббат Сервьен — в 1716-м.

Но недаром Франсуа Мари рожден таким непоседой. Пройдет не так много времени, и он уже будет писать регенту, добиваясь разрешения вернуться в Париж. Он не может больше прозябать в Сюлли сюр Луар. «Я не создан, чтобы долго жить в одном месте». Это правда. Он менял кресло десять раз за один вечер и сто раз резиденции за одну жизнь.

На этот раз он добился разрешения сменить Сюлли на Париж.

Из отцовского дома переселился в меблированные комнаты «У зеленой корзины» на улице Галандр.

Вернувшись в столицу, Франсуа Мари отнюдь не стал сдержаннее на язык. Говорил что хотел, и ему, как и другим, не мешали. Но он нисколько не щадил регента, нападая на самые дурные черты и поступки, действительные и предполагаемые, Орлеанского и его окружения.

Уличить поэта в сочинении новых злонамеренных произведений, однако, не удавалось, а случай серьезно покарать его за «Царствующего ребенка» был упущен. Поэтому-то и воспользовались тем, что полиция захватила анонимную — в те времена это было обычным — поэму «Я видел», самый неистовый памфлет на регента и правительство. Аруэ как его автора обличали словно бы уже следующие строки: «Я видел то, видел это, видел все злоупотребления, совершенные и предполагаемые... Я видел это зло, а мне только двадцать лет». Франсуа Мари было немногим больше двадцати.

Самое поразительное, что друзья Аруэ-младшего, находя поэму превосходной, подтвердили, что видели, как он ее писал, а враги, разумеется, эту выдумку подхватили.

Между тем «Я видел» написал вовсе не он, а Лебрюн, если верить автору последней большой французской биографии Вольтера — Жану Орьё (Париж, 1966). Напуганный опасным успехом памфлета, этот литератор свалил свое авторство на Аруэ. Лебрюн к тому же добивался,

чтобы поставили оперу по его либретто «Влюбленный Гиппократ», а если бы узнали, что его перу принадлежит «Я видел», спектакль бы наверняка запретили.

Регент был как нельзя более недоволен этим ударом и счел удобным приписать памфлет человеку, достаточно насоловившему ему «Царствующим ребенком», где изобличалась преступная связь Орлеанского с дочерью.

Увидев однажды ненавистного поэта у Пале-Рояля, герцог подозвал его и спросил:

— Месье Аруэ, бьюсь об заклад, что заставлю вас увидеть то, чего вы еще не видели.

Это был явный намек на «Я видел», и поэт его понял. Тем не менее он с невинным видом спросил:

— Что же это, монсеньёр?

— Бастилию.

— А, монсеньёр, оставьте ее для тех, кто уже видел!

Предложение, однако, не помогло. По одной версии 17-го, по другой — 16 мая 1717 года сьер Аруэ был арестован и препровожден в Бастилию. Сохранилось подлинное письмо Филиппа Орлеанского от 15 мая 1717 года с таким распоряжением. Был и приказ «царствующего ребенка».

Д'Аржансон, интендант, или начальник, полиции, был отцом двух друзей Франсуа Мари, свойственником маркиза де Комартена. Казалось бы, его можно не опасаться. Но он был служакой и подписал ордер на арест мнимого автора «Я видел», Аруэ-сына, предъявленный тому в собственной квартире.

Арестованный сохранил еще столько присутствия духа, что описал невеселую историю в стихах.

Но зато он вышел из себя и вскочил как бешеный, когда уже в Бастилии полицейский комиссар Изабо спросил, что ему сделал регент.

— Как, вы не знаете, что мне сделал регент? Он меня выслал за то, что я рассказал публике о его Мессалине! (Есть данные, что к «Мессалине» было добавлено «проститутка» — речь шла о герцогине Беррийской.)

И тут Франсуа Мари Аруэ, как мог в подобных условиях, отомстил за преследования, пустив в ход оружие, которым владел превосходно, — неистошимуую на выдумки изобретательность.

Изабо спросил узника, где его бумаги.

— В моем бюро.

— Не верю. У вас есть другие. Где они?

Тут-то у Франсуа Мари и родилась дьявольская идея.

— В уборных, — ответил он.

Более точных указаний не последовало. При всем несовершенстве тогдашней канализации уборные были на каждой улице, если не в каждом доме. 21 мая комиссар Изабо получил привилегию обыскать отхожие места. Ничего, разумеется, не обнаружив, он доложил шефу, по всей видимости тому же д'Аржансону.

— Ищите до конца! — распорядился интендант.

Поиски продолжались с тем же результатом, пока Изабо, догадавшись, что узник зло над ним подшутил, не объяснил это началству.

Между тем шутнику живется в тюрьме несладко. Особенно светский человек страдает из-за отсутствия предметов туалета. Просит принести «два индийских платка — один для головы, другой для шеи, ночной чепец, помаду...» и прочее, столь же необходимое. Но не забывает и про Гомера, и про Вергилия, его «домашних богов».

Выручает, как всегда, неизменное средство — работа. Болезнь, неудачу, несчастье он даже в тюрьме искупает книгами, пером, свободой духа. Забывает все разочарования и невзгоды. Он создает... Казалось бы, даже нельзя предположить такой могучей страсти к работе у человека, который выглядит столь хрупким, болезненным и легкомысленным. Когда Франсуа Мари пишет, он тверд, упорен, даже упрям в своей негибимой воле, серьезен.

С ним обращаются строго. В камере нет бумаги, нет пера. Ну и что ж? Он пишет карандашом на полях и между строчками книг. Так была начата «Лига», которую потом под названием «Генриада» прочтет вся Европа. Он сочинял, засыпая на жесткой тюремной постели, просыпаясь, записывал. Если это не так, лжет в своих мемуарах комиссар полиции Эро. С ним не раз еще встретится Франсуа Мари Аруэ де Вольтер.

Между тем в Париже узника Бастилии не забыли. Вспоминали чаще всего, чтобы зло пророчить — он больше не увидит дневного света, его заточили в крепость пожизненно.

К счастью, слухи, сочетавшие жестокость и злорадство с лицемерными сожалениями, не оправдались. Покровителям поэта удалось добиться замены дальнейшего заклю-

чения короткой ссылкой. В снисходительности нельзя отказать и регенту. 11 апреля 1718 года, при первых лучах солнца, Франсуа Мари вышел из Бастилии.

Сохранилось — разумеется, не им написанное — письмо восьмилетнего Людовика XV коменданту тюрьмы де Бернавиллю от 10 апреля 1718 года: «Я пишу Вам с ведома моего дяди герцога Орлеанского, регента, чтобы известить о моем распоряжении освободить сьера Аруэ, которого Вы по моему приказу содержите в моем замке, Бастилии... За это я прошу бога, чтобы воздал Вам...»

ГЛАВА 6

НАПИСАНО

ВОЛЬТЕРОМ

Как Пушкин в Михайловском, Франсуа Мари Аруэ — тоже в деревне, где, может быть, и родился, под домашним арестом. Дом удобен: Шатене почти Париж. Но он все равно жалуется, то и дело хлопочет о разрешении хоть ненадолго съездить в столицу. И хлопоты отнюдь не безнадежны. Барон де Бретей, церемониймейстер, от которого разрешение зависит, — его добрый гений. Высокий дух сочетается в нем с редкостным великодушием. Вся семья де Бретей принадлежит к истинной элите общества. Шатенейский пленник просит позволить ему провести в Париже три дня, барон щедро заменяет их восемью.

Зато чем благодарнее Франсуа Мари де Бретею, тем сильнее его неприязнь к собственному отцу. Добился-таки своего: стал тюремщиком сына! Пусть поэт не совсем справедлив, его нетрудно понять. После одиннадцати месяцев в Бастилии так хочется полной свободы! Отец же по-прежнему старается препятствовать его литературным занятиям.

Метр Аруэ тоже по-своему прав. Стихи, и ничто иное, если не считать длинного языка, привели Франсуа Мари в «собственный замок короля».

В Шатене Аруэ-младшего держат не так уж долго, всего сорок дней. Из них он добрую половину проводит в Париже, со всей неудержимостью своей природы набрасываясь на развлечения. И все-таки никак не может дожидаться, когда и это заточение кончится и он не будет больше видеть отца, заменявшего коменданта Бастилии.

А раньше, сразу после выхода из тюрьмы, Франсуа Мари пережил еще одно разочарование. О нем говорит строчка письма: «Мне изменили все, даже возлюбленная».

Кто же она, эта обманщица? Что заставило ее изменить

Франсуа Мари, причем уже во второй раз? Прелестную девочку звали Сюзанной де Ливри. Связь их началась еще в Сюлли сюр Луар. Дядя девушки был интендантом герцогства. Она сама тоже как бы принадлежала этому знатному роду: готовила свою свежую красоту для услаждения хозяев и гостей замка. Что же касается молодого Аруэ, то он и давал прелестному созданию уроки сценического искусства. В Сюзанне горел священный огонь таланта. Маркиз де Комартен писал жене о ссоре между большим поэтом и большой актрисой, впрочем, он тут же называл ее «Пимпет».

Почему Франсуа Мари простил ей первую измену со своим другом и ровесником, сыном председателя парламента Бретани, любезным, умным, добрым де Женонвилем? Объяснение просто: нравы регентства, которыми в замке Сюлли было проникнуто решительно все. Ревность? Что за чепуха! Какой же светский человек ее себе позволит? Да и любовь Франсуа Мари к Сюзанне, как и к Пимпет, не была серьезным чувством.

Конечно, он огорчился, застав однажды рядом с ней в постели на своем месте де Женонвиля. Аруэ был вспыльчив, горяч. Он топал ногами, кричал о неблагодарности, о вероломстве, вытаскил даже свою коротенькую шпагу — теперь она была у него уже наверняка. Но не пустил шпаги в ход, потому что оба изменника начали плакать. Франсуа Мари зарыдал и сам. История кончилась тем, что все трое обнялись. Без особого усилия над собой он простил обоих, не порвав ни связи с Сюзанной, ни дружбы с де Женонвилем.

Но на этот раз обманщица предала его, когда он томился в Бастилии, и уехала из Парижа, оставив и театр, где служила благодаря урокам и протекции самого Франсуа Мари, к герцогу де Сюлли.

И первое предательство вельможного друга он простит, не простив потом второго. Сюзанне тоже извинит эту измену, вспоминая только, как они играли вместе со знаменитыми актерами и большими сеньорами в домашнем театре Сюлли сюр Луар, и продолжая заботиться о театральных успехах актрисы, чья карьера не задалась.

Театр... Франсуа Мари, как мы видели, был уже актером, режиссером, педагогом прежде, чем стать драматургом. Театр — это его страсть на всю жизнь. Он хорошо

употребил одиннадцать месяцев в Бастилии для того, чтобы дописать начатого раньше «Эдипа» (в 1715-м он читал, видимо, сцены из трагедии в Со герцогине дю Мен). Еще семь месяцев понадобилось для того, чтобы можно было сказать — он хорошо употребил и свободу. 17 (18?) ноября 1718 года в Комеди Франсез состоялось первое представление его первой трагедии. Она имела огромный успех.

На этом кончается жизнеописание Аруэ-младшего и начинается жизнеописание Вольтера. Трагедия подписана новой фамилией, правда, еще не на афише, а на обложке первого издания 1719 года. Неважно, была ли эта фамилия переделана из названия местечка Эрво, где у семьи Аруэ некогда имелся земельный участок, или скорее анаграммой от «Аруэ молодой». Так или иначе подпись «Вольтер», да еще с частицей «де» впереди, была шпагой, воткнутой сыном в предубеждения отца. Наконец-то Франсуа Мари перестал быть сыном сборщика пеней! Наконец он доказал: писатель — это профессия. Де Вольтер — это писатель. Теперь он пользовался и милостью Филиппа Орлеанского. Разве иначе регент дозволил бы посвящать трагедию своей супруге, назначил бы автору пенсию, пожаловал бы золотой медалью? Сейчас Франсуа Мари ласкали и в аристократических салонах еще больше, чем до опалы и заключения.

Это не значило, что метр Аруэ сдался. Он посетил одно из первых представлений «Эдипа», видел, как восторженно бесновалась публика. Он знал, что доход автора от трагедии соответствовал ее успеху. И все равно так и не одобрил профессии, выбранной сыном.

Мира между ними не было до самой смерти метра Аруэ (в 1724 году). Да и потом — мы знаем — Вольтер не простил отца. Что же касается отношений братьев, младший судился со старшим, унаследовавшим или купившим должность отца, из-за остальной части наследства и почти не общался с Арманом, не переписывался.

Итак, шумная слава нового Расина увенчала дебют Вольтера. Именно дебют. Не только потому, что трагедия была подписана новой фамилией. Все написанное прежде, хотя поэзия и привела поэта в Бастилию, — только проба пера. Во всяком случае, так думал автор.

OE D I P E ,
T R A G E D I E .

PAR MONSIEUR
D E V O L T A I R E .



A P A R I S .
Chez **PIERRE RIBOU**, Quai des Augustins,
vis-a-vis la descente du Pont-Neuf.
M. DCC. XXII.

Et se vend, A BRUXELLES,
Chez **SINON T'SERSTEVENS**, Libraire
près les RR. PP. Dominicains.

Титульный лист трагедии «Эдип».

Почему он выбрал для своего первого большого произведения жанр трагедии и почему этот выбор так отвечал требованиям времени? Для нас — скажу сразу — «Эдип» Вольтера сохранил лишь историческое значение.

Чем привлекла молодого автора судьба несчастного мифологического царя Эдипа? Собственное несчастье, о котором он пишет из Бастилии не только друзьям, но врагу — регенту, хотя в трагедии спрятано жало, направленное против Орлеанского? «Эдип» был начат раньше. Уроки отца Поре? Желание достигнуть славы, обуревавшее его честолюбие? Конечно, в известной степени и то, и другое, и третье. Но главным было не это. Мы не сможем ответить на первый вопрос: почему Франсуа Мари Аруэ выбрал жанр трагедии, не ответив на второй: почему его выбор отвечал требованиям времени?

Ответ заложен уже в титуле «новый Расин», которым увенчали автора «Эдипа». Расин, как и Корнель, Мольер, были наибольшей славой французской литературы XVII века, ее господствующего стиля — классицизма. А классицизм во времена абсолютной монархии, достигнувшей наиболее полной и законченной формы именно во Франции кардинала Ришелье и Людовика XIV — до заката его века, — был стилем и *государственным* и *национальным*. Тогда национальное и государственное объединялось, но разъединилось потом и требовало объединения (регент это тоже понимал, особенно в начале своего правления, увидел в «Эдипе»).

Установленная при Людовике XIII кардиналом Ришелье самодержавная королевская власть положила конец феодальной раздробленности и анархии, терзавшим страну в XVII веке гражданским и религиозным войнам. Абсолютизм во Франции выступает тогда, по словам Карла Маркса, «в качестве цивилизующего центра, в качестве основоположника национального единства». Это и определило национальный и государственный характер стиля эпохи — классицизма, его идейную направленность, его поэтику.

Писатели-классицисты видели даже не главную свою задачу, но миссию, в воспитании каждого и всех. Литература — считали они — должна возвышать, облагораживать человека, исправлять нравы, призывать к доблести, героизму. Если абсолютизм в своей реальной поли-

тике, в своих государственных установлениях боролся с анархией и своеволием, то классицизм своими средствами служил той же цели, на первый план выдвигая обуздание личных страстей и желаний, но прежде всего в интересах народа, нации. Школьное, примитивное представление об этом стиле как придворном, сервиллистском, опирающееся на толкование многих французских, русских и некоторых советских литературоведов 20-х годов, неверно. Недаром классицизм Корнеля так тесно связан с Фрондой, с влиянием Английской революции, а классицизм Расина — с кризисом абсолютизма.

И живая литература, особенно в произведениях великих авторов, не могла слепо следовать догмам, законам стиля: считаясь с ними, она и отклонялась от них.

Каковы «правила» нормативной поэтики классицизма? Она требовала не субъективных переживаний и судьбы отдельного человека в ее неповторимости как предмета художественного изображения, а места человека в государстве, в обществе. Отсюда и требование объективного характера литературы. Не фантазия автора, не его свободный вымысел, произвольно выбираемые сюжет и герои, но подражание природе, объективная действительность, понимаемые, разумеется, не так, как понимает их реализм... Разум, а не опыт служит главным критерием художественной правды для классицизма как стиля, хотя не все его авторы были рационалистами, картезианцами, а многие — гассендистами, как, например, Мольер...

Родоначальником нового стиля стал поэт-лирик, ученик Ронсара, не разорвавший еще пуповины, связывавшей его творчество с поэзией XVI столетия, — Франсуа де Малерб.

В написанном через полвека после его смерти манифесте классицизма — «Поэтическом искусстве» Буало — говорится:

Но вот пришел Малерб и показал французам
Простой и стройный стих, во всем угодный музам.
Велел гармонии к ногам рассудка пасть.
И, разместив слова, удвоил тем их власть,
Очистил наш язык от грубости и скверны.
Он вкус образовал взыскательный и верный,
За легкостью в стихах внимательно следил...

Этими строками Буало восторгался Пушкин. Обратим внимание на «рассудок» (разум), «взыскательный и верный вкус», благопристойность — важнейшие требования стиля.

Но не лирика и тем более не роман, не включаемый даже Буало в его номенклатуру жанров, хотя XVII столетие дало великолепные образцы романа, но драматургия, трагедия и комедия как жанры, в понимании того времени наиболее «объективные» и рассчитанные на самую широкую аудиторию, заняли господствующее положение в литературе зрелого классицизма.

Без этого, без того, что их трагедии выражали время, а не только служили ему, они не стали бы произведениями искусства великого, вечного. Только тот принадлежит всему человечеству, кто велик у себя дома и в свою эпоху.

Но к той поре, как Вольтер принял за своего «Эдипа», великая национальная традиция классицистической трагедии уже несколько десятилетий как угасла. Расин ушел из театра в 1677 году, после провала гениальной «Федры». Попытка его в конце столетия вернуться оказалась неудачной. Политическая трагедия — о народном возмездии жестокой и преступной царицы — «Гофолия» была не одобрена королем, которого не обманул библейский сюжет. Особая бдительность проявлялась по отношению к самой массовой трибуне — сцене. Слава Корнеля тоже отошла в прошлое.

Театром завладели эпигоны, ремесленники. Они отличались друг от друга всего лишь фамилиями, их трагедии — всего лишь именами героев и весьма условно изображаемыми историческими событиями. Классицистическая поэтика, органичная для Корнеля и Расина, превратилась в тупые ограничения, потому что ограниченными и малоодаренными были те, кто ей следовал. Препоны воздвигла она и для Вольтера, хотя он и взрывал ее и стал создателем классицизма XVIII столетия. Не трагедия и комедия были его истинными жанрами, хотя он и считался первым драматургом Франции и Европы целого века, не классицизм, как уже говорилось, — его истинным стилем, хотя мы не имеем права пренебрежительно относиться к тому, что отвечало требованиям своего времени.

Возвращаясь к драматургам — литературным соседям Вольтера, нужно добавить: как мы могли уже убедиться, не Буало, хотя вопреки общепринятому мнению не он

первый отстаивал три единства — времени, места и действия, — это сделали итальянские теоретики литературы на сто лет раньше, — был виноват в том, что в эпигонских трагедиях не отражалась живая, разнообразная, протяженная во времени и пространстве жизнь. Подражатели Корнеля и Расина не способны были передать и огонь страстей.

Впрочем, самый крупный из театральных авторов того времени, Кребийон-отец (он и потом еще долго соперничал с Вольтером в жанре трагедии), не просто подражал своим великим предшественникам. В погоне за сценическими эффектами, к которым те были равнодушны, он громоздил отцеубийство на отцеубийство, братоубийство на братоубийство, кровосмешительство на кровосмешительство. Как и его менее удачливые собратья, нимало не заботился ни «о государственных мыслях историка» (Пушкин), более всего присущих Корнелю, ни о психологическом правдоподобии Расина. Все они ограничивались лишь тем, что Пушкин назвал «применениями», то есть политическими намеками на современность, но намеками мелкими и беззубыми.

Понимал ли двадцатичетырехлетний автор «Эдипа», что уже первая трагедия выведет его на главную магистраль французской литературы? Письма об этом молчат. Бесспорно одно: еще в 1715 году у него созрело, а в 1718-м укрепилось намерение высказать свои взгляды так, чтобы их услышало наибольшее количество людей, то есть со сцены, притом не навлекая на себя новых преследований. Хотя могло повториться и то, что двадцатью семью годами раньше произошло с «Гофалией». Он, как всегда, рисковал.

Оборонительными заграждениями должен был послужить сам официозный, признанный при дворе (рококо еще не стал господствующим стилем) жанр классицистической трагедии, далекий от современности сюжет. Примечательно уже то, что, широко пользуясь другими древнегреческими мифами, классицизм реже прибегал к знаменитому мифу о царе Эдипе. Характерно, что Корнель уже только в старости написал трагедию «Эдип».

Но взрыв классицистической трагедии изнутри заключался не в выборе Вольтером сюжета, а в трактовке его. Вместе с тем самый выбор мог быть воспринят и как введенная уже Кребийоном-отцом модернизация жанра, то-

же кровосмесительство — женитьба Эдипа на собственной матери, Иокасте, тоже отцеубийство. «Применения», которыми широко пользуется Вольтер уже в своей первой трагедии — вспомним хотя бы случай на премьере, — тоже, как только что говорилось, были тогда приняты.

Да, внешне «Эдип» оказался словно бы в привычном русле театральной литературы того времени. Но именно внешне. Концепция трагедии, ее пафос, ее живость немало не соответствовали стряпне Кребийона и кребийонов.

До нас не дошли рукопись или рукописи первой трагедии Вольтера. Мы не знаем, была ли в ней с самого начала или появилась потом восторженно встречавшаяся зрительным залом знаменитая реплика Иокасты: «Наши жрецы совсем не то, что думает о них суеверный народ. Наше легкомыслие — основа их мудрости». Кстати, по-французски жрец и священник обозначаются одним и тем же словом — «prêtre». Так же мы не знаем, была ли с самого начала в других репликах атакована и абсолютистская монархия.

Но намерения автора, когда он в Бастилии на полях и между строчками чужих книг дописывал «Эдипа», раскрыты, пусть и много спустя, в «Декларации», предпоследней Вольтером изданному им в 60-х годах полному собранию сочинений Корнеля. Там прямо сказано, что побудило его самого некогда написать «Эдипа»: «...я не исходил из собственных интересов, а думал об интересах общества и просвещении молодежи, о любви к истине, которая для меня дороже всех иных соображений. Мое искреннее восхищение добром равно моей ненависти к дурному. Я всегда думал только о совершенстве искусства...» Из написанного затем явствует — речь шла не об одной форме: «И скажу прямо — правда во всем до последней минуты моей жизни...»

Может показаться, что Вольтер думал так ретроспективно. Но перед нами текст трагедии. Он не только подтверждает истинность восхищения автора добром и ненависть его к злу, но и отвечает на вопрос, что для него было добром и что — злом.

Смело выступив соперником не одного престарелого Корнеля, но и великого грека Софокла, к чьей трагедии «Эдип-царь» он много ближе, чем к Корнелеву «Эдипу», Вольтер не только воскрешает великую национальную

литературную традицию и не только обновляет ее. Он и откровенно полемизирует со своими предшественниками, ведя бой на той же территории — стили, жанра и даже сюжета в одном случае, жанра и сюжета — в другом.

Хотя в его трагедии действие, как предписано Буало, продолжается двадцать четыре часа, не удаляется от одной и той же дворцовой площади, сосредоточено, хотя и с небольшими отклонениями, на судьбе Эдипа, это произведение французского классицизма оказалось и первым крупным произведением французского Просвещения. В строгих рамках жанра Вольтер сумел не в одних репликах, но и в движении сюжета, характерах, насколько это понятие здесь применимо, высказать идеи не только антиклерикальные (его злейший враг аббат Нонот назвал «Эдипа» «пробным ударом против духовенства»), но и антимонархические, демократические.

Для Корнеля в трагической судьбе Эдипа главное — герой не виноват в своих преступлениях, в том, что убил отца и женился на матери. Но автор нисколько не осуждает богов и жрецов. Вольтер же обвиняет несправедливых богов и их служителей за то, что они воспользовались несчастливо сложившимися обстоятельствами, чтобы наказать справедливого, пекущегося о народном благе правителя, и тем самым вызвали народные бедствия. Правитель обязан заботиться о народе, он — слуга народа. Вот главное мерило его достоинств и недостатков. Это просветительская идея, которой при всех ее вариациях Вольтер будет верен всю жизнь. И здесь сочувствие автора полностью отдано Эдипу и народу.

Вольтер выдвигает против религиозной доктрины благого, справедливого бога, которому противостоит неразумный мир, где царят зло и насилие, просветительскую идею — мир неразумен, но может стать разумным, и таким его могут сделать лишь люди. В V сцене IV акта его Эдип говорит: «Безжалостные боги, мои преступления и ваши, а вы меня наказываете!» В VII сцене V акта Иокаста идет еще дальше. «Почтите мой костер, — обращается она не только к действующим лицам, но и к публике и к потомству, — и не гасите никогда! То, что угнетает множество людей, заставит покраснеть и богов».

Для Корнеля естественно называть Иокасту «мадам» и выводить ее и Эдипа на сцену всякий раз в сопровож-

дении свиты. Для Вольтера это просто немыслимо. И для Софокла если не суть, то фон событий — судьба народная и судьба человеческая. Очень схож у него и у Вольтера характер самого Эдипа.

Но Вольтер, для которого, разумеется, языческие боги и жрецы лишь костюмы христианского бога и католического духовенства, полемизирует и с Софоклом. Эдип древнегреческой трагедии бессилен перед слепой и безжалостной властью обстоятельств, именуемой роком. Словно бы и мы, как Вольтер с его стремлением к правде, должны принять уважение Софокла к объективной действительности. Но Софокл не включает в объективную действительность деятельность человека. А Эдип Вольтера впервые не винится в невольных преступлениях, не смиряется, бросает вызов богам, как мы уже знаем, и обвиняет их.

В письме отцу Поре 1730 года, приложенному к экземпляру «Эдипа», Вольтер заявляет, что хор в трагедии выглядит искусственным, когда речь идет о событиях личной жизни героев. Здесь он — ученик Расина с его вниманием к изгибам человеческой души. Кто же станет изливать свои чувства при посторонних? Но в трагедиях политических, считает Вольтер, хор вполне уместен. «Эдип — трагедия политическая; и хотя хора в ней нет, он есть лишь у античных авторов, Вольтер ввел народных персонажей и толпу.

Зато в политической трагедии не нужна любовная интрига. Примечательно, что первоначально ее в «Эдипе» не было. Вольтер ввел любовь Иокасты и эгейского принца Филоктета, не слишком правдоподобную в силу возраста героини — она мать Эдипа, — лишь потом, по настоянию труппы Комеди франсез. Об этом рассказал сам автор: «Актеры смеялись надо мной, когда узнали, что в трагедии нет любовной роли. Будучи в те времена петиметрами и большими господами, отказались ее играть. Я был тогда молод и ослабил нежным чувством сюжет, который был для этого неприспособлен». (У Корнеля, разумеется, любовная интрига тоже есть, хотя и иная: свобода обращения не только с мифологическими, но и с историческими сюжетами у классицистов была полная.)

Но раз уже Вольтеру пришлось ввести Филоктета, он сделал и этого персонажа рупором своих идей. Именно в его уста вложена антиабсолютистская, демократическая

идея равенства всех людей. Во II сцене I акта Филоклет говорит: «Монарх для его подданных — бог, которого чтят, как Геракла, но для меня Геракл — обыкновенный человек» (прозаический перевод — мой. — А. А.).

Черты классицизма XVIII столетия, классицизма Вольтера, продолженного его учениками и не случайно ставшего стилем Великой французской революции, обозначались уже в «Эдипе». Вот как сам Вольтер в проекте посвящения русскому вельможе И. И. Шувалову трагедии «Олимпия» определил свое понимание жанра: «Трагедия — это движущаяся живопись, это одушевленная картина, и изображаемые в ней люди должны действовать. Сердце человеческое жаждет волнений. Хочется видеть, как мать, с распущенными волосами, со смертельным ужасом во взоре, готовая разрыдаться, устремляется к настигнутому бедой сыну; нас привлекают проявления силы, занесенные над кем-либо кинжалы, ошеломляющие перемены, роковые страсти, преступления и угрызения совести, смена отчаяния радостью, высокоих взлетов стремительным падением. Такова истинная трагедия» (1764). Трагедии действительные, эмоциональные, живописные он старался писать сам.

Но еще важнее, что гражданственности классицизма Вольтер придал новое качество, привив ей прогрессивные просветительские идеи. В предисловии к «Магомету» читаем: «Я всегда думал, что трагедия не должна быть просто зрелищем, трогаящим, но не исправляющим наши сердца. Какое дело человеческому роду до страстей и несчастий древних героев, если они не служат нам поучением?» И действительно, Вольтер превращал трагедию в орудие пропаганды просветительских идей, вводил в нее публицистику, как мы видели уже в «Эдипе». Это с самого начала отличало его трагедии от трагедий придворных классицистов, классицистов, по сути, мнимых, вроде Кребийнона-отца.

Реформа стиля и жанра, предпринятая Вольтером уже в «Эдипе», продолженная и развитая во всех его сочинениях для сцены, вплоть до последнего — «Ирины», оказалась достаточной, чтобы создать автору славу первого драматурга Европы XVIII столетия. Но непреходящего художественного значения, как «Сид» Корнеля, «Федра»

и «Андромаха» Расина, не говоря уже о комедиях Мольера, у театра Вольтера нет. Характерно, что даже в Комеди Франсез из всех его пятидесяти трагедий играется сейчас одна «Заира», из комедий — одна «Нанина».

Просветительские идеи Вольтера живы для нас в героико-комической, сатирической поэме «Орлеанская девственница», философских повестях, в «Философических письмах», портативном «Философском словаре», «Опыте о нравах и духе народов», в делах адвоката справедливости, частной корреспонденции. Слава трагедий «Эдип», «Фатализм, или Магомет-пророк», «Меропа», «Танкред», комедии «Шотландка» и других отошла с XVIII веком.

Если «Эдипом» Вольтер заслужил титул «новый Расин», то поэмой «Лига, или Генрих Великий» он осуществил мечту соотечественников о французском Вергилии. Эпос считался в Европе высшим родом поэзии. Каждой великой стране полагалось иметь свою эпическую поэму, прославляющую важнейшие события ее истории. Между тем Франция не имела ни своего «Освобожденного Иерусалима», как Италия, ни своей «Лузиады», как Португалия. Вольтер первый написал французскую эпическую поэму, как полагалось, на сюжет из истории родины и тем самым упрочил свою славу первого писателя Франции.

Но не тщеславие, как утверждает Рене Помо, руководило автором, когда совсем еще молодой он взялся за такую грандиозную задачу, а сознание своей миссии, долга перед нацией.

«Лига», а затем «Генриада» должны быть приписаны не одним урокам отца Поре, на чем тоже настаивает Помо. Отдавая должное, как отдавал сам Вольтер, урокам этого блистательного преподавателя, знатока античной литературы и литератора, его советам ученику Аруэ переделывать Вергилия, необходимо назвать и других учителей. Американский вольтерист Норман Торри указывает отцов Турнемира и Лаббе.

Бесспорно, интерес к истории, но отнюдь не отечественной, был привит автору «Лиги» еще в коллеже. Не меньшему поэту научился у книг по истории Франции, у народных сказаний.

Самый выбор сюжета и главного героя, подсказанных, как уже говорилось, старым маркизом де Комартемом, взрывал традицию и попадал на исключительно благоприятную почву современности. Кто из исторических

писателей не ищет в прошлом уроков для настоящего?! Вольтер искал их во всех своих исторических сочинениях.

«Лига» сперва распространялась в списках. Сам автор упорно не хотел ее печатать. Но, будучи закончена в 1720-м, она впервые была издана в 1723-м, без разрешения — привилегии. (Сочинения молодого Вольтера не издавались еще так мгновенно, как сочинения Вольтера зрелого.)

Опасения автора объясняются тем, что исторический сюжет поэмы удивительно точно накладывался на жгучую проблему современности. Генрих IV, ее главный герой, издал Нантский эдикт, уравнивший протестантов, или гугенотов, как их называли во Франции, в правах с католиками, что было актом величайшей религиозной терпимости. А «Лига» вышла, когда отмена Нантского эдикта все еще была зияющей раной на теле страны. Регент, как мы знаем, эдикта не восстановил. Тайком возвращающиеся на родину из мест изгнания гугенотские пасторы, уличенные в том, что отправляют по своим обрядам богослужение, приковывались к галерам. Браки гугенотов считались незаконными, дети их не имели гражданских прав. Между тем преследования протестантов продолжали наносить большой ущерб экономике Франции, что понимал регент в начале своего правления, но теперь при дворе об этом не хотели и слышать.

Генрих IV, мудрый и справедливый король, был воспет в народных сказаниях и легендах, и Вольтер, следуя в поэме фольклорной традиции, мог бы сказать о себе словами Анатоля Франса: «Я писал то же, что думала моя привратница».

Не удивительно, что духовные и гражданские власти неистовствовали из-за более радикальной «Генриады» еще свирепей, чем из-за «Лиги».

Так же естественно, что очень высоко ценили ее свободомыслящие современники. Кондорсе писал, что из всех эпических поэм мира «лишь одна «Генриада» имела нравственную цель, дыша ненавистью к войне и фанатизму, терпимостью и любовью к человечеству».

Проповедуя не только религиозную терпимость, но и политический разум, миролюбие талантливого полководца Генриха IV, ограничение им бюрократизма, автор давал урок правителям Франции своего времени.

ГЛАВА 7

ЗЕМНОЙ РАЙ

Он жил, и он умирал. Та же постель, где он вчера предавался любовным утехам, сегодня становилась смертным одром. Хилый с самого рождения, он умирал так часто, что трудно поверить, как он мог жить такой полной труда, наслаждений и опасностей жизнью. И все откладывалось в стихах. В 1719-м, совсем уже приготовившись к могиле, он шлет де Женонвилю стихотворное послание — как обидно, что омраченная душа покинет мир раньше тела.

Но пока человек жив, мало протестовать против того, что мир так плохо устроен. Мало проповедовать в рифмованных строчках земные наслаждения в противовес загробному блаженству, которое сулят жрецы христианского бога. Надо самому прожить столько, сколько тебе отпущено, как можно лучше.

А для этого в мире, где деньги значат все, надо прежде всего быть богатым. И Вольтер — недаром это годы регентства — не брезговал спекуляциями, хотя, показав себя мудрым финансистом, если верить первой версии, устоял от всеобщего увлечения системой Ло. Богатство нужно не только для того, чтобы чувствовать себя независимым как писатель, но и чтобы создать себе земной рай.

Однако он думает не об одном себе. Должно же быть на земле место, где есть и всеобщее благоденствие, и всеобщее равенство!

И такое место, земной рай, находится. В 1722 году Вольтер второй раз отправляется в Голландию (и Бельгию), но не по приказу отца и не в свите посла. Словно бы его везет подруга, рыжая, не слишком привлекательная, старше его тремя или четырьмя годами, маркиза де Рюпельмонд. Но это не только увеселительная поездка. В Гааге он собирает дополнительные материалы для поэмы «Лига» и «пробудет там, пока не будет иметь все, чтобы ее окончить».

Но там же он находит и свой идеал живой сегодняшней жизни. Вот что 7 октября он пишет своей постоянной поверенной и подруге президентше де Берньер: «Нет ничего более приятного, чем Гаага, когда ее достаивает своим посещением солнце. Здесь не видишь тогда ничего, кроме лужаек, зеленых деревьев, каналов. Между Гаагой и Амстердамом — земной рай. Я с уважением смотрел на этот всемирный магазин. В порту больше тысячи кораблей. Среди пятисот тысяч жителей Амстердама ни одного бездельника, ни одного петиметра (то, что мы называем пижон. — А. А.), ни одного высокомерного вельможи. Мы встретили Пансионария (правителя Нидерландов. — А. А.), он шел пешком, без лакеев, среди простого народа. И не видно было вокруг никого, кто хотел бы снискать его расположение. Здесь никто не взбирается на забор, чтобы поглазеть на проходящего принца. Никто не ценит ничего, кроме труда и скромности. В Гааге больше слуг народа, чем посланников. Я жил здесь, деля время между работой и развлечениями, и видел разницу между «по-голландски» и «по-французски». Мы посетили местную оперу, просто отвратительную. Но в качестве реванша я видел священников-кальвинистов, армян, социниан, видел раввинов и баптистов, которые прекрасно между собой сговаривались, в доказательствах каждого из них была своя правда».

Эта поездка — как бы преддверие лет, позже прожитых Вольтером в Англии. Это письмо — как бы эскиз «Философических писем». Уже здесь есть то скрытое, то явное противопоставление уклада жизни чужой страны с ее всеобщим процветанием, религиозной терпимостью, равенством, простотой нравов укладу жизни Франции, та же интонация восхищения, смешанного с мягким юмором.

Но из Голландии Вольтер привез еще и маленькую поэму «Послание к Урании» (первоначальное название — «Послание к Жюли»), или «За и против». Она написана как ответ на вопросы спутницы автора о моральном долге человека, его отношении к христианской религии и более того — к богу. Самим вторым заглавием поэмы Вольтер обещает говорить *за* и *против*. Но несколько строчек в защиту учения церкви тонут в страстных ее обвинениях. И вместе с тем, отвергая церковь, Вольтер не отвергает бога. Он только хочет бога, которого мог бы любить, ищет в нем отца, отвергая навязываемого людям бога-тирана.

Христиане лишь толкуют о милосердии. Христос якобы искупил зло мира своей смертью, но христианский бог слеп в своем гневе. Продолжают существовать две силы — добро и зло. Они борются между собой.

«За и против» — развернутая декларация деизма Вольтера. Предсказание отца Леже начало сбываться в полной мере.

Вывод, к которому пришел Вольтер, можно обозначить двумя словами — «земной рай» вместо рая небесного, сказки, прикрывающей ад на земле. Земной рай — он твердо уверен в этом — устроят люди. Бог Вольтера, начиная с «Эдипа», — обозначение добра.

Уже тогда Вольтер достиг высшего философского понимания того, как должен быть устроен мир, доступного 20-м годам XVIII столетия. Потом он углубит это понимание, будет сражаться еще решительнее, непримиримее, успешнее за добро, справедливость, разум — пером, словом, делом. Но основы заложены сейчас.

И с тех пор Вольтер применяет свой тактический прием — ударить и отдернуть ударившую руку. Пользуется постоянным аргументом: «Эти стихи (или «Эта поэма», «Этот памфлет») так плохи, что я не мог их написать».

Конечно, он выдвигает этот аргумент и отдергивает руку лишь тогда, когда угрожает опасность. «Эдип» подписан Вольтером, а «За и против», по одной версии «Лига, или Генрих Великий», по другой — первое французское издание «Генриады», уже после лондонского, приписаны недавно скончавшемуся аббату Шолье. И потом у Вольтера будет 137 псевдонимов и бесчисленное количество анонимных изданий. Все способы хороши, чтобы успеть нанести как можно больше ударов.

1722 год ознаменован для него еще и ссорой в Брюсселе с одним из последних французских классицистов старшего поколения, Жаном Батистом Руссо, тем самым, который некогда за стихи расцеловал воспитанника коллежа Франсуа Мари Аруэ. В марте Вольтер отправляет старому поэту чрезвычайно почтительное письмо: «Месье, барон де Бретей известил меня, что Вы еще немного мной интересуетесь и моя поэма о Генрихе IV Вам небезразлична. Я с радостью принял это доказательство того, что Вы обо мне помните...» Затем следуют изысканнейшие комплименты. Из примечания Теодора Бестермана к это-

му письму явствует, что Вольтер вручил Руссо еще рукописный экземпляр «Лиги». Но то, что так хорошо началось, кончилось плохо. Вскоре Вольтер и Руссо жестоко поссорились из-за поэмы «За и против», прочтенной автором при встрече. Старый поэт, сам в молодости отрицавший каноническую религию, теперь пришел в ужас от несравненно более решительных богохульств младшего собрата. Говорят еще и о том, что Вольтер позволил себе насмешливо отозваться о новой оде Руссо.

Это была ссора не личная, но конфликт гораздо более серьезный, исторический. Вместе с тем дело было не в различии поколений, но в направлении общественной мысли, мировоззрений.

ГЛАВА 8

ПОЭТ — ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ПРИНЦ

Один из самых известных эпизодов биографии Вольтера чаще всего рассказывается неточно. Между тем и причины, и последствия ссоры его с кавалером де Роаном Шабо очень важны.

О последствиях остроумно выразился Рене Помо: «Маленькое происшествие вызвало огромные события, — сказал бы Панглосс. — Если бы кавалер де Роан Шабо не «погладил» его по плечам, Вольтер не написал бы «Английские письма», эту главную книгу века».

Расшифруем, что стоит за афоризмом. Кто такой Панглосс, в комментариях не нуждается: «Кандида» читали все. Что же касается «поглаженных плечей» Вольтера, об этом нужно рассказать подробно.

Близость к высокопоставленным особам даже самых знаменитых писателей и артистов часто оказывалась для них опасной. Актер Данкур, славившийся остроумием, неизменно служил украшением ужинов, самых изысканных равно по тому, что стояло на столе, и по тому, кто за столом сидел. Но когда однажды Данкур был в особенном ударе, некий сеньор осадил его, сказав: «Если к концу ужина окажется, что ума у тебя больше, чем у меня, ты получишь сто палок». И палки отнюдь не следовало понимать как метафору. Они были в ходу не только в комедиях тогдашнего репертуара, но и в нравах Парижа 1725 года.

Данкура угроза вынудила в тот вечер больше не открывать рта. Вольтер подобной осторожности не проявлял. С ним ничего подобного произойти не может! Так сильна, несмотря на все преследования и заключения, была убежденность, что он принц, потому что он поэт. К тому же теперь он был уже и автором «Эдипа» и поэмы «Лига», общепризнанным первым писателем Франции. Друзья-аристократы не опровергали этого рокового заблуждения. Если бы Ришелье, Сюлли, Конти даже мягко бы его пре-

достерегли, разъяснили бы истинное положение поэта — выходя из третьего сословия в обществе, может быть, Вольтер держался бы осторожнее, меньше бы блистал. Но они позволяли наивному гению говорить все, что он хотел. Его легковерие и их равнодушие, а возможно и коварство, и привели к самому большому унижению в жизни великого человека.

Что же произошло? Приведу свидетельство современника. Некий парижанин Матье Маре в феврале 1726 года писал президенту Дижонского парламента Жану Батисту Буйеру: «Вольтер получил палочные удары. Вот правда. Кавалер де Роан Шабо, встретив его в опере, позволил себе такое обращение: «Месье де Вольтер, месье Аруэ, как же вас зовут?» Вольтер заявил, что не знает ничего о Шабо. Так это не осталось. Двумя днями позже в фойе Комеди Франсез поэт сказал, что ответит де Роану за происшедшее в опере. Кавалер поднял палку, но мадемуазель Лекуврер упала в обморок, и ссора прекратилась. Еще дня через три-четыре Вольтера вызвали из-за стола у Сюлли. Он вышел, не подозревая, что это все тот же де Роан. У парадной двери Вольтер увидел трех лакеев, вооруженных палками, которыми они погладили его по плечам. Говорят, что кавалер наблюдал избивение из лавки напротив. Поэт кричал, как дьявол, ворвался к герцогу де Сюлли, который нашел этот поступок грубым и неучтивым. Но он собирался в оперу, рассчитывая увеличить свои шансы на успех у мадемуазель де Прие...»

Письмо требует некоторых уточнений и поправок. Во-первых, ответ Вольтера на пренебрежительное обращение к нему кавалера, несомненно, был и злее и острее. Иначе он не задел бы так глубоко де Роана. Существует несколько версий этой словесной дуэли. По одной — поэт ответил: «Я начинаю свою фамилию, а вы свою кончаете». По другой — кавалер, встретив Вольтера и в первый раз не в опере, а тоже в Комеди Франсез, обратился к поэту без частицы «де» и даже не назвав «месье». Тот спросил, почему Роан это себе позволил.

— Потому что вы присвоили фамилию, которая вам не принадлежит, — презрительно ответил де Роан.

Последовала разящая реплика:

— Зато я ношу свою фамилию, между тем как вы раздавлены тяжестью своей.

Эта версия, кстати сказать, изложена в знаменитом

современном учебнике французского языка для иностранцев Може как образец остроумия Вольтера.

По третьей версии Вольтер выразился еще красноречивее:

— Я не волочу за собой своей великой фамилии, а делаю честь той, которую ношу.

Важно, конечно, не что точно было сказано и произошло ли обе встречи в Комеди Франсез или одна из них в опере, но истинные корни ссоры. Де Роан вынес наружу то, что под спудом таилось в том кругу, к которому он принадлежал по праву рождения, чего никак нельзя сказать о Вольтере.

Иной вопрос, что героем инцидента оказался именно кавалер, и это не было случайностью. Де Роан держался как очень большой сеньор, будучи полным ничтожеством. Однажды кто-то, пользуясь созвучием его фамилии со словом «руа» — по-французски король, — насмешливо спросил, не король ли он. Последовал высокомерный ответ: «Я не король, но устаиваю быть принцем». Он заслужил даже своей дурацкой заносчивостью кличку Журдена.

Словом, Роан вел себя на редкость дерзко, глупо и грубо, разительно отличаясь манерой держаться хотя бы от принца Конти.

Но, по существу, это ничего не меняло. Вольтер твердо рассчитывал, что хозяин дома, у дверей которого избили гостя, старый друг, пойдет с ним в полицейский комиссариат. Конечно же, то, что де Сюлли торопился в оперу, было лишь предлогом. Не заступились за оскорбленного поэта и другие высокопоставленные друзья.

Тогда истинный смысл происшествия стал понятен его жертве. Кавалер де Роан Шабо раньше и откровеннее иных аристократов доказал, что поэт вовсе не значит принц, автор «Эдипа» и поэмы «Лига» не равня всем этим герцогам, маркизам, графам, кавалерам. Он продолжает оставаться для «высшего света» Аруз, а не де Вольтером, и его громкая слава ничего не может изменить.

Аббат Комартен, родственник старого маркиза, выразился по этому поводу так: «Дворяне были бы несчастны, если бы у поэтов не было плечей для палок». Воспетый Вольтером в стихах, любезнейший принц Конти отпустил словечко: «Удары были плохо даны, но хорошо приняты», что служило намеком на трусость Вольтера. Эта легенда,

не похороненная до сих пор, начисто опровергается тем, что Вольтер во всей этой истории вел себя с редкостной, даже безрассудной храбростью. Не умея владеть шпагой — ему пришлось потом, надеясь расквитаться, брать уроки фехтования, — обиженный тут же вызвал обидчика на дуэль. Тот лицемерно принял вызов, но, чтобы обезопасить себя, сразу прибегнул к защите властей. О «безумии» добивавшегося поединка Вольтера и о том, как избегал дуэли де Роан, свидетельствуют многие письма и воспоминания современников.

Формально кавалер опирался на закон, запрещавший дуэли. Но разве закон выполнялся? Если бы этого вельможного труса вызвал аристократ, а не «парвеню», ему неизбежно пришлось бы драться.

Но из-за его происков, чтобы не допустить поединка, за Вольтером сперва установили строжайшую полицейскую слежку, а потом засадили в Бастилию. Палочные удары были даны в начале января 1726 года. 5 февраля государственный секретарь граф Морепа приказал комиссару полиции Рене Эро «из предосторожности арестовать избитого людьми кавалера де Роана Вольтера».

Кто в этой истории был трусом, а кто храбрецом, с удивительной ясностью видно из письма Вольтера тому же графу Морепа уже из тюрьмы, 20 апреля: «Я скромно добивался возможности быть убитым храбрым кавалером де Роаном, воспользовавшимся прежде ударами шести лакеев (а не трех. — *А. А.*), которых он мужественно выставил вместо себя. Все это время я стремился восстановить не его честь, но мою, что оказалось весьма трудно. Очень глупо, что, приехав в Версаль, я тщетно искал кавалера де Роана Шабо у кардинала Роана (дяди обидчика. — *А. А.*). Был бы очень рад доказательству обратного, но сознаю, что всю свою жизнь проведу в Бастилии, куда меня заточили».

Мысли о дуэли Вольтер не оставил и в Лондоне. Тайком возвращался оттуда в Париж, чтобы драться с де Роаном, но трус и на этот раз скрылся.

Как же он попал в Англию? В том же письме графу Морепа после несущественной просьбы разрешить ему столоваться вместе с комендантом Бастилии Вольтер обращается к государственному секретарю с самым важным для него ходатайством — разрешить уехать в Англию:

«...если в моем отъезде сомневаются, можно отправить меня под конвоем до Кале».

23 и 24 апреля Вольтер уже в письме Эро снова протестует против того, что был публично избит, а теперь наказан за преступление, истинного виновника которого не смог привлечь и к судебной ответственности. А дальше просит и комиссара полиции о разрешении уехать в Англию, куда он давно собирался.

При других обстоятельствах этот отъезд мог бы и не состояться. Но состоявшись, он и породил то огромное событие, о котором говорит Рене Помо. Как бы иначе Вольтер смог написать «Философические («Английские») письма»?

Желание покинуть родину, где происхождение значило все, а истинные человеческие достоинства — ничего, причем покинуть ее навсегда, возникло у Вольтера действительно до ареста, вскоре после того, как его «погладили» по спине. 10 апреля он — еще на свободе — пишет маркизе де Верньер: «Я доведен до крайности и ожидаю лишь выздоровления (не удивительно, что при слабом здоровье он заболел. — А. А.), чтобы навсегда покинуть эту страну».

В том же письме мы находим доказательство, что не одни аристократические друзья предают Вольтера, но отнюдь не безукоризненно ведет себя и скромный клерк повеса Тьерьо. Последнего он, однако, тут же прощает. Вольтер, которого так любят изображать злым и мстительным, еще раз доказал, что был, напротив, на редкость снисходителен и великодушен, прощал и любовную и дружескую неверность. Так он простил и самой маркизе де Верньер ее появление в опере с кавалером де Роаном, простил за то, что она смутилась...

Сюлли он, правда, за его предательство отомстил, впрочем, весьма невинно: в одной из песен «Генриады» предка герцога вопреки исторической достоверности, о которой вообще так заботился, заменил другим лицом.

Много еще Вольтер пережил огорчений, разочарований, обид, пока, наконец, в карете маркизы де Верньер в сопровождении полицейского 5 мая 1726 года не выехал в Кале, чтобы оттуда плыть в Англию.

Разрешение — оно же приказ о ссылке — было дано, как мы видим, довольно быстро. Пребывание Вольтера в Бастилии на этот раз оказалось коротким. Очень уж

были заинтересованы власти в том, чтобы убрать этого беспокойного человека из Парижа, и, надо думать, не ради одного только спасения кавалера де Роана.

А то, что узник беспрерывно жаловался, осаждая письмами государственного секретаря, комиссара полиции, друзей и подруг... Терпение никогда не принадлежало к числу его добродетелей. Но и для самого Вольтера отказ в посещении близких ему людей, обещанном Эро, в свидании с агентом по разным поручениям Добре были мелочами по сравнению с тем, что он едет в Англию.

Эта страна давно уже казалась ему землей обетованной. Не случайно англофильской была не только «Генриада», но уже «Лига». Еще до ссоры с де Роаном, 16 октября 1725 года Вольтер писал Георгу Английскому, что считает себя одним из подданных его величества и просит королевского покровительства для произведения, в котором выступил против политики Рима и прославил реформатскую религию, поддерживаемую Елизаветой.

Но, конечно же, не английская история, не английская современность определяли симпатии Вольтера и других передовых умов Франции к заморской стране. Рене Помо пишет: «Не случайно, с промежутком в несколько месяцев, Лондон посетили Монтескье, аббат Прево (добавляю от себя — автор не только «Манон Леско», но и «Английских писем», написанных раньше Вольтеровых. — А. А.) и Вольтер».

Англия — постоянный соперник Франции — к тому времени отняла у нее не только экономическое, но и духовное превосходство, владея над одними морями, но и над умами мира. С революции 1689 года она утвердила веротерпимость и казавшуюся тогда полную свободу мысли, такую государственную систему и такой общественный порядок, где каждый мог рассчитывать на свою долю удачи, то есть все, чего так не хватало на родине Вольтера и что он так хотел воочию увидеть на Британских островах.

В том, что не все соответствовало этому идеалу и по ту сторону Ла-Манша, он убедится, лишь переплыв пролив.

В Кале Вольтер пробыл всего несколько дней. Он написал оттуда графине д'Аржанталь, спрашивая, нет ли у нее поручений к месье и мадам Болингброк. Но это отнюдь не означало, что он искал протекции. С лидером тори лор-

дом Болингброком, несколько лет прожившим в изгнании во Франции и даже вторым браком женатым на француженке, материалистом и деистом, Вольтер был не только знаком, но и дружен, встречался с ним у президентши де Берньер и в других знакомых домах, гостил в его французском замке Лесурс, читал там поэму «Лига».

В одном письме той же маркизе поэт признается, что милорд заставил его забыть и о Генрихе IV и о Мариамне (героине собственной трагедии), об актерах и книжных лавках. Речь идет, очевидно, о рассказах Болингброка про Англию и его философских рассуждениях.

К тому времени милорд смог уже вернуться на родину.

Некоторыми рекомендациями влиятельных лиц к влиятельным лицам Вольтер все-таки заручился. Очевидно, он так добивался и свидания со своим агентом Добре, чтобы тот доставил ему рекомендацию английского посланника в Париже, Ораса Уолпола, родственника премьер-министра Роберта Уолпола. Она обеспечивала ему хорошую встречу в Лондоне не одних тори, но и виггов, которые тогда были в Англии правящей партией. Рекомендации дает изгнаннику даже ведомство графа Морепе, как бы заглаживая свою вину перед обиженным, пострадавшим за обидчика.

Точные сроки пребывания Вольтера в Англии неизвестны. Бесспорно лишь то, что в первый раз он высадился на этом берегу Ла-Манша в мае 1726 года, второй — после неудачной попытки заставить де Роана драться — в конце июля. Когда Вольтер вернулся во Францию? Между октябрем 1728-го и февралем 1729-го. Более точных сведений нет.

В конце концов, это не так и важно. Много важнее другое — вовсе не нужно унаследовать от предков частицу «де» перед своей фамилией, чтобы быть действительно храбрым, и, если истинную цену человека определяют его личные достоинства, а не происхождение, поэту нет нужды считать себя принцем. Палки лакеев кавалера де Роана, не излечив Вольтера навсегда от аристократических пристрастий, доказали ему: поэт, человек, гражданин значат гораздо больше, чем принц.

Часть II

ГЛАВА 1

НА ДРУГОМ БЕРЕГУ, ИЛИ АНГЛИЙСКИЕ УРОКИ

В трагедии «Заира», написанной после возвращения из Англии, Вольтер блистательно играл старого рыцаря Люзиньяца. Он и вообще любил исполнять роли благородных и несчастных стариков. Но как писатель, даже в лирике, до «Философических писем» для себя «роли» не написал. В стихах, поэмах, трагедиях высказывал идеи, выражал симпатии и антипатии, политические и личные, преобразованно и прозрачно отражая жизнь, общественную и интимную, порой называл, а не только позволял в античных или средневековых костюмах угадывать своих современников.

Но первое «я» Вольтера — конечно, тоже литературное — это рассказчик и главный герой «Философических писем», молодой француз, сеньор, но и путешественник и философ. Эта книга была подготовлена первенцем вольтеровской прозы — «Историей Карла XII». Под влиянием эмпирической философии Локка *опыт* — основа познания и раннего английского реализма, уже там он перешел от высокого стиля «Генриады» к простому повествованию, конкретности и точности в описании событий и нравов. Пользуясь свидетельствами очевидцев и множеством источников, достиг исторической и психологической достоверности, создал характеры Карла XII, Петра Великого, других действующих лиц.

В «Истории Карла XII» была авторская позиция, но отсутствовало еще это «я» рассказчика, делающее его главным героем. А оно-то и придало такую неопровержимую убедительность, такую пропагандистскую силу книге, по праву названной «Философическими письмами», труду поистине философскому в том смысле, который придавался философии в XVIII веке (она включала ис-

торию, политику, этику, эстетику, критику теологии, картину нравов, являя собой просвещение в широком понимании, и наряду с передовым образом мыслей, критикой теологии, отсталых учений, абсолютизма, непременно — легкостью, изяществом изложения, противостояла схоластике и педантизму), и произведению художественной литературы.

Если бы в двадцати пяти главах этого небольшого, но удивительно емкого сочинения были бы без этого «я» даны те же описания английских нравов и характеристика английской государственной системы, те же портреты людей знаменитых и безвестных, автор так же познакомил бы читателя с английскими сектами и одобрил бы терпимость господствующей религии, изложил бы ученье Ньютона и Локка, прославил бы английскую коммерцию, высказал бы суждения о литературе и театре, совершил бы экскурсии в историю Англии и Древнего Рима, выразил бы восхищение тем, какое уважение в этой стране оказывают ученым, писателям, артистам, — противопоставление двух берегов Ла-Манша получилось бы бесспорно. Но в книге не присутствовали бы те восторг и негодование, сочувствие и юмор, пусть и скрытая, но очень определенная программа действий, то субъективное начало, которое придало взрывчатую силу самой объективной правде (иногда в пропагандистских целях автор от нее и отклонялся).

Без «я» рассказчика, мыслителя и главного героя «Философические письма» не стали бы первой бомбой, брошенной французским Просвещением в феодализм и религию, и поэтому «главной книгой века», как ее называли, не потрясли бы так умы современников, не оказали бы такого влияния на ход истории.

И тут-то надо вспомнить афоризм Рене Помо. Этого «я» не появилось бы, если бы палки лакеев кавалера де Роана не «погладили» по плечам первого писателя Франции. Конечно, и без их ссоры и трех недель в Бастилии, и не сопровождаемый полицейским до Кале Вольтер скорее всего и так приехал бы в Англию, как приехали Монтескье и аббат Прево, эмигрировавший, опасаясь выписанного на него «леттр каше». Вероятно, и в этом случае Вольтер написал бы «Английские письма», но они были бы другими. Политическая температура, философский накал были бы, бесспорно, ниже, слабее.

Не узнав, какие Вольтер получил английские уроки, нельзя верно понять и другие произведения, написанные им после возвращения. Но «Философические письма» прямо-таки требуют предварительного знакомства с реалиями, то есть внешней и духовной жизнью автора в эти два с половиной года. Казалось бы, какой это крохотный отрезок времени в такой долгой и богатой событиями жизни Вольтера. Но какой значительный не только для его биографии, но и для истории человечества!

Переплыв Ла-Манш в мае 1726 года, Вольтер первую ночь в Лондоне провел у лорда и леди Болингброк, пользовался их гостеприимством и потом был принят у лорда и леди Гирвей, герцога Ньюкасла, герцога Питсборо, вдовствующей герцогини Мальборо и других родовитых особ, действительно пользовался расположением не только тори, но и вигов, обласкан и двором и премьер-министром. Против фамилий подписчиков на «Генриаду» чаще всего стоит «высокопочтимый» или «истинно благородный», то есть принадлежащий к высокому роду (right honorable). Он по-прежнему остался де Вольтером и в быту, и на титульном листе своих сочинений, кроме тех случаев, очень частых, когда они выходили анонимно или под чужим именем. Но, приехав в Англию, он, пусть в метафорическом смысле, отказался от частицы «де» перед своей фамилией и фамилиями вообще. Если прежде он так настаивал на этой приставке, полагая, что она символизирует равенство с привилегированной частью нации, теперь он такого равенства не хочет.

Жизнь Вольтера извилиста и противоречива. Он не раз еще даст основания упрекнуть его в аристократических пристрастиях. Но зигзаги вольтеровской биографии отражают сложность и противоречивость самой эпохи. Ключом к отступлениям Вольтера от главной — революционной (я не боюсь этого слова в применении к моему герою) магистрали своей жизни, деятельности, творчества служат его собственные слова: «Судьба заставляла меня перебегать от короля к королю, хотя я боготворил свободу». Правда, он напишет их потом.

Что же касается неполных трех лет жизни в Англии, хотя он не отказался полностью от общения с английскими Контти, Сюзли, Комартенами, именно тогда впервые с такой силой проявились его демократические убеждения и симпатии. Он выучился английскому языку.

Обратимся к фактам. Норман Торри прав, называя самым достоверным портретом жизни Вольтера в Англии его письма к Никола Тьерьо. Напомню, что тот был простым клерком, а затем скромным переводчиком.

Приведу в своем прозаическом переводе несколько стихотворных строчек одного письма Вольтера к этому другу:

«Я пишу тебе рукой, ослабленной лихорадкой,
С духом, навсегда сформированным ожиданием смерти,
Свободный от предрассудков, без имущества, без родины,
Без расположения высокопоставленных и без страха
перед судьбой,
Насмехаясь над всеми глупыми гордцами,
Всегда — одной ногой в гробу,
Второй выделявая прыжки...»

Мы видим здесь и немощность тела, и силу духа, и презрение к ничтожеству аристократов и собственному благосостоянию, и никогда не изменявшую ему иронию в отношении других и самого себя.

Это письмо написано еще по-французски, но позже, для того чтобы исповедь была полной и ничем не стесненной, Вольтер стал писать Тьерьо и другим французским друзьям, которые могли его понять, по-английски. Он, по собственному признанию, поступал так же, как Буало: тот вел свою корреспонденцию по-латыни, чтобы не могли прочесть те, кому читать не надлежало.

Однако Тьерьо только главный, но отнюдь не единственный адресат писем Вольтера из Англии. Список его корреспондентов уже в эти недолгие годы велик и разнообразен. Назову только — из англичан — Александра Попа, Джонатана Свифта, графа Оксфорда, из французов — графа Морвиля, маркизу де Берньер и даже графа де Морепе. Письма становятся полным и искренним его дневником, эскизами будущих произведений и сами — литературными произведениями эпистолярного жанра.

В первом английском письме к Тьерьо из Лондона от 26 октября 1726 года Вольтер взволнованно рассказывает, что, вернувшись в конце июля из тайной поездки в Париж, и безуспешной и дорогой, он оказался в весьма затруднительном положении. Имея при себе не наличные деньги, но векселя на восемь-десять тысяч французских ливров, он рассчитывал их учесть у банкира-еврея Меди-

на. Но тот обанкротился. Оказавшись, таким образом, без единого пенни, больной, несчастный, одинокий, чужой всем в городе, где «не знал никого» (?), он охотно растаскался бы с жизнью. Не исключено, что здесь немало преувеличений. Но нельзя забывать и что июль в Лондоне — месяц вакаций. Безусловно, милорд и миледи Болингброк проводили это время в деревне. Явиться к послу Вольтер в таком состоянии не мог. Никогда еще он не испытывал подобного отчаяния. Но, видно, был рожден для того, чтобы пройти через все житейские беды и уцелеть. Судьба послала Вольтеру в эту горькую минуту незнакомого английского джентльмена, который предложил ему сколько угодно денег, — говорится дальше в письме Тьерью.

Фуле раскрывает, кто был этот «незнакомый джентльмен» — ни больше ни меньше как английский король. Это вполне вероятно: в другом письме Вольтер с гордостью сообщает, что отказался от пенсии, предложенной королем и королевой. Значит, она была предложена, и, возможно, именно тогда. Но всего важнее, что *отказался*.

И тут же Вольтер пишет, что другой лондонец (тем правдоподобнее, что первый был король), прежде лишь однажды встреченный им в Париже, купец Эдвард Фолкнер, увез его в свой загородный дом. Там он прожил больше месяца скромно, безвестно и, предпочитая всем развлечениям дружбу, находил в этой жизни столько прелести, что почти не навещивался в столицу. После признания в любви самому Тьерью Вольтер пишет о Фолкнере: «Искреннее и благородное отношение этого человека утешило меня и защитило от всех горечей бытия...»

Теперь уже в Лондон вернулись Болингброки. Они проявили большое сочувствие к несчастьям своего французского друга, предлагали ему все — свои деньги, свой дом... «Но я, — говорится в письме дальше, — от всего отказался, потому что они лорды, и все принимал от мистера Фолкнера, потому что он всего-навсего джентльмен». «Джентльмен» здесь, бесспорно, употреблено с акцентом не на обозначение сословия, хотя и это важно: лорды в общественной иерархии занимали место, несравненно более высокое, но на прямой смысл этого слова — «благородный человек». Когда поэт Конгрив поблагодарил Вольтера за то, что посетил его — английского джентльмена, последовал ответ: «Я не пришел бы к вам, если бы вы были только английским джентльменом».

Признательность Вольтера человеку, от которого он принял помощь, была так велика, что вопреки всем правилам трагедия «Заира» посвящена купцу Эдварду Фолкнеру. Лишь потом тот стал кавалером, послом в Константинополе, секретарем герцога Нумберланда и министром почты.

Конечно, больше всего говорят о том, что увидел, узнал, услышал и понял Вольтер в Англии, сами «Философические письма», эта энциклопедия настоящего и прошлой страны. Книга поражает редкостью наблюдательностью автора, изобилует подробностями, которые, не боясь упрека в модернизации, можно назвать реалистическими, так же как остроумием, юмором, легкостью пера, полнотой и точностью информации. Но при всем том это не просто путевой дневник, даже литературный.

Книга и шире и уже непосредственных впечатлений автора. В ней не меньше, если не больше, сведений, почерпнутых из различных источников, и в нее вошли отнюдь не все его наблюдения и суждения. Вольтер отбирал и осмыслил то, что видел и слышал сам, и то, что брал из документов и исследований своих предшественников, подчиняя главной задаче — извлечь полезные уроки для своей родины. Это не склад, а арсенал, как потом метко назвали «Энциклопедию» Дидро и д'Аламбера.

Поэтому так важно избежать искушения просто пересказать «Философические письма», подменив пересказом работу биографа, воспользовавшись множеством соответствий, поставить знак равенства между реальной — внешней и духовной жизнью автора в Англии и его книгой.

Не случайно, выносив «Философические письма» в Лондоне, он написал их в Париже, и не сразу по возвращении, а лишь через пять лет, после трагедий «Брут», «Смерть Цезаря», «Заира», «Истории Карла XII» — тоже плодов английских уроков. Сколько времени понадобилось на этот раз Вольтеру, всегда такому стремительно и решительно во всем неутомимому. К тому же он и боялся писать, а тем более печатать эту книгу, не зная еще силы своего пера.

Сейчас же вернемся к английским письмам Вольтера без кавычек и расскажем о двух отрывках, не включенных в книгу самим автором.

В первом письме Тьерьо из Лондона Вольтер превозносит Англию за то, что это страна, где искусства почитаются и вознаграждаются, где, если между людьми и есть различия, то они определяются их истинными достоинствами, за то, что это страна, где мыслят свободно и благородно, не поддаваясь каким-либо сервиллистским соображениям. В письме от 26 октября Вольтер предлагает Тьерьо стать переводчиком английских авторов, чтобы познакомиться с ними французов, и советует ему приехать сюда. Он увидит «народ вольнолюбивый, просвещенный, презирающий жизнь и смерть, народ философов, не потому, что в Англии нет некоторого количества сумасшедших: каждой стране присущ свой вид безумия... Может быть, французское сумасшествие и приятнее английского, но добрая английская мудрость и английская честность выше нашей... я познакомлю Вас с характером этой нации...».

Письма к Тьерьо дают нам еще одно доказательство демократического умонстроения Вольтера в Англии. Первоначально он хотел издать «бедного Генриха» в Лондоне на свой собственный счет. Лишь отсутствие денег заставило его прибегнуть к покровительствуемому двором подписке на «Генриаду», о чем он горько скорбит. «Я устал от дворов, мой Тьерьо. Все то, что король или принадлежит королю, пугает мою *республиканскую* философию (курсив мой. — А. А.), я не хотел пить этого последнего глотка рабства в царстве свободы».

Но зато как дорожит он дружбой с великим английским писателем! Не только хлопочет о французском издании «Гулливера», но и заботится, чтобы автора его хорошо приняли во Франции, куда тот собирается. Конечно же, преподносит высокочтимому собрату по перу свой «Опыт об эпической поэзии», написанный по-английски и изданный в Лондоне.

Прочтем отрывки, исключенные Вольтером из «Философических писем». (Они были напечатаны потом в собрании сочинений под условным названием «Письма Месье ***».)

Первое «письмо», скорее всего, должно было быть началом книги. Герой только что, в мае 1726 года, приехал в Англию. Народное гулянье в окрестностях Гринвича, куда причалил корабль, приводит его в восторг. Лица гребцов на Темзе выражают «сознание свободы и благосостояния». О благосостоянии говорят и их костюмы. Все девуш-

ки кажутся Вольтеру и его спутнику, дипломатическому курьеру, благодаря «живости и довольству» миловидными и изящными. Негоцианты непринужденны и гостеприимны. Действительно, земля обетованная, земной рай... Французу кажется, что он перенесен во времена Олимпийских игр, прекрасное детство человечества. «Весь народ здесь всегда весел, все женщины прекрасны и оживленны, небо Англии всегда ясно и чисто, здесь думают только об удовольствиях».

Но прав немецкий ученый Вильгельм Гирнус: «Начав с иллюзий, Вольтер еще в молодости быстро от них отказался». Именно это произошло уже в первый день, проведенный им в Англии: посетив некий светский салон, сразу убедился, что и хозяева его и гости презирают простой народ. Где же равенство? Вопрос не задан прямо, но подразумевается. Господство той же частицы «де», от которого он бежал, неприятно поражает Вольтера, причем так скоро и на другом берегу Ла-Манша. Кроме того, здесь нет и изысканности, утонченности нравов французского высшего света. Вместо них — чопорность и манерность. К. С. Державин в своей монографии заметил, что в описании этого салона Вольтер предвосхитил «Школу злословия» Шеридана. Он прав. Читаем: «Дамы были натянуты и холодны в обращении, пили чай и шумно обмахивались веерами. Они или не произносили ни слова, или принимались кричать все сразу, понося своих ближних».

Так начинается неприязнь Вольтера к английским лордам, не меньшая, чем к французским сеньорам.

У меня нет точных доказательств, но это мог быть и салон Болингброков — ведь у них он провел первую ночь в Лондоне. Продолжение «письма» Державин называет написанным в диккенсовских тонах. Разочаровавшись в английских аристократах, Вольтер спешит в Сити. Что же он видит здесь? Грязное, плохо обставленное и слабо освещенное кафе, где дурно обслуживают клиентов. Сами же клиенты, для которых это кафе служит местом деловых свиданий, — нелюбезные и невоспитанные, сосредоточенные лишь на своих интересах и скучные коммерсанты. Они равнодушно, как любую малозначительную новость, обсуждают самоубийство молоденькой девушки Молли, бритвой перерезавшей себе горло. «Что же сделал ее жених?» — взволнованно спрашивает Вольтер.

«Купил эту бритву», — деловито и безразлично отвечает один из посетителей.

Так ясное и чистое небо гринвичского народного гулянья сменяется лондонским туманом и сыростью, веселье — английским сплином. Сразу же поколеблены вера в равенство и человечность и на этом берегу Ла-Манша.

Во втором «Письме Месье ***» еще разительнее контраст между иллюзиями и реальностью. Речь идет о двух встречах с лодочником, катавшим Вольтера по Темзе. Узнав, что его пассажир — француз, тот «начал с гордым видом превозносить передо мной свободу своей страны и клясться всем святым, что он предпочитает быть простым лодочником на Темзе, а не архиепископом во Франции». Но на другой день рассказчик встретил своего знакомого в тюрьме. «... он был в кандалах и протягивал руки из-за решетки, прося милостыни... я спросил его, продолжает ли он по-прежнему пренебрежительно относиться к званию французского архиепископа...» — «Ах, сударь, это мерзкое правительство насильно завербовало меня в матросы флота норвежского короля, и, оторвав от жены и детей, меня заковали и бросили в темницу из страха, чтобы я не убежал».

Спутник рассказчика, тоже француз, злорадствовал, что англичанин, вчера так кичившийся свободой в своей стране и так презиравший рабство, господствующее во Франции, сегодня сам оказался рабом. Рассказчик же, напротив, огорчился оттого, что *«на земле совсем нет свободы»*.

Я выделила эти поразительные слова, потому что они опровергают все традиционные упреки в том, что Вольтер и того-то и того-то не понимал. Он обладал удивительным для его времени пониманием хода истории и делал все, чтобы способствовать правильному его направлению.

Ведь и убедившись, что полной свободы нет и в Англии, он вернулся в нее, хотя не навсегда. И, конечно, не только потому, что на родине ему угрожала опасность. При всех противоречиях и несовершенствах этой страны она во всем главном превосходила тогдашнюю Францию. Значит, необходимо было взять все возможные английские уроки, чтобы потом преподать их своим соотечественникам и человечеству.

Почему Вольтер не остался в Англии навсегда, как первоначально предполагал? Потому что разочаровался еще больше в стране свободы и равенства, народе философов? Многое ему здесь продолжало нравиться, а критика, юмор, ирония — то, без чего Вольтер не был бы Вольтером. Потому что тосковал по родине? Главное не это, не причины возвращения, но сознание им своей миссии — привить Франции английский опыт во всех решительно сферах общественной и духовной жизни. Он, хотя и не во всем с равным успехом, эту миссию выполнял. Французской рационалистической философии привил английский материализм. Французской классицистической драматургии в своих «английских трагедиях» старался привить широту, свободу, правду Шекспира (этого, к сожалению, сделать не смог). А в «Бруте» и «Смерти Цезаря» — и республиканские идеи. Он первый познакомил Францию с Шекспиром. В «Истории Карла XII» стал, пока еще робким, зачинателем подлинной исторической науки, одновременно прививая французской прозе английский реализм начала XVIII века. Конечно, равной гениальному «Гулливеру» книгу эту счесть нельзя.

Он сделал очень много. Ньютон был известен во Франции и раньше. Там успели уже немало прочесть и о нравах Англии. Вольтер не был одиноким сеятелем на почве, готовой к посеву. Но какое имеет значение, кто первый сказал «э»? Английские семена, которые привез Вольтер на французскую землю, принесли наибольший урожай.

ГЛАВА 2

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В апреле 1729-го Вольтер снова в Париже. Произошли ли в нем существенные перемены? Может показаться, что нет. Словно бы тот же образ жизни, что до отъезда. Так же он проводит долгие часы за секретером. Только еще выше горы книг — источники произведений, над которыми он работает первые пять лет после возвращения: трагедий, «Истории Карла XII» и «Философических писем». Среди этих книг и томики Шекспира, и сочинения Ньютона, Декарта, и труды ньютонианца Мопертюи. Только еще чаще откладываются исписанные листы, сменяясь чистыми. Он постоянно бывает и в Комеди франсез, на репетициях и спектаклях, разбирает ссоры между актрисами, досадуя на потраченное время. Но успевает и чередовать труд с развлечениями. По-прежнему заботится о приумножении своего состояния. Нужно же возместить ущерб, нанесенный ему легкомысленным Тьерьо, растратившим большую часть денег, собранных по подписке на «Генриаду», и независимость писателя не меньше, чем прежде, зависит от текущего счета у банкира.

Он занимается и чужими делами, что, по сути, означает то же самое. Хлопочет о молодом талантливом авторе, помогает протееже друга, советника Руанского парламента, Сидевия, молодому издателю Жору.

Заводятся новые светские связи, как будто и не было палок шести лакеев кавалера де Роана, предательства герцога де Сюлли и других грансенъеров либертенов. Фамилии, правда, другие. Вольтер теперь приближенное лицо маркиза де Клерман, добрый знакомый министра Рулье. Можно ли назвать их друзьями? Друг — д'Аржанталь. Как хорошо, что он есть, что он здесь, всегда рядом, ангел-хранитель! Какие ценные советы дает он для каждой новой трагедии, которую посылает ему Вольтер в первоначальном варианте!

Первое письмо из Парижа, опять по-английски, Воль-

тер отправляет Тьерьо и до сентября почти никому больше не пишет. Очень важно понимание дружбы — Вольтер больше всего ценит умение хранить тайны. Пусть герцог Ришелье, «узнав, что я пишу Вам... на меня рассердится, имея к тому основания. Но сознаюсь, я ценю друга больше, чем герцога».

Между тем Ришелье его не предавал злополучной зимой 1725-го и весной 1726-го и сам тогда же был заключен в Бастилию из-за неудачной любовной истории. Позже Вольтер займется устройством его свадьбы с мадемуазель де Гиз и даже навлечет этим на себя недовольство гордого лотарингского рода. И потом поэт найдет убежище в замке герцога — Монж, в Бургундии, и дружба их продолжится на десятилетия и десятилетия.

Но пока он предпочитает разночинца аристократу и признается Тьерьо, что тот единственный человек, которого он хотел бы видеть.

Однако видит и других. Он ведет как бы двойную жизнь — истинную и камуфляжную. Почему? Почему может показаться, что он и не уезжал на три года, не брал английских уроков? Секрет в том, что не изменился Париж. «Здесь говорят только о Риме, об янсенистах, о папском декрете, об изгнаниях и арестах. Одно только собрание епископов повлекло за собой двадцать тысяч ордеров на аресты», — жалуется он в одном из писем. В других жалуется еще на многое.

В жизни истинной занимают большое место возобновившаяся сразу же после его возвращения давняя дружба с Адриенной Лекуврер и смешанное с горем от постигшей ее через год смерти, такой внезапной и преждевременной, оскорбление, нанесенное посмертным надругательством над телом покойной.

Отношения их были сложными и неровными. Вначале была не только дружба. Но пылкое сердце Адриенны требовало героев не одной душой, но и внешностью воинов. А Вольтер, тщедушный, тонкогубый и в молодости некрасивый, своим обликом на героя несколько не походил. Дружба их тоже перемежалась размолвками. Но какое это имело значение?! Адриенна от природы была наделена таким благородством чувств, такой непоколебимой

и бесстрашной дружеской верностью. Она была сиделкой Вольтера, когда он болел ветряной оспой — болезнью по тем временам не только заразной, но и опасной. Она упала в обморок, когда кавалер де Роан занес над Вольтером палку. А темперамент, внутренний огонь сделали Адриенну великой трагической актрисой. Они с Вольтером были связаны и совместной работой и не раз делили радость успеха и горечь неудач.

Этот огонь и сжег ее в возрасте тридцати восьми лет. Слабая здоровьем с юности, и, тяжело заболев, она, как некогда Мольер, не оставляла сцены. Последним ее спектаклем, 15 мая 1730 года, был «Эдип» Вольтера, где она играла Иокасту с самой премьеры. После этого спектакля Адриенна слегла, чтобы больше уже не встать...

Вольтер не забыл, чем был ей обязан, и вместе с ее последним возлюбленным, Морисом Саксонским, и графом д'Аржанталем четыре дня не отходил от постели больной. На его руках и руках Мориса Саксонского она и скончалась утром 20 мая.

Казалось, было бы так естественно, если бы Адриенна Лекуврер удостоилась самых почетных похорон. На следующий день Комеди Франсез отменила спектакль, и у дверей театра висела траурная афиша. Парижская публика ее боготворила. Но в тогдашней Франции профессия покойницы считалась презренной. Католическая церковь отказывала актерам в христианском погребении, если они на смертном одре не отрекались от греховного лицедейства. Опоздал ли приглашенный к ней перед смертью священник или она отказалась признать грехом свое святое искусство — версии и по этому поводу разные, — на «освященной земле» она вечного покоя найти не могла. Был иной выход — торжественные гражданские похороны: их не раз устраивались великие актеры. Но известный нам комиссар полиции месье Эро, опасаясь, что они соберут слишком много публики и вызовут нежелательный взрыв страстей — чего доброго, раздадутся голоса и против святой церкви, — предпочел, заручившись согласием правительства, распорядиться иначе. Тело великой актрисы даже не положили в гроб, а завернули в мешковину и ночью, тайком, в полицейской карете вывезли на пустырь на берегу Сены. Яма была уже приготовлена. В нее молча опустили останки, засыпали негашеной известью и сровняли землю. По выражению Воль-

тера, тело было «выброшено как груда хлама». Кроме полиции, на этих похоронах не было никого...

22 марта на траурном собрании возмущенных чудовищным надругательством актеров Комеди Франсез Вольтер выступил с гневной речью, где требовал от всей труппы, чтобы она отказалась играть до тех пор, пока ей, состоящей на жалованье у короля, не гарантируют тех же прав, что всем прочим подданным, и не являющимся слугами его величества. Актеры согласились, но практических последствий это, увы, не вызвало.

Вольтер, однако, не успокоился. Он не только сочинил речь об Адриенне Лекуврер, которую произнес перед публикой актер Гранваль, но посвятил ее памяти три стихотворения. Отослав одно из них Тьерю, он позже писал другу: «Вы знаете, что я отправил Вам месяц назад несколько строчек... взволнованных и проникнутых чувством беды, которое я испытал от ее потери, и, может быть, еще более горьким оскорблением от ее похорон, оскорблением, извинительным для человека, который был обожающим ее другом и поклонником и который к тому же поэт». В оде он выразил возмущение тем, что Лекуврер похоронили так, как будто она была преступницей, что так хоронят во Франции великих художников, которым в Греции воздвигали монументы... В одном из «Философических писем», озаглавленном «Об уважении, которое должно оказывать писателям и артистам», он еще вернется к похоронам Адриенны Лекуврер, противопоставив их похоронам скончавшейся в октябре 1730 года английской актрисы мадемуазель (так вместо мисс пишет Вольтер) Оффилдс, монумент которой в Вестминстерском аббатстве, так же как монумент Ньютона, высится рядом с королями и выдающимися государственными деятелями. Сравнивая посмертную судьбу двух актрис, Вольтер и в этом противопоставляет Англию Франции.

А то, что обе смерти произошли, когда он был уже в Париже, чего из текста «письма» не видно, лишний раз подчеркивает, что это книга, а не дневник¹.

¹ Много интересных подробностей о мыслях, чувствах и поведении Вольтера во время болезни и после смерти великой актрисы Лекуврер в не переведенной у нас книге американца Нормана Торп -- «Дух Вольтера» («The spirit of Voltaire» by Norman Torpy. N. Y. 1938) и книге Н. Я. Рыковой («Адриенна Лекуврер» («Искусство». Л. 1967).

Но, кроме протеста, бурного и опасного, была и уступка — правда, только одна. Сперва — коротенькая предыстория. После возвращения Вольтера больше не привлекают любви-«бабочки». Забыты и президентша де Берньер, и маршалша де Виллар. Плотские связи заменяет связь чисто духовная с дамой весьма пожилой, графиней де Фонтен Мартель. Она увлекается философией, бредит театром. Вольтер почти ежедневно ужинает у графини, затем и вовсе переезжает в ее отель. Они пишут друг другу письма с первого этажа на второй.

Но в 1733-м его постигает новое горе — болезнь и смерть и этой подруги. И безбожник заставляет графиню умереть «в правилах», то есть пригласить кюре, причаститься, принять святые дары. Как это могло случиться? Объяснение просто. Он не хочет еще раз пережить то, что пережил, когда тело Адриенны Лекуврер бросили, как груду хлама.

Это не значит, что он прекратит борьбу за уважение, которое нация должна оказывать своим писателям и артистам, своим поистине великим людям. И эта борьба неотделима от защиты прав человека и гражданина, сопротивления религиозной нетерпимости, королевской власти, бюрократическому игу парламентов, произволу полиции.

Как, оказывается, тяжела выбравшая Вольтера в шестнадцать лет профессия писателя! Читаем его письмо молодому честолюбивому автору: «Карьера литератора, особенно гениального, гораздо тернистей, чем путь к богатству. Если вы несчастливо одарены лишь настолько, чтобы стать посредственностью, чему я не хочу верить, вас измордует жизнь; преуспев, вы приобретете врагов, вы будете идти по краю пропасти между презрением и ненавистью». Дальше Вольтер пишет молодому собрату о тогдашней цензуре, которая отнюдь не являлась для авторов «школой мысли».

Он сам все время идет по краю этой пропасти, страдает от цензуры. Почти все, что он сочиняет и выводит в свет, не обходится без неприятностей. Даже посвящение королевскому тестю, Станиславу Лещинскому, не помогает «Истории Карла XII» получить привилегию — разрешение печатать. И какой поток клеветы обрушивается на эту достоверную книгу!

Хорошо еще, что, тоже не все, уроки, взятые им у «гениального варвара», как Вольтер называет Шекспира, — «английские трагедии» увенчиваются бурным успехом. Правда «Смерть Цезаря» не сразу стала достоянием широкой публики. Из осторожности Вольтер дал ее сперва лишь на школьную сцену коллежа д'Аркур.

Всего блистательнее прошла «Заира». Ее триумф в августе 1732 года утешил автора после провала «Эрифилы» в марте. (Потом переделанная трагедия прославится под названием «Семирамида».)

Чуть не помешало посвящение Эдварду Фолкнеру, но и с этим обошлось. «Заира» была написана за двадцать два дня — никогда еще Вольтер не работал с такой быстротой. Премьера ее состоялась в Фонтенбло для королевского двора, и двор остался весьма доволен, чего не могло бы произойти с «Брутом» и тем более со «Смертью Цезаря» с их республиканским пафосом.

Это не значит, что «Заира» была лишена своей доли змеиного яда, опасного для старого порядка. Но жало автор спрятал глубже. И двору, и зрителям Комеди Франсез французский вариант «Отелло» так понравился именно потому, что это был французский вариант. Автор и сам боялся грубости и решительного отступления от «правил» своего английского образца. На первый взгляд в «Заире» все соответствовало французской театральной традиции и действительно было с ней связано. Любовь занимала центральное место, не то что в «Смерти Цезаря», где не было даже женских ролей. И конфликт строился тоже «по правилам» — на противоречиях между чувством заглавной героини и ее долгом, семейным, патриотическим. Но сюда примешивался и долг религиозный: жало трагедии и было направлено против религиозной нетерпимости... Разрешение конфликта нельзя считать строго классицистическим. И любовь Вольтер задумал показать не ту, что обычно преподносили на отечественной сцене. «Наконец-то я решился изобразить страсть, но совсем не галантную, не французскую. Мой герой несколько не похож на молодого аббата, млеющего при виде своей возлюбленной за туалетом. Это самый страстный, самый гордый, самый нежный, самый ревнивый, самый жестокий и самый благородный из смертных», — писал автор другу поэту Формону 25 июня 1732 года.

В «Бруте» и «Смерти Цезаря» Вольтер стремится, сле-

дую Шекспиру, возродить на французской сцене политику, гражданские страсти, забытые со времен Корнеля, и идет дальше собственного «Эдипа», откровенно выступая как республиканец.

В «Заире» он хочет привить французской трагедии шекспировские подлинность чувств и гуманизм, избирает главным героем султана Иерусалима, мусульманина Оросмана, наделив его, однако, и добродетелями христианина и стремясь к сложности характера, о которой писал Формону.

Сам по себе восточный сюжет и восточный герой для французской трагедии новацией уже не были. И в «Заире» Вольтер явно учится у «Баязета» Расина, притом что очевидно — Оросмана автор старается сделать по образу Отелло.

Очень важным для Вольтера было и то, что его главная героиня, пусть и воспитанная в магометанской вере, в серале, — француженка и европейцы многие другие персонажи трагедии.

Сходство, более внешнее, чем истинное, с трагедией Шекспира этим не ограничивается. Заира, подобно Дездемоне, погибает от руки возлюбленного из-за рокового недоразумения. Там — платок, здесь — письмо, неверно истолкованное. Любовь Заиры так же всепоглощающая, как у героини Шекспира. Оросман не ревнив, как Отелло (здесь Вольтер отступил от замысла, изложенного в письме Формону), и даже осуждает ревность. Это, впрочем, можно объяснить не одним влиянием английского образца, но и тем, что и сам Вольтер не ревнив в полном соответствии с французскими нравами XVIII столетия.

Обратим внимание на своего рода автобиографичность «Заиры». Вольтер писал трагедию о подлинной, большой любви в то самое время, когда отказался от любовных интрижек, незадолго перед первой истинной своей любовью к Эмили дю Шатле.

Есть в «Заире» и свой Яго — Коросман.

На этом сходство кончается, и начинаются различия. Недаром трагедию возводят к влиянию не одного «Отелло», но и «Баязета».

Уже то, что убитая героиня падает в самой глубине сцены, почти за кулисами, как бы материализует «смягчение» Шекспировой грубости, французскую галантность, которой Вольтер не избежал, как ни старался избежать.

Вольтер не достиг и силы страстей Расина, талант которого, как все в эпоху рококо, неверно считал «сладостным».

Именно потому, что она отвечала французским вкусам своего времени, «Заира» уже на премьере в Фонтенбло исторгала слезы у публики, как исторгала и потом. Вторым доказательством неслыханного успеха трагедии было число зрителей, сопряженное с коммерческим эффектом. Первые девять представлений «Заиры» собрали 10 210 зрителей, оплативших свои места. (На первые девять представлений популярнейшей трагедии того времени «Инесса де Кастро» было продано меньше — 9517 билетов.) Число по тем временам астрономическое, весомое и теперь. Вольтера, недовольного «Заирой», это приводит в трепет.

Итак, в его трагедиях 30-х годов уроки иезуитов сталкиваются с английскими уроками, Просвещение с Возрождением, классицизм с шекспиризацией, но и с рококо.

Однако это не только дуэль, но и союз начал, казалось бы, столь противоположных, в борьбе Вольтера за возвращение в отечественный театр гражданственности или политики и торжество в нем человечности. Ничего этого не было тогда на французской сцене, точнее, в трагедии, где господствовали крeбийоны. Гораздо лучше дело обстояло с комедией, здесь были образцы подлинного искусства — Мариво, Реньяр...

В Англии, где и читали и продолжали играть Шекспира, современный драматург Адиссон с несравненно большим успехом следовал традиции французского классицизма, прежде всего его гражданственности. И в театре англичане опережали французов.

Отношение Вольтера к Шекспиру в 30-е годы (потом оно менялось, но всегда было для общей его позиции очень важным) широко известно. Оно прямо высказано в начале XVIII «Философического письма». Я лишь повторю в собственном переводе эту многократно приводившуюся цитату: «Англичане, так же как испанцы, имели театр тогда, когда у французов были только подмостки (имеются в виду представления на площадях. — А. А.). Шекспир, которого считают Корнелем англичан, расцвел примерно тогда же, когда Лопе де Вега. Он обладал гением, полным силы, естественности и возвышенным, без

малейших проблесков хорошего вкуса и малейшего знания правил».

Чаще всего эта декларация толкуется как следствие ограниченности Вольтера, не позволяющей ему выйти из-под гнета нормативной поэтики Буало. Было и это: в драматургии к Вольтеру применимо слово «ограниченность». Но мне представляется несравненно более глубоким толкование М. Лифшица, который объясняет критику Вольтером Шекспира тем, что она вытекает из критики им недостатков современного английского общества. Незнание Шекспиром «правил» и отсутствие хорошего вкуса связываются с грубостью нравов и господством обычаев по ту сторону Ла-Манша. Лифшиц прав и говоря, что просветитель Вольтер не мог не отвергать преклонения Шекспира перед необузданной силой средних веков. Понимая, что его учитель и соперник — гигант Возрождения, Вольтер, что тоже исторически объяснимо, придавал этому недостаточное значение.

Но вопреки утверждениям либеральных историков достоинства Шекспира — интерес к политике, государственные мысли историка, подлинность чувств и страстей, естественность обстоятельств, даже демократизм формы, хотя Вольтеру и трудно было принять смешение стилей — высокого и низкого, — перевешивали в его отношении к гениальному английскому варвару то, что он считал недостатками. Диву даешься, читая у Морне, что сдержанное отношение Вольтера к его английскому образцу объясняется отсутствием у него самого интереса к политике, у Морлея, Рокена — равнодушием Вольтера к гражданской свободе.

Особенно неубедительно звучат эти утверждения, когда узнаешь, что из всех трагедий Вольтера именно «Брут» и «Смерть Цезаря» оказались особенно близки Великой французской революции.

Они были возрождены первой республикой и шли с огромным успехом.

Но этого урожая со своих посевов автор уже не соберет. А в первой половине 30-х годов радость от успеха его трагедий чередуется с огорчениями.

В 1733 году он анонимно печатает написанный наполовину в стихах, наполовину прозой «Храм вкуса». Вольности этого сочинения, казалось бы, весьма умеренны. Защиты классицизма здесь гораздо больше, чем нападок

на него. Самое название говорит о том, что англофильство здесь отступило перед французскими «правилами». И все равно... На этот раз на него не обрушились гнев правительства, парламента, полиции, цензуры, иезуитов, но недовольны оказались писатели и читатели. Задетые хотя бы слегка литераторы вопят, что он их обидел. Неупомянутые — о том, что он их замолчал. Некий вельможа оскорбился даже на похвалу Вольтера: дескать, как посмел назвать его высокочтимое имя в печати!

Что же ожидает книгу, где английские уроки будут преподаны и полно и прямо?

Наконец «Философические письма» готовы. Одну копию Вольтер посылает Тьерью для издания на английском языке. Теперь тот в Лондоне. Вторую копию в Руан — Жору. Этот неудачливый издатель так ему обязан, что, можно надеяться, будет осторожен и изобретателен.

Словно бы можно рассчитывать на привилегию или хотя бы на неофициальное разрешение. Сам первый министр кардинал Флери смеялся, когда автор читал ему «письма» о квакерах, нарочно поставленные первыми четырьмя. Конечно, по ходу чтения не обошлось без купюр. Цензор, аббат де Ротелен, возражал лишь против «письма» о Локке и о душе. Граф Морепа, государственный секретарь, тоже оказался благородным читателем рукописи, о чем Вольтер в тяжелую минуту не преминул напомнить.

Но надежды быстро уступают место безнадежности. Сперва нужно добиться свободы печати во Франции, о чем тоже печатно высказываться нельзя. Вольтер вынужден ограничиться взрывом негодования в одном частном письме 1733 года.

И однако, рискуя еще больше, Вольтер добавляет к «Философическим письмам» «Заметки о «Мыслях» Паскаля», выступая против пессимизма, неверия в человека.

Но промедление с изданием тоже опасно. Не один он побывал в Англии. С каждым месяцем, с каждой неделей его книга теряет прелесть новизны. А опасность от этого не уменьшается, а увеличивается. Непременно вспомнят о том «вреде», какой нанесли сочинения, вышедшие раньше. Этот «вред» отнюдь не остался незамеченным теми,

LETTRES
PHILOSOPHIQUES

Par M. de V.....



A R O U E N,
Chez J O R E Libraire,

M D C C XXXIV.

«Философические письма». Первое руанское издание.

кто ненавидел правду, справедливость, свободу. Еще в 1725-м «Письма» швейцарца Беата де Мюрата, где английские нравы прямо сравнивались с французскими, вызвали бурный протест аббата Дефонтена, впоследствии заклятого врага самого Вольтера. Этот мракобес вопил, что затронута честь нации. В 1727-м Мариво выступил против пьесы Виктора де Буаси «Француз в Лондоне».

И тем не менее всего неприятнее, что Вольтера опережает один автор за другим. В начале 1733-го вышла «История квакеров» аббата де Катру, а в конце — первый номер «За и против». Прево и раньше касался английской жизни в своих романах, а сейчас обещал в каждом номере этого издания «вставлять при всяком удобном случае какую-нибудь интересную подробность, касающуюся гения англичан, давать заметки о достопримечательностях Лондона и Британских островов».

Книга должна выйти, пусть она снова приведет автора в Бастилию! Конечно, лучше, если удастся «замка его величества» избежать. Для этого нужно поступить так, как Вольтер старается поступать обычно и что помогает, к сожалению, далеко не всегда, — *ударить и отдернуть руку*.

Вера Засулич в книге «Вольтер» осуждает его за это. Тактика ее поколения революционеров была иной. Во времена Вольтера так поступали и его единомышленники. Их тактика борьбы была такова. И вдумается в самый смысл этого выражения, этого принципа: *руку нужно сохранить, чтобы она могла ударить еще раз*.

Блистательный вольтерист начала нашего века Гюстав Лансон обычного тактического приема и истинного отношения Вольтера к изданию «Философических писем» просто не понял. Он решил, что тот просто перепугался и поэтому сдерживал рвение Тьерье и Жора. Обвинить Лансона тоже нельзя. Тогда еще не были опубликованы все письма Вольтера, в том числе и касавшиеся первого французского — руанского — издания. Исследователь, вероятно, не видел и «дела» о «Философических письмах», хранящегося в Национальной библиотеке в Париже. Его книга вышла в 1906 году. Но и позднейшие исследователи, увы, тоже редко высказывали правильную точку зрения на поведение Вольтера и до и после первых изданий «Философических писем».

Обратимся к самому авторитетному свидетелю — пись-

мам Вольтера. 1 апреля 1733 года он дает Тьерьо точные указания, как издать книгу без опасности для автора. Не нужно, чтобы она выглядела так, словно сам автор дал рукопись для печати. «Это частные письма, которые я Вам посылал и которые Вы издаете. Следовательно, раз это Вам самому пришлось в голову, Вы должны поместить предупреждение. Из него публика узнает, что мой друг Тьерьо, которому я посылал эти отрывки в 1728-м, решил опубликовать их в 1733-м и что он любит меня от всего сердца».

12 апреля он пишет Сидевилю в Руан, просит узнать, как идет работа у Жора. Затем следует фраза: «Письма» отправлены в Лондон, к бедному Тьерьо, с условием, что они не выйдут во Франции, пока не угаснет пожар от дегюта в Лондоне или Амстердаме».

Произошло досадное недоразумение: Тьерьо поверил чьей-то выдумке, будто Вольтер заявляет: он, Тьерьо, издал книгу вопреки воле автора и даже украл рукопись. Поэтому-то Вольтеру и пришлось разубеждать «неразумного друга», приводить доказательства. В сентябре он пишет Тьерьо в Лондон, что объяснил и хранителю печати, и министру юстиции, месье Рулье (вот для чего нужно было это знакомство), и месье кардиналу — «книга издана с согласия автора».

Потом Вольтер придумал другую версию, тоже ничем не угрожавшую издателю.

Вольтер уехал в Монж под предлогом хлопот о свадьбе герцога де Ришелье и мадемуазель де Гиз, а на самом деле спасаясь от неприятностей из-за выхода в свет руанского издания, оттуда писал Флери 24 апреля 1734 года: «Тьерьо издал ее (книгу. — А. А.) под шум слухов о смерти автора».

А вот Жора и его помощников Вольтер не выгораживает и имеет на то все основания. Он прав, негодуя в письме Сидевилю от того же числа: «Какая наглость поставить мою фамилию и издать произведение с «письмом» о Паскале, которое я больше всего боялся выпускать!» «Дело» о «Философических письмах» показывает, что Жор нарушил заключенное между ним и автором условие. (На обложке — только инициалы, но этого достаточно. — А. А.)

Тревога оказалась не напрасной. Употребив слово «пожар» в метафорическом смысле, Вольтер не мог предви-

деть, что метафора станет реальностью и не по поводу лондонского или амстердамского издания, но злополучного руанского. (Амстердамское, но подложное здесь, правда, тоже примешалось.)

«Философические письма» были не первой книгой, сожженной в XVIII веке во Франции палачом у главной лестницы Дворца правосудия. Но для Вольтера первый пожар будет отнюдь не последним. И примечательно, что сожгли даже не руанское издание, но подделанные под него экземпляры амстердамского. Недаром Себастьян Мерсье позже остроумно и метко заметил в «Картинах парижской жизни»: «Цензоров не нужно считать бесполезными людьми: благодаря им обогащаются голландские книгоиздатели». И на этот раз последние воспользовались запрещением печатать книгу на родине автора, так же как и блистательным успехом лондонского, более раннего издания. И успех и экземпляры книги быстро переплыли через Ла-Манш. Не помогли никакие предосторожности. Тираж руанского издания заперли в складе и скрывали, где этот склад находится. Но достаточно было одного экземпляра, отданного в переплет, чтобы в Амстердаме появились точные копии книги и тут же стали распространяться во Франции.

Не метафорой могла стать и Бастилия. 6 мая в Монже Вольтер узнал, что против него самого подписан тайный приказ об аресте, руанский склад обнаружен, Жор и его помощник уже арестованы.

Вольтер шлет письмо за письмом в самом дружеском тоне своим бывшим тюремщикам — Эро, самому Морепе: им же нравилось то, что он посмел написать. Опять тактика!

Но в письме начальнику полиции есть и фраза, свидетельствующая, что и в таком тяжелом положении Вольтеру не изменило чувство собственного достоинства: «Моя книга переведена на английский и на немецкий языки и приобрела больше поклонников в Европе, чем не заслуживших уважения критиков во Франции».

Вольтеру удалось избежать нового заключения лишь потому, что хозяева Монжа переправили его в Лотарингию, к границе с Германией. «Леттр каше» в исполнение приведен не был, но висел над Вольтером целых десять лет.

Врагом книги и ее автора на этот раз оказался па-

рижский парламент. Это он вынес решение о сожжении «Философических писем» 10 мая 1734 года и больше всех преследовал автора.

Сожжение, однако, не помогло. «Главная книга века», как Феникс, возникла из пепла. Не только уцелели многие экземпляры поддельного амстердамского и руанского изданий, но и в одном лишь 1734 году «Философические письма» были бесцензурно переизданы пять раз и еще пять за годы 1735—1739. Костер у Дворца правосудия лишь способствовал ее феноменальному успеху.

Читатели запрещенной литературы большей частью принадлежали к высшему обществу и богатой буржуазии, феноменальные цены на запрещенные книги их не останавливали. Голландские издатели при таких покупателях наживались сверх всякой меры.

Первыми видимыми последствиями широкого распространения «Философических писем» было то, что светские дамы стали изучать английский язык, прежде во Франции мало известный в отличие от итальянского и испанского, а все сколько-нибудь выдающиеся французы поторопились побывать за Ла-Маншем.

Что же касается автора, этот костер разжег в нем еще большую неприязнь к старому порядку.

Часть III

ГЛАВА 1

В СИРЕ, ИЛИ БОЖЕСТВЕННАЯ ЭМИЛИЯ

Как всегда, одно у Вольтера заходит за другое, продолжения чередуются с началами, и все самым причудливым образом переплетается. Словно бы, перевалив на четвертый десяток, он окончательно распрощался с любовью. Но в 1732-м, еще не потеряв графини де Фонтен Мартель, он встретился с Габриелью Эмилией, маркизой дю Шатле-Ломон. Она была дочерью его давнего благодетеля, барона Ле Тонелье де Бретей. Вольтер знал ее ребенком. И только встретился, как от благоразумного решения не осталось ничего. Летом 1733-го они уже любовники, принадлежа друг другу и душой. Для обоих это самое большое чувство в жизни, самая близкая духовная связь, хотя — единомышленники — они нередко будут и противниками.

О наружности и характере маркизы мнения противоречивы. Гюстав Лансон приводит отзыв о ней мадам дю Деффан: «Представьте себе женщину высокую и сухую, с резкими чертами лица и заостренным носом: вот физиономия прекрасной Эмили, физиономия, которой она так довольна, что не жалеет усилий, заставляя любоваться собой... Завитки, помпоны, драгоценности, стеклярус — все в изобилии... Она желает казаться красивой наперекор природе и богатой наперекор своим скромным средствам. Чтобы доставить себе излишнее, порой обходится без необходимого, вплоть до рубашки...»

Но тут же Лансон признает этот злой портрет непохожим на оригинал и, опираясь на воспоминания других современников, дает иной, правда, с добавлением не столь уже лестных подробностей: «Вовсе не некрасивая и даже очень привлекательная, мадам дю Шатле была, конечно, кокетлива, любила украшения, характер имела пылкий и была смела, аристократически бесстыдна, вплоть до того,

что принимала ванну при лакее, не считая его женщиной».

На одних сохранившихся портретах Эмили д'ю Шатле она не слишком хороша собой, на других — хороша, но мастера могли и польстить, и не польстить оригиналу.

Гораздо важнее то, что Лансон пишет дальше: «...Она мыслила». Другой злой язык говорит, что каждый год она производила переоценку своих принципов. Она писала на научные и философские темы. Ее считали педанткой, но она была искренно серьезна. Она предпочитала работу ума ничтожным удовольствиям «света». «Она не была ни набожной, ни даже верующей. Она не была мелочной, не злословила и была вовсе не зла... она могла бы сказать, что желала, чтобы, кроме спальни, с ней обращались, как с женщиной. Она обладала мужским умом, мужским сердцем; прямая, верная, она была способна на самопожертвование; вообще была лучше тех женщин, которые насмехались над ней».

Конечно, человек не устроен, как головка сыра: где ни разрежешь — одно и то же. Так же сложно была устроена и маркиза д'ю Шатле; и отношения их с Вольтером, как мы не раз убедимся, полны были сложностей и противоречий, проросших через много лет, и в фокусе всего им написанного и сделанного — «Кандиде». Но многое в характеристике Лансона верно.

Пора, однако, рассказать всю историю их любви и общей жизни по порядку.

Потом благодаря своей продолжительности и тому, что они поселились вместе, связь Вольтера и Эмили д'ю Шатле стала открытой, общепризнанной. Это было совершенно в нравах того круга и особенно того времени. Наличие мужа у маркизы ничему не мешало.

Но сперва это были еще тайные свидания в парижской гостинице «Шарон», которая славилась фрикасе из цыпленка. Они наслаждались и фрикасе. Маркизе тогда было двадцать семь.

А девятнадцати, в 1725-м, она вышла замуж за человека, старше ее одиннадцатью годами, добродушного, но ограниченного солдафона. Вряд ли она когда-либо и любила маркиза. В их среде любовь, как правило, необ-

ходимым аксессуаром брака не считалась, впрочем, и побочных связей тоже. Способностью действительно любить, как и многим другим, Эмилия решительно отличалась от большинства дам «света».

Супруги редко и жили вместе. Семейный замок Сире был заброшен. Муж — при своем полку, жена — в Париже и Версале. Слишком чужда была ей, интенсивно живущей умом и сердцем, его жизнь, состоящая из муштровки солдат, походов и стоянок, его досуги и радости — охота, собаки, лошади, сытный ужин, бутылка доброго вина да еще казарменные анекдоты.

В первые годы их супружества родились сын и дочь. Затем они оставались мужем и женой лишь по названию. Был ли маркиз отцом третьего, маленького ребенка маркизы, чья болезнь и смерть в 1734-м не позволили ей сразу последовать за Вольтером в Сире?

Этот вопрос законен. Вскоре после замужества Эмилия со всей страстью ее натуры предалась любовным увлечениям, и среди них Вольтер отнюдь не являлся первым. У него были предшественники. Из-за одного из них, изменившего ей, когда она еще его любила, маркиза даже пыталась покончить жизнь самоубийством.

Непосредственным предшественником Вольтера оказался его старый друг, кумир и соблазнитель всех дам, блистательный и легкомысленный герцог де Ришелье. Эта связь была совсем недолгой.

В 1732-м израненное сердце Эмилии было свободно.

Началось с музыки. Вольтер был прямо-таки пленен прекрасным голосом маркизы дю Шатле. Любительница, она безукоризненно исполняла целые оперные партии. А он как раз в то время написал текст к опере «Самсон». Вероятно, Эмилии понравилось и либретто, но главное — они оба не любили Рамо, очень крупного композитора, но скучного, угрюмого педанта, хотя маркиза и играла на клавесине его сочинения. Это их с Вольтером сблизило. Библейский сюжет повлек запрещение спектакля. Это навсегда отвратило Вольтера от оперы, но не от маркизы, хотя она и не слишком долго делила его огорчения из-за неудачи с «Самсоном».

Продолжилось на занятиях английским языком. Еще

отец научил ее латыни. Она читала наизусть Горация, Вергилия, Лукреция, знала Цицерона. Итальянскому они с Вольтером потом учились вместе, читали Тассо, всего Ариосто. Когда уже в Сире к ним приезжал венецианец Альгаротти, мадам владела языком настолько, что давала ему полезные научные советы.

Теперь маркиза захотела заняться английским. К ее чести, нужно сказать, что это желание отнюдь не было следованием моде, рожденной «Философическими письмами». Книга еще не вышла в свет даже в Лондоне, и сама Эмилия уговаривала автора ее издать. Маркизе был близок сам предмет — точнее, два из многочисленных предметов «Писем» — философия и точные науки.

Вольтер давал ей уроки английского. Через три месяца она говорила бегло. Потом, в Сире, они постоянно прибегали к этому языку, когда ссорились, чтобы не быть понятными гостями, домочадцами и слугами. А главное — это был язык их любви.

Попутно маркиза под его руководством изучала английскую философию, какой Вольтер представил ее в «Философических письмах». Они читали вместе в оригинале Попа и других поэтов Британских островов.

Но в учение Ньютона она захотела проникнуть так глубоко, что для этого понадобились весьма серьезные математические и физические знания.

Вольтер опрометчиво порекомендовал своего будущего соперника Мопертюи мадам дю Шатле. Впрочем, и он прибегал к его советам для «письма» о Ньюtone, одного из «Философических писем», а потом для книги «Элементы философии Ньютона».

Маркизе очень нравилось иметь своими учителями двух столь выдающихся мужей. Вольтеру же весьма импонировала ученица-аристократка, да еще такая одаренная и свободомыслящая. Вот только соседство Мопертюи его раздражало. Если бы Эмилия занималась с ним одной математикой! Отнюдь! Поистине неутомимая, она посещала с коллегой и соперником Вольтера и оперу, и зоологический сад, и кафе, и даже съездила с ним в Кестель навестить свою старую мать.

Хорошо еще, что ревнивец не знал, какие пылкие письма она посылала Мопертюи, и тем более не читал их.

Между тем математические успехи ее были просто неправдоподобны. И до того маркиза дю Шатле прекрас-

но считала в уме, что обеспечило ей постоянное место за картонным столом в Версале, сделало партнершей самой королевы. Но теперь Эмилия настолько запросто обращалась со сложнейшими математическими формулами и законами физики, что принимала участие в научных спорах между молодым поколением ученых-ньюто-нианцев и академическими авторитетами, упорно державшимися за теорию Декарта.

Вольтер и сам занял бы немаловажное место в этой дискуссии, в этой борьбе, но сперва нужно было, хотя бы в Лондоне, издать «Философические письма».

Были у маркизы и другие наставники, тоже крупные ученые.

Многое из того, что произошло в жизни Вольтера между 1732-м и 1734-м, мы знаем. Издание «главной книги века» и ее сожжение, бегство Вольтера из Монжа в Лотарингию... К этому остается добавить дуэль герцога де Ришелье с двоюродным братом его жены, принцем де Ликсин, который позволил себе отпустить неосторожное замечание по поводу скандальных любовных похождения новоявленного кузена.

Оба были офицерами действующей армии, что осложняло дело, но поединку не воспрепятствовало. Принц был убит, герцог — ранен.

Вольтер отправился в военный лагерь навестить раненого друга, рассчитывая при этом остаться в столь опасном месте, где шла непрерывная перестрелка, найти укрытие от опасности, лично его подстерегавшей. Ему быстро дали понять нежелательность присутствия здесь автора сожженной книги. Двор очень сердился.

Куда ехать? О возвращении в Париж, несмотря на формальное разрешение начальника полиции, даже и подумать нельзя. Снова в Лондон или куда-нибудь еще за границу? Его останавливала память сердца. Ни в Англию, ни в Голландию божественная Эмилия — так называл он маркизу дю Шатле — последовать за ним не сможет.

Ее, в свою очередь, терзает мысль о вечной угрозе жизни и свободе друга. Сам он беспокоится лишь о том, как сегодня избежать очередной опасности, но тут же навлекает на себя все новые и новые. Что ни сочинение, то разящий врагов выпад, их озлобляющий... «Его нужно

спасать от него же самого, — жалуется маркиза друзьям, — и для этого требуется больше дипломатических способностей, чем папе для управления всем христианским миром». Поэтому она и будет прятать его опасные рукописи. Вероятно, Эмилия уже раскаивается, что угваривала Вольтера издать «Философические письма».

И вот они находят выход. Эту грозу можно переждать в Сире и там же, думает маркиза, избежать всех последующих.

Замок расположен в провинции Шампань, в красивой долине и, что в данных обстоятельствах еще важнее, среди гор, вдаль от больших французских дорог и, напротив, очень близко от границы. При первой же тревоге ничего не стоит даже пешком перейти из владений Людовика XV на земли герцога Лотарингского. Хотя последний и тесть короля, но тоже философ и ученый. Отношения с Вольтером и маркизой дю Шатле у него установятся самые дружеские.

К тому же уединенность Сире, как они полагали, не только гарантирует безопасность автора «Философических писем»... Он обретает здесь и покой, столь необходимый после всех треволнений. Оба смогут без помех предаваться своим трудам и занятиям. И какое это ни с чем не сравнимое пристанище для их любви!

Вольтер этого, вероятно, не подозревал, но маркиза надеялась — под ее постоянным и неусыпным надзором он не будет совершать прежних неосторожностей, и отдаленность Сире помешает его рукописям, по воле или вопреки воле автора, попадать в печать, навлекая новые беды и преследования.

Замок, правда, в полном запустении, даже мебели почти нет. Он нуждается в большой перестройке, чтобы там можно было вести жизнь цивилизованную и удобную, к которой оба привыкли. Ну и что ж?! Если маркиза и ее муж бедны, у Вольтера достаточно денег и энергии тоже, чтобы превратить заброшенное жилище в райский уголок, дворец и научную лабораторию одновременно. Конечно, в 1734-м оба еще не знали, что проживут в замке, сперва безвыездно, а потом с перерывами, целых пятнадцать лет. И тем не менее, уехав в Сире сперва один, Вольтер сразу же нанял каменщиков, плотников, столяров, обойщиков (художником-декоратором, вероятно, был он сам), и работа закипела.

Эмилия не смогла и не захотела тут же покинуть Париж и последовать за возлюбленным. Прежде всего ее задерживали болезнь и смерть — в сентябре — младшего сына. Маркиза и о детях заботилась куда больше, чем принято было в ее кругу. Но задерживало и нежелание расстаться с Мопертюи. Характер отношений маркизы к последнему иной, чем обычное уважение ученицы к учителю, мало известен. Только после путешествия по Швейцарии с Мопертюи маркиза велела упаковать свои вещи, заложить карету и поехала в Сире. К ее чести, надо сказать, что в Париже она хлопотала о реабилитации Вольтера.

Появившись наконец в своем замке, божественная Эмилия друга там не застала. Тщетно прождав ее так долго и очень страдая, он уехал в Бельгию, где начал новую трагедию — «Альзира».

Через несколько недель он вернулся. Все было забыто. Отпраздновав встречу сердец, они прочно обосновались в этом раю духа.

Иначе и с удивительным благородством о том же самом пишет в своих «Мемуарах» Вольтер. Прежде всего он бесконечно благодарен Эмилии за то, что, светская дама, «она схоронила себя в обветшавшем замке, в некрасивой местности». Затем ей приписывает большую часть того, что — по версии своего современного биографа Лайтхойзера — сделал сам: «Она занялась украшением замка. Я пристроил галерею — физическую лабораторию».

Вряд ли это было так. Не только дю Шатле не имели средств и, уж во всяком случае, замок перестраивался, обставлялся на деньги Вольтера, он и приехал раньше подруги. Но я считаю нужным привести обе версии.

И заслуженная неприязнь к Мопертюи объясняется Вольтером иначе, чем Лайтхойзером. Перечисляя ученых, приезжавших к ним в Сире, Вольтер пишет: «С тех пор Мопертюи, завистливейший из смертных, избрал меня предметом этой своей страсти, которой оставался верен всю жизнь».

Для себя Вольтер выбрал флигель справа от главного здания. Особое значение придавал убранству спальни. Часто болея, как всегда, много времени проводил в постели. Сперва в Сире, только хвоя, он мог себе позволить

писать стихи и поэмы. Маркиза не без оснований считала это его занятие весьма опасным. В спальне висело несколько превосходных картин. Он перевез их из парижской квартиры вместе с самыми любимыми вещами: лакированными угловыми шкафчиками, фарфоровыми вазами и фигурками, изделиями из серебра, стоячими часами в восточном стиле.

В прилегающей к спальне галерее (дверь, которая вела в нее, была даже слишком роскошна, в стиле рококо) разместились шкафы с книгами Вольтера и очень дорогие аппаратура и инструменты для физических, химических, естественнонаучных опытов, несколько столов, тоже часы. Кроме того, здесь стояли две небольшие статуи, Геркулеса и Венеры, символизирующие силу и любовь, а на постаментах еще и два Амура, один с физическим прибором, второй — со стрелой.

Стрела Амура, нацеленная на Вольтера и маркизю дю Шатле, склонившихся над очередным опытом, не просто подробность, но образ их столь особенной любви.

Умных и образованных женщин Франция XVIII века знала много, и раньше и потом. Это и подруга д'Аламбера мадемуазель Лапидас, и подруга Гримма мадам д'Эпине. Знала Франция женщин-писательниц, женщин-философов в том более широком понимании, которое придавалось философии тогда. Вспомним Нинон де Ланкло!

Но любовь и препарирование животных, любовь и взбалтывание жидкостей в колбах, любовь и математические формулы для того времени были поистине явлением исключительным. Эмилия и Вольтер считали, смешивали, взвешивали, наблюдали, сопоставляли, не признавая иного метода познания истины, кроме экспериментального. Он чувствовал себя снова, как в Англии, на вершине мысли века.

Но как только Эмилия, неизменно с перемазанными чернилом пальчиками, покидала галерею, она мгновенно оказывалась в совсем иной атмосфере. Пройдя через библиотеку и зеркальную дверь, маркиза входила в свою спальню. Здесь все было двух цветов: бледно-желтого и голубого: деревянная обшивка стен, угловой шкаф, рабочий стол, конторка — она трудилась и тут, — одеяло и даже корзина собаки.

Был у мадам, разумеется, и будуар, отделанный и об-

ставленный с роскошью, для столь отдаленного имения поистине удивительной. Потолок расписан любимым маркизой художником Мартенем, на стенах — картины Ватто.

Сире не Париж. Сперва они жили здесь почти в полном уединении. Маркиз навещался в свой родовой замок редко. Не считая слуг, население Сире состояло из сына его и Эмилии, да брата и сестры Линан. Брат занимал должность воспитателя, но, прямо скажем, был для нее, как и для чего-либо иного, малопригоден. Для того чтобы обучать мальчика латыни, он сам брал уроки ее у маркизы. Держали его лишь потому, что этому неудачнику было решительно некуда деваться. Вольтер еще и помогал Линану в его безуспешных литературных опытах, хотя и говаривал — раньше чем через пятнадцать лет тот своей драмы не допишет. Сестра воспитателя была еще более ленивой и решительно ни к чему не способной.

Позже, несмотря на все долготерпение Эмилии и Вольтера, им все же пришлось с Линанами расстаться. Случайно обнаружилось предательство воспитателя, которое стерпеть было никак нельзя. После отъезда из Сире некоего курляндского барона, который привез заказанный по просьбе Вольтера портрет прусского кронпринца Фридриха, выяснилось, что Линан с гостем подружился и даже обещал к нему приехать. Это должно было напугать и возмутить хозяев. Воспитатель мог столько рассказать о жизни в замке и наверняка бы рассказал. Вольтеру и маркизе говорили, что этот бездельник и тупица жалуетса соседям на невыносимую сирейскую скуку.

Сестра предателя усиленно заверяла маркизу в своей неколебимой преданности и после того, как ее брат был разоблачен. Но через несколько дней Эмилии попало неотправленное письмо мадемуазель Линан. Не отличаясь чрезмерной деликатностью по отношению к людям, от нее зависящим, маркиза письмо вскрыла и прочла не слишком лестный отзыв о себе самой. Судьба девицы была тоже решена.

Вольтер, однако, и после изгнания Линана продолжал помогать ему, регулярно посылал деньги.

Из гостей поначалу в Сире бывали лишь соседка, мадам де Шамбонен, простодушная провинциалка, и старый кузен.

Потом стало наведываться много гостей, причем и издалека. Приезжали и ученые, парижские наставники Эмилии, и другие. Они помогали преимущественно маркизе, некоторые и Вольтеру в их занятиях.

Несколько научных трудов мадам дю Шатле было опубликовано, чему Вольтер очень радовался. Таковы были широта и великодушие его натуры и признание женщин равными мужчинам на деле, а не на словах.

Картину повседневной жизни Сире оставила в своих воспоминаниях мадам де Графиньи. Эта сорокапятилетняя «сорока», рекомендованная Ришелье, гостила там в 1738 году, застав в замке и безропотного маркиза дю Шатле.

Она приехала из Лотарингии. Вольтер, элегантно одетый, в напудренном парике, принял гостью весьма радушно. Сперва посочувствовал ее несчастьям, а затем не преминул показать ей свои покои, картины, фарфор, серебро, свидетельствующие, что у него «во всем в высшей степени изысканный вкус».

Мадам видела и знаменитую галерею, книги, приборы. Разумеется, ее привели в восторг и спальня и будуар маркизы. Но тем более поразило мадам де Графиньи «отвратительное нерящество» остальных комнат замка.

А вот ее описание ужинов в Сире. За стулом Вольтера стоит личный лакей, ему передают все блюда и напитки для господина. Точь-в-точь как «пажу вельмож короля». Приправой к блюдам, «изысканным и тонким», служат изящные и очаровательные разговоры. Благодаря этому ужины иногда затягиваются до полуночи. Начинались они в девять. «О чем только здесь не говорили! О поэзии, науке, искусстве, и обо всем в шутовском и милом тоне».

Удалось восхищенной гостье послушать и чтение Вольтером глав «Века Людовика XIV», трагедии «Меропа», стихотворных посланий, «Рассуждения о человеке», песен «Орлеанской девственницы». Все это, и не одно это, он сочинил в Сире.

Она была не только зрительницей, но и участницей спектаклей, которые здесь беспрерывно ставились в небольшом, но красивом домашнем театре, устроенном на чердаке. «Декорации состояли из колонн, между ними стояли горшки с апельсиновыми деревьями».

Едва мадам де Графиньи переступила порог замка,

ей тут же поручили роль. Играли «Блудного сына», репетировали «Заиру».

Ее поразила театральная лихорадка, которая временами охватывала хозяев и гостей Сире. «В течение 24 часов мы прорепетировали и сыграли 33 акта трагедий, опер и комедий». Если в этот день спектакля не было, забавлялись марионетками. Кукла, жена Полиши-нея, полагала, что убила мужа песенкой.

Или же Вольтер показывал волшебный фонарь, импровизируя «истории, от которых помрешь со смеху»; он сталкивал в них друзей с врагами, Ришелье с аббатом Дефонтемом. Мадам не подозревала, что первые философские повести и сказки Вольтера и родились у волшебного фонаря.

Но так же кипела у хозяев замка и работа. Маркиза дю Шатле спала нередко всего часа два, ночи напролет проводя за опытами или конторкой. Вольтер запирался у себя на целый день, иной раз появлялся лишь в середине ужина и снова убегал в свой кабинет, к секретеру.

Из писем Вольтера и его современников, воспоминаний других лиц известно еще немало подробностей жизни в Сире примерно того же времени.

После возвращения из Голландии в феврале 1737 года Вольтер снова чувствует себя в раю. Снова восхваляет выдающийся ум и женское очарование Эмилии в посвященных ей стихах. Как не правы те, кто утверждает: он не умел любить! Снова восхищается деревенскими красотами и тишиной, вечерним небом и не боится ничего, «кроме зависти врагов».

Быт опять входит в строгие рамки. Обедают с гостями, тратя на это ровно час. Еще полчаса проводят за приятной беседой в гостиной перед кабинетом Вольтера. В самый кабинет посетители допускаются редко. Характерно, что там нет ни одного стула для гостей, и сам хозяин неизменно стоит, чтобы разговор как можно скорее пришел к концу.

Как правило, ровно в двенадцать Вольтер отвешивает гостям почтительный поклон и до ужина предоставляет их самим себе.

После обеда Эмилия обычно ездит верхом. А Вольтер берет ружье и отправляется в лес. Впрочем, никому ни разу не удалось услышать его выстрела.

Но гости довольствовались и короткими часами, ког-

да могли наслаждаться обществом этого «прелестного ребенка и мудрого философа», по выражению мадам де Графиньи, «самого занимательного собеседника века», как его называли другие.

Этой гостье, правда, казалось чрезмерным честолюбие Вольтера. Она была недостаточно проникательна, чтобы понять — отнюдь не из тщеславия и ревности к чужой популярности он не мог слышать даже имени Жана Баптиста Руссо.

Немало времени занимала и переписка. Многие биографы, правда, сильно преувеличивают, говоря, что Вольтер писал в Сире до тридцати, а в Ферне даже до тридцати восьми писем в день. Достаточно подсчитать по полному изданию корреспонденции Бестермана, чтобы убедиться — больше двух писем *в среднем* в день он не писал даже в самые урожайные годы.

Кроме перечисленных развлечений, принятых в Сире, Лайтхойзер называет еще исполнение Эмилией оперных арий и концерты музыкантов, приглашаемых из соседних городков.

Не прошли незамеченными для наблюдательной, хотя и не слишком способной к анализу, мадам де Графиньи частые перепалки, и непременно по-английски, между Эмилией и Вольтером. Гостье казалось, что они происходили из-за пустяков. То маркиза отнимет у него стакан рейнского: вино Вольтеру вредно, а он дуется. То заставляет друга снять или надеть камзол. А ведь это Эмилия заболела о его здоровье. И так вечно болеет, глотая без разбора лекарства и возбуждая себя бесчисленным количеством чашек кофе. Но стоит ему прийти в хорошее расположение духа, куда деваются все хворости! Он уже здоров и чарует всех остроумием и неиссякаемой веселостью.

Среди различных версий одного и того же эпизода биографии Вольтера примечательны и две версии его конфликта с мадам де Графиньи.

Вот первая и, очевидно, более достоверная. Гостья, как нельзя лучше принятая в замке, проявила нескромность, которая могла очень дорого обойтись хозяину. Она писала из Сире своему другу в Люневиль, восторженно описывая все, что здесь видела и слышала. Но к одному письму приложила копию одной из песен «опасной Жанны».

Это стало известным, так как маркиза позволяла себе читать корреспонденцию не только слуг и домочадцев, но и гостей. Очевидно, она прочла ответ на это письмо мадам де Графиньи.

Сперва Вольтер просил гостью востребовать обратно то, что она послала. Если станет известной хотя бы одна страница «Орлеанской девственницы», место в Бастилии для него уготовано. Затем вошла Эмилия и стала требовать того же, но еще настойчивее. Мадам де Графиньи оправдывалась, уверяя, что она не отправляла песни, а лишь коротко пересказала ее своими словами.

Неприятный для всех троих разговор окончился лишь глубокой ночью, когда хозяевам, наконец, удалось вырвать у гостью согласие сделать требуемое.

Вторая версия принадлежит самой мадам де Графиньи и изложена в письмах тому же адресату, опубликованных посмертно, через много лет. Разумеется, она утверждает, что была заподозрена напрасно, жалуется на сцену, которую устроил ей Вольтер и особенно маркиза. По ее словам, когда они, наконец, убедились, что обвинение было ложным, оба стали приносить несправедливо заподозренной столь же бурные извинения, осыпать ее ласками. Но уже ничто не могло удержать мадам в этом аду, первоначально ею принятом за рай.

Был ли здесь всегда рай для самого Вольтера, хотя он Сире так и называл? Обычно годы, прожитые им с божественной Эмилией, называют годами покоя. Но самый покой Вольтера в Сире был покоем «подвижным и бурным» (Лансон). Таков уж характер этого неугомонного человека. И даже маркиза, как ни старалась его уберечь, ничего не могла сделать. Сцены, устраиваемые мадам де Графиньи или кому-нибудь еще, заподозренному в нескромности, чаще всего били мимо цели.

Покой состоял из разрушительной работы, чему Эмилия не только не препятствовала, но и сама горела в такой же лихорадке оглушительного триумфа одних его произведений, провала или запрещения других, страха за третьи, необузданной полемики с противниками, тревог, побегов — не только из Сире в Голландию, но и из Фонтенбло в Со, погони за придворной и академической карьерой, тешащей его самолюбие дружбой с на-

следником престола, а затем и королем Пруссии, фавориткой Людовика XV маркизой де Помпадур. Беглое перечисление следует дополнить еще и путешествиями, которым он предается вместе с Эмилией и один уже с 1739 года, и ожесточенной борьбой их взглядов, сменившей полное духовное согласие.

Шума, а им непременно сопровождалась все споры и ссоры, уже в первые сирейские годы было куда больше, чем тишины. Еще не высохли комки грязи, которыми забросал писателя двусмысленный приговор по делу Жора и Вольтера. Продолжалась распря с Жаном Батистом Руссо. Пусть это и был спор архаиста с новатором, форма дискуссии, весьма ядовитая с обеих сторон, давала возможность всем, кому это было на руку, осуждать и новатора. Бывший квартирный хозяин Вольтера Дюмениль вымогал у него деньги.

Даже полемика с мракобесом и откровенным мерзавцем аббатом Дефонтемом, бесконечно обязанным Вольтеру, спасшему его от тюрьмы, была неверно понята не только многими современниками, но и Лансоном. Последний на одну доску поставил памфлет Вольтера «Предохранитель» и пасквиль Дефонтема «Вольтеромания».

Истина же состоит в том, что Вольтер с его неудержимым темпераментом порой забывал — и в защите правого дела нужно сохранять спокойствие и умеренность. Он же иногда не соизмерял удара и не всегда апеллировал к тем, к кому следовало апеллировать. Обращения к полиции, магистратуре, министрам, даже литераторам с просьбой поддержать его в справедливой борьбе, так же как то, что, ударив, он отдергивал руку и, случалось, был уличен в отказе от собственных слов, слишком часто заслоняли от тогдашней публики истинное положение вещей. А это приносило новые огорчения.

Предавали порой и друзья. И тогда утешала лишь самоотверженная любовь Эмилии. Он платил ей тем же.

Вот один пример, связанный опять-таки с «Вольтероманией», бестселлером 1738 года. В этом гнусном пасквиле «Генриада» объявлялась «нагромождением ошибок и стилистических ляпсусов», «История Карла XII» — «плохим романом, изобилующим ошибками», стиль книги сравнивался с «бабьими сплетнями», «Философические письма» только того и «заслуживали, чтобы быть сожженными палачом», «Элементы философии Ньютона»

не имели ценности большей, чем если бы их написал глупый школьник».

И вот чья-то услужливая рука отправила «Вольтероманию» по почте в Сире. Эмилия знала, как огорчают Вольтера подобные мерзкие сочинения. Перехватив экземпляр пасквиля, она спрятала его, ни словом не обмолвившись другу.

Но второй экземпляр «Вольтеромании» был отправлен особой, секретной почтой. Ее вскрыл сам Вольтер. Он поступил так же, как Эмилия, чтобы ее не огорчать.

И любопытное совпадение. Оба по секрету друг от друга написали одному и тому же лицу — Тьерьо. Оба просили об одном — чтобы тот письменно подтвердил авторство Дефонтена. «Вольтеромания» вышла анонимно, но Тьерьо обоим говорил, что знал от самого аббата, кто ее написал. Однако неблагодарный не жил больше на средства Вольтера, нашел себе нового богатого покровителя — парижского финансиста. Поэтому и мог себе позволить долго не отвечать вообще, а затем под напором повторных писем маркизы заявить, что он, дескать, запомнил и подтвердить то, что требуется, не может.

Тьерьо совершил еще одно мелкое предательство: послал «Вольтероманию» Фридриху, которому сам же Вольтер его рекомендовал как корреспондента о парижских новостях.

И кто бы, вы думали, заступился за оклеветанного писателя? Маркиз дю Шатле. Это он поехал в Париж и так напугал пасквилянта, поговорив с ним напрямик, солдатски, что аббат дал расписку — он «Вольтеромании» не писал и с ней не согласен.

На некоторое время Дефонтен оставил Вольтера в покое и нашел себе другую мишень. Обиженный подал в суд. Аббату угрожали галеры, куда в то время нередко попадали издатели и литераторы. Вольтер тогда своего врага жалел и щадил, хотя в конечном счете клеветник отделался тем, что у него лишь отобрали привилегию на журнал.

Но когда Дефонтен напал на «Блудного сына» и выдумал еще большие глупости про «Элементы философии Ньютона», терпение Вольтера лопнуло. Он годами страдал от нападков врага и еще больше мучился, ожидая от него новых гнусностей.

Но это еще не все. И отдаленность Сире не защищала от преследований. Ведь то, что Вольтер делал, выходило за стены замка.

Он так радовался, что в Париже издается полное собрание его сочинений! Но радость оказалась преждевременной. Полиция конфисковала весь тираж первого тома, где среди прочих выдающихся произведений были помещены две главы «Века Людовика XIV». И какую же придумали причину? Книги хранились в доме некоего аптекаря, где им якобы храниться не полагалось. Издатель пострадал и сверх убытков из-за конфискации. Дело его на три месяца закрыли да еще и оштрафовали беднягу на пять тысяч ливров. Штраф заплатил Вольтер.

Нисколько не приятнее была другая история. Началось словно бы хорошо. Трагедия «Фанатизм, или Магомет-пророк» с большим успехом прошла в Лилле. Но в Париже, годом позже, за безбожие правительством была быстро снята. Даже то, что глава католической церкви благословил произведение, направленное якобы против ложной мусульманской религии, не помогло. Надо отдать кардиналу Флери справедливость. Пафос трагедии был не в разоблачении Магомета, представленного мошенником, прикрывающим свое властолюбие и корысть завесой созданного им нового религиозного учения, но в осуждении всякого фанатизма и нетерпимости. Кардинал это понял. Однако автору от пронциательности Флери было не легче. Умнейший папа Бенедикт XIV сам был врагом всякого фанатизма, ему истинный смысл трагедии был тоже ясен. Потому-то он ее и поддержал.

Самыми тяжелыми, пожалуй, были неприятности, постигшие Вольтера несколькими годами раньше, опять-таки не без участия Дефонтена. Неприятности из-за того, что, как метко выразился сам автор, «Адам и Ева не мылись». В небольшой поэме «Светский человек», казалось бы, не содержалось ничего крамольного. Превозносились современные цивилизация, комфорт, даже роскошь. Однако Вольтера обвинили в том, что он противопоставил их первобытному, варварскому бытию наших прародителей и тем самым посягнул на библейские сказания.

Вероятно, он избежал бы этого преследования, если

бы не проявил излишнего остроумия. Прозвал «ослом Мирепуа» Буае, бывшего епископа города Мирепуа, а тогда воспитателя дофина. Острота была основана на обычно неразборчивой подписи Буае. Он так писал слово «ancient» («бывший»), ограничиваясь одними первыми буквами, что это легко было принять за слово «âne» («осел»).

Буае, разумеется, решил отомстить шутнику, а он был при дворе весьма влиятелен.

Повредил Вольтеру, правда невольно, и другой епископ — города Люнсона. Этот весьма несвоевременно скончался, и в ящике его бюро обнаружили один из списков «Светского человека». Поэма, разумеется, не была подписана. Но это не помогло. Жалобы «осла Мирепуа» кардиналу Флери на оскорбление, нанесенное ему Вольтером, и донос аббата Дефонтена, где доказывалось, что автор «Светского человека» никто иной, повлекли за собой приказ об аресте поэта. Хорошо еще, что благодаря дружеским связям при дворе, в Сире своевременно пришло письмо с предупреждением о нависшей угрозе.

Это было 22 декабря 1736 года. Несмотря на мороз и снежные заносы, не оставалось ничего, как немедленно бежать. Нужно было лишь сделать выбор между Пруссией, куда настойчиво приглашал кронпринц Фридрих, и Голландией. Вольтер выбрал Бельгию и Голландию, потому что они ближе и разлука с Эмилией будет менее тяжела. В то время ему недоставало ее на каждом шагу. Даже работая каждый у себя, они непрестанно обменивались записками. А как не хотелось расставаться с замком, где он думал спокойно провести вечер своей жизни!

А как горевала маркиза, его провожая!

Хорошо еще, что теперь Вольтер не болел. Он всегда оживал в самые критические моменты и в трудных, больших путешествиях. И, как часто бывает, неприятности обернулись удачей. Вовсе этого не ожидая, беглец смог убедить, что стал европейской знаменитостью. Утешение приносило всеобщее поклонение везде, куда бы он ни приехал. Так, в Брюсселе Вольтер провел всего лишь вечер, но в его честь сыграли «Альзиру». Один день в Лейдене — и на улицах города собрались толпы поклонников, чтобы только его увидеть. И все это — несмотря на то, что из осторожности он путешествовал под чужим

именем. Вольтера узнавали повсюду быстрее, чем любого европейского суверена.

В Амстердаме, где изгнанник остановился, его встретили почестями еще большими, и туда пришли известия из Англии, с каким успехом идут там его пьесы.

Чуть ли не во всех городах Европы газеты извещали, что знаменитый Вольтер был вынужден, по-видимому, навсегда покинуть Францию. Предполагали, что причиной послужила «Орлеанская девственница». Впрочем, это было не так далеко от истины. Пусть она и не фигурировала в обвинительном заключении, власти об «опасной Жанне» не могли не знать, хотя это и было до неосторожности мадам де Графиньи.

Вольтер начал свою сатирическую поэму много раньше. Но после смерти Адриенны Лекуверрер долго не мог к ней вернуться.

Только в атмосфере счастья и относительного покоя в Сире он снова пришел в настроение, необходимое, чтобы с такой легкостью и блеском глумиться над верой — что девственность может способствовать военным победам. Мало того, Вольтер подвергнул сомнению саму невинность французской национальной героини и святой. В этом «катехизисе остроумия» (Пушкин) атаковались наряду с ханжеством, суевериями, религией и ходячие представления о средневековой Франции, а тем самым само средневековье. Попутно изничтожалась поэма о Жанне д'Арк Шаплена, скучная до того, что ее никто не мог прочесть.

Берлинская «Фоссише цайтунг» писала, что за «Орлеанскую девственницу», где святой Доминик, святой Франциск и патрон ордена иезуитов святой Игнатий беседовали слишком весело и легкомысленно, и последовал приказ задержать и подвергнуть заключению Вольтера, где бы его ни обнаружили, и таким образом изгнать из его головы излишек вольнодумства.

Газета оказала поэту медвежью услугу. Вольтер был возмущен и требовал, чтобы ему предъявили хотя бы одну страницу поэмы, написанную его рукой.

Горечь от бездомности, разлуки с Эмилией, страх перед еще усилившейся опасностью помогает заглушить работа. Он и тут, в изгнании, погружается в нее с головой. Дела, как всегда, очень много: просмотр написанных прежде сочинений и переработка их корректуры.

Особенно его беспокоили и занимали «Элементы философии Ньютона».

Потому-то он реже стал писать маркизе, и она чувствовала себя покинутой, хотя тогда это было неверно.

А вскоре после его возвращения из Голландии в жизнь Вольтера вошла еще и забота об осиротевших племянницах. Их мать, любимая сестра Вольтера, скончалась, когда он был еще в Англии. В октябре 1737-го умер и ее муж, месье Миньо, оставив двух сыновей и двух необеспеченных девушек, дочерей.

Вольтер окружил племянниц особым вниманием еще и потому, что не хотел, чтобы они попали под влияние его брата Армана, по-прежнему янсениста.

Наибольшим расположением Вольтера пользовалась старшая, двадцатипятилетняя Мари Луиза. Он сразу же решил выдать ее замуж за сына соседки, мадам де Шамбонен, желая видеть девушку и пристроенной и вблизи от себя. Но ее задуманный дядей брак нимало не устраивал. Парижанка не хотела похоронить себя в глухой провинции, и вряд ли молодой человек ей поуравнился. Однако прямо своего нежелания выйти замуж за выбранного Вольтером жениха Мари Луиза не высказала. Он узнал об этом от Тьерьо и Эмилии.

Вскоре Мари Луиза влюбилась в молодого красивого капитана Никола Шарля Дени и 25 февраля 1738 года вышла за него замуж. Дядя браку не препятствовал. «Пусть будет счастлива на свой лад, а не на мой», — сказал он. Наделил приданым, как и ее сестру, которая вышла замуж раньше, дал 30 тысяч ливров. Мари Луиза ухитрилась получить приданое и от второго дяди, Армана.

Вольтер пригласил молодых супругов в Сире и превосходно их принял. Он был очень доволен своими семейными делами. Мадам Дени — отнюдь. Она была недовольна и тем, что он так много тратит на замок и его хозяйку, и тем, что он в «полном подчинении» у Эмилии. «Подумать только, как должен жить самый знаменитый человек Европы!» — говорила она, однако тоже не в лицо, а за спиной. Мари Луиза вскоре уехала с мужем в гарнизонный городок. Супружество их было счастливо. Однако она слишком интересовалась жизнью дяди, и если

comme va il votre Drama's! che faites
 ma cara! Si vous m'envoyez adretter
 vos lettres a l'unéville. j'y vais dans
 quelques jours. Seray vous appr aimable
 pour me consoler de votre absence
 par la lecture de votre ouvrage? vous
 avez les quatre ou cinq cent enfans
 charmants qui me servient souvenent
 de leus mere. Si j'en ne pensois pas a elle,
 et qui sont mes plus chers parents
 voyez si vous pouvez m'en voyer cette
 belle famille. nous sommes icy dans
 un pays tranquile qui ne fournit ny vers
 ny nouvelles. vous qui etes a la source
 de tout cela, ayez pitie' de nous
 adio ma cara vi amo teneramente
 ceij a comeney 1744 U

Письмо Вольтера мадам Дени.

бы на этом кончилось! Прошло не так много времени, и отношения мадам Дени и Вольтера перестали быть лишь отношениями родственными.

Теперь мы точно знаем, что любовь Вольтера и божественной Эмили не была столь безмятежной и до ее измены с маркизом де Сен-Ламбером, повлекшей за собой поздние роды и смерть мадам. Но до 1957 года биографы великого человека утверждали: все шестнадцать лет их отношений он хранил полную верность маркизе и вообще первый не оставил ни одной женщины и ей не изменил.

Правда, понадобилось 213 лет, чтобы получить бесспорные доказательства того, что уже в 1744-м старшая племянница, едва овдовев, стала любовницей своего зна-

менитого дяди. (Разница в возрасте между ними была восемнадцать лет.) Это явствует из любовных писем Вольтера мадам Дени.

Сама история этих писем так любопытна, что ее нельзя хотя бы вкратце не изложить. Вскоре после смерти Вольтера мадам Дени, его полная и бесконтрольная наследница, продала, лицемерно именуя продажу за баснословную цену «подарком», библиотеку, рукописи и письма дяди Екатерине II. Но его письма ей самой, частично французские, частично по-итальянски, сумела *спрятать*. Перед своей смертью, в 1792-м, завещала их наследнику-племяннику с условием, чтобы они никогда не были опубликованы и кому-либо показаны.

Шесть поколений потомков мадам Дени свято хранили тайну. Но в седьмом колене владельцем тайны и самих писем оказался не столь скромный Ги де Гло, который продал их одному американскому торговцу рукописями. Затем они попали в Институт и музей Вольтера в Делис. В 1957 году «Любовные письма Вольтера племяннице» были изданы отдельной книгой в Париже директором Института и музея Теодором Бестерманом.

Из его пространного предисловия к письмам явствует также — еще в 40-х годах мадам Дени добивалась, чтобы дядя передал ей все состояние, уже явно негодую, что он так много расходует на Сире и его владельцев. Естественно, что Эмилия не могла платить Мари Луизе за это особым расположением. Вольтер делил свое богатство, так же как и свои чувства, между обеими. Истинный характер его отношений с племянницей вряд ли был мадам дю Шатле известен.

ГЛАВА 2

СЛУЖУ ДЕВЯТИ МУЗАМ

«Я люблю их всех девятерых, — писал Вольтер, имея в виду муз, — надо искать счастья у возможно большего числа дам». К поэзии, эпической и лирической, театру, философии, истории прибавились математика, физика, химия, естествознание, геология.

В первые сирейские годы он больше всего внимания уделял новым музам. Не только потому, что маркиза отдавала точным и естественным наукам явное предпочтение перед гуманитарными. Занимаясь вычислениями и опытами, Вольтер продолжал английские уроки.

Но и Талию и Мельпомену в Сире, как мы уже знаем, не забывали. Вольтер не представлял себе жизни без театра. Маркиза в этом совершенно с ним сходилась. Различие состояло лишь в том, что он, не ограничиваясь домашним театром на чердаке (по иной версии — на одной из галерей замка), писал еще и трагедии для большой сцены. Эмилия же сочиняла комедии, в которых превосходно играла сама, но они ставились только в Сире и позже в Люневиле.

О музыке уже говорилось. Живопись и скульптуру обитатели замка ценили в той мере, в какой она способствовала украшению их покоев, галереи-лаборатории.

Парижские друзья Вольтера тревожились и обвиняли маркизу в том, что под ее влиянием автор «Генриады», «За и против», лирических и сатирических стихов совсем забросил поэзию. Они ошибались. Суть Вольтера и состояла в том, чтобы заниматься всем одновременно. Эмилия же, чтобы отвести от себя это обвинение, писала из Сире: «Мы далеки от того, чтобы ради математики отказаться от поэзии. Обитатели этой счастливой пустыни не такие варвары...» Нельзя забывать и о том, что в стихах Вольтер славил ее саму.

Чего маркиза не любила уже бесспорно — это историю.

Вольтер же, повторяю, не изменял и старым своим музам. Правда, когда он в марте 1737-го вернулся из Голландии, естествознание вышло в Сире на авансцену. Он не продолжал «Века Людовика XIV», несмотря на то, что Фридрих прислал восторженный отзыв о первых главах книги: «Европа еще никогда не видела подобную исторического труда». С тех пор как личный библиотекарь двадцатисемилетнего кронпринца Йорданс посоветовал ему написать впервые самому выдающемуся уму века, Фридрих, тоже «философ», неизменно восторгался Вольтером, называл своим учителем, неустанно приглашал к себе. Оттого-то, садясь в декабре 1736-го в карету, Вольтер и колебался, выбирая между Голландией и Пруссией. Позже он не раз ездил к нему, уже королю. Маркиза была этой дружбой крайне недовольна, считая Фридриха опаснейшим соперником.

Она заперла «Век Людовика XIV» в ящике своего стола; ведь не было никаких шансов, что критическое направление этого сочинения не навлечет на автора новых неприятностей. Также спрятана была неоконченная «Орлеанская девственница». Вольтер обаян впрямь работать лишь над тем, что ему не повредит. Из-под его пера должны выходить отнюдь не литературные и не исторические сочинения, но лишь естественнонаучные. Конечно, они тоже будут противоречить общепринятым и дозволенным воззрениям, но, по крайней мере, не приведут автора в Бастилию.

Вольтер на некоторое время подчиняется. И он ничего не делает вполночь.

Несмотря на то, что ему претила всякая жестокость, однажды он собственноручно изрезал сто улиток, чтобы проверить опыт итальянского ученого. Понимал, что в естественных науках нельзя ни спорить, ни соглашаться умозрительно. Только повторив опыт противника или единомышленника, можно убедиться в его правоте или, напротив, в ошибочности его утверждений.

Так же серьезно Вольтер занимался физикой и геологией. В 1738 году представил на конкурс Академии наук мемуар «О природе и распределении огня...», написал диссертацию «О дополнительных силах» и еще одну — «Об изменениях, происшедших на земном шаре, и окаменелостях, по мнению ученых, свидетельствующих об этих изменениях».

Примечательно, что его труд об огне не получил премии. Будучи основан на наблюдениях, он состоял из описаний опытов и вычислений. Академия же требовала не этого, но объяснений, базирующихся на картезианских — декартовых — принципах. Экспериментальный метод Вольтера был Академией чужд и враждебен. Так же не были оценены по заслугам и обе его диссертации. Для нас все эти исследования сохранили лишь исторический интерес, но для того времени были важны.

Премии за исследования о природе и распределении огня получили два последователя Декарта.

Не менее примечательно, что Вольтер несколько не обиделся, что Эмилия тайком от него тоже написала и представила на конкурс свою работу, да еще и противоречащую его взглядам. Напротив, с помощью крупных ученых Реомюра и Деаро добился, чтобы ее исследование напечатали. Опубликовали и его собственный мемуар.

Главным сочинением Вольтера второй половины 30-х годов были «Элементы философии Ньютона». Трудно описать возмущение и гнев автора, когда он обнаружил, что книга вышла в Голландии в 1738 году в искаженном виде. Вольтер, чтобы предупредить возможное ее издание и нежелательное включение, специально запер последнюю главу в ящике своего бюро. (На этот раз он сам, а не божественная Эмилия.) Книга не получила привилегии. Противником автора оказался канцлер и министр юстиции, ведавший делами печати, д'Агессо. Не из-за его невежества. Он был ученым, но убежденным картезианцем. Однако издатель после отъезда автора, отредактировавшего остальные главы, отсутствующую последнюю заказал одному математику, своему соотечественнику. Мог ли не отчаиваться Вольтер? Его убивала каждая допущенная опечатка, а тут целая не им написанная глава! Это не говоря уже о том, что автора обвинили в способствовании безобразному изданию...

Выход книги грозил очень большими неприятностями. В ней давалась совсем новая картина мира, столь отличная от вихрей Декарта, вскоре блистательно осмеянных в «Нескромных сокровищах» Дидро. Вольтер с горечью писал одному из своих корреспондентов: «Бедным фран-

цузам, по-видимому, запрещено придерживаться всеобщих убеждений в том, что существуют всемирное тяготение, пустота в пространстве, не позволено признавать сплюснутость Земли у полюсов. Они должны следовать лишь бессмысленному учению Декарта».

Он много работал над этой книгой и как писатель. Находя стиль известного популяризатора научных знаний в художественной форме Фонтенеля, у которого учился, слишком вычурным и добиваясь словно бы только последовательности и ясности, Вольтер сделал еще один шаг вперед в своей прозе.

Комментируя «Элементы философии Ньютона», он писал академику Пито: «Я старался высказывать мысли так же просто, как просто и свободно они вошли в мою голову. Я приложил много труда с целью избавить от него наших французов» (имелись в виду читатели. — А. А.).

И получилось в самом деле на редкость легкое и приятное чтение, что помогло победе Ньютона над Декартом и по эту сторону Ла-Манша.

Однако и простота и легкость слога навлекли на него неприятности. На титульном листе тот же голландский издатель под заглавием книги поставил (от себя): «Понятно каждому». Аббат Дефонтен сделал своей мишенью и это, не Вольтеру принадлежащее, но справедливое добавление. Он высмеял его, переиначив так: «Каждого можно вышвырнуть за дверь».

Угрозу, нависшую над книгой и ее автором, усугубляло то, что высказанные в ней научные и философские воззрения задевали и теологию. А как сказал сам Вольтер: «Теологи всегда склонны кричать, что бог обруган, если кто-либо смеет не придерживаться их мнения...» Д'Агессо тоже назвал критику учения Декарта «безбожной».

«Элементы философии Ньютона» в кавычках и без кавычек (их можно назвать и «Основы») оказались центром, вокруг которого группировалось если не всё, то многое, написанное Вольтером в Сире. Это нашло свое продолжение и потом.

Так, словно бы странным образом, споры о Ньюtone опосредствованно отразились в «Альзире», трагедии, примечательной многим. Не случайно ее второе название — «Американцы».

Она прошла с успехом на сцене и была издана. Преж-

де всего поразительно то, что в авторском посвящении маркизе дю Шатле сказано о широте ее интересов в науке и искусстве: Цицерон и Боссюэ, Вергилий и Тассо, Ньютон и Локк. Ни одна женщина такого посвящения еще не удостаивалась.

Что же касается самой трагедии, то в ней косвенно отразилось учение Ньютона о небесной механике. Если оно не могло быть доказано прямым путем, существовали иные способы подтвердить его истинность, и Вольтер ими воспользовался. В то время велся научный спор о форме Земли. Крупнейшие французские астрономы утверждали, что Земля у полюсов удлинённая. Ньютон же настаивал, что у полюсов она сплюснута и утолщается у экватора.

Казалось бы, сюжет трагедии отношения к этим спорам не имел. Но уже самое место действия ее, небывалое на французской сцене, — Южная Америка, и точнее Перу, с этими спорами связано. Споры можно было решить лишь опытным путем, нужны были экспедиции на Амазонку, к экватору и в Арктику, к полюсу.

Не случайно Южная Америка привлекала тогда интерес всего мыслящего Парижа. То, что Вольтер в «Альзире» решительно выступил в защиту туземцев Перу и протестовал против насильственного обращения их в христианскую веру, против зверских методов завоевателей, было продолжением его борьбы с религиозной нетерпимостью. Но не только это. 250 лет испанцы, колонизовав Южную Америку, не пускали туда других европейцев. Следовало положить конец этому запрету, чтобы ограничить их бесчеловечное хозяйничанье на захваченной земле, но и чтобы открыть путь туда не знающей границ науке.

Конечно, нельзя было обойтись без уступки цензуре. Сделав положительными героями туземцев и решительно осуждая завоевателей и таких же насильников-миссионеров во всей трагедии, в пятом акте, но лишь в нем одном, автор вынужден был наделить христианской добродетелью испанского губернатора.

Непосредственно связанными с «Альзирой» оказались успешные хлопоты Вольтера, чтобы Французская академия наук назначила его друга Кондамиуа начальником

экспедиции, снаряжаемой к экватору для измерений на месте. Разрешение на нее удалось получить: в это время у Испании и Франции установились хорошие отношения. Кондамин, как талантливый, самоотверженный ученый, имел большие заслуги. Он недавно вернулся из экспедиции в Африку. Поездка в Южную Америку с такой же научной целью была его давней мечтой.

Кондамин с исключительной энергией принялся за подготовку новой экспедиции. Май 1735 года застал его с товарищами на борту военного корабля, плывущего к берегам Южной Америки.

В высшей степени примечательно, как встречались в Париже известия об экспедиции. Ведь они приходили из части света, о которой со времен ее кровавого завоевания ничего не знали. Вольтеру же они понадобятся еще и для его всемирной истории — «Опыта о нравах и духе народов». С не меньшим интересом, чем о путешествиях Колумба, современники читали о путешествии Кондамина. И сколько нового они узнали! Воображение поражали и исполненные драматизма скитания ученых по тропическим лесам, и описания экзотических растений и животных, и неведомый прежде материал, названный каучуком. Как же ко времени пришла трагедия Вольтера!

А его самого не меньше интересовали исследования в Арктике, предпринятые в начале 1736 года. (Вопреки общепринятым представлениям, задолго до нашего века!) Туда была снаряжена экспедиция под руководством Мопертюи. Личная неприязнь Вольтера к этому человеку отступила перед восхищением, вызванным неустрашимостью ученого. Экспедиция отправилась сперва в Швецию, где к ней присоединился профессор университета в Упсале Цельсий (вспомните термометр!).

Вольтер был прямо-таки потрясен и зачарован смелостью ученых. В борьбе с враждебной природой они рисковали своим здоровьем и самой жизнью, рисковали не для того, чтобы завоевать чужие земли и угнетать их народы, но чтобы достигнуть истины.

Подвиг обеих экспедиций был беспрецедентен. Кондамин и его товарищи проводили свои измерения среди скал, в каменных пустынях, страдали от лихорадки. К тому же их преследовали местные власти и недоброжелательно относилось туземное население. Оно имело достаточно причин не любить всех белых, всех европейцев. Трое уче-

ных в Южной Америке погибли. Трое вернулись с неизлечимыми нервными заболеваниями. Сам Кондамин возвратился на родину инвалидом и, много лет промучившись, умер парализованным и глухим.

Экспедиция Мопертюи нашла в Лапландии все то, что требовалось для изысканий. В этом смысле условия были благоприятнее, чем у Кондамина. Но ее участники очень страдали из-за трудностей передвижения через тундру и болота. Летом их поедом ели комары. Еще тяжелее оказалась полярная зима — замерзал даже термометр.

Вольтер открыл для себя в участниках обеих экспедиций новый вид героизма, без воинственности и внешней патетики. Он посвятил им стихотворение. Даю его начало в своем прозаическом переводе: «Вы, герои-физики, вы, новые аргонавты, которые соединили достоинства древних и наших современников...»

Вольтер написал так не потому, что успех экспедиций, особенно одной, развеял бурю, собиравшуюся разразиться над его собственной головой. Но и об этом умолчать нельзя, тем более что спасение Вольтера связано с победой учения, которое он защищал и пропагандировал.

Как раз тогда, когда он был снова ближе всего к Бастилии, в Париж вернулась экспедиция Мопертюи. Она привезла неопровержимые доказательства правоты Ньютона. А большой успех французской науки позволил, не стесняясь, признать заслуги англичанина.

Не удивительно, что Вольтер с его импульсивностью посвятил своему сопернику преувеличенно восторженное стихотворение. «Земной шар, который Мопертюи сумел измерить, станет памятником его славы» — вот мой прозаический перевод главной строфы стихотворения. Оно влилось в хор голосов, славящих Мопертюи. Ему были оказаны тогда небывалые еще для французского ученого почести.

А Кондамин, чьи не меньшие заслуги не были столь очевидны, потерпел горькое разочарование.

Для Вольтера же был важен не только конечный результат — победа учения Ньютона, но и самая история обеих экспедиций. Он окончательно убедился: важны не одни отвлеченные истины, но и то, как они добываются, важен живой опыт человечества.

Среди девяти муз, которым Вольтер служил, едва ли

не самой любимой была Клио — история. И для нас его исторические сочинения представляют ценность.

Дефонтен позволил себе напасть и на самое святое для Вольтера — его любовь к Эмили, тем более благородную, что великий человек гордился успехами своей подруги в науке и всячески их поддерживал.

После возвращения арктической экспедиции аббат каким-то образом выкрал и опубликовал интимное стихотворение Вольтера, оно отнюдь не предназначалось для печати, где прелесть и научные таланты маркизы дю Шатле ставились выше всех заслуг Мопертюи.

Что же касается колебаний маркизы между Лейбницем и Ньютоном, Вольтер потом, не совсем точно, идеализируя ее, в «Мемуарах» напишет: «Мадам дю Шатле занялась сначала Лейбницем и изложила часть его системы в отлично написанной книге, озаглавленной («*Instition de physiques*») («Руководство по физике»). Она не старалась разубрать эту философию посторонними украшениями: вычурность была чужда ее мужественному и правдивому нраву. Ясность, точность и изящество отличали ее слог. Если идеям Лейбница вообще можно сообщить некоторую убедительность, таковую надо искать именно в этой книге. Но в настоящее время (1759 или 1760 год. — *А. А.*) уже мало заботятся о том, что думал Лейбниц».

Вольтер пишет дальше: «Рожденная для истины, она вскоре покинула все отвлеченные системы и прилепилась к открытиям великого Ньютона. Перевела на французский язык всю книгу математических принципов, а впоследствии, укрепив свои познания, добавила к этой книге, понятной очень немногим, алгебраический комментарий, равным образом недоступный рядовому читателю...»

Затем Вольтер с гордостью сообщает, что этот комментарий просмотрел и поправил один из лучших математиков того времени — Клеро, и кончает упреком: «Нашему веку делает мало чести, что он (комментарий. — *А. А.*) остался незамеченным».

Вернемся, однако, к музам самого Вольтера. Уже в 1734 году он искал ответов на самые кардинальные для

того времени вопросы мысли в «Трактате о метафизике». Это сочинение очень важно для понимания становления его философии. Примечательно и то, что, написав его по настоянию божественной Эмилии, чтобы разобраться в своем отношении к богу, душе, *устройству мира*, затем автор во многом оказался решительным противником маркизы. Она была тогда сторонницей Лейбница и краеугольного камня его учения: *все к лучшему в этом лучшем из миров*. Вольтер же следовал за благоразумным Локком и другими английскими философами, за Ньютоном, хотя еще не пришел к полному несогласию с Лейбницем.

Вот главные мысли трактата. Автор верит в существование бога, но рассматривает его как первую двигательную силу, довольствуясь доказательствами, вытекающими из мирового порядка, этой двигательной силы требующего. Доказательства нравственные ему не нужны. В этом они с маркизой сходятся. Для обоих метафизика — введение в физику, а существование бога — первая истина физики и в то же время лишь необходимая гипотеза. «Бог существует — версия наиболее правдоподобная, которую могут принять люди. И такой бог не допустит ни мучеников, ни палачей. Он — то же самое, что понятие об атоме. С таким богом связаны законы, управляющие вселенной. Но его свойства и его природа никому не известны. Все споры о провидении и справедливости бога — праздные рассуждения».

Вольтер сперва наносит удар пессимизму Паскаля, затем — менее сильный — оптимизму Лейбница. Человек отнюдь не так жалок, как утверждает Паскаль. И, с другой стороны, откуда мы знаем, что мир не мог бы быть лучше? Жизнь такова, какова она есть: не слишком хороша и не слишком плоха. Она выносима, раз люди ее выносят.

Относительно души позиция Вольтера в этой книге такова. Он начинает с утверждения: «Я вовсе не уверен, что имею доказательства против духовности и бессмертия души, но все вероятности говорят против них». Затем приводит положение Локка, что бог мог бы наделить материя свойством мыслить, спрашивая, однако, зачем вмешивать сюда бога. И кончает тем, что малопонятное для разума бессмертие души — гипотеза, бесполезная для общества.

Третья категория метафизики, она же категория фило-

софская, рассматриваемая Вольтером в его трактате, — свобода.

Пока его отношение к свободе еще очень шатко. К стройному детерминизму он придет лишь через тридцать лет. Теперь же он допускает лишь свободу воли, следуя английскому философу Шефтсбери. Сознание нами свободы — доказательство ее существования. Свобода — это обдуманная воля, она повелевает чувствами, борется со страстями и подчиняется разуму. Вольтер принимает положение Локка, ограничивающее свободу «возможностью делать то, что желаешь». Пример весьма наивен: «Я желаю ходить, так как понимаю пользу ходьбы и нахожу в ней удовольствие. Я свободен (то есть могу ходить), если я не калека и не заключенный».

Очень важно, что Вольтер в своем трактате отказывается от обязательной для метафизики вообще метафизики морали. Он заменяет ее моралью эмпиризма, целиком опирающейся на опыт. Нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра, ни врожденных нравственных законов. Вольтер соглашается с Шефтсбери в том, что добродетель — в сообразовании наших поступков с общим благом. Но опровергает другой пункт его перечня признаков добродетели. *Как можно требовать от добродетели, чтобы она была послушанием закону?* — спрашивает Вольтер.

Если стать на эту точку зрения, то добродетельным окажется главный прокурор, который приказал сжечь «Философические письма», и недобродетельным — писатель, сочинивший данную книгу во имя общественного блага.

Это уже выходило за пределы теоретических рассуждений, и не удивительно, что та же Эмилия, под чьим влиянием «Трактат» был начат, чего нельзя сказать про продолжение и конец, воспротивилась его изданию. Это было опасно и потому, что Вольтер еще решительнее, чем Шефтсбери, отвергал религиозные санкции.

ГЛАВА 3

МЕЖДУ ВЕРСАЛЕМ И ПОТСДАМОМ

В начале 1739-го Вольтер тяжело болел, и врачи запретили ему работать. Он, однако, предпочел иной рецепт. После четырех лет почти полного затворничества в Сире решил переменить обстановку.

Сделать это оказалось тем легче, что Эмили нужно было продать дом в Париже и судебный процесс из-за наследства требовал присутствия ее с мужем в Брюсселе.

С тех пор Сире перестал быть постоянной резиденцией Вольтера и его подруги. В последующее десятилетие они чаще всего проводили там только лето.

В Брюсселе супруги дю Шатле и «друг семьи» обосновались обстоятельно: наняли дом и прожили там почти четыре года, пока тянулся мучительный процесс.

Вольтер деятельно помогал маркизе и маркизу своими юридическими познаниями и способностями. Но он и работал: не писать для него значило то же, что не дышать. Здесь был закончен «Магомет», переделаны две первые главы «Века Людовика XIV», некоторые старые произведения, начат гигантский труд «Опыт о нравах и духе народов».

Впрочем, и в Брюсселе они первое время не жили безотлучно. В августе Эмилию неудержимо потянуло на свадьбу старшей дочери Людовика XV с испанским инфантом. Вольтер, вероятно без огласки, ее сопровождал. Маркиза, как рыба в воду, очень легко снова окунулась в придворную атмосферу. Вольтер, напротив, привык к спокойствию Сире, да и Брюссель был сравнительно тихим городом. Суетная парижская жизнь теперь ему решительно не нравилась.

Единственное, что его утешало и занимало, — хлопоты о постановке «Магомета» в Комеди Франсез и издание собрания своих сочинений.

Злые вести о конфискации тиража первого тома за-

стали Вольтера уже в Брюсселе, куда он вернулся через Сире.

Между тем, к неудовольствию Эмилии, переписка с Фридрихом, еще более деятельная и дружеская, продолжается. Сперва Вольтер читает и одобряет весьма радикальное сочинение кронпринца «Анти-Макиавелли, или Испытание принца», дает автору советы. Потом занимается изданием этой книги, разумеется анонимным.

В «Мемуарах» Вольтер рассказывает об этом так: «Прусский король незадолго до смерти своего отца вздумал написать книгу против Макиавелли. Если бы Макиавелли был учителем принца, то, конечно, прежде всего посоветовал бы ему написать подобное сочинение. Но наследный принц не обладал подобным коварством. Он писал совершенно искренне в то время, когда не был еще государем и когда пример отца не внушал ему ни малейшей любви к деспотизму. Он в то время восхвалял от чистого сердца умеренность и правосудие и всякое преувеличение власти рассматривал как преступление. Он прислал мне свою рукопись в Брюссель, чтобы я ее исправил и отдал в печать. Я же подарил ее одному голландскому книгопродавцу, по имени Ван Дюрен, самому отъявленному мерзавцу из всех мерзавцев этой породы...»

В мае 1740-го Вильгельм Фридрих I, прусский, умирает, оставив сыну престол. Вольтер тут же отправляет молодому королю поздравительное письмо с изъявлением своего восторга и аллегорическое стихотворение, где называет его «вторым Прометеем», который вернет Северной Европе украденный у нее огонь разума.

Фридрих II отвечает ему в не менее патетическом тоне, просит: «Пишите мне как человек человеку, забудьте все титулы, все звания!»

Впрочем, в столь явном расположении короля к философу нет ничего удивительного. Благодаря широко известной дружбе с Вольтером он стал самым знаменитым наследником одного из престолов Европы. А теперь маленькая Пруссия в центре внимания и надежд всех передовых умов материка. От молодого короля с такими прогрессивными взглядами, философа и поэта, ждут нового, еще небывалого правления его страной.

И поначалу Фридрих II словно бы не обманывает ожиданий просвещенной части человечества. Словно бы поступает как истинный приверженец идей Вольтера. Судите сами! Едва вступив на престол, отменяет пытки, освобождает крестьян от тягостного налога на охоту. Благодаря ему в запущенную Берлинскую академию наук возвращается жизнь. Президентом ее становится наш старый знакомец, француз Мопертюи. Приглашает Фридрих в Академию и друга Вольтера, ньютонианца Альгаротти, человека независимого не только по своим убеждениям, но и благодаря богатству отца, итальянского банкира. Возвращается в Берлин и знаменитый немецкий математик Эйлер.

Сам Вольтер, несмотря на усиленные приглашения, в столицу Пруссии еще не приезжает. Но он пристально следит за каждым шагом «Северного Соломона», как называет Фридриха II. Узнав обо всем перечисленном и о том, что молодой король отменил установленный при его августейшем отце режим, когда не только существовал рекрутский набор, но новобранцев еще и покупали и похищали, Вольтер воскликнул: «Король-философ, какое чудо!»

Однако, несмотря на радость и надежды, вселяемые Фридрихом, Вольтер боится, как бы не изменились взгляды автора, уже не угнетаемого отцом наследника престола, но монарха. Поэтому он так торопится с изданием «Анти-Макиавелли», стремительно читает корректуры, тербит гаагского издателя Ван Дюрена, чтобы тот как можно скорее выпустил книгу.

И все-таки пока в Вольтере преобладает убеждение, что его друг и ученик будет «героем на престоле, не истребляющим народы военачальником, но великим правителем, полным любви к человечеству, стремления к миру, покровителем изящных искусств и наук, мудрецом на троне».

Восхищения и надежды рушатся еще не скоро, но опасения оправдываются много быстрее. Очень характерно отношение Вольтера к двум неприятностям, которые принес июль 1740-го. Его поверенный в Париже, аббат Муссино, тот же самый, который отправлял секретную почту в Сире, извещает своего патрона о банкротстве генерального откупщика Минеля. Вольтер из-за этого теряет 400 тысяч ливров, по-теперешнему — 40 тысяч дол-

ларов. Потерпевший пишет проникнутое злым юмором стихотворение и этим помогает себе забыть о потере. Но гораздо большим ударом для него является письмо от Фридриха. Вольтера огорчает уже начало, где идет речь об увеличении прусской армии (военная энергия короля, кстати сказать, удивляла даже его генералов). Правда, затем Фридрих пишет, что всячески поддерживает развитие торговли, промышленности, поощряет художников и скульпторов, доверительно рассказывает о себе самом и кончает фразой: «Никто не может так Вас любить и уважать, как я». Но есть и угрожающая приписка: «Ради бога, купите весь тираж «Анти-Макиавелли!»»

Книга еще не вышла, но уже набрана. Разочарованный и как нельзя больше огорченный Вольтер едет в Гаагу, к Ван Дюрену. Договориться с ним, оказывается, совсем не просто. Пусть книга не подписана, все знают, кто ее автор. А то, что он стал королем, сулит издателю огромные доходы. Вольтер предлагает двойное, даже тройное, вознаграждение за убытки от того, что «Анти-Макиавелли» не увидит света. Тщетно: Ван Дюрен ждет много большего от издания книги.

Тогда Вольтер пускается на хитрость. Необходима еще одна корректура. Он просит издателя дать ему хотя бы несколько листов, рассчитывая не вернуть их и тем самым похоронить набор. Но не на того человека он напал. Вольтер хочет внести поправки? Пожалуйста! Но только у Ван Дюрена дома, в запертой комнате и под наблюдением родных и учеников хозяина. Вольтер соглашается и на это, надеясь взять Ван Дюрена измором. Он работает очень долго и «успевает» прочесть всего несколько страниц. Ван Дюрен тщательно проверяет, не исчезла ли хотя бы одна из них. Через два дня Вольтер приходит снова и опять читает так же медленно. Издатель между тем торопится, и такие темпы правки его не устраивают. Он дает Вольтеру в той же запертой комнате, под наблюдением тех же соглядатаев сразу шесть глав. Тогда у его противника возникает новый замысел. Он зачеркивает целые абзацы так тщательно, чтобы их никак нельзя было прочесть. Он вписывает явную бессмыслицу. Словом, портит корректуру, чтобы книга ни в коем случае не могла выйти. Предлагает Ван Дюрену сперва тысячу, затем тысячу пятьсот дукатов за нанесенный ущерб. Однако тот ни за какую цену не откажется печатать и бессмыслицу,

лишь бы она называлась «Анти-Макиавелли» и все знали, что ее автор — монарх.

Зато выхода в свет книги с искажением не может допустить Вольтер. Он предлагает Ван Дюрену обменять испорченную им самим корректуру на другой — безукоризненный экземпляр. Задерживаться в Гааге он больше не может: другие дела зовут в Брюссель. Ван Дюрен согласился зайти к викарию, у которого Вольтер оставил неиспорченную корректуру, и взять ее взамен испорченной, но обещания не выполнил. На тревожные письма из Брюсселя отвечал нелепыми отговорками и тянул так до тех пор, пока не выпустил в свет изуродованного «Анти-Макиавелли». Неудобочитаемые места и вписанные Вольтером бессмыслицы заменил стряпней собственного сочинения.

Вольтер был вынужден выпустить другое — правильное издание книги.

И что же происходит! Произведение, в обоих вариантах вышедшее без дозволения автора и каких бы то ни было хлопот с его стороны, приносит королю громкую европейскую славу. Вольтер пишет Фридриху: в Мадриде и Лондоне, не говоря уже о Париже, книгой восторгаются все — католики, янсенисты, протестанты...

Ван Дюрен, разумеется, не преминул на таком триумфе дополнительно заработать. За год он выпустил несколько переизданий. Фридрих, естественно, тоже не мог не быть доволен.

И вот наконец после многих лет заочной дружбы и духовной близости, хотя и не без тучек, король и Вольтер впервые встречаются.

Фридрих еще при жизни отца мечтал о путешествии по Европе, считая его необходимым для пополнения своего образования. Покойный король придерживался иного мнения. Теперь Фридрих сам себе хозяин и может свое намерение осуществить. Вольтер согласен его сопроводить и ждет коронованного друга в Брюсселе.

С дороги приходят восторженные письма. Молодой король путешествует под строгим инкогнито и первый раз в жизни чувствует себя ничем не связанным, он забавляется и развлекается. Первое знакомство с французами, в Страсбурге, правда, производит на него дурное впе-

чатление: соотечественники Вольтера болтливы и пусты. Сюда нужно добавить еще одно немаловажное обстоятельство: Фридрих II не только наслаждался путешествием и развлекался, он еще ездил осматривать французские границы и войска Людовика XV.

Встрече в Брюсселе, так же как совместному путешествию, не суждено было состояться. Фридрих в пути заболел лихорадкой и вызвал Вольтера в Клеве — маленький немецкий городок близ границы Голландии. Взаимная неприязнь их с маркизой дю Шатле столь сильна, что король обставляет все так, чтобы она со своим другом не приезжала.

Учитель застаёт ученика в замке Мойланд, под Клеве, дрожащего от сильного приступа болезни. По одной версии, Фридрих от радости встречи тут же выздоровел, по другой — общался с Вольтером в промежутки между пароксизмами. Но, так или иначе, они много говорили о литературе, о философии (свобода воли и прежде занимала немалое место в их переписке) и больше всего о собственных сочинениях. Вольтер читал Фридриху «Магомета», но и сочинил за короля политическую ноту.

Из более или менее точного описания самим Вольтером его первой встречи с Фридрихом II мы узнаем: «Меня ввели в покои его величества. Я увидел в них только голые стены и в маленькой комнатке, при свете одинокой свечи, жалкую кроватку, шириной в два с половиной фута. На ней лежал маленький человечек, закутанный в халат из грубого синего сукна. Это и был король, потевший и дрожащий от озноба под скверным одеялом в приступе жестокой лихорадки. Я отвесил ему глубокий поклон и для первого знакомства пощупал его пульс, как если бы я был придворным медиком».

В замке в это время были и Альгаротти, и Мопертюи, и Кайзерлинг, и голландский посланник короля. Отужив вместе, все они «глубокомысленно рассуждали о бессмертии души, о свободе воли».

Учитель и ученик произвели наилучшее впечатление друг на друга. Вольтер очарован обходительностью молодого короля, который напоминает ему любимого друга — Сидевиля. Фридрих сравнивает Вольтера по красноречию с Цицероном, по спокойствию с Плинием, по мудрости с Агриппой (Нетесгеймским — знаменитым гуманистом XVI в.). Как он завидует маркизе дю Шатле,

которая может наслаждаться обществом великого человека постоянно. Что предпринять, чтобы склонить Вольтера поселиться при прусском дворе? Позже он пустится для этого в довольно низкопробные интриги и все же, пока маркиза не умрет, своего не добьется. Пока же Вольтеру пришлось еще раз съездить в Гаагу по делам «Анти-Макиавелли».

Эмилия, со своей стороны, тоже принимает решительные меры, чтобы удержать Вольтера при себе и не отдавать его Пруссии. Мчится в Париж хлопотать, чтобы кардинал Флери окончательно его простил и поэт был официально приглашен ко двору Людовика XV. Если это ей удастся, победа над Фридрихом обеспечена. Разве прусский двор может соперничать с французским?!

И снова личные мотивы перекрещиваются с большими событиями. В том же 1740 году «шампиньоны изменили судьбу Европы». Отравившись грибами, скончался император Священной Римской империи — таков был титул общегерманского монарха Карла VI. Кто будет его преемником? Это тревожило многие страны, в том числе и Францию.

По этой-то причине хлопоты маркизы приводят к тому, что, даже не встретившись с Эмилией, Вольтер в ноябре 40-го скачет в Пруссию. Кардинал Флери, а он был больше чем главой правительства Франции, ее некоронованным королем, решил, прости опального поэта, использовать в государственных интересах его дружбу с Фридрихом II и послать с дипломатическим поручением к прусскому королю. Партнерам по политической игре необходимо было узнать истинные намерения и планы коварного и умного, молодого, деятельного монарха.

Хитрый кардинал даже не поленился написать Вольтеру длинное письмо, исполненное похвал «Анти-Макиавелли» и его автору, рассчитывая, разумеется, что адресат покажет Фридриху.

Молодой король и в самом деле уже задумал, воспользовавшись смертью Карла VI, отторгнуть у Австрии Силезию и оттягал у Марии-Терезии еще и Гатц.

В это время он отдыхал после первых государственных трудов в Рейнберге. Казалось бы, все шло прекрасно. Король встретил Вольтера как нельзя более любез-

но. Двор жил очень весело, и самый занимательный собеседник Европы, выдумщик, забавник пришелся ему весьма по вкусу.

Вот только о политических планах Фридриха посланнику Флери узнать ничего не удалось. Крепкий орешек был этот мудрец на троне! Даже добиться, чтобы он заплатил бедняге Тьерью, давно прощенному великодушным другом за предательство с «Вольтероманией», не удалось. Хорошо еще, что Фридрих оплатил путевые издержки самого Вольтера. И то в письме Иордансу, совершенно в духе своего покойного отца, прославленного, кроме жестокости, еще и скупостью, не преминул пожаловаться: «Придворный шут обошелся мне слишком дорого». К счастью, а может быть и к несчастью, Вольтер узнал об этом «лестном» замечании много позже. Что же касается его трат на издание и предотвращение издания «Анти-Макиавелли», Фридрих ни тогда, ни потом и не подумал их возместить.

Серьезным приобретением зато было знакомство, а затем и длительная дружба с любимой сестрой Фридриха, маркграфиней Байротской, Вильгельминой.

Надо сказать, Вольтера порядком удивило, что она была чуть ли не единственной женщиной при прусском дворе. Мужчины же, благообразные, любезные, находились между собой в весьма странных отношениях. Об известном теперь всем, кто изучал историю, явном предпочтении, отдаваемом Фридрихом мужчинам перед женщинами, Вольтер тогда еще не знал. Но и не зная, кое о чем догадывался.

Потому-то и допустил неосторожность: в записке Мопертюи назвал Фридриха II «респектабельной, любезной потаскушкой». Конечно, он тогда и не подозревал, какое оружие дает в руки человека, который станет его злейшим врагом. Мопертюи, когда для этого пришло время, показал записку королю.

Пока же Вольтер с Фридрихом нежнейшие друзья и Вольтер в хороших отношениях с президентом Берлинской академии. 19 февраля 1741 года он пишет из Брюсселя Мопертюи: «Я никогда не забуду этого двора, и я Вас уверяю, что не ожидал: нужно удалиться на 400 лье от Парижа, чтобы встретить настоящий политес».

А еще раньше Эмилия, огорченная тем, что Вольтер задерживается в Пруссии, пишет Ришелье, чья жена не-

давно умерла: она сама была бы счастлива по собственной воле последовать за герцогиней. Маркиза в Париже всеми силами добивается возвращения друга, а он никак не может расстаться с ее соперником. Вконец расстроенная Эмилия одна возвращается в Брюссель.

Фридрих между тем 16 декабря захватил Силезию. Военные действия крайне осложнили путь Вольтера из Рейнберга в бельгийскую столицу. А тут еще суровая зима: морозы, снег, обледенелые дороги...

Только в январе 1741-го Эмилия может наконец заключить Вольтера в свои объятия. Процесс все еще тянется.

Это, однако, не препятствует их поездке в Лилль, где после повышения мужа по службе живет молодая мадам Дени. Она как нельзя лучше принимает дядю: скорее всего, чтобы его завещание было составлено в ее пользу.

Вероятно, этот преувеличенно любезный прием, оказанный Вольтеру Мари Луизой, был неприятен Эмилии. Но зато она наверняка испытала удовольствие, когда директор местного театра пожаловался Вольтеру на Фридриха. Пригласил их труппу на гастроли в Берлин и не заплатил ни пфеннига.

И все-таки отношение Вольтера к прусскому королю пока по изменилось, хотя причин для этого накопилось уже немало.

В антракте спектакля «Магомет» — автор смотрел его вместе с маркизой, мадам Дени и приехавшим в Лилль молодым философом Гельвецием — Вольтер во всеуслышание прочел письмо от Фридриха о его первой победе над австрийцами под Мальвицем. На самом деле король оттуда бежал, и противника побили подоспевшие генералы. Но тогда зрители бурно аплодировали и «победителю» — союзнику французов, и поэту — вестнику победы.

Эмилия же была очень огорчена, узнав, как пострадал под Мальвицем Мопертюи. Вместо того чтобы почивать на лаврах, он в погоне за новыми впечатлениями прибыл с прусскими войсками на поле сражения и был за это наказан. Австрийские гусары, не понимая французского языка и не зная, кого они взяли в плен, сняли с прези-

дента Академии наук тонкое кружевное белье, содрали рыжий парик. Потом острили, что Мопертюи оказался единственным трофеем австрийской армии. Полураздетый, бедняга еле добрался до главного штаба противника, объяснил, кто он такой, получил там кое-какой гардероб и через Вену был отправлен в Берлин.

Из Лилля Вольтер и Эмилия вернулись в Брюссель. Нескончаемый процесс все еще тянулся.

Написанное тогда одно из лучших стихотворений Вольтера говорило о переломе в их отношениях. Лирический герой жалуется, что возраст заставляет его расстаться с любовью, а конец любви страшнее физической смерти. Зато небеса оставляют человеку преклонных лет дружбу, и это вознаграждает за утраченную любовь. Стихотворение — как бы увертюра отнюдь не к прощанию Вольтера с любовью вообще, но к переходу его отношений с Эмилией в иную — дружескую ипостась.

Осень 1742-го снова застает их в Париже. Вольтер пользуется уже большей благосклонностью двора. Но это не значит, что его положение полностью упрочилось и он застрахован от новых неприятностей. Судьба Вольтера, как и судьба Франции, решается в Версале, при дворе. А двор не заботит ни положение Франции, ни слава ее литературы. Какое дело королю и его приближенным до того, что то в одной, то в другой провинции свирепствуют голод и болезни, до того, что стране угрожает сама чума?! Интриги, клевета, карьеры — вот что занимает двор. Одна фаворитка Людовика XV сменяет другую, и от этого опять-таки зависят судьба Франции и судьба Вольтера. Если бы младшая, несравненно более красивая и волевая сестра мадам де Мали не заняла ее места при короле, у Вольтера в 1742-м были бы еще большие неприятности.

Но причиной, автором интриги, весьма опасной для него, оказался не кто иной, как Фридрих.

Сперва он предал союзницу в войне. Прошло совсем немного времени с тех пор, как Париж чествовал пруссаков и их короля, побеждающих австрийцев; французские генералы воевали неудачно. А вскоре Франция по соглашению с Фридрихом направила свою армию в Прагу.

И вот тут мудрец и благодетель рода человеческого на троне так же неожиданно, как захватил Силезию, заклю-

чил сепаратный мир с Марией-Терезией, даже не предупредив союзников.

Французы оказались в Праге как в ловушке. Часть войск с невероятными усилиями добралась домой, вторая часть, голодная, вынуждена была капитулировать.

Не удивительно, что Париж уже не славил побед Фридриха II, но проклинал его за вероломство.

И как раз в это время чья-то неизвестная рука стала подбрасывать под двери самых влиятельных лиц Франции — министров, государственных деятелей, мадам де Мали — копии письма Вольтера коронованному другу, где он восторгался Фридрихом, вплоть до заключенного им предательского мира.

Вольтер тщетно пытался доказать, что многие строфы рифмованного письма ему не принадлежат. Так же бесполезны были его попытки отыскать того, кто списки письма подбрасывал: ведь неизвестная рука тянулась из Берлина и принадлежала прусскому королю.

Целью же этой коварной интриги было желание, рассорив Вольтера с французским двором, заставить его переехать к прусскому.

Фридрих, возможно, добился бы своего, и, во всяком случае, его друг и учитель либо предстал бы перед судом в Париже, чего настоятельно добивалась мадам де Мали, либо бежал бы в Брюссель, если бы не смена фавориток.

Казалось бы, раньше все обошлось. 22 августа 1742 года состоялась наконец премьера «Магомета». До тех пор ее всеми мерами тормозили, несмотря на разрешение кардинала Флери, данное после того, как в Лилле трагедия была одобрена высшими духовными лицами. Сейчас же зал Комеди Франсез заполнили министры, сановники, «высший свет», и успех у первого представления был прямо-таки неслыханный. Но «Магомет» был сыгран в Париже лишь еще два раза.

Все те, кто был против религиозной нетерпимости, властолюбия, корысти, интриг, естественно, приняли «Магомета» восторженно. Но много сильнее оказались противники трагедии: тот же Дефонтен и другие. Разумеется, вся эта клика не преминула воспользоваться подкинутым и «отредактированным» Фридрихом письмом, чтобы объявить Вольтера антипатриотом.

Что же касается толкования самой трагедии, лорд Честерфилд заявил — в ней под Магометом скрывается Христос, а некий доктор Сорбонны подтвердил это утверждение тем, что в имени Магомет и имени сына христианского бога — Иезус Крист — одинаковое число слогов.

Ревнители религии и ультрапатриоты атаковали власти, и начальник полиции, янсенист, вызвал Вольтера к себе. Тот был болен, однако встал с постели и в сопровождении верной Эмили к нему явился. Разговор оказался настолько серьезным, что автор вынужден был согласиться, чтобы пьесу незаметно сняли с репертуара. В противном случае по распоряжению Флери старый «леттр каше», подписанный еще из-за «Философических писем», был бы применен — снова Бастилия!

Не спасли и принятые Вольтером контрмеры. Он ухитрился напечатать «Магомета» и послал экземпляр его папе Бенедикту XIV со следующим посвящением: «Главе истинной религии — произведение, направленное против основателя ложной религии». Папа не только поблагодарил автора в очень любезном письме, но и прислал ему золотую медаль со своим портретом. Недаром он был врагом фанатизма. Однако, как мы уже знаем, это не помогло.

И Вольтер опять в дороге. История с письмом, судьба «Магомета», сам Париж с его интригами, литературными дрязгами заставляют уже 2 сентября вернуться в Брюссель.

И снова на пути его встречает слава. Двух дней в Реймсе достаточно, чтобы дать в честь Вольтера две его пятиактные трагедии и устроить банкет, где не одного почетного гостя, но и маркизу дю Шатле — за ее пение и танцы — провожают овациями.

Личная терпимость Вольтера поразительна. Казалось бы, он должен навсегда порвать с Фридрихом из-за его интриги с подброшенными копиями письма. Но, напротив, принимает приглашение прусского короля приехать в Аахен, где тот лечится на серных источниках. Впрочем, он снисходителен не к одному Фридриху, но и к Флери.

У Вольтера воспаление обеих ушей. Он даже острит в одном из писем: «Глухому явиться к королю — то же, что импотенту к любовнице». Но, едва приехав, он снова

стал слышать, хотя, как показало дальнейшее, не слишком хорошо. Как бы иначе он мог пытаться выведать новые планы Фридриха, о чем просил кардинал?

Одна фраза Вольтера свидетельствует, что он согласился снова поехать к Фридриху с тайным поручением Флери не из-за одной терпимости к обоим. Он вспоминает об Англии, где поэтам и ученым поручают государственные посты и дипломатические миссии. А это значит, Вольтер польщен, что его, французского поэта и ученого, удостоили дипломатического поручения.

С другой стороны, только что обиженный правительством Людовика XV, Вольтер, естественно, особенно дорожит дружескими отношениями с Фридрихом II.

Однако, кроме приятно проведенной недели в Аахене, и эта встреча никаких ощутимых плодов не принесла. Вольтер не смог ни выведать у прусского короля его дальнейших планов, ни заручиться какими-либо обещаниями, желаемыми Флери. Так же безуспешны оказались повторные хлопоты о том, чтобы Фридрих наконец заплатил Тьерю за корреспонденции из Парижа для прусских газет и даже за картины, приобретенные для короля Вольтером, тем, у кого они были куплены.

В январе 1743-го, после недолгого пребывания в Брюсселе с Эмилией, Вольтер снова в Париже. В конце того же месяца умирает девяностолетний Флери.

Для Вольтера это очень важно, потому что освободилось кресло кардинала в Академии и, значит, появились шансы для действительно бессмертного занять место среди сорока сомнительных «бессмертных». Впрочем, до этого еще далеко. Ведь судьбы французской науки тоже решаются в Версале и зависят от фавориток короля.

Пока же Вольтер не оставляет мысли, что ему все-таки наконец удастся дипломатическая миссия. А необходимость в ее успехе для Франции большая: выход Фридриха II из войны за австрийское наследство — так принято ее называть — поставил французскую армию в крайне тяжелое положение. Воевать одновременно против Австрии и Англии ей не по силам. Место покойного Флери у кормила правления страной заняли Амело и д'Аржансон.

Уговорить товарища по лицу, что следует воспользоваться дружескими отношениями Фридриха II с Вольтером, и поручить последнему склонить прусского короля

снова вступить в войну на стороне Франции оказалось нетрудно.

30 августа 1743 года Вольтер в Берлине. Столицу Пруссии он видит первый раз. На него производят большое и весьма благоприятное впечатление широкие, прямые и чистые улицы, нарядные дома, быстро построенный Оперный театр, дворцы членов королевской семьи, прекрасный парк, где так хорошо отдыхать. Он прямо-таки поражен и восхищен великолепным зоологическим садом. Ничего не скажешь, приятный город!

Француз, парижанин чувствует себя в Берлине свободнее и лучше, чем у себя дома. В его честь даются концерты, спектакли, балы. У короля такие очаровательные и любезные сестры: и Вильгельмина, и будущая шведская королева Ульрика, и Амалия, и Ударика... Вольтер сочиняет всем им мадригалы.

Не менее нравятся ему и резиденция Фридриха, Потсдам, и Байрот, где они с королем побывали у маркграфини, и Брауншвейг. Если бы только Эмилия с мужем согласилась переехать в Пруссию, на что Вольтер первоначально рассчитывал, вполне вероятно, он бы уже сейчас остался при дворе Фридриха. Но этот план неосуществим. А раз так — и он должен вернуться.

Дипломатическая миссия тоже — уже который раз — провалилась. Фридрих, узнав о тайном поручении, данном Вольтеру, рассердился, а потом стал вышучивать унижения своего учителя.

Вольтеру тем не менее казалось, что он известного успеха достиг, поэтому в декабре 1743 года, вернувшись наконец в Париж, был вне себя от неблагодарности французского правительства, не оценившего его услуг. Обида еще усилилась, когда весной 1744-го переговоры между Пруссией и Францией начались и закончились решением вместе продолжать войну. Скорее всего, однако, советы Вольтера Фридриху здесь роли не сыграли. Любопытно, что новая фаворитка, герцогиня де Шатору, приписывала эту дипломатическую заслугу себе и его претензиями была недовольна.

Если верить «Мемуарам», как раз во время этого путешествия к прусскому королю Вольтеру случайно удалось оказать французскому двору одну услугу. Он оставался на некоторое время в Голландии, и пребывание в Гааге оказалось небесполезным. «Я поселился во дворце

«Старого двора», принадлежащего тогда Пруссии по разделу с Оранским домом». Через прусского посланника, весьма юного, любовника жены одного из виднейших государственных деятелей Голландии, Вольтер добыл копии тайных резолюций, принятых против Франции местными высшими властями, настроенными тогда весьма враждебно. «Я отослал копии нашему двору, и эта услуга оказалась очень кстати». Видно, его дипломатическое честолюбие было очень велико.

А желая во что бы то ни стало заполучить его в свою безраздельную собственность, Фридрих учинил еще одно предательство: довел до сведения «осла Мирепуа» новые нелестные отзывы о нем своего обожаемого учителя и старшего друга. Любими способами старался рассказать его с французским двором.

Конечно, и это прусскому королю не помогло. Вольтер ни в коем случае не расстался бы с Эмилией, а ее удерживали дела, и вообще она ни за что бы не согласилась переехать. Да и сам Фридрих еще раньше дал понять, что и знать ее не хочет. Вольтера подобные поступки коронованного друга не могли не ранить.

Но, кроме огорчений и обид, были еще и радости.

Актеры Комеди Франсез, не менее автора удрученные операцией, произведенной над «Магометом», просили Вольтера взамен этой трагедии написать или дать им готовую другую, которая могла бы пройти с таким же успехом. Просьба пришла автору как нельзя более по душе. Он тут же предложил «Меропу», одно из самых любимых своих детищ.

Так же как «Заиру», Вольтер написал ее за три недели. Работал над ней с таким увлечением, что признался Тьерью: «Теперь новый демон терзает мое воображение — новая трагедия. В меня вселился бог или дьявол, и я должен ему повиноваться». Примечательно, что ту же метафору Вольтер употребил уже как режиссер, работая с исполнительницей главной роли. По его мнению, в сцене Меропы с тираном Полифонтом актрисе Дюмениль недоставало темперамента.

— Но для такой декламации, как вы требуете, нужно, чтобы во мне сидел сам дьявол! — раздраженно воскликнула она.

— Вы совершенно правы, мадемуазель, — отпарировал Вольтер, — именно дьявол должен сидеть у вас внутри. Иначе нельзя добиться чего-либо в искусстве. Да, да, без дьявола под кожей нельзя быть ни поэтом, ни актером.

Вольтер снова доказал, так же как в «Магомете», — в трагедии вовсе не обязательна любовная интрига. Действительно, в «Меропе» нет ни одной любовной сцены. Но распространенная точка зрения, что, устав от политики и философии, он не вложил в эту трагедию ни крупницы пропаганды, что сюжет «Меропы», заимствованный у Еврипида, ее пафос — одно лишь материнское чувство, *неверна*. Изложу вкратце сюжет. Вдова царя мессинского Меропа разыскивает своего сына Эгиста, исчезнувшего после сражения, где был убит ее муж, его отец. Последнее известие об Эгисте Меропа получила пять лет назад от старца Нарбаса. В том же послании он предупреждал царицу, что называющий себя спасителем Мессины, а теперь ее властелин, тиран Полифонт — скрытый враг Меропы. Но теперь она не может найти следов и Нарбаса, а Полифонт упрашивает Меропу выйти за него замуж, разделить с ним трон. Она же настаивает на том, что трон по праву принадлежит Эгисту, и отклоняет предложение Полифонта.

То, что говорит он в ответ, как будто бы справедливо:

Эгист неопытный и слишком молодой,
Напрасно знатностью кичился б родовой:
Не сделал ничего, кому он будет нужен?
Трон — вещь особая: трон должен быть заслужен,
Теперь права на власть не колыбель дает,
Их не наследуют, как землю иль доход.
Они — цена трудов, цена пролитой крови,
Награда мужеству. Кто их достоин внове?
Я...

Но это *демагогия*. Полифонт предлагает Меропе:

...вспомните тот день, когда на ваш оплот
Пилосцы жадные свершили вдруг налет.
Когда супруг ваш, царь, с двумя детьми своими,
Почти у ваших ног был весь изрублен ими,
Припомните, как я их ярость отражал,
Как, защищая вас, я родину спасал:

Освободил ведь я столицы вашей стены,
И я же отомстил за смерть царя Мессены;
Вот где права мои, и титул мой, и сан...

Однако, как выясняется потом, сам Полифонт убил мужа Меровы, Кресфонта, и двоих их сыновей, после чего завладел трон и «руку мне в крови родимой предлагает», — говорит царица. Мало того — убийцей отца объявлен Эгист, не знающий своего происхождения. Как иностранец, обвиняемый в преступлении, он заточен в тюрьму, и чуть было сама Мериоп не пронзила его кинжалом. Только внезапное появление Нарбаса спасло Эгиста.

Сейчас нам трудно оценить «Меропу» так высоко, как ценили ее современники, считая наряду с «Заирой» жемчужиной драматургии Вольтера. Но для того времени она явилась новаторским и даже в некотором роде реалистическим произведением.

Главным для автора были столкновения страстей. «Каждая сцена должна быть битвой. Сцена, в которой двое действующих лиц любят одно и то же, хотят или боятся одного и того же, была бы верхом безвкусицы. (Очень характерное для Вольтера мерило вкуса. — А. А.), — писал он одному из друзей, комментируя «Меропу». И действительно, накал страстей в этой трагедии бесспорен. Конечно, на наш взгляд, монологи и диалоги излишне выпренни, хотя это хорошие французские стихи, о чем по слабому переводу Г. Шенгели судить трудно, ситуации искусственны, обстановка условна.

Между тем Вольтер вообще считал «главным украшением трагедии простоту и правдивость» и был уверен, что достиг того и другого в «Меропе». Впрочем, на фоне совершенно неправдоподобных нагромождений современных ему драматургов и постановок их трагедий «Меропу» в Комеди Франсез действительно можно было счесть образцом простоты и правдивости.

Когда начались репетиции, он принимал в них самое деятельное участие. Оговаривал каждую сцену, каждое движение. Добивался от актеров не только «дьявола внутри», но и естественности, соответствия жизни, что было тогда совершенным новшеством. Вот два примера. В один из самых патетических моментов актриса пробежала по сцене. До тех пор ни в одной постановке трагедии такие «вульгарные», а точнее — жизненные, естественные дви-

жения не допускались. И второй пример: актриса, на взгляд Вольтера, жестикулировала слишком часто и искусственно. На репетиции он привязал ее руку к платью, чтобы лишить возможности злоупотреблять жестами, традиционными и условными. Ей стало неудобно, она рассердилась и сильным и естественным движением обрвала ленту.

— Вот именно то, чего я от вас хотел, мадемуазель, — сказал Вольтер и поклонился исполнительнице.

Возможно, это только анекдот, заимствованный из биографии знаменитой французской актрисы начала XIX века, Марс. А может быть, то же самое повторилось дважды. Во всяком случае, если это и придумано, придумано хорошо. Игре Дюмениль — Меропы трагедия в значительной мере была обязана своим огромным успехом.

Премьера этого спектакля на парижской сцене 20 февраля 1743 года собрала такую же изысканную публику, как «Магомет».

Триумф же был еще больше. Слез, а они (вспомним цитату из «Поэтического искусства») служили в XVIII столетии, как и в XVII, мерилom успеха, пролилось не меньше, чем на представлениях «Заирь». Без излишней скромности Вольтер спрашивает в одном из писем той поры: «Что Вы скажете о пьесе, в которой актриса заставляет плакать весь партер все пять актов?»

Вот доказательство того, что небывалый успех премьеры «Меропы» превзошел даже успех «Заирь». Публика стала вызывать автора. Тогда это еще не было принято. Он появился в ложе одной из своих приятельниц. Неистовствуя от восторга, зрители не успокоились и на этом. Они потребовали, чтобы его тут же поцеловала, по одной версии — молодая невестка хозяйки ложи, герцогиня де Виллар, но другой — тоже молодая и красивая герцогиня Люксембургская. Так или иначе, автор трагедии удостоился поцелуя молодой и знатной, прекрасной дамы.

Это было еще до следующей поездки Вольтера с тайным дипломатическим поручением к прусскому королю. Фридрих II не был на парижской премьере. Но, прочитав трагедию, прислал автору самый восторженный отзыв: «Вы один в мире способны создать такое совершенство, как «Меропа».

Между тем, если отвлечься от традиционных суждений о трагедии, где якобы все внимание сосредоточено

лишь на материнской любви, и прочесть ее свежими глазами, нетрудно заметить, какое большое место в «Меропе» занимают прогрессивные демократические речи Полифонта, противоречащие его поступкам, его сущности. Не Фридрих ли, так мягко стеливший, когда был еще наследником престола и в начале своего царствования, и так изменившийся потом, не отказавшись от прежней фразеологии, был пусть и преобразованным, но прототипом Полифонта?!

* * *

Можно счесть эти четыре года Вольтера, как и еще три, о которых речь пойдет в соответствующей главе, зигзагом. Но нельзя забывать, что в то же время, когда он пользовался или стремился пользоваться милостью двух королей, он заботился о благе двух государств, двух народов, писал «Орлеанскую девственницу», «Опыт о нравах и духе народов», «Меропу».

ГЛАВА 4

ИСТОРИЯ САМОЙ ИСТОРИИ

Но Вольтер не был бы Вольтером, если бы, удачно или неудачно выполняя дипломатические миссии, предаваясь развлечениям, колеблясь в выборе между Фридрихом II и маркизой Эмилией дю Шатле, пожиная лавры попеременно с гонениями, не отдавал бы гораздо больше ума и души предметам, несравненно более важным для него и человечества.

Это может прозвучать парадоксально, но Вольтер занялся всеобщей историей для Эмили, хотя, конечно, не для нее одной. Его поражало, как можно не любить историю. Маркиза не любила. Чтобы доказать своей подруге пользу истории и заставить ее полюбить, Вольтер, еще не закончив «Века Людовика XIV», сочинения тоже исторического, принялся за «Опыт о нравах и духе народов». Тот же Рене Помо, чей афоризм о палках лакеев де Роана и «главной книге века» приведен выше, заметил: «Мелкие мотивы, как всегда, переплетаются с великими идеями».

И он же определил связь «Опыта» с борьбой идей, которая велась в сирейском замке и брюссельском доме супругов дю Шатле и являлась частью борьбы несравненно большей. «Книга родилась среди философов Сире из репризы к диалогу между Лейбницем и Локком, продолжавшемуся на протяжении всего века».

Семья умов Франции XVIII столетия пренебрегала науками *неповторяющихся фактов* — такими, как история. Истинные картезианцы (напоминаю, так называли последователей Декарта) отказывали истории в рациональности. Презируя исторические изыскания, они предпочитали даже не рассматривать, а перекраивать историю априорно, исходя из своих отвлеченных построений.

Но не они одни так относились к истории и к фактам. Когда Жан-Жак Руссо расследовал происхождение неравенства, он начал с заявления «Откажемся от фактов!». Последующие его выводы из этого вытекали. Дени Дидро

тоже не был историком. Сперва ему мешал избыток воображения, он не изучал и воспроизводил факты, а *создавал примеры*, чтобы подкрепить свою идею. Затем же, придя к детерминированной философии, плохо приспособившись к причудам событий, не всегда легко укладывающимся в закономерность и причинную связь.

Но как редактор «Энциклопедии» Дидро, к его чести, не отвергал ни истории, ни историографии. И знаменательно, что этот отдел «Словаря» поручили Вольтеру. Последний написал для «Энциклопедии» статьи «История» и «Историография». Уделил истории большое внимание и в своем портативном «Философском словаре».

Но я уже забежала вперед. Руссо на восемнадцать, Дидро на девятнадцать лет моложе Вольтера. Правда, оба заявили о себе уже в 40-х годах, когда еще продолжался его сирейский период. «Энциклопедия» начала выходить лишь в 1751-м. Вольтер тогда уже два года как навсегда покинул Сире: в 1749-м умерла божественная Эмилия.

Что же касается самой маркизы дю Шатле, она не столько по возрасту, обозначенному в церковной книге, сколько по возрасту интеллектуальному принадлежала к предшествующему поколению. В ней математик и естествоиспытатель совмещался с метафизиком.

Занимаясь точными науками под руководством Мопертюи, Клеро и их коллег, Эмилия изучала Лейбница под ферулой его верного последователя, ученика известного математика Вольфа — Самуэля Кенига. Последний даже два года прожил в Сире.

Вольтер в «Мемуарах», может быть не без иронии, называет его «знаменитым Кенигом». А о визитах ньютонианца Пьера Луи Моро де Мопертюи — пора дать и его христианское имя — и базельского профессора, автора замечательных работ по интегральному и дифференциальному исчислениям Иоганна Бернулли и других ученых говорит: «Они приезжали пофилософствовать в наше убежище». Отсюда и у Рене Помо — «философы Сире».

Вольтер, будучи с Кенигом в хороших отношениях, без должного успеха сопротивлялся его влиянию на маркизу. Зато отомстил своему противнику потом, изобразив его в Панглоссе. Излюбленное изречение этого знаменитого персонажа «Кандида» — «Все к лучшему в этом луч-

шем из миров» — точно выражало основную доктрину оптимистической философии Лейбница, и прототип Панглосса не мог ее не твердить.

Но Кениг Кенигом, а лейбницеvский оптимизм продолжал быть несовместим с изучением исторических фактов и историческим мышлением. Недостаточно сказать, что маркиза не любила историю, — она историю презирала. Заперла «Век Людовика XIV», скорее всего, не из одной боязни за Вольтера, но и из неприязни к самому предмету.

Однако все равно не могла помешать ему служить музе истории — Клио.

И «Веком Людовика XIV», и особенно «Опытом о нравах...» Вольтер противопоставил отвлеченному разуму Лейбница конкретную реальность истории и историческое мышление, хотя и очень еще относительное — XVIII век! Он проецировал на прошлое человечества философию Локка, но шел и дальше и доказывал своим оппонентам, среди них была и Эмилия, что у человечества нет и не может быть иного существования, кроме исторического.

Сами математика и метафизика могли появиться лишь в те эпохи, когда для этого существовали необходимые условия.

Диапазон Вольтера как историка все расширялся и расширялся. Уже в авторском предисловии к «Веку Людовика XIV», напечатанном в конфискованном томе, вместе с двумя главами книги он кидает философский взгляд на мировую историю. На всем протяжении существования человечества насчитывает четыре великих века, управляемых великими суверенами, четыре века процветания и любезности, когда общественный порядок характеризовали прогресс разума, развитие искусств. Назову их. Это эпохи Перикла, Августа, Медичи и Людовика XIV.

Но в «Опыте» Вольтер пойдет гораздо дальше этого первого наброска своей философии истории в предисловии. И главное, круг одного века Людовика XIV, хотя автор и считает его великим веком, уже узок для него. Его заботит теперь *«всеобщая обширность»*.

Неверно было бы, однако, думать, что и прежде он всеобщей обширностью не интересовался. За последние десять лет с успехом прошли трагедии, в которых он об-

ращался к сюжетам из истории разных времен и народов. «Заира» (1732) — Иерусалим крестоносцев, «Аделаида Дюгеклен» (1734) — сюжет из истории Франции, «Альзира» (1736) — Америка конквистадоров, «Фанатизм, или Магомет-пророк» (1740) — Восток эпохи главного героя. Философская сказка «Задиг» — тоже напоминает о мусульманстве и перекликается с «Опытом».

Это не говоря уже о сочинениях более ранних: «Эдипе» — Древняя Греция, «Генриаде» — Франция и Англия XVI—XVII столетий, «Карле XII» — история самая близкая, об «Орлеанской девственнице».

Но всеобщая обширность особенно заинтересовала Вольтера, когда на историческую сцену вышел новый главный персонаж: в 1740-м кронпринц стал прусским королем, и мы уже знаем, какие надежды на его правление возлагали передовые умы Европы и прежде всего сам учитель нового суверена.

Словом, «Опыт о нравах и духе народов» Вольтер начал писать не для одной Эмили, но и для ее соперника Фридриха II, чтобы расширить круг его идей, дать модели управления миром в прошлом одному из тех, кто претендовал едва ли не на первое место среди управлявших миром в настоящем.

Вместо того чтобы признавать наш мир лучшим из миров, необходимо его переделать. А для того чтобы переделать, нужно изучить, каким он был на протяжении веков и тысячелетий. И наоборот — книга должна была убедить в том, что мир необходимо переделать.

Как историку Вольтеру прежде всего нужно было, реабилитируя факты, пробиться сквозь необозримый хаос их, оставленный предыдущим веком, прозванным «веком Эрудиции».

Маркиза дю Шатле имела немало оснований презирать историю, такую, какой она была до Вольтера. «Я никогда не могла окончить, — говорила она, — ни одной истории новых народов. Я встречаю в ней лишь путаницу событий, множество мелких фактов, без последовательности и связи, тысячу битв, которые ничего не решают... Я отказываюсь от этого изучения, столь же сухого, сколь обширного, оно утомляет ум, не просвещая его».

Сам Вольтер ей сочувствовал: «Она хотела узнать гений, нравы, законы, предрассудки, культуру, искусство

(народов. — А. А.) и вместо этого узнавала, что в 3200-м или 3900-м, неважно, в каком году от сотворения мира, один неизвестный царь разбил другого, еще более неизвестного царя, близ города, местоположение которого решительно никто не знает». За этим выражением сочувствия стоит собственная программа, позиции историка. Факты необходимы, но их нужно отбирать и осмыслять: «Не все, что является фактом, заслуживает того, чтобы быть описанным».

Вольтер искал и нашел принципы отбора и осмысления фактов, которые позволяли ему отделять главное от второстепенного и третьестепенного, позволили стать, по сути дела, первым европейским историком мира. И, несмотря на то, что он выделяет столетия, имевшие выдающихся суверенов, отнюдь не суверены больше всего занимают Вольтера-историка. «Нужно изучать дух, нравы, обычаи *народов* (курсив м о и . — А. А.)» — так определил он то, к чему прежде всего стремился. Он хочет создать и, насколько позволяет его время, создает всеобщую историю. В нее входят история культуры, открытия и изобретения науки, развитие искусств, культурные заимствования, история экономического развития народов, особенно история торговли и финансов, история военного дела и мореплавания и, наконец, то, что позже получило название истории социальной. Вольтер заметил: «Все это имеет в тысячу раз большую цену, чем вся масса летописей дворов и все рассказы о военных кампаниях», — и это утверждение, бесспорно, справедливо.

Уже «Век Людовика XIV» не традиционная летопись одного царствования. Прежде всего автор не ограничился принятым хронологическим распределением материала, а дополнил его тематическим. Обратимся к оглавлению II тома нового критического парижского издания Антуана Адама. Мы найдем там: «Финансы и внутренний распорядок», «Науки», «Искусства», «Церковные дела. Памятные диспуты», «Кальвинизм»...

Конечно, и отвергнув провидение, изгнав божью волю и божий план развития мира, высмеяв чудеса, Вольтер не мог еще полностью постичь истинные движущие силы истории. Но, уже выведя на авансцену истории народы, сделал очень много.

А его вера в то, что «абсолютный монарх, желающий блага, может без труда достигнуть всех своих целей», хотя это и собственные слова Вольтера, никогда не была абсолютной и с течением времени все меркла и меркла. Достаточно сопоставить издания «Века Людовика XIV», чтобы увидеть, как менялось отношение автора к королю-солнцу. Книга очень менялась и пока писалась. Если сначала Людовик XIV представлялся Вольтеру образцом «просвещенного монарха», так как содействовал расцвету наук и искусств в своем государстве (это было и в «Философических письмах»), то потом автор иронизирует над теми, кто только в расцвете искусств видит величие эпохи. Вольтер быстро понял, что политика короля-солнца, его беспрестанные и разорительные войны, его вмешательство в религиозные распри привели Францию к экономическому и духовному упадку. Великое царствование кончилось весьма печально.

Последняя глава — «Споры о китайских церемониях» — на первый взгляд может произвести впечатление случайной. Но она служит авторской критике политики Людовика XIV. Ему в пример ставится китайский император. Этот разрешил споры между миссионерами-иезуитами и миссионерами-доминиканцами, изгнав тех и других, как зачинщиков смут, из Китая.

В главе «Лета, осени, зимы...» я еще вернусь к этой книге. Сейчас же скажу о том, как высоко ценил ее Фридрих II в начале 40-х годов. Король прусский писал Вольтеру из военного лагеря в Силезии: «Я теперь читаю, или, вернее, проглатываю, Ваш «Век Людовика Великого». Если Вы меня любите, то пришлите мне продолжение. Это чтение — мое единственное утешение, моя отрада, мое отдохновение». Получив продолжение, он восторгался еще больше: «Я не встречал лучшего стиля. Читаю каждый кусок по два, по три раза, до такой степени мне это произведение нравится... Каждая строчка выдержанна, все сочинение наполнено прекрасными рассуждениями, ни одной неверной мысли, ничего наивного и притом — полное беспристрастие...» Потом изменится Фридрих II, пойдет дальше Вольтер, и «Век Людовика XIV» станет едва ли не главной причиной их ссоры.

Эта книга написана просветителем. Если одни главные недостатки Людовика XIV — чрезмерное чувство собственного достоинства (позже Вольтер восстанет против его

LE SIECLE
LOUIS XIV.

PUBLIÉ

*Par M. DE FRANCHEVILLE,
Conseiller-quelique de sa Majesté,
& membre de l'Académie royale des
Sciences & Belles-Lettres de Prusse.*

TOME PREMIER, I. PARTIE.

Seconde Edition.



A LEIPSI C.

M. DCC. LII.

Титульный лист второго издания «Века Людовика XIV».

самообожествления и обожествления его другими), военное тщеславие — автор считает доведенными до крайности чисто французскими добродетелями, то религиозную нетерпимость короля-солнца автор объясняет небрежным воспитанием, им полученным. Если бы, говорится в другом месте, Людовик XIV умел как следует читать, он не отменил бы Нантского эдикта. Но отчего же его не научили как следует читать? Сперва Вольтер полагал, что тем больше чести делает королю, что при собственном недостаточном образовании он поощрял науки и искусства и покровительствовал ученым и писателям. Потом, как мы уже знаем, историк перестал придавать этому такое решающее значение.

То, что король-солнце вел слишком много войн, Вольтер осудил сразу и не только картинно, но и со смешанным чувством сострадания и негодования описал сражения и их чудовищные последствия. Его попытка оправдать воинственного монарха неубедительна: «Если бы король был очевидцем всех этих ужасов, он бы сам тушил огонь».

Преследования, которым подвергались протестанты после отмены Нантского эдикта, изображены с истинно реалистической беспощадностью. Веротерпимость, доказывает Вольтер, разумна даже из экономических соображений.

Он старается субъективно оправдать Людовика XIV, представив его человеком, убежденным в правоте своего дела, а главными виновниками бессмысленной жестокости — исполнителей королевских предначертаний. Отдает дань вере в значение доброй воли монарха просвещенного хотя бы в том смысле, что, не будучи лично просвещенным, как Фридрих II, он способствовал просвещению. Но что это меняет в оценке царствования, особенно конца его, которое сам Вольтер, работая над книгой и перерабатывая ее, все менее и менее считает великим?

Много важнее обилие собранных и изложенных им красноречивых фактов. Вольтер использовал для этой книги и огромный материал, почерпнутый из устных рассказов современников Людовика XIV — самому ему было всего девятнадцать лет, когда король скончался.

Подчеркиваю еще раз, что автора занимал не один суверен, но его век. В конце «Века Людовика XIV» приведен список членов французской королевской фамилии,

современных правителей других государств, французских маршалов и высших сановников, в алфавитном порядке даны краткие биографические сведения о наиболее известных писателях и художниках эпохи.

Действительно, блистательно написанная книга, она читается легко и сейчас, значительно больше ценна своей основательностью. Известный историк Шлоссер несправедлив по отношению к другим историческим трудам Вольтера, говоря, что это «единственная его историческая работа, из которой при надлежащей осторожности можно заимствовать факты...», но в применении к «Веку Людовика XIV» замечание правильное.

Вольтер огромное значение придает *достоверности*. Видит свою задачу как историка и в том, чтобы отделить правду от лжи, «выплеснуть море выдумок, которыми залили историю все историки, пока философия не стала просвещать людей».

К сожалению, он и сам не избежал фактических ошибок в своем «Веке Людовика XIV». Недаром Шлоссер говорит об «осторожности».

Но общего стремления к достоверности отдельные отклонения от нее не отменяют и не умаляют. Особенно возросло это требование в главном историческом труде Вольтера. Со всей силой своего неукротимого темперамента в «Опыте» автор обрушивается на ложь и невежественность своих предшественников и современников. И крупницы эрудиции не было у историков «века Эрудиции». Но и те, кто смеет считать себя историком теперь, не лучше. Роллен пересказал античные басни, Флери (не кардинал, глава правительства, а другой, клерикальный историк) — басни церковные. Большинство историков грубы, невежественны, лишены представления о предмете, который отваживаются трактовать. Достаточно сказать, что при определении дат событий они расходятся между собой на целую тысячу лет... Роман принимают за подлинную летопись и т. д. и т. п.

И притом, всячески понося остальных, каждый считает себя единственно правым. Так, к примеру, на монопольное владение истиной претендуют и иезуиты Болланд и Папенбрук, хотя их «история» не что иное, как изложение самых нелепых басен.

Вольтер изобличил не только множество фактических ошибок, которыми пестрела до него история древних времен и недавнего прошлого, но и тенденциозное искажение истины историками. Правда, он в запальчивости иногда обрушивал лавину критики на тех, кто этого не заслуживал, и литературные нравы своего времени переносил на иные времена. Отдает должное Геродоту, но несправедлив к Тациту и Светонию. Не увидел достоинств Библии. То, что Григорий Турский и другие монахи превозносили дурных государей за то, что те дарили им земли, вполне вероятно. Но средневековые летописцы, авторы хроник, упрекаемые Вольтером в невежестве и корыстных интересах, большей частью стремились к беспристрастию.

Дурной тенденциозности, однако, он не выдумал. Она существовала.

Вольтер насмешливо спрашивает: не была ли бы написана история Франции совсем иначе, если бы в Столетней войне победили англичане? И вопрос не лишен основания. Возможно, историки и в самом деле стали бы до небес превозносить английского короля Генриха V, освободителя Франции.

Для нас, воспитанных на хрониках Шекспира, это прозвучит неожиданно, но Вольтер доказывает: Ричард III вовсе не был ни чудовищем моральным, ни горбуном и уродом. На самом деле он был красив, только одно плечо выше другого. Его изобразили таким и изобличили в преступлениях, которых он не только не совершал, но и не мог совершить, ибо они противоречили его собственным интересам, лишь из раболепного служения победившему Ричарда жестокому и скупому Генриху VII.

И так далее, и тому подобное. Историки Англии нового времени — тори обвиняют во всех несчастьях страны вигов, и наоборот.

Вольтер не только требует строжайшей проверки фактов, приведенных в исторических источниках. Не только сам все досконально изучает и проверяет. Количество источников, которыми пользовался он сам, огромно и всеобъемлюще. И они известны, хотя он не прибегал к сноскам и ссылкам: тогда это еще не было принято. Рене Помпо приложил к своему критическому изданию «Опыта о нравах и духе народов» список процитированных Вольтером в его сочинении авторов, а точнее — авторов и

источников. Их 502. Среди них Адиссон и Апулей, Аристофан и Аристотель, Фрэнсис Бэкон и святой Василий, Бен-Джонсон, Библия, Новый Завет, Апокалипсис, Буало, святой Бунавегур, Бюффон, Кальвин, Дмитрий Кантемир, Катон, Катулл, Юлий Цезарь, Цицерон, Клемент Александрийский и святой Клементий, Конфуций, Коран и «Энциклопедия» Дидро и д'Аламбера, Корнелий, Данте, Демосфен, Эпиктет, Эпикур, Фенелон, Фредегер, Гильом де Тур, Геродот, Гесиод, Гомер, Гораций, Юм, Юванси — его лицейский товарищ, иезуит и историк, Ювенал, Лафонтен, Ламот де Вайе, Лейбниц, Локк, Макиавелли, Марк Антоний, Марко Поло, Мильтон, Монтень, Овидий, Лукреций, Паскаль, Пиколомини, Вергилий, Орас Уолпол, Ксенофонт... и, разумеется, целая плеяда французских историков, начиная с Боссюэ.

На одних он опирается, далеко не все цитируя, с другими спорит или высмеивает их, третьи помогают украшению его стиля. Так, целая 95-я страница первого тома «Опыта» в издании Помо отведена цитатам из Лукреция и комментариям Вольтера. «Нет, ничего во всей античности нельзя предпочесть этому отрывку, простому и возвышенному, продиктованному разумом и добродетелью, вызванному энтузиазмом, который отвергает здравый смысл», — пишет Вольтер по поводу цитаты, начинающейся так: «Каждый гражданин должен быть убежден в существовании провидения. Достаточно наблюдать порядок и гармонию вселенной, чтобы твердо знать: случай не мог бы так ее сформировать».

Это ироническое рассуждение, если вдуматься в него, не что иное, как замаскированный выпад против Лейбница.

Исторические познания Вольтера поразительны. Достаточно познакомиться с отделом истории составленного Вольтером каталога его библиотеки в Ферне. Он работал, как ученый-историк, с тщательностью, доскональностью, добросовестностью, для того времени поистине удивительными, хотя — уже говорилось — тоже не избежал ошибок. Примечательно, что ни один из фактов, касающихся Петра I и России его эпохи, приведенных Вольтером в его первом историческом сочинении — «Карле XII», не был опровергнут последующими исследователями.

Но еще более поразительно: задолго до наших дней Вольтер опровергает чудеса, излюбленные его предшест-

венниками и современниками — псевдоисториками, доказывая, что они противоречат *естествознанию*.

Мало того, он и сам как историк не претендует на полную вероятность, ибо всякая достоверность, не доказанная *математически*, есть лишь «крайняя вероятность».

Пусть это написано позже, в статье «История» его портативного «Философского словаря». Но естественными науками Вольтер занимался в Сире, когда писал «Век Людовика XIV» и «Опыт о нравах и духе народов». А математикой — начал раньше и продолжал тогда. *Он объединял свои музы.*

И наконец — *всеобщая обширность*. Вольтер ее достиг первый. Первый вышел за границы Европы. Боссюэ написал свою книгу «Всеобщая история», но забыл обо всем мире и занялся лишь тремя или четырьмя европейскими государствами, к тому же больше не существующими.

Конечно, и Вольтер в «Опыте» больше всего места уделил Европе, не Боссюэ, а настоящей, однако лишь потому, что тут имел больше материалов. Но он не забыл и других частей света. И, пользуясь сравнительно-историческим методом, отнюдь не проявлял пристрастия к европейским народам. Нередко ставил Индию и Китай им в пример. Поразительно сочувствие к американским индейцам, проявленное Вольтером уже в четвертом «философическом письме» об Уильяме Пене и созданной им стране Пенсильвании. Может быть, не все было так на самом деле. Но автор воплотил в этом письме свой идеал правителя, к которому все обращаются на «ты» и никто не снимает перед ним шляпы, свой идеал государства, где чиновники служат народу, где все равны, без различий национальных и сословных, где нет даже армии.

В «Опыте» Вольтер одним из первых показал, как много сделали арабы для европейской культуры, и заявил о всемирно-историческом значении России.

Он написал первую книгу по всемирной истории и написал ее с всемирно-исторической точки зрения. Он написал ее как правдолюбец, народолюбец, интернационалист и истинный ученый.

Он написал ее как просветитель. Для его времени это самая высокая вершина познания и осмысления мира. Упрекать Вольтера в том, что он не понимал еще многого из того, что понимаем мы, по меньшей мере неисторично.

Определить, когда он начал работать над «Опытом», помогает его корреспонденция. Первый намек на то, что Вольтер к «Опыту» приступил, мы встречаем в письме Фридриху от 1 июля 1741 года из Брюсселя.

Может быть, самое поразительное, что этот труд, такой громадный по охвату эпох, стран, событий, по обилию необходимых источников, готовился в беспрестанных передвижениях автора между Брюсселем, Парижем и Сире, прерывающихся еще и поездками в страну Фридриха II в 1741-м, 1742-м, 1743-м.

И где бы он ни находился, он работал так же упорно и кропотливо. Прежде всего для «Опыта» нужна обширнейшая библиография. В Брюсселе Вольтер пользуется библиографическими справками у внука великого Пансионария Витола. В Париже консультируется в Королевской библиотеке, доступ туда помог ему получить маркиз д'Аржансон.

И он читает и изучает все, что указывает библиография. Вольтеру незачем бояться, что он потеряется среди тысяч фолиантов и документов. Он извлекает из всего этого «экстракт, несколько капель эликсира».

Берет лишь то, что нужно брать, и движется быстро. Проходит год с небольшим с первого упоминания об «Опыте», и он уже в августе 1742-го шлет Фридриху первую часть рукописи, в ноябре — вторую... Темпы его удивительны. Отправившись от Карла Великого, он к этому времени уже прошел крестовые походы и добрался до Карла V.

Мы не знаем точно, что включал в себя первый вариант «Опыта»: рукописи, отправленные королю прусскому, до нас не дошли. Но всеобщая обширность окончательного текста очевидна. Книге предпослано введение — «Философия истории», начиная с геологических переворотов. Поразительно, что Вольтер понял — миллионы лет человек провел в первобытном состоянии, и еще более поразительно — для того времени это был скачок в науке — он отрицал дообщественное состояние человека. Одиночный человек — досужее измышление. «Человек, в общем, всегда был тем, чем является сейчас». Семья была первой ячейкой общества, утверждал он задолго до Энгельса.

В беглом обзоре древней истории автор осуждает римлян за то, что для них любовь к отечеству означала право убивать и грабить другие народы, за то, что они смот-

рели на свой народ как на «свирепого зверя, который надо натравливать на соседей, чтобы он не пожрал своих господ», и одобрял Древний Рим лишь за религиозную терпимость.

Зато к Древней Греции отнесся несравненно более благосклонно. Свобода мысли сделала греков самым умным народом в мире. Соединяя в себе историка с политиком, Вольтер тут же пишет, что «в наше время английская нация стала самой просвещенной в мире, потому что у англичан можно думать безнаказанно». Отдает Локку предпочтение перед Платоном.

К средневековью относится так, как было принято относиться до самого последнего времени (то есть не слишком справедливо). При всей критике, которую он обрушивал на Древний Рим, переход к средневековью представлялся Вольтеру глубоким падением. «Двадцать варварских наречий сменили прекрасный латинский язык... Мудрые законы — варварские обычаи... Вместо цирков и амфитеатров — крытые соломой хижины. Прекрасные дороги покрылись стоячими водами».

Такой же упадок постиг и умы: Григорий Турский и Фредегер — это наши Полибий и Титы Ливии (последних Вольтер оценивал высоко. — *А. А.*). Человеческий разум огрубел среди глубоких суеверий. Вся Европа, по его концепции, коснеет в жалком состоянии до самого конца XVI века и освобождается от него с огромными усилиями.

Освещая историю средневековья, Вольтер не ограничивается Европой. Он пишет о странах Ближнего и Дальнего Востока — Персии, Турции, Индии, Китае, Японии, Абиссинии, Марокко, о монголах. Описанию крестовых походов предшествует характеристика положения на Востоке. Он останавливается на цивилизации Америки до прихода европейцев и, продолжая «Альзиру», с еще большим негодованием осуждает завоевателей. Разрушение этой цивилизации европейскими разбойниками, бесчеловечное истребление двенадцати миллионов человек в Новом Свете Вольтер называет самым ужасным преступлением, известным истории.

Введение было прибавлено потом. Но уже с первых страниц всемирная история началась у Вольтера с Востока, с Китая, где цивилизация появилась тогда, когда на Западе господствовало варварство. Китай он вообще иде-

ализировал, подменяя его подлинную историю басенным поучением европейцам.

История Европы — в его трактовке — «нагромождение преступлений, безумий и несчастий». Но современную Европу он славит, сравнивая ее не только со временами Карла Великого, но и с Римской империей. Теперь она и гуще населена, и цивилизованнее, просвещеннее, богаче. Пусть в Риме было больше населения, чем в каждом из современных городов... Но тогда не существовало Парижа, Лондона, Константинополя, Каира, а лишь Александрия и Карфаген — единственные крупные столицы древности. С полемическим задором, направленным против уже не противника, но союзника, Монтескье, Вольтер восклицает: «Пусть говорят что угодно, в Европе больше людей, чем было тогда, да и люди стали лучше!» И разумеется, он объясняет это светом *истинной философии*, озарившим Европу в XVIII столетии.

А какого величия достигли бы Европа и его Франция, если бы не разрушительные войны и монастыри — они отнимают у полезного труда столько мужчин и женщин!

И однако, его «Опыт» продолжает оставаться всемирной историей до самого конца. В последней главе, после века Людовика XIV, следуют исторические сравнения и параллели. Предпоследняя посвящена Японии XVII века, Голландии и Франции.

Автор ценнейшей статьи «Вольтер как историк» академик Е. А. Косминский совершенно прав, опровергая укоренившуюся легенду. Он пишет: «Век Просвещения» пользуется незаслуженной репутацией «неисторичного» и даже «антиисторичного» века... И главная заслуга в деле создания новой исторической науки принадлежит тому гениальному человеку, в котором всего ярче выразились главные черты «века Просвещения», — Вольтеру».

ГЛАВА 5

ПРИДВОРНЫЙ И КАМЕРГЕР ЕГО ИСТОРИОГРАФ ВЕЛИЧЕСТВА

Как объяснить, что создатель первой всемирной истории становится придворным историографом, защитник народов — слугой короля, причем не того, кого мог бы признать великим сувереном, преследуемый автор крамольных сочинений прославляет своим пером тех, кто прославления не заслуживает? Дать прямой и однозначный ответ на этот вопрос много труднее, чем оправдать надежды, которые Вольтер возлагал на Фридриха II. Но такой ответ и не нужен. Зигзагов в биографии Вольтера, как уже говорилось, немало, и противоречия великого человека отражают противоречия его века.

Следуя своему герою, его биограф не вправе обходить неповторяющиеся факты и выпрямлять их как угодно.

Жизнь Вольтера складывается так. Предпочтя Эмилию Фридриху, Францию — Пруссии, зиму 1743/44-го вместе с маркизой он проводит в Париже. И зима эта оказывается очень тяжелой. Мало того что болезнь снова приковывает его к постели, что само по себе невыносимо, Вольтера мучает еще и губительная страсть Эмилии к карточной игре.

К тому же, обычно безропотный, маркиз дю Шатле, оставленный в Сире, изнывает от одиночества и скуки.

Вольтеру необходимы отдых и покой после болезни, Эмилии — скрыться от долгов и не наделать новых, маркиз умоляет их приехать... В апреле философ и его подруга снова в своем «королевстве и академии», как Вольтер называл Сире.

Казалось бы, вернулись покой и счастье, утраченные в бесконечных разъездах. Вольтер и маркиза по-прежнему наслаждаются искусством, занимаются опытами в галерее. Если бы не известие о болезни и преждевременной смерти Никола Шарля Дени и сочувствие горю овдовев-

шей племянницы, эти месяцы можно было бы назвать безмятежными.

Но сирейская идиллия и без того продолжается недолго. Ее нарушает поручение, полученное от первого камергера двора Людовика XV, герцога де Ришелье. Почему Вольтер согласился написать либретто оперы «Принцесса Наваррская» для предстоящего свадебного торжества по поводу бракосочетания дофина с Марией-Терезией, инфантой испанской? Ведь еще в 1732-м дан обет никогда больше к опере не возвращаться. Чего тут было больше — честолюбия, желания заслужить признание версальского двора или невозможности отказать другу?

Музыка заказана Рамо. Но Ришелье привлекает к сочинению либретто еще и Жан-Жака Руссо, музыканта и литератора.

Последний необычайно польщен самой возможностью поставить свое имя рядом с именем великого человека, которого, и не будучи лично с ним знаком, давно уже считает своим учителем и кумиром. Руссо принимается за «Принцессу Наваррскую» с усердием, достойным лучшего применения. Он пишет Вольтеру: «Меся, пятнадцать лет я трудился, чтобы удостоиться чести быть Вами замеченным».

Между тем в ответном письме явно ощущается смущение, более того — стыд, испытываемый большим писателем, принижающим свой талант для развлечения двора. «Я знаю, — пишет он, — слишком хорошо, что все усилия сделать серьезную вещь из этой безделицы окажутся напрасными...»

В «Исповеди» рассказано, чем кончилась история этого соавторства. Руссо старался не только как можно усерднее работать, но и быть предельно любезным с человеком, приближенным к самому герцогу де Ришелье — большой персоне при дворе. Спектакль в свое время состоялся. Но, увы, в программе рядом с именем Рамо стояло имя одного Вольтера. Руссо был прямо-таки убит. «Я потерял не только вознаграждение, которого заслуживали мой труд, потраченное мной время, не были возмещены мои огорчения, моя болезнь, деньги, которых мне это стоило, но и уважение к человеку, на чье покровительство я рассчитывал. Я понес одни издержки. Как это жестоко!» — вспоминал Руссо через много лет.

Почему Вольтер, обычно столь великодушный, столько

заботы расходуемый на молодых литераторов, обидел Руссо?

Мы можем только догадываться о причинах этого поступка. Не исключено, что, уже решив принизить свои таланты, поставить его на службу не народам, но монархам, Вольтер хотел, по крайней мере, извлечь из этой уступки как можно больше выгоды. А могло быть и совсем иначе.

Несомненно, и он вложил в «Принцессу Наваррскую» немало труда. Может статься, ему и не понравилось то, что написал Руссо, и он все переделал, чего Жан-Жак, впоследствии его заядлый враг и человек, в высшей степени пристрастный и запальчивый, не захотел признать.

Усиленная работа над не стоящей того безделкой снова приводит к обострению болезни Вольтера, и маркиза везет его к врачам в Париж. Он не протестует. Дошли известия, что Рамо своевольничает, уродуя его стихи. Необходимо немедленно ехать в столицу, чтобы пресечь самоуправство композитора. Не исключено, что сюда примешалось и несогласие с Руссо.

И снова Эмилия и Вольтер погружаются в привычную светскую жизнь. Он занят еще и «Принцессой Наваррской», участвуя во всеобщей придворной суете, связанной с подготовкой к свадебным торжествам в Фонтенбло.

В ноябре король, по настоянию своей фаворитки, герцогини де Шатору, превратившийся в полководца, подобно Фридриху II, хотя и не обладал ни военным талантом, ни воинственностью своего союзника, вернулся из Фландрии, где шли сражения с австрийцами и англичанами и где он заболел. Его счастливое возвращение могло быть чревато большими переменами в управлении страной. Изгнанная из Меца духовенством, проклинаемая населением, когда минуты Людовика XV, казалось, были уже сочтены, герцогиня теперь хотела взять реванш. Она добивалась, чтобы всех, кто был виновен в пережитом ею позоре, казнили. Конечно, это было слишком. Епископы и священники, правда, пострадали довольно серьезно: их сместили и изгнали. Главный противник фаворитки, министр Морепа, однако, не получил отставки. Ему пришлось лишь лично явиться к герцогине и просить у нее прощения.

Но он застал ее уже больной, в постели. 8 декабря 1744 года она умерла. Герцогиня была четвертой из пяти дочерей герцога де Нестле, последовательно вытеснявших одну за другой из спальни короля (не успела лишь пятая, младшая, хотя и очень к этому стремилась). Де Шатору прожила на свете всего двадцать семь лет и так и не успела сделать из Людовика XV монарха, какого хотела.

И снова смена фавориток еще более решительно скажется на судьбе и Вольтера и Франции. Но произойдет это еще не сейчас.

Очень верно, почти афористически, определяет различия трех фавориток Людовика XV французский историк прошлого века Эмиль Кампар в книге «Помпадур и двор Людовика XV».

Мали любила самого Людовика, как женщина любит мужчину, ничего не требуя от него как от короля.

Шатору любила в нем только короля, когда он был королем в ее представлении, и позволяла себе руководить Людовиком, вмешиваясь решительно во все.

Помпадур, о которой речь в моей книге еще впереди, любила власть. Она была истинным министром в юбке. Ее влияние на государственные и экономические дела страны, ее роль в духовной жизни Франции, хотя направление их было иным, напоминает влияние и роль Ментенон при Людовике XIV, несколько не уподобляясь скромному положению любовниц Филиппа Орлеанского. Притом знаменательно, что, став официальной фавориткой, Помпадур проявила исключительный такт, окружив публично демонстрируемым уважением королеву, дофина и дочерей короля.

Впервые за всю историю Франции у нее установились дружеские отношения с Австрией, и произошло это по желанию Помпадур. Она основала Севрскую мануфактуру.

Благодаря мадам при дворе появился театр, с труппой, ею лично подобранной из наиболее утонченных и одухотворенных актеров. Она и сама играла в придворных спектаклях.

Общезвестно, что Помпадур покровительствовала писателям, музыкантам, артистам, художникам, за что и была вознаграждена не только их дружбой и множеством посвященных ей мадригалов, но и серией своих великолепных портретов, написанных Буше.

Умная, образованная маркиза понимала, что «галант-

ный век» много больше «века Просвещения», почему, и переехав в роскошные апартаменты Версаля, не порвала своих установившихся раньше «опасных связей». Напротив, она перенесла дух вольнодумства и остроумия на «малые ужины» короля. От нее зависело, как мы скоро убедимся, очень многое, гораздо больше, чем от Шатору.

21 ноября 1744-го Вольтер празднует свое пятидесятилетие. Итоги прожитого им полувека не так уж плохи. Из гонимого литератора он превратился в европейскую знаменитость. На его счету немало выдающихся сочинений. Теперь он может ожидать уже не преследований, но покровительства двора. И вместе с тем он располагает все тем же постоянным убежищем, Сире, где больше чем когда-либо собирается провести остаток своих дней. Слабое здоровье заставляет думать, что жить ему осталось недолго. Но кому дано знать свою судьбу?

Именно тогда, не порывая с Эмилией, Вольтер обретает и новую музу в лице своей племянницы, мадам Дени. Вдовство ее отнюдь не безутешно. Она переехала в Париж и с помощью дяди открыла салон, желая радоваться жизни.

Уже говорилось, что никто из современников, более того, друзей, секретарей и слуг Вольтера, даже самых наблюдательных, не знал истинного характера отношений его и мадам Дени. Если некоторые и догадывались, то много позже, в Ферне.

Между тем уже в 1744-м, в Париже, этой женщине Вольтер дарит позднюю страстную любовь, неограниченное доверие, прощает все, даже дилетантские стихи. С его стороны это поистине слепое обожание. Вряд ли она платит ему тем же. Если и раньше мадам так занимало завещание дяди и она страстно стремилась еще при жизни Вольтера прибрать к рукам его состояние, то какие у нас основания думать, что теперь ей чужда корысть?

Стоила ли Мари Луиза такой любви? Она не была красавицей, но ее отнюдь нельзя назвать дурнушкой. Во всяком случае, и в тридцать два года вдовушка нравилась многим. Веселая и легкомысленная, она не наводила скуки. Один из посетителей ее салона, Сидевиль, хотел на мадам Дени жениться. Мы не знаем мотивов ее от-

M É M O I R E S

POUR SERVIR A L'HISTOIRE
D E M A D A M E
D E M A I N T E N O N ,

Et à celle du Siecle passé ,

P A R M D E L A B E A U M E L L E .

N O U V E L L E E D I T I O N

Augmentée des Remarques Critiques DE V O I L T A I R E ,
tirées de son Essai sur l'Histoire Générale

T O M E P R E M I E R .



A M A E S T R I C H T ,

Chez J E D U F O U R et Ph R O U X , associés.

M . D C C . L X X X I X

Мемуары мадам де Ментенон. Издание Лабомеля.

каза. Не исключено, что она рассчитывала рано или поздно стать мадам де Вольтер. В романских странах близкие отношения и даже браки между родственниками не считались зазорными. (Вспомним, что брак Орлеанского с его двоюродной сестрой воспринимался так трагически лишь потому, что она была «незаконной».)

Салон мадам Дени посещали ее брат, аббат Минно, умнейший аббат Рейналь, Монтескье, Мопертюи. Возможно, гостей привлекала, помимо непринужденной беседы, и хорошая кухня: хозяйка ей уделяла внимание.

Вольтер же старался проводить здесь все время, которое оставлял в его распоряжении Эмилия. Сейчас он был даже благодарен ее картежной страсти. В салоне мадам Дени он, пожалуй чаще, чем дома, мог видиться с друзьями, вести вольнодумные разговоры, делиться наблюдениями над «высшим светом» и двором.

А сейчас он, как никогда прежде, вовлечен в королевское окружение. Два его лицейских товарища занимают высокие посты. Д'Аржансон — государственный секретарь, Ришелье — первый камергер. Оба пекутся о его карьере.

Наконец, 23 февраля 1745 года состоялось долгожданное бракосочетание дофина. «Принцесса Наваррская» была поставлена великолепно. В этом представлении сочетались опера, балет, речитативы. Но великолепие спектакля меркло перед великолепием туалетов дам и кавалеров — свадебных гостей, дефилирующих по искусно выложенным дворцовым паркетам.

Тем не менее автором либретто «Принцессы Наваррской» очень довольны. 1 апреля его жалуют званием придворного историографа, 2 тысячами ливров ежегодного вознаграждения и комнатой в Версальском дворце.

Вольтер ответил на королевские милости эпиграммой такого содержания, что ей лучше было не попадаться на высочайшие глаза. Ни «Генриада», ни «Альзира» не дали ему ничего, а за «ярмарочный фарс» (иначе автор либретто «Принцессы Наваррской» не называл) почет и деньги на него прямо сыплются.

На этом придворная карьера Вольтера не кончается. Но уже сейчас, став историографом короля, он обязан подчиняться тягостному распорядку самого прекрасного

в мире дворца. Конечно, Вольтер честолюбив. Ему льстят и звание, и пенсия, и то, что он живет в Версале. Но строго регламентированная жизнь двора не по душе его независимой натуре. Между тем расписано все по часам, по дням недели, по сезонам.

Придворные интриги и омерзительное чванство, ненавистное Вольтеру со времен палок лакеев де Роана, не позволили бы ему долго продержаться при дворе. Но все сложилось иначе, чем должно было ожидать. Опять в его судьбу вмешалась новая фаворитка Людовика XV, и его положение упрочилось.

Вольтер знал мадам д'Этиоль еще подростком. (Родилась в 1721 году.) На его глазах она стала одной из самых красивых и умных женщин Франции.

С тех пор как еще девятилетней девочке гадалка предсказала, что когда-нибудь она станет любовницей Людовика XV, Жанна Антуанетта только к этому и стремилась. Мать ее, женщина опытная и предприимчивая, мечту дочери всячески поддерживала, готовила ее к высокому призванию, хотя они и не принадлежали к тому слою общества, откуда вербовались королевские фаворитки.

Мать будущей повелительницы короля и сама была красавицей, что, однако, не помешало ее браку с грубым Жаном Батистом Пуассоном стать несчастливым. Он, будучи служащим одной из крупнейших парижских фирм братьев Пари, разбогател на военных поставках. За преступление против нравственности был приговорен к смертной казни. Только вмешательство влиятельных хозяев помогло ему спастись от виселицы и бежать за границу. Жена его осталась соломенной вдовой и достаточно широко пользовалась своей свободой. В связях, и деловых и любовных, в одной и той же среде — крупных финансистов Парижа — у нее недостатка не было. Главный любовник мадам Пуассон, тоже финансист, Норман де Турмеен, дал самое лучшее воспитание Жанне Антуанетте.

Каких только дарований не было у этой девочки, не говоря уже о ее наружности — каштановые волосы, темно-серые глаза, белоснежная кожа, тонкие черты, точеная фигурка и, главное, неизъяснимое очарование женственности! Она и пела и играла на клавесине и на лютне, рисовала, могла бы стать и балериной и драматической

актрисой. Добавьте к этому еще прелестную улыбку, любезнейшее обхождение — и сразу станет понятно, какие вереницы поклонников за ней волочились. Жанна Антуанетта, и видя не столь строгие нравы в доме матери, не продалась и не уступила никому из тех, кто ее добивался.

Пятнадцать лет она вышла замуж за состоятельного Нормана д'Этиоля, племянника любовника ее матери, а к девятнадцати годам родила нелюбимому мужу двух детей. Это не помешало ей, однако, давать весьма популярные приемы и в замке Этиоль и в парижской квартире. Среди посетителей ее салона можно было встретить тех же Мопертюи, Монтеские. Бывали у мадам и престарелый Фонтенель и сам Вольтер. Ее опекала одна из умнейших женщин Парижа, известная нам писательница мадемуазель де Тенсен, мать д'Аламбера. Но и советы старшей подруги, некогда любовницы кардинала Дюбуа, пока не помогали Жанне Антуанетте проникнуть в постель короля.

Однажды, правда, Людовик XV, увидев ее на охоте возле замка Этиоль, бросил на красавицу жадный взгляд. С тех пор она делала все, чтобы попадаться на глаза королю как можно чаще. И до чего была, добиваясь своей цели, изобретательна эта молодая женщина! То мадам д'Этиоль возникала перед Людовиком XV в обличье лесной феи. То, одетая, как средневековая дама, сама правила бледно-голубым или розовым фэтоном. А однажды наперез королю ехала карета из горного хрусталя, и в ней стояла античная богиня с обнаженными плечами и грудью. Это она подражала Клеопатре, в виде Венеры явившейся Марку Антонию. Читала, как и все в том кругу, Плутарха и помнила соответствующее место книги.

Но, несмотря на все ее ухищрения, Людовик XV хранил верность герцогине де Шатору и только иногда посылал мадам д'Этиоль в подарок дичь.

Жанна Антуанетта же начала охоту за высочайшей дичью, еще когда прежняя фаворитка властвовала над королем и ревниво оберегала свое владычество. Однажды герцогиня де Шеврез рассказала Людовику XV об очарованной его величеством лесной фее. Де Шатору услышала, незаметно подошла и наступила де Шеврез на ногу так сильно, что та едва не потеряла сознание.

Однако в 1745-м могущественной соперницы не было уже в живых. Оставалось победить других претенденток на вакантное место. На свадебных торжествах дофина

мадам д'Этиоль предпринимает решительное наступление. Бал-маскарад... В Людовика XV летит стрела, запущенная маской в costume Дианы. Казалось бы, его сердце серьезно ранено прекрасной охотницей. Но понадобились еще многократные напоминания о Диане родственника Жанны Антуанетты, камердинера короля, чтобы Людовик после нескольких интрижек с другими дамами, наконец, в апреле 1745 года пригласил ее во дворец и, главное, в свою спальню.

Однако и теперь положение мадам д'Этиоль еще не прочно. Двор в ужасе. Фаворитка короля должна быть высокого, аристократического происхождения, а не такого сомнительного, как эта буржуазка... Громче всех протестует «осел Мирепуа», кричит, что выскочка славится еще и вольнодумством.

Но недаром мадам д'Этиоль отличалась не только красотой, а и умом. В начале мая король собрался опять на поле сражения, в Фландрию. Она не последовала неудачному примеру своей предшественницы, герцогини де Шатору, не сопровождала его величество в военный лагерь, но осталась его ждать в Версале. Расчет был точен. Разлука разожгла страсть короля. Когда он после победы над австрийцами и англичанами вернулся, тут же отвел Жанне Антуанетте покой Шатору во дворце и пожаловал ее титулом маркизы де Помпадур, чем и ввел в сан главной и официальной фаворитки.

Вольтер же, как придворный историограф, должен был написать поэму в честь победоносной битвы при Фонтенуа. Литературная ценность этого произведения придворной поэзии невелика. Не историческая правда, не идея — одна лишь лесть водила пером автора. Но, однако, подобная поэма требовала и большой искусности. Нужно было называть в звучных стихах не менее ста имен главных участников сражения, отпустить каждому из них по комплименту и при этом не забывать беспрестанно возвращаться к прославлению короля, под чьим водительством была одержана такая блистательная победа.

Если верить Стендалю, рассказавшему этот исторический анекдот в статье «Шекспир и Расин», трудно представить себе что-нибудь более забавное, чем битва 11 мая

1745 года. Ну и посмеялись же над рассказами о ней Вольтер с друзьями!

Началось сражение так. Офицеры английской гвардии приблизились на расстояние пятидесяти шагов к полкам французов и вежливейшим образом сняли шляпы. Французы ответили им такой же галантностью.

— Стреляйте первыми, господа! — предложил английский капитан лорд Кей Шист.

Но Ришелье, посоветовавшись со своим королем, уступил эту честь господам англичанам.

Все, что происходило дальше согласно этому анекдоту, тоже напоминало детскую игру в солдатики, а не настоящее сражение.

На самом же деле «галантность» обеих сторон объяснялась тем, что тогда при сближении противников запрещалось первым начинать перестрелку. Первые выстрелы были менее удачными, чем ответные.

Поэма Вольтера вышла в свет уже 17 мая. Но по мере того, как поступали все новые и новые сведения об этой битве, чаще всего далекие от истины, но зато эффектные, он дополнял поэму новыми строками. К тому же придворные дамы просили автора хотя бы строчку посвятить их мужу или любовнику, и он просьбами не пренебрегал. Каждые два дня выходило расширенное новое издание, и его буквально вырывали из рук книготорговцев.

Эта поэма принесла автору и новые почести и звания, и много денег. К тому же он порядком нажился и на поставках армии обмундирования, по-прежнему не избегая коммерческих дел, чтобы чувствовать себя независимым, да и богатство ему продолжало нравиться.

Вот неполный список должников Вольтера в 1749 году:

- Контракт с городом Парижем — 14 023 ливра.
- Контракт с месье герцогом де Ришелье — 4000 ливров.
- Контракт с месье герцогом Бульонским — 3250 ливров.
- Пенсия герцога Орлеанского — 1200 ливров.
- Контракт с герцогом де Вилларом — 2000 ливров.
- Контракт с месье принцем де Гизом — 2500 ливров.
- Контракт с Компанией обеих Индий — 605 ливров.
- Поставки армии во Фландрию — 17 000 ливров.
- Общая сумма долгов составляла 74 038 ливров.

И раньше и позже должников у Вольтера было, бесспорно, много.

Не меньшую пользу, а может быть вред, принесли Вольтеру и превращение мадам д'Этиоль в маркизу де Помпадур, и то, что он наконец выиграл бесконечный брюссельский процесс супругов дю Шатле против семьи Гансбруков. Маркиза и ее муж получили 260 тысяч ливров.

Июнь — июль 1745 года Вольтер очень приятно провел в замке Этиоль. А когда вернулся в Париж, занял целый этаж нового дома, купленного Эмилией на улице Траверзьер Сент-Оноре. Теперь и она опять-таки благодаря своему другу богата.

Эмилия по-прежнему проводила много времени в Версале, больше всего в салоне для карточной игры. Но не оставляла и научных занятий. К радости Вольтера, она отвернулась от Лейбница и именно тогда переводила, а скорее легко и изящно излагала книгу Ньютона. Получилась превосходная популяризация и приятное, всем доступное чтение.

Что же касалось маркизы де Помпадур, она умело противостояла придворным интригам и приобретала все большую и большую власть над королем. Ее любовь к изящным искусствам и наукам была в высшей степени полезна для карьеры Вольтера. Иной вопрос, было ли это так же полезно для истинной литературы, науки, философии. Вольтеру поручают написать еще и либретто пяти-актной оперы о той же победе при Фонтенуа. Он пишет. Опера называется «Храм славы». Людовик XV выведен в ней под именем Трояна. Любопытная подробность: еще недавно Трояном называл Вольтер Фридриха II.

Теперь же он славит одного Людовика XV... Не только в названной поэме, но и в оде на милосердие французского монарха после победы, и в стихотворных посланиях к третьим лицам, Ришелье, герцогине дю Мен и другим.

Вольтер называет его величество и Трояном, и Антонином, и Марком Аврелием, и даже Александром Македонским.

«Храм славы» приводит наконец Вольтера в «храм науки». 8 мая 1746-го для него все-таки нашлось место в Академии.

В «Мемуарах о жизни месье де Вольтера, написан-

ных им самим» рассказывается, как ему не удалось заменить кардинала Флери после его смерти и стать «бессмертным» в 1743-м. «Многие академики желали, чтобы я занял его место во Французской Академии. За королевским ужином был поднят вопрос о том, кто произнесет надгробное слово кардиналу на заседании Академии (полагалось произносить преемнику покойного. — А. А.). Король ответил, что должен сделать я. Его фаворитка, герцогиня де Шатору, тоже этого хотела, но государственный секретарь, граф де Морепа, не согласился: у него была мания ссориться со всеми фаворитками своего повелителя, отчего в конце концов ему пришлось плохо».

Мы знаем, что министр принес Вольтеру много зла, и поэтому тот должен был его не любить. А тут еще вмешался и Буае, «осел Мирепуа». Он распоряжался назначениями на все духовные должности. На избрание Вольтера в академики тоже взглянул с точки зрения духовной дисциплины. «Он доложил, что сделать такого профана, как я, наследником кардинала, значит оскорбить величие божие».

Философ попробовал уговорить месье де Морепа, тщетно пытаясь доказать министру, что нет связи между «жалким» местом в Академии и его ссорами с мадам де Шатору, которую любит король, и герцогом де Ришелье, который ею руководит. Морепа ответил на вопрос, будет ли он противиться, если фаворитка одержит в этом деле верх над бывшим епископом Мирепуа: «Да я вас раздавлю!»

Затем Вольтер пишет, что «священник одолел фаворитку, и я не получил места, к которому, впрочем, насколько не стремился» (последнее, скромно выражаясь, не совсем правда. — А. А.). Но интересно заключительное обобщение автора «Мемуаров»: «Я люблю вспоминать об этом эпизоде, показывающем ничтожество тех, кого мы называем великими мира сего, и позволяющем увидеть, какое значение придают они пустякам». Однако это было написано в 1759-м или 1760 году, когда Вольтер был сам себе господином и не зависел от именуемых «великими мира сего» ничтожеств!

Вернемся, однако, в 1745 год. Благодаря маркизе де Помпадур, Ришелье и иным своим доброжелателям при

дворе Вольтер наконец удостоился и ранее обещанного звания дежурного дворянина короля, или камергера. Офицером двора он был назначен тогда же, когда и придворным историографом.

Но если вдуматься в самое его благополучие, окажется, что терний было, пожалуй, больше, чем роз.

Аристократы, не слишком сильные в науках и простой грамоте, открыто возмущались, как это наряду с ними сын нотариуса смог стать камергером.

Избрание в Академию расшевелило осиное гнездо старых и новых противников Вольтера. Переиздаются старые пасквили, издаются новые. Измышления, грубости сыплются как из рога изобилия. Из всех сил стараются его опорочить Пиро, Миро, и, как всегда, среди его врагов есть один главный. Сперва это был Жан Батист Руссо, затем аббат Дефонтен. Когда этот негодяй в 1745-м умер, вакантное место тут же занял, с тем чтобы не отставать от Вольтера до конца его жизни, Фрерон. Теперь мишенью для насмешек становятся придворные успехи Вольтера, его вступление в Академию.

Он, как всегда, обороняется с чрезмерной страстью. Опасно заболев и несколько месяцев лежа в постели, добивается ордера на арест одного из пасквилянтов, Траверсе. Уже одно это настраивает общественное мнение против знаменитого писателя, который должен был бы быть выше тех, кто его травит. А тут еще он, пожалев старого отца своего противника, уничтожает ордер... Вместо того чтобы оценить по заслугам великодушные Вольтера, этот поступок осуждают еще больше.

Мало того, все его неумеренные восхваления короля не могут растопить ледяной холодности Людовика XV. До поры до времени тот терпит своего нового придворного, но даже не дает себе труда скрывать отвращение, которое по-прежнему к нему питает, не устаивает его и разговора.

После представления «Храма славы» на придворной сцене Вольтер намеренно громко спросил у Ришелье, доволен ли Троян. Вопрос явно предназначался для ушей «Трояна», он стоял рядом, но тот молча отвернулся от поэта.

Короля нетрудно понять. Равнодушный к литературе и театру, мог ли находить он удовольствие в обществе Вольтера? Первый дворянин Франции, он не мог даже

на самую далекую дистанцию допустить до себя сына Аруэ. И вряд ли верил в его искреннюю преданность короле: слишком много прегрешений было в недавнем прошлом этого вольнодумца и безбожника.

Тем более холодна была к Вольтеру благочестивая королева. К тому же он возвысился благодаря маркизе де Помпадур. А как ни узаконены были в те времена фаворитки короля, Марии Лещинской трудно было не ревновать мужа к такой могущественной сопернице. Королева и стала главным противником пребывания Вольтера при дворе и все искала предлога, чтобы его оттуда удалить, хотя в свое время сама ему покровительствовала.

Предлог нашелся, правда, позже, уже в 1748-м. Вольтер посвятил своей покровительнице неосторожный мадригал, где сравнивал завоевание королем Фландрии с завоеванием его собственной августейшей особы маркизой де Помпадур. Разумеется, сравнение понравилось фаворитке, но вызвало такие толки при дворе королевы, что верная Эмилия поспешно увезла друга сперва в Сире, а затем в Люневиль, к отцу виновницы его бегства, тестю короля.

Больше Вольтер ко двору Людовика XV никогда не возвращался.

Но это было потом, а уже сейчас, в 1746-м и особенно в 1747-м, положение его становилось все более тяжелым и двусмысленным.

Маркиза де Помпадур тоже не была такой уже надежной опорой. По-прежнему обращаясь с Вольтером приветливо, она вовсе не желает признавать его единственным поэтом и драматургом, достойным ее покровительства, легко попадает под влияние враждебных ему литераторов и открыто поддерживает Кребийона, который снова вошел в моду. К тому же маркиза обидчива, боится каждого намека на свое буржуазное происхождение и, так как Вольтер тоже выходец из третьего сословия, опасается, как бы чрезмерное расположение к нему ей не повредило.

А что уж говорить о неприязни и зависти придворных?!

ГЛАВА 6

БЕЗДЕЛКИ ОКАЗЫВАЮТСЯ САМЫМ СЕРЬЕЗНЫМ

Принято считать годы, проведенные Вольтером при французском дворе, бесплодными. «Принцесса Наваррская», оды королю, мадригалы маркизе де Помпадур, балы, парады, приемы — какая растрата времени и таланта!

Но для писателя ничто не проходит напрасно. Вольтер не написал бы «Задига» и всего первого цикла философских повестей, сказок, притч, если бы не жил при дворе и не вынужден был его покинуть.

И снова мелкое происшествие вызвало большое событие. Поспешный переезд в Фонтенбло принес Вольтеру новые огорчения и повлек за собой новое бегство. Расстояние между двумя королевскими резиденциями в прямом и переносном смысле слова было слишком маленьким. Придворные нравы и пагубная страсть маркизы дю Шатле остались теми же. И здесь Вольтер скучал и негодовал, стоя за стулом мадам дю Шатле, когда она ставила огромные куши.

Однажды за карточным столом королевы маркиза проиграла 80 тысяч ливров. Вольтер заметил, что ее партнеры передергивали. Не смог сдержаться и по-английски сказал Эмили: она играет с мошенниками. Допустил двойную ошибку. Забыл, что перед ним не слуги, а люди, владеющие английским языком... И жульничать в игре при дворе дозволялось, говорить об этом — ни в коем случае.

Маркизу его неосмотрительное замечание напугало. Сделав вид, что ничего не слышала, она под каким-то предлогом тут же вышла и велела немедленно заложить карету.

И вот уже Вольтер и Эмилия сломя голову мчатся из Фонтенбло, убегая от опасности в Со, в замок своей семидесятилетней приятельницы, герцогини дю Мен.

Эмилия тут же уезжает, и никто не видит, как верный слуга герцогини по боковой лестнице провожает Вольтера в потайную маленькую каморку, где даже днем не раздвигаются жалюзи. Там в полном одиночестве затворник проводит семь недель. Лишь вечерами, под покровом полной темноты, он спускается в спальню владелицы замка. Она уже не покидает постели. Сюда же подают ужин на две персоны.

За едой они сперва болтают о том, о сем и потом неизменно засиживаются допоздна. Герцогиня блистательно остроумна и обладает превосходной памятью. Будучи внучкой принца де Конти, вдовой известного нам герцога Менского, имевшей большое влияние на мужа, рассказывает Вольтеру столько подробностей былых придворных нравов, что они послужат бесценным вкладом для «Века Людовика XIV». Для книги «Век Людовика XV» у автора накопилось немало личных впечатлений. Это тоже можно счесть возмещением за словно бы напрасно проведенные в королевских резиденциях годы.

Вольтер, в свою очередь, развлекает герцогиню. Читает ей то, что успел сочинить за истекший день, — при тусклом свете свечей, но зато с небывалым еще блеском таланта. Старая дама неизменно приходит в восторг. Но и мы, потомки, должны быть благодарны баснословному проигрышу маркизы дю Шатле, аристократическим правилам поведения за карточным столом и тому, что последовало за неосторожным замечанием Вольтера.

В потайной каморке открылась тайна истинного направления его таланта. Современники считали Вольтера первым драматургом и поэтом Европы XVIII столетия, чаще всего называли его автором то «Заиры» или «Меропы», то «Генриады». К его философским повестям, сказкам, притчам, особенно к первому их циклу, относились как к безделкам, сочиняемым для развлечения друзей и высоких особ.

Но они-то и оказались его истинным жанром как писателя. *Они*, а не трагедии, комедии, даже стихи, хотя среди них есть и превосходные, наряду с «Орлеанской девственницей», определили почетное место, занятое Вольтером во французской и мировой литературе, со-

хранив живое значение для нас и будучи многим близки прозе самых последних лет.

Вольтер-рассказчик, что может быть естественнее?! Не был ли он своим писательским темпераментом предназначен для жанра философской сказки? «Идея у него приобретала форму, окраску, движение, самые непосредственные и блистательные», — таково мнение Рене Помо. К этому можно добавить, что Вольтер считался лучшим собеседником века. И беседы тогда в идейной жизни общества играли очень большую роль.

А вот что говорит Михаил Лифшиц: «Как художник Вольтер сильнее всего именно там, где на первый взгляд образ кажется только внешней оболочкой мысли, — в философских романах и повестях. Проза Вольтера является высоким образцом реализма, близкого реализму Свифта». Это правильно, как правильно суждение Рене Помо. Но дальше Лифшиц пишет: «Здесь меньше всего можно говорить о правдоподобию картин, изображающих явления природы и общества. Образы Вольтера отражают реальность общих законов и отношений». Герои философских повестей Вольтера всего лишь персонифицированный «опыт», они способны лишь «выдвигать гипотезы или делать эксперименты, чтобы выяснить правильность той или другой философии». Исследователь утверждает: «события Вольтера вне истории... человек — игрушка естественных сил».

С этим я позволю себе не согласиться, хотя так думает не один Михаил Лифшиц, высказавший эту мысль в журнальной статье. Приведенное суждение характеризует лишь одну сторону вольтеровской прозы. Бесспорно, его персонажи — это признает и Помо — рупоры авторских идей. Ефим Эткинд справедливо заметил, что и в «Задиге» вопрос всех вопросов для Вольтера — религия присутствует так же, как в «Магомете». Остроумнейшим образом высмеяны глупые различия между католиками и протестантами. В повести дебатруется вопрос, с какой ноги нужно входить в храм — с правой или левой. Задиг входит, прижав друг к другу обе ноги, и вавилоняне признают его правоту, потому что он первый визирь.

Именно эту сказку Вольтер и читал герцогине дю Мен в ее спальне, а по другой версии, не менее вероятной, и всему ее двору. Только первоначально сказка или

повесть называлась еще не «Задиг, или Судьба», а «Мемнон», и таково было имя главного героя. Тот же «Мемнон», которого читаем мы, — другое произведение, сочиненное позже, в 1749 году в Люневиле, и автор читал его не старой герцогине, а Станиславу Лещинскому и лотарингскому двору. Однако до сих пор эти повести путают, и Лайтхойзер, к примеру, принял за первого «Мемнона», то есть начальный вариант «Задига», второго.

Между тем первый «Мемнон» был опубликован в июле того же 1747 года в Амстердаме — разумеется, без привилегии. Ему не было еще предпослано посвящение маркизе де Помпадур, как в каноническом «Задиге», не было эпизода с Иебором (прозрачный псевдоним епископа Мирепуа), добавленного лишь в 1752 году, главы о партии ханжей, сцены девушки и двух магов, ужина, рыбака...

Издать начальный вариант повести во Франции не удалось, хотя Вольтер с этой целью ездил в распоряжение армии, к военному министру графу д'Аржансону, и просил старого товарища помочь.

У нас нет сведений о том, когда первый «Мемнон» превратился в «Задига». Копия секретаря Вольтера Ланшана, приезжавшего в Со или, по другой версии, прожившего там со своим патроном все семь недель, — она и сейчас хранится в ленинградской Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина — являет собой нечто промежуточное между первым «Мемноном» и «Задигом». В частности, она отражает колебания Вольтера при выборе имен персонажей.

Автор хотел, чтобы они выражали сущность героев. Нам же трудно разгадать смысл этих эмблем, какими Вольтер сделал новые имена. Понятно одно имя Задига вместо Мемнона. Я объясню его происхождение дальше.

Зато мы знаем последующие редакции сказки — 1752, 1756 годов.

Философские повести Вольтера воспринимались как импровизации. Но рождались ли они как импровизации или его актерский талант создавал эту иллюзию? Во всяком случае, как мы видим уже на примере «Задига», он потом еще долгие годы над многими из них рабо-

тал, переделывая, дополняя, переписывая, совершенствуя и заостряя, приближая к современной французской действительности.

Принято было также считать, что он сочинял их — за столом или прямо перед публикой — лишь для развлечения друзей или высокопоставленных особ и их дворов. «Развлечение» служило только предлогом и позволяло проверить новое сочинение на первых слушателях. Истинные же побуждения автора были совсем иными. Потому-то история показала, повторяю, что по-настоящему значительными оказались не серьезные трагедии Вольтера, а эти «безделки».

Задумаемся хотя бы над формой восточной легенды или восточной сказки, выбранной автором для «Задига, или Судьбы», второго «Мемнона», «Видения Бабука», «Кривого носильщика». Вольтер не мог обойтись без переодевания, чтобы не повторился костер, на котором сожгли «Философические письма», или нападки на «Историю Карла XII». Ориентализм был во Франции первой половины XVIII века в моде... Вспомним хотя бы «Персидские письма» Монтескье или «Нескромные сокровища» Дидро.

Но экзотика Вольтера, как неожиданно это ни звучит, в «Задиге» *документальна*. И в восточной легенде он выступает как историк, причем не только во втором — скрытом плане, очень точно рисуя Францию эпохи старого порядка, а и в первом — явном, внешнем восточном плане повествования. Известны источники, которыми он пользовался для «Задига». Это и «Восточная библиотека» Горбелло, откуда заимствовано само имя главного героя второй и последующих редакций: Задиг — видоизмененный Садик... И труд англичанина Хайда по истории персидской религии, куда входили переводы Саади, и описания путешествий Шардена, Берсье, Тавернье...

Не случайно Вольтер работал параллельно над «Опыт о нравах и духе народов» и восточной трагедией «Семирамида», «Задигом» и другими философскими повестями.

Тогда же он опубликовал в «Ла Меркьюр» итоги своих исторических изысканий, первые главы «Опыта», касающиеся Востока, но они же, чего долго не замечали, вводили и в лабораторию автора названных выше ненаучных, но *художественных* произведений.

Вернемся, однако, в спальню герцогини дю Мен...

Владелица Со была умна, проницательна, много видела и знала. Поэтому, бесспорно, «Мемнон» — будущий «Задиг» — не только очаровал ее блистательным остроумием, искристым весельем, неистощимой выдумкой, изяществом стиля... Прежде всего старая дама не могла не разгадать, что подзаголовок «восточная легенда» — камуфляж, за которым стоит изображение истинных парижских и придворных нравов, и сказочная форма делает их еще более явно дурными и смешными. Глазами чужестранца, мудрого молодого человека из Вавилона, автор тем более точно показал зло, всеобщую придворную кабалу, вплоть до самого короля, который не управлял, но был управляем, реквизиции, продажность, глупость, зависть, лесть как лучший способ сделать карьеру.

Вероятно, герцогиня догадывалась и что повесть автобиографична. Вольтер спроецировал на главного героя самого себя 1745—1747 годов — академика, придворного историографа, дежурного дворянина короля. Эта повесть, как и большая часть остальных, содержит очень много личного. В ней даны не только внешние обстоятельства, но и внутренний мир самого автора — Вольтер сомневающийся, разочарованный в придворной жизни и размышляющий над сложностью жизни вообще, Вольтер, изверившийся в женской любви и верности. Он последовательно изображает сперва маркизу дю Шатле, затем мадам Дени. Задолго до того, как были опубликованы его письма к племяннице-любовнице, ввел в две главы «Задига» примеры ее неверности, надеясь этим удержать Мари Луизу от новых измен.

Форма путешествий главного героя, так часто избираемая Вольтером для философских повестей, позволяет как можно шире обозревать жизнь; чужеземец замечает многое, чего уже не замечает привычный глаз постоянного населения страны. Прием остранения (термин Виктора Шкловского, означающий свежий взгляд на вещи) позволяет выпуклее и острее показать то, что автор хочет показать. В полной мере это относится и к «Задигу».

Кроме того, внешняя занимательность, виртуозность формы помогают выразить наиболее доходчиво философское содержание. Само переодевание героев в восточ-

ные костюмы позволяет автору поставить в «Задиге» проблему судьбы, проблему восточной философии. Недаром второе название повести — «Судьба». Но в «Задиге» Вольтер уже *опровергает* и философское учение Лейбница — оно сближается с восточной философией, хотя часто опровержение воспринимали как утверждение.

Сперва автор со своим героем полагается на судьбу. Что такое этот свет, где все кажется случайным, где из-за ошибки Задига и лошадь теряет дорогу, спасаясь лишь благодаря попугаю?

Вольтер знает ответ на все зло мира классического провиденциализма (от слова «Providentia» — провидение), ответ своих противников, философов Сире и вкладывает этот ответ в уста ангела-отшельника. Он звучит еще не так, как потом прозвучит формула Панглосса, но близко к ней: «Нет такого зла, которое не приносило бы добра».

Но сам автор на стороне не отшельника, а своего главного героя. «А что, — сказал Задиг, — если бы совсем не было зла и было бы только добро?»

Отшельник в ответ на этот наивный вопрос пустился в длинные рассуждения, утверждая, что это был бы другой мир, и случая не существует, так как все предопределено. Задиг собрался было ему возразить, но успел сказать только «но», как ангел (в других переводах повести — гений) уже летел на десятое небо, крикнув ему с воздушных высот: «Ступай в Вавилон!»

Задиг действительно туда вернулся, и все кончилось хорошо, как и положено кончаться в сказке. Но благополучие это иронично. Серьезен только ответ Задига на вопрос великого мага, заданный им рыцарям, состязавшимся в догадливости.

Вопрос таков: «Что на свете самое долгое и самое короткое, самое быстрое и самое медленное, самое делимое и самое беспредельное, самое пренебрегаемое и вызывающее больше всего сожалений, без чего ничто не делается, что пожирает все мелкое и оживляет все великое?»

Ответы были разными: «Земля», «Счастье», «Свет».

Задиг ответил: «Время», — и разъяснил: «...нет ничего более длительного, чем время, ибо время — мера вечности, и нет ничего короче, потому что его всегда не хва-

тает на выполнение наших намерений, нет ничего медленнее для ожидающего, ничего короче для наслаждающегося, время достигает бесконечности в великом и длится до бесконечности в малом, люди пренебрегают им, а потеряв — жалеют; ничто не происходит вне времени, оно заставляет забывать то, что недостойно памяти, и делает бессмертным все великое».

Этот ответ направлен против Декарта и картезианства, его мог вложить в уста своего героя только автор «Опыта о нравах и духе народов» и «Века Людовика XIV», историк.

Рене Помо, говоря о реальной жизненной основе философских повестей Вольтера, их автобиографичности и самовыражении в них автора, прав, утверждая: «...мало сказать, что его протагонисты — рупоры автора. Они — это он сам. Основа его персонажей — собственная активность Вольтера, его непрекращающаяся критика...» Сюда можно добавить — активность, направленная на переустройство мира, вместо того чтобы признавать все предопределенным и не зависящим от человеческой воли и успокаиваться на том, что все к лучшему в этом лучшем из миров.

Вольтер еще не раз вернется в других философских повестях к лейбницианскому ангелу-отшельнику. У Панглосса есть старшие братья. Я же еще обращусь к философским повестям по ходу своего рассказа о Вольтере.

Сейчас же, говоря об этой первой повести, с чем, впрочем, некоторые предшественники Рене Помо не согласны, утверждая, что «Видение Бабука», «Кози-Санкта», «Кривой носильщик» написаны раньше, нужно еще кое-что добавить.

Задиг — это и частное лицо, и муж неверных жен, и премьер-министр, и раб, затем освобожденный, и претендент на престол, и, наконец, король и обладатель Астарты, то есть человек в самых различных аспектах. И, проходя через все эти превращения, он не перестает размышлять. Лейтмотив героя, *человека, наделенного подлинными достоинствами* — они перечислены в самом начале повести, — как добиться от судьбы счастья, которого он заслуживает? Это и общий вопрос, вопрос философа, охватывающий все человечество, и опять-таки в нем заключено самовыражение автора, чья судьба тоже проводила его через множество превращений.

Самовыражение, неперемное присутствие личности автора — неотъемлемый признак самого жанра. Романиста может в произведении как будто и не существовать. Чаще всего, если он не прибегает к лирическим отступлениям или рассуждениям, автор романа держится именно так. Но «я» рассказчика, сказочника обязательно. Он вмешивается в действие, он объясняет, судит, делится с читателем своими мнениями.

Так же естественно для сказочника прибегать к чудесам и метаморфозам, что отнюдь не противоречит правдивости его повествования. Когда философским повестям Вольтера (отнюдь не всем) придана форма сказки, он не пренебрегает традиционными сказочными приемами вроде обычного зачина: «Однажды там-то и там-то жил тот-то и тот-то».

Вольтер пишет, например: «На одной из планет, которые вертятся вокруг звезды Сириус, был один молодой человек большого ума...» («Микромегас»).

«Задиг, или Судьба» начинается с «Апробации», где на первый план выходит рассказчик, в котором легко угадывается автор: «Я, нижеподписавшийся, прослышавший за ученого и даже умного человека, читал эту рукопись и невольно нашел ее любопытной, занимательной, нравственной...» Затем следуют послание — посвящение султанше Шераа, то есть маркизе де Помпадур, которого, повторяю, в Со еще не было, и, наконец, первая глава, начинающаяся сказочно традиционно: «Во времена царя Мобадара жил в Вавилоне молодой человек по имени Задиг, прекрасные природные наклонности которого были еще более развиты воспитанием. Хотя он был богат и молод, он отнюдь не желал быть постоянно правым и умел уважать человеческие слабости». (Самый перечень достоинств героя, среди них главное — терпимость, очень характерен для Вольтера.)

Кто не знает его изречения: «Все жанры хороши, кроме скучного»? Мы, увы, не можем сказать этого про его собственные трагедии и «Генриаду». Но философские повести, так же как «Орлеанская девственница», бесспорно, сочинены человеком, который не любил скучать сам и позволять скучать другим. Он прямо-таки заставлял слушателей, а потом читателей помирать со смеху от своих веселых выдумок.

Раскроем хотя бы одну главу «Задига» — «Василиск».

Герой пешком идет по Азии. Внезапно его глазам открывается зрелище, которое не может не заинтересовать. Женщины, согнувшись, что-то ищут на земле. Выясняется, они ищут василиска. Женщины — рабыни государя Огула. Он болен, и врач велел ему как лекарство принимать василиска, сваренного в розовой воде. На самом деле такого животного в природе не существует. Повелитель же обещал жениться на рабыне, которая отыщет то, чего отыскать нельзя.

Такой фестиваль нелепостей и абсурдов Вольтер-рассказчик устраивает постоянно. В них его философия находит свое наилучшее выражение: мир устроен неразумно, полон нелепостей. Играя со слушателями — самый жанр всегда предполагает слушателя — в эту игру неожиданностей, Вольтер не забывал о философии. Изобретательность рассказчика соперничает с напряженной работой мысли автора, заставляя задумываться и слушателя и читателя. Несомненно, задумывалась и старая герцогиня дю Мен.

Вольтер заставляет своего Задига прогуливаться не только по Вавилону и Египту, но и по вершинам и низинам реального современного французского общества и попутно осмыслять общие законы, управляющие миром.

Нельзя забыть и того, что Вольтер обычно следовал за общим движением литературы. Не случайно он начал писать свои сказочные философские повести во второй половине 40-х годов, а как рассказчик в «Истории Карла XII» и особенно «Философических письмах» выступил еще в 30-х.

Ивон Белаваль в статье 1967 года «Философская сказка» относит апогей этого жанра к XVIII веку и риторически спрашивает, не определено ли это духом Просвещения.

Правда, затем исследователь поворачивает движение литературы и философской мысли вспять и вспоминает «Телемака» Фенелона, Сирано де Бержерака, Рабле, «Тилия Уленшпигеля», Грациана, Боккаччо, Маргариту Наваррскую, других писателей и произведения предшествующих веков и разных наций. Но притом выделяет из всех философскую сказку XVIII столетия: «Такого слияния сказочной формы с философией не было и не могло быть, — пишет он, — пока не прошла мода на метафизику».

К этому надо добавить, что само название жанра отвечало пониманию философии XVIII веком и фривольная сказка была излюбленным жанром стиля рококо. Не случайно тогда во Франции пользовались таким успехом не только «Восточная библиотека» Горбелло, но и другие «библиотеки» китайских, арабских, персидских сказок.

Просвещение сумело поставить сказку на службу своим идеям.

Вольтера постоянно упрекали в том, что он не оригинален. Упрек этот адресовали и его «сказкам». Бесспорно, философские сказки или повести писал не он один, и не он первый тем более. В этом жанре, как и в других, у Вольтера были ученики и предшественники, были и литературные соседи, тоже сказочники и рассказчики. Французское слово «conteur» означает и то и другое.

Уже на «Философических письмах» сказалось влияние изданной в начале XVIII века во Франции Галланом «Тысячи и одной ночи», так же как Свифта и Рабле. Продолжал в них Вольтер и Фонтенеля с его даром забавно рассказывать о самом серьезном. Конечно, не миновало его философских сказок и влияние «Персидских писем» Монтескье.

Однако «Задига, или Судьбу», как потом «Кандида», «Простака», «Принцессу Вавилонскую», написал и мог написать только Вольтер.

Вернемся, однако, в замок герцогини дю Мен и в то время, когда бедный изгнанник скрывался там от гнева королевы.

Пока он сочинял первые повести, Эмилия уплатила свой огромный карточный долг — ведь бежать из Фонтенбло пришлось и из-за проигранных 80 тысяч ливров — и сделала все, что было в ее силах, чтобы заставить двор забыть неосторожное замечание о титулованных шулерах.

Маркизе удалось наконец вызволить Вольтера из Со, где он находился тайно, отсюда, очевидно, и истина или легенда о каморке и закрытых жалюзи.

Но к французскому двору они так больше и не вернулись.

Так кончается эта глава его жизни, эта глава книги.

ГЛАВА 7

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Расставшись навсегда с двором Людовика XV, Вольтер принял приглашение королевского тестя и весь 1748-й и половину 1749-го вместе с Эмилией прожил в Люневиле. Сире тоже не был ими окончательно покинут.

Потеряв надежду на польский престол и утратив значительную часть своей амбиции, суверен маленькой Лотарингии, однако, от претензий на двор не отказался. Поэтому не будет ошибочным заключение, что Вольтер и Эмилия сменили большой Версаль на маленький.

Но еще больше Люневиль напоминал Потсдам. Подобно своему прусскому собрату, Станислав Лещинский тоже хотел быть мудрецом на тропе и даже превзошел Фридриха II в занятиях философией, литературой и еще наукой. В его дворце был «зал машин» с самыми по тем временам совершенными телескопами и микроскопами, приборами.

Так как управление герцогством не занимало у герцога слишком много времени, он порой спускался с небес на землю: любовно занимался своими полями, садом, птичником и увлекался различными сельскохозяйственными усовершенствованиями.

Фаворитка Станислава Лещинского мадам де Буффлер оставалась верна любовнику и когда фортуна ему изменила, относилась к герцогу Лотарингскому с не меньшей нежностью, вниманием, заботой, чем относилась бы к королю польскому, и отличалась таким же гостеприимством, как владелец Люневилля.

Все это создавало в маленьком дворце атмосферу, несравненно более приятную, чем в роскошных Версале и Фонтенбло, и Вольтер о принятом им приглашении не жалел.

Что же касается Лещинского, он стал тем более страстным поклонником философа, когда тот подвергся пре-

следованиям ненавидимой отцом французской королевы.

Мария была сверхблагочестива. Станислав, напротив, склонен к скептицизму и по религиозным убеждениям ближе всего к деизму. Признавая существование бога, он отнюдь не благоволил к божьим слугам на земле — духовенству.

Естественно, что подобный образ мыслей герцога Лотарингского еще увеличивал расположение к нему Вольтера. Жить в Люневиле ему нравилось. Много времени вместе с хозяином и Эмилией он проводил в «зале машин», простаивая долгие часы у телескопов и микроскопов. А в постель ложился, лишь до изнеможения насладившись беседой с владельцем дворца, столь же содержательной, сколь приятной. От политики они переходили к религии, от философии к литературе, касались бога, осуждали нетерпимость и мечтали о терпимости. Порядком доставалось от Вольтера и Лещинского иезуитам, и каждый разговор неизменно кончался сожалением о безумстве многих представителей человеческого рода.

Мы уже знаем, что здесь сочинялись и читались новые философские повести.

Гостеприимство, которым пользовались философ и его подруга в Люневиле, жизнь, легкая и приятная, комфортабельная — чего, казалось бы, можно было еще желать после козней и интриг Версаля и затворнического существования в Со, скрашиваемого только расположением старой герцогини дю Мен и работой? Но и здесь счастье Вольтера оказалось недолгим и непрочным. Слишком быстро начали омрачать дурные вести из Парижа.

Враги Вольтера не успокоились. Теперь они решили наброситься на его старые пьесы и переделанную трагедию «Семирамида». Доведенный до отчаяния, так он волновался за последнее свое детище, Вольтер, как ни странно это звучит, обратился с просьбой поддержать «Семирамиду» к королеве французской. Она осталась равнодушной и даже не ответила. Тогда он прибег к помощи маркизы де Помпадур. Эта обещала прочесть. Но обещать еще не значит обещание выполнить.

Не имея известий из Парижа и тревожась о судьбе

трагедии, Вольтер решил секретно съездить в столицу. Эмилия на этот раз отказалась его сопровождать. Он поехал со своим секретарем Лоншаном и не рискнул появиться нигде, кроме кафе «Прокоп», постоянного собрания литераторов, философов, ученых. Просидев там в темном углу, чтобы не быть замеченным и узанным, весь вечер, Вольтер досыта наслушался разговоров о кознях своих врагов. Так ничего и не предприняв, он вернулся в Люневиль совершенно больным.

Оставался еще один заступник — Фридрих II. Но прусский король сердился на Вольтера и за то, что тот предпочел ему маркизу дю Шатле, и за то, что перестал писать стихи. Исторические сочинения своего учителя коронованный ученик одобрял, но был противником его «легкомысленной» прозы.

Вольтер ответил комплиментом: «Ваше величество само пишет великолепные стихи». Фридрих действительно писал стихи, причем по-французски, но вряд ли они заслуживали названия великолепных.

И, не подумав поддержать «Семирамиду», мудрец на троне рассчитывал, что новые неприятности в Париже заставят наконец Вольтера перебраться в Потсдам. «Приезжайте, — писал он, — приезжайте без зубов, без ушей, без глаз, если Вы не можете приехать здоровым!» Но и эта попытка короля прусского не увенчалась успехом.

Между тем Вольтера подстерегала еще и новая беда, им самим уготовленная. Он представил Эмилии молодого, красивого, обаятельного офицера и литератора, маркиза де Сен-Ламбера, разумеется и не подозревая, к чему эта неосторожность приведет.

Маркиза сразу увлеклась новым знакомым — более того, страстно его полюбила. Он был на десять лет ее моложе. Вольтер же не обладал ни молодостью, ни красотой своего соперника.

Ценой различных ухищрений Эмилия добилась исполнения своих желаний, рассчитывая вместе с тем сохранить тайну.

Существует немало версий, весьма подробных, как именно Вольтер обнаружил измену. Поверим его секретарю Лоншану. Однажды Вольтер непреднамеренно и неожиданно для него самого застал пару в комнате,

предназначенной для занятий маркизы дю Шатле науками и философией. То, чем занималась она с Сен-Ламбером, нимало не напоминало ни наук, ни философии.

Взбешенный от ревности и обманутого доверия — соперника он считал другом, Вольтер обрушил на Сен-Ламбера тираду как нельзя более оскорбительную, чтобы не назвать ее ужасной бранью. Маркиз был тоже не из тех, кто кротко принимает от кого-либо оскорбления.

Вольтер в ответ на то, что услышал от де Сен-Ламбера, спросил, согласен ли тот дать ему удовлетворение. Ответ нам не известен. Остается лишь предположить, что маркиз примеру кавалера де Роана не последовал, от дуэли не отказался.

Пока же все трое должны были немедленно уехать. Вольтер приказал Лоншану распорядиться, чтобы немедленно заложили его карету. Но тот достаточно привык к вспышкам своего патрона и, прежде чем исполнить распоряжение, пошел посоветоваться с маркизой дю Шатле. Совет был таков: сказать, что карета не в порядке.

Вольтер, в ожидании отъезда и, разумеется, от горя и обиды немедленно заболев, лежал в постели у себя в спальне. Сперва Лоншан доложил о неисправности экипажа. Затем в комнату вошла Эмилия. Она говорила долго и много, сначала по-английски, потом по-французски. Поначалу Вольтер был непреклонен. Самым сильным аргументом было, что он все видел сам, какие же теперь возможны объяснения?! Это же, вероятно, больше всего его и оскорбляло: хоть бы сумели скрыть!

Но Эмилия не замолчала. Она вовсе не отрицала очевидного. Однако ревнивец должен выслушать ее мотивы. Любит она только одного Вольтера. Но чем больше любит, тем больше заботится о его здоровье, очень ей дорогое.

— Вы, со своей стороны, — продолжала маркиза, — проявили к своему здоровью интереса много больше, чем ко мне, и установили для себя строгий режим, которому неукоснительно следовали.

Вольтер понял: маркиза предположила, именно поэтому он не обидится на то, что один из друзей займет его место в ее постели. Оказывается, изменница всего лишь берегла больного старика.

Маркиза сказала все, что хотела сказать. Оба долго молчали, пока раздражение Вольтера не прошло совсем.

Недаром он был философом и ко всему привык относиться философски. Мы знаем, что он не раз прощал друзьям и любовницам измены.

Вольтер признал правоту маркизы. Ведь, в самом деле, он был очень уж не молод и постоянно болел. Она же нуждалась в любви, которой он не мог ей дать. Мы знаем еще и то, чего не подозревала Эмилия, но прекрасно знал сам Вольтер. Уже четыре года он был любовником обожаемой мадам Дени. Не это ли послужило главной причиной его снисходительности?

Словом, теперь уже он обвинял маркизу и де Сен-Ламбера лишь в том, что они не сумели скрыть своей связи. Постепенно он перестал настаивать и на это прегрешении. Они с Эмилией расстались друзьями.

Прошло совсем немного времени с ее ухода, как раздался новый стук в дверь. Это Сен-Ламбер явился просить прощения за допущенные им резкие выражения. Вольтер стал настаивать, что, напротив, маркиз должен извинить его, и закончил следующей тирадой:

— Вы, а не я в счастливом возрасте любви и наслаждений. Пользуйтесь этим как можно больше, пока молоды!

И это объяснение кончилось обьятиями и заверениями в неизменной дружбе. На следующий день они, как прежде, ужинали вместе.

В декабре маркиза дю Шатле и Вольтер вернулись в Сире. Жизнь их вошла в прежнее русло и текла спокойно, пока маркиза ему первому не призналась: в сорок три года она беременна. Кто был отцом будущего ребенка, сомнения не вызывало.

Они выписали в Сире Сен-Ламбера (тот долго проявлял равнодушие) и втроем стали думать, как узаконить младенца. Вольтер предложил: нужно заставить маркиза дю Шатле поверить: ребенок от него. Задача была нелегкой. Слишком давно у Эмили с ее мужем не было интимных отношений. Однако желаемого достигнуть удалось.

Маркиза написала в Дижон, где ее муж находился со своим полком, и предложила ему в выражениях самых любезных приехать в Сире. Он не замедлил явиться и, застав в замке Вольтера и Сен-Ламбера, сперва

приревновал к последнему, но потом был очень доволен: более приятных собеседников не мог себе и представить.

Эмилия же сделала вид, что без памяти рада приезду супруга. Зная, что путь к его сердцу лежит через желудок, устроила вместо обычного ужина настоящий банкет. Маркизу не изменил его постоянный прекрасный аппетит, и он отдал дань яствам и напиткам, которыми был уставлен стол. Большое удовольствие доставила бедняге и застольная беседа. Никогда еще с таким вниманием не слушали его рассказов о военных кампаниях, казарменных анекдотов. Вольтер, со своей стороны, не остался в долгу и рассказал множество занимательных историй. Еще большую роль сыграло шампанское, оно лилось на этот раз рекой, и большую часть бутылок опустошил, разумеется, маркиз дю Шатле. Эмилия без труда уверила мужа, что к ней вернулись былые, казалось бы, давно утраченные чувства к нему.

С этой ночи они расположились уже в общей анфиладе комнат, среди которых главной, разумеется, была спальня. А через несколько недель Эмилия призналась маркизу, восстановленному в супружеских правах, что будет матерью.

Тот был без памяти рад этому доказательству, что наконец вновь женат на самом деле, и принялся направо и налево рассказывать об ожидаемом событии своей семейной жизни. Поздравления приходили за много миль — казалось, об этом знала вся округа.

Между тем развлечения Сире наскучили «счастливому отцу», и его призывал оставленный полк. Маркиз дю Шатле отбыл обратно в Дижон. Маркиз де Сен-Ламбер тоже в Сире задерживаться не хотел. В Люневиле его ждала другая дама сердца и, очевидно, привлекала больше.

Вскоре замок покинули и Вольтер с Эмилией, уехав в Париж. Но незадолго перед предстоящими родами маркизы они вернулись в Люневиль, чтобы быть там, где находился истинный отец будущего ребенка. Вольтер проявлял редкостную заботу о беременной маркизе.

Фридрих II, знавший всю историю, был крайне недоволен и писал своему другу: маркиза разродится лишь в сентябре, и присутствие Вольтера ни до, ни во время родов отнюдь не обязательно, звал его к себе в Потсдам.

Вольтер не повивальная бабка, ребенок великолепно появится на свет и без него, тем более что не он отец ожидаемого младенца.

Вольтер ответил не менее решительно. Да, он не творец этого ребенка, не повивальная бабка, не врач, но даже для его величества не оставит дорогу ему женщину, которая может в сентябре и умереть. В ее возрасте и после такого длительного перерыва — последний раз она рожала в 1732-м — Эмилии грозит большая опасность.

Великодушие и преданность Вольтера своей подруге были тем поразительнее, что Эмилия больше, чем о предстоящих ей родах, тревожилась из-за недостаточного внимания Сен-Ламбера и все так же страстно его любила, храня сладостные воспоминания о короткой счастливой поре их связи.

Вольтер же волновался все больше и больше, не оставляя ее ни на один день.

Не менее поразительно, что маркиза продолжала работать до последней минуты. Она и родила, сидя за секретером. Служанка едва подросла. Младенца положили на том Ньютона, в которого Эмилия «вгрызалась» (Вольтер), и только после этого в колыбель, а роженицу — в кровать.

Ребенок скончался через несколько дней, и у матери его началась послеродовая горячка. Вскоре приехал муж. Все трое: маркиз дю Шатле, Вольтер и маркиз де Сен-Ламбер — дежурили у постели больной. Очень внимательны были к ней и Лещинский и Буффлер.

Смерть ее отнюдь не была неизбежной. Но погода стояла очень жаркая. Эмилия опрометчиво выпила ледяной оранжад, и он-то ее и погубил. Началось, очевидно, воспаление легких. Еще была надежда — Эмилия выживет. Она поправлялась, кризис миновал. Но в один из вечеров у больной начался страшный кашель. Начался и вдруг оборвался... Сен-Ламбер подумал, что Эмилия в обмороке, попробовал привести ее в чувство. Тщетно. Тогда он побегал или послал за Вольтером, маркизом дю Шатле, Лещинским, Буффлер... Увы, это был не обморок, а смерть.

Вольтер не помнил, как он вышел из спальни маркизы, как потерял сознание.

Когда пришел в себя, позвал верного Лоншана и по-

просил секретаря снять с пальца покойницы и принести кольцо, в которое был вставлен его собственный портрет. Через несколько минут Лоншан вернулся без кольца и долго не решался ничего сказать.

— В кольце не ваш портрет, месье, но Сен-Ламбера, — наконец с трудом вымолвил секретарь.

Реакция Вольтера оказалась самой неожиданной.

— Таковы женщины, — сказал он. — Не удивляйтесь, мой друг! В свое время я заменил в кольце маркизы герцога де Ришелье, меня же заменил маркиз де Сен-Ламбер. Таков закон природы, более того, общий ход вещей в мире.

Это не значит, что Вольтер не горевал о смерти женщины, которая скончалась, по сути, оттого, что изменила ему. Напротив, долго он был безутешен.

Сирейская жизнь Вольтера кончилась. Он получил с маркиза дю Шатле очень скромную сумму в компенсацию за то, что превратил запущенный замок в дворец и научную лабораторию и больше никогда туда не возвращался.

Теперь можно подвести итоги пятнадцати лет, прожитых им с Эмилией. Ее влияние на Вольтера, вне сомнения, было сильным, хотя не всегда отвечало его подлинным интересам. Эмилия делала все, чтобы он мог работать легко и много. Вольтер вспоминал об этом с благодарностью. От скольких опасностей она его спасла! Не сидел ли бы он по сей день в Бастилии?! И сколько лет он был с ней счастлив.

Но маркиза была перед Вольтером и виновата... Не столько в том, что полюбила человека, моложе и красивее его самого. Из-за Эмилии он далеко не полностью выполнил обещание, данное в «Философических письмах», — всеми силами бороться со старым режимом. То, что, следуя ее научным интересам, Вольтер в эти годы много занимался естествознанием, физикой, математикой, хотя и не было бесполезным для служения его главным музам — литературе, истории, философии, но отвлекало его ум и время.

С другой стороны, маркиза колебалась между увлечением Лейбницем и преданностью Ньютону. В спорах с ней и ее учителями, лейбницианцами, кристаллизова-

лось отрицание Вольтером доктрины «все к лучшему в этом лучшем из миров». А в деятельной пропаганде учения Ньютона и разоблачения картезианства они шли рядом.

Лесть королям, погоня за придворными чинами, креслом академика, частично тоже связаны с влиянием маркизы. Но если принять во внимание, какой школой оказалась для Вольтера жизнь в Париже, Версале и Фонтенбло, то, что без нее он не написал бы первых циклов философских повестей и сказок, по этому поводу можно согласиться о Панглоссом или вспомнить поговорку «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Так или иначе, эти пятнадцать лет отнюдь не прошли для него бесполезно. Если Вольтер в 1734-м приехал в Сире уже известным писателем, философом, ученым, автором произведений, высоко ценимых современниками, среди них были и оставшиеся в веках, то в 1749-м покинул замок уже всемирно знаменитым мыслителем и художником. Притом это отнюдь не была еще его вершина. 60-е годы, когда он на нее поднимется, — впереди...

Пока же Вольтеру было невыносимо тяжело. Горе его после понесенной утраты казалось безутешным. Вероятно, он тогда не вспоминал и о мадам Дени, чувствуя себя безнадежно старым и больным.

Письма маркизы дю Шатле к нему почти все были уничтожены и до нас не дошли. Его письма к божественной Эмилии удалось разыскать через два с лишним столетия, немногим раньше, чем любовные письма к племяннице. Тогда же они были изданы и отдельной книгой, и в бестермановской полной «Корреспонденции Вольтера». В последней же мы находим и его письма друзьям о понесенной утрате.

Часть IV

ГЛАВА 1

ЛЕТА, ОСЕНИ, ЗИМЫ...

Если Францию Людовика XV можно назвать страной «Задига», то с тем большим правом Пруссию Фридриха II — страной «Кандида». Эта главная философская повесть Вольтера и начинается с описания названной иначе Пруссии. Она сочинена, правда, с большой временной дистанцией, и в ней отложились не одни берлинские и потсдамские впечатления автора. Но без трех лет, прожитых Вольтером при прусском дворе, не было бы «Кандида» и, конечно, не были бы сочинены «Мемуары о жизни месье де Вольтера, написанные им самим», где самое большое место занимают Фридрих II и его страна.

Казалось бы, совсем несложно ответить на вопрос, почему в 1750 году Вольтер наконец принял приглашение Фридриха II переехать к нему. Умерла Эмилия, и гонимый французским двором философ должен был, казалось, немедленно кинуться в объятия ее соперника и поселиться при прусском дворе.

Длительная уже дружба Вольтера и кронпринца, затем короля выходила за рамки личных отношений. Согласно моде XVIII века она была публичной, более того, она была историческим явлением. Фридрих II, сам философ и поэт, во всяком случае, он пользовался такой репутацией, заинтересовался первым писателем, историком, философом Европы, еще начиная с «Карла XII» и «Английских писем». Вольтеру, в свою очередь, не просто импонировала голубая кровь ученика и младшего друга. Он верил в то, что «Северный Соломон» практически осуществит идеал просвещенного абсолютизма, и справедливо считал его одной из самых выдающихся исторических личностей века. Это и сделало их переписку

с самого начала перепиской двух влюбленных. Поэтому они были при первой встрече очарованы друг другом. И много еще любовных писем и нежных разговоров последовало потом, когда Вольтер жил в Берлине и Потсдаме, особенно в первые месяцы, но и в промежутках между ссорами. Они происходили не только из-за столкновения характеров, достаточно трудных и капризных у обоих, но и из-за расхождения во взглядах. И все-таки, даже когда казалось — они поссорились навсегда, через семь лет состоялось примирение, и Вольтер — адвокат справедливости и религиозной терпимости — часто находил в Фридрихе союзника. Их корреспонденция уже не прекращалась, и одно из последних предсмертных писем Вольтера было отправлено Фридриху II.

Публичность и историческое значение взаимной заинтересованности объясняют гиперболические эпитеты, которыми они так щедро наделяли друг друга, что, конечно, было и в духе времени. Вольтер именовал Фридриха не только «Северным Соломоном», «Трояном», но и «Юлием Цезарем», «Марком Аврелием», Фридрих Вольтера — «французским Аполлоном».

Фридрих нуждался более всего в поэтических уроках Вольтера.

И тем не менее с переездом в Пруссию все обстояло не просто. Современный вольтерист Гэй, зная истинный характер отношений дяди и племянницы, называет прусского короля более серьезным соперником маркизы дю Шатле, чем мадам Дени. Вольтер приехал в Потсдам лишь 10 июля 1750 года, то есть через десять месяцев после смерти божественной Эмили. Нужно, конечно, вычесть время, потраченное на мучительную дорогу, и все равно — отнюдь не сразу.

Поначалу задержку можно объяснить тем, что он был убит, раздавлен горем от понесенной утраты. Хотя порядок в парижском доме на улице Траверзьер, где поселились они с мадам Дени, установился быстро, Вольтер долго не мог вернуться к привычному образу жизни. Был так удручен, рассеян, прямо-таки не в себе, что ночами бродил по темным комнатам и звал Эмилию, словно надеясь вновь обрести ее живой. Душевные страдания еще больше подкосили его здоровье. Он избегал общества, первое время принимая лишь самых близких: племянника, аббата Миньо, своего нотариуса Дале-

лена, старых друзей, герцога де Ришелье, графа д'Аржанталь.

Но помогли ему вернуться к жизни скорее враги. Друзья лишь сумели воспользоваться их кознями. Зная страсть Вольтера к театру, Ришелье и д'Аржанталь старались пробудить ее, чтобы отвлечь друга от грустных мыслей. Им это удалось, потому что два главных его соперника на сцене, Пирон и Кребийон, радуясь отчаянию и апатии Вольтера, пытались ниспровергнуть славу первого драматурга Франции и Европы. Подстрекаемый друзьями, да и сама его натура была не такова, чтобы, предаваясь горию, долго бездействовать, он начал сопротивляться врагам — и, таким образом, вернулся к жизни.

Прежде всего захотел сразить Кребийона на территории противника. Из Люневилля Вольтер привез две новые трагедии: «Спасенный Рим» и «Орест». Первая должна была перешибить успех «Каталины» Кребийона, вторая — его же «Электры».

Дух Вольтера после возвращения в Париж поддержало уже то, что были поставлены многострадальная «Семирамида» и комедия «Нанина». Последняя, мы знаем, продолжает идти и сейчас на сцене Комеди Франсез.

Премьера «Ореста» в январе 1750-го (по одной версии — 8-го, по другой — 12-го) из-за происков Кребийона вызвала шумный скандал, свист, крики. Автор не сдался, внес в трагедию кое-какие поправки, на последующие представления привел своих клакеров. До нас дошел даже слух, что на одном из спектаклей Вольтер из ложи потребовал от публики аплодисментов.

Однако прежнего положения на французском театре вернуть ему не удалось. Не помогло и то, что в придворном возобновлении его старой трагедии роль Альзиры играла сама маркиза де Помпадур.

Плохо было еще высокомерие, с которым тогда относились к нему актеры Театра франсез (и так называли Комеди франсез), пренебрегая его режиссерскими советами, не то что прежде. Это и побудило Вольтера создать на улице Траверзьер свой домашний театр.

Само по себе это не было бы новшеством. Но в своем парижском театре Вольтер не повторил ни домашних театров в замках вельмож, ни даже сцены на сирейском чердаке. Его новая затея оказалась своего рода гибридом.

Тогда, как и прежде, в Париже было несколько драматических любительских кружков третьего сословия. Один из них дал в свое время театру Адриенну Лекуврер.

Однажды Вольтер посетил такой любительский спектакль в снятом на вечер зале отеля «Клермон». Кружком руководил обойщик. Среди исполнителей Вольтер обнаружил блистательно талантливого золотых дел мастера Лекена, или, как писали тогда, Ле Кена, и начал давать молодому любителю уроки актерского мастерства. Мало того, тогда же построил сцену на улице Траверзьер и создал труппу из кружка, членом которого был Лекен. Автором и режиссером всех спектаклей был, разумеется, хозяин дома.

В этих спектаклях подвизалась и мадам Дени, чье актерское дарование дядя, несомненно, преувеличивал. И тогда и потом он нередко ставил в неловкое положение друзей, сравнивая игру племянницы с игрой самых знаменитых актрис.

Но и ее посредственность не помешала тому, что о домашнем театре Вольтера быстро заговорили в городе и при дворе. Приглачительного билета на улицу Траверзьер добивались. Театр франез прислал к Вольтеру делегацию с извинениями. Что же касается украшения вольтеровской группы Лекена, он скоро стал украшением королевской сцены и на всю жизнь близким другом своего учителя.

И снова Вольтер колеблется. С одной стороны, и успех домашнего театра, и упорное нежелание мадам Дени — теперь их связь еще упрочилась — покинуть французскую столицу удерживают Вольтера в Париже. Но, с другой...

Прошло уже то недолгое время, когда Фридрих II начал позволять себе в письмах к старшему другу и обожаемому учителю царственный тон. Вольтер открыто высказал недовольство этим. Король вернулся к прежней — восторженной, любовной, почтительной эпистолярной манере, все более и более осаждая обожаемого учителя настоятельными предложениями навсегда переехать в Пруссию и суля всевозможные блага и, прежде всего, полную свободу.

Однако и теперь Вольтер все не едет. Его нетрудно понять. Одно дело непродолжительные визиты, да еще

с дипломатическими миссиями, что уже само ему — мы знаем — необычайно льстило. Впервые такого рода поручения давались не аристократу по крови, но аристократу духа. И не удивительно, что его в 1740-м, 1741-м, 1742-м, 1743-м принимали превосходно. Гость может в любую минуту уехать, он независим. Зато совсем иное дело для француза, парижанина, переселиться в холодную страну, населенную варварами или полуварварами, — так считали его соотечественники, так считал он сам, несмотря на расточавшиеся им прежде похвалы политесу Берлина и Байрейта.

И опять думаешь: почему он все же покинул Францию для Пруссии? Очень распространена версия: таким образом он надеялся вернуть свое положение при французском дворе, он этого хотел и добивался, но без поддержки Эмилии не мог достичь. Чего он только не предпринимал! Совершенно в духе всех придворных историографов написал историю войны 1744 года, похвальные слова Людовику XV и Людовику Святому. Не помогло! Королева относилась к Вольтеру еще хуже: помимо прежнего безбожия и свободного образа мыслей, лести фаворитке мужа, он сумел совратить в свою веру ее отца. Еще больше, чем прежде, не любил своего дежурного дворянина король. Свита опасалась и не хотела допустить, чтобы Вольтер стал хозяином и придворного театра, а он этого своего намерения вовсе и не скрывал. Даже маркиза де Помпадур лишила Вольтера прежнего расположения — впрочем, и раньше не столь уж прочного. Она рассердилась на экспромт, где автор в непозволительно фамильярном тоне журил фаворитку за небольшую погрешность в произношении. Она тоже сочла характер поэта слишком капризным, переменчивым и — добавим мы — независимым.

Поэтому-то Вольтер, согласно этой версии, и заключил: его начнут чтить при французском дворе, если узнают — чтут при прусском. Таким образом, он докажет Людовику XV, Марии Лещинской, их приближенным, что он чего-нибудь стоит.

Были, конечно, и более серьезные причины недовольства двора и правительства Вольтером. Не случайно провалили его кандидатуру и в Академию надписей (сло-

весности). Он принял деятельное участие в дискуссии, разгоревшейся вокруг «Духа законов» Монтескье, энергично опасную книгу защищал. Поддержал и генерального контролера Машо, который установил налог на церковные имуществы.

Вольтер был настолько сложной и противоречивой натурой — и противоречия его воззрений и поведения, повторяю еще и еще раз, отражали противоречия самой истории, — что сказанное выше не исключает предположения, высказанного в начале главы. Несмотря на неоднократные разочарования в Фридрихе II, он надеялся встретить в Пруссии более современные государственную систему, нравы, процветание наук и искусства, свободу мыслей, чего так недоставало во Франции. А что в сравнении с этим долгая и трудная дорога — он проехал по ней уже не раз, — холода, лишенное французской галантности население?

Он и в самом деле, прибыв, смог убедиться: удачливый полководец, достигнув мира, много лучше управлял своей страной, чем управлялась Франция. Вольтер, бесспорно, рассчитывал стать советником короля и стал им, хотя и в ограниченном смысле — не непосредственно, но опосредствованно. Его философия влияла на преобразования, вводимые прусским королем, но как-либо вмешиваться в государственные дела философу не дозволялось, хотя он сам и утврждал обратное.

Сам Вольтер в «Мемуарах» написал уже упоминавшуюся, поистине трагическую фразу: «Судьба заставила меня перебежать от одного короля к другому, хотя я боготворил свободу». «Судьбу» можно заменить «историей». Век Вольтера был веком деспотов, и просвещенных деспотов, по меткому замечанию Пьера Парефа (Pierre Paraf, *Voltaire au pays de Candide, Europe, 1957, mai — juin.*): Что оставалось Вольтеру, как не выбирать между деспотами просвещенными и непросвещенными? Лишь потом он станет сам себе королем в Делис и особенно в Турне и Ферне. И деспот непросвещенный Вольтера третирует, а деспот просвещенный всячески его превозносил и обещал райскую жизнь.

Иной вопрос, что и просвещенный Фридрих II продолжал оставаться деспотом. Если Вольтер забыл и простил его коварство, то не забыли и не простили парижские друзья. Они отговаривали Вольтера от переезда в

Пруссию. Особенно старалась мадам Дени. Впрочем, она заботилась больше о себе, опасаясь, как бы ей самой не пришлось променять веселый Париж на скучный Берлин. Писала дяде и туда, добиваясь его возвращения.

Уезжая, Вольтер поручил Мари Луизе следить за тем, что говорят о нем в городе и при дворе, немедленно его извещать и пуще всего не пропустить, если версальский ветер из противного станет попутным.

Пока же он мог еще раз убедиться в неблагоприятном направлении этого ветра. Как камергер и придворный историограф его величества Людовика XV, Вольтер не мог покинуть родину без высочайшего дозволения и перед отъездом отправился в Компьен, где находился французский двор. Может быть, таил еще надежду, что его станут отговаривать или если и отпустят, то с новым дипломатическим поручением. Король сухо сказал: может ехать. Маркиза де Помпадур была вежлива, но холодна и ограничилась тем, что попросила передать Фридриху ее комплименты, на что тот ответил известной фразой: «Я ее не знаю». Что оставалось Вольтеру, как не уехать, хотя, очевидно, ему и не очень этого хотелось?

И пока Вольтер колебался еще в Париже и подумывал, не вернуться ли ему во Францию, уже живя в Берлине и Потсдаме, прусский король искуснейшим образом, приводя самые убедительные аргументы, его уговаривал навсегда променять французский двор на свой.

Не стану цитировать писем, которые Фридрих слал Вольтеру в Париж, торопя с отъездом. Но письмо из одной комнаты его дворца в другую, сочиненное как некая гарантия в ответ на показанное Вольтером письмо Мари Луизы, где она снова и снова уговаривала дядю покинуть Пруссию, приведу. Оно как бы квинтэссенция всех «за» в пользу прусского двора: «Нет, дорогой Вольтер, если бы я предполагал, что переселение будет неблагоприятно для Вас самого, я первый бы Вас отговорил. Ради Вашего счастья я пожертвовал бы удовольствием считать Вас своим навсегда. Но Вы философ, и я философ, у нас общие научные интересы, общие вкусы. Что же может быть более естественным, чем то, чтобы философы жили вместе и занимались бы одним и тем же?! Я уважаю Вас как своего наставника в красноречии, поэзии, науках. Я люблю Вас как добродетельного друга. В стране, где Вас ценят так же, как на родине, у друга, чье сердце

благородно, Вам незачем опасаться рабства, неудач, несчастий. Я не утверждаю, что Берлин лучше Парижа, будучи далек от такой бессмысленной претензии. (Конечно же, он знал, что Вольтер прежде хорошо отзывался о его столице. — А. А.) Богатством, величиной, блеском Берлин уступает Парижу. Если где-либо господствует изысканный вкус, то, конечно, в Париже. Но разве Вы не приносите с собой хороший вкус всюду, где бы Вы ни появились? У нас есть руки, чтобы Вам аплодировать, а что касается чувств, питаемых к Вам, мы не уступим никакому другому месту на земном шаре.

Я уважал дружбу, которая привязывала Вас к маркизе дю Шатле, но после ее смерти считаю себя Вашим ближайшим другом. Почему мой дворец должен стать для Вас тюрьмой? Как я, Ваш друг, могу стать Вашим тираном? Признаюсь, я не понимаю такого хода мыслей. Заверяю Вас, пока я жив, Вы будете здесь счастливы, на Вас будут смотреть, как на апостола мысли, хорошего вкуса... Вы найдете тут то утешение, которое человек с Вашими заслугами может ожидать от человека, умеющего ценить Вас».

Вольтер был настолько потрясен, что даже в своих «Мемуарах» отметил: «Такие письма редко пишутся их величествами». Затем дается ироническое по отношению к Фридриху II и самому себе описание последующей сцены: «Словесные заверения были еще убедительнее письменных. Он привык к своеобразным проявлениям нежности по отношению к своим фаворитам, более юным, чем я, и, позабыв на один миг, что я уже вышел из этого возраста и что моя рука не так красива, он взял мою руку и поцеловал. Я поцеловал его руку и стал его рабом».

Этот и подобные поступки Фридриха II объясняются и «Мемуарах» так: «Альчина — Фридрих, видя, что голова моя уже немного закружилась, удвоил порцию волшебного зелья с целью окончательно опьянить меня».

«Рюмкой зелья» именуется и приведенное письмо. Альчиной — героиней «Неистового Роланда» Ариосто Вольтер постоянно называет Фридриха II, заметив, в частности, что Астольф — герой той же поэмы — не был лучше принят в замке Альчины, чем он — в Пруссии.

Были ли приложены к этому письму камергерский ключ и орден «За заслуги», как пишется в «Мемуарах», или, по версии Лайтхойзера, прусский король пожаловал

его обещанными ранее званием и орденом лишь после того, как получил согласие Людовика XV? То есть во времени это могло и совпасть, свидетельствуя о коварстве короля. Но Вольтер не знал того, что легко мог узнать биограф, допущенный в отличие от героя к документам, хранящимся в архивах. Фридрих II дал своему послу в Париже секретное поручение — узнать, не будет ли его французский собрат возражать против почестей, которые он собирается оказать Вольтеру. Лайтхойзер полагает — целью этого приказа было представить дело в Версале так, будто не прусский король настойчиво добивался переезда к нему Вольтера, но тот приехал по собственной инициативе — за орденом и званием (которые, кстати сказать, были у него и при французском дворе), и, тем самым окончательно скомпрометировав своего друга и учителя на родине, навсегда закрепить его за собой.

Если биограф прав, после этой провокационной выдумки, а Людовик XV, конечно, должен был охотно ей поверить, французский посол в Пруссии не мог не усомниться в заявлениях философа, что он сохраняет полную лояльность по отношению к Франции.

Вот как то же самое описано в «Мемуарах»: «Нужно было разрешение французского короля, чтобы я мог служить двум господам. Прусский король взял на себя все хлопоты. Он написал королю, моему повелителю, и тот уступил меня. Я не мог даже себе представить, что в Версале рассердятся, если дежурный дворянин, должность бесполезная при французском дворе, сделается столь же бесполезным камергером в Берлине. И тем не менее позволение дали, но были уязвлены. Я совершил поступок, негодный французскому королю, несколько не угодив этим королю прусскому, который насмеялся надо мной в глубине своего сердца».

Конечно, это было написано много позже, после ссоры с Фридрихом, когда сам Вольтер высмеивал свое былое положение придворного и во Франции, и в Пруссии.

Но пока король нуждался в поэте. Вольтер в «Мемуарах» саркастически замечает: «Не подлежало никакому сомнению, что его стихи и проза были поистине выше моей прозы и стихов, поскольку речь шла о содержании, но он полагал, что по части формы я как академик мог обогатить его своими оборотами». Сам же поэт без коро-

ны на голове не скрывал от поэта на троне, что не может с ним соперничать. Чтобы писать такие стихи, как Фридрих, нужно быть не только гением, но и стоять во главе 150 тысяч солдат.

И все же прусский король в том же письме заверял адресата, что он «не такой правитель, как все остальные», причем не лгал: для того времени это было правдой, понимаемой Вольтером. И хотя Фридрих II имел все основания сердиться на мадам Дени и был о ней невысокого мнения — «О служанке Мольера все еще говорят, о племяннице Вольтера говорить не будут», — предложил выплачивать и Мари Луизе ежегодную пенсию в 8 тысяч талеров, с условием, что она переедет в Берлин и будет вести хозяйство дяди. Самому «дяде» он платил 20 тысяч.

Вернемся, однако, к тому времени, когда Вольтер готовится к отъезду. Парижские враги радостно провожают нарушителя спокойствия и прощаются с ним злой карикатурой. Каждый мог за шесть су купить ее у любого уличного продавца газет и брошюр. На карикатуре Вольтер изображен пруссаком, одетым в медвежью шубу, чтобы защитить себя от холода. (Еще одно доказательство, что Германию считали тогда во Франции чуть ли не Крайним Севером, отсюда и «Северный Соломон».)

Отговаривая дядю от поездки, мадам Дени словно предвидела, что путешествие и начнется под дурной звездой. На целых четырнадцать дней его, ненавидящего любые промедления, плохие дороги и болезнь задержали в Клеве. Теперь уже, перестав колебаться, он рвался в Пруссию скорее начать обещанную Фридрихом II приятную жизнь, встретиться со старыми друзьями. Когда же, наконец, он сможет наслаждаться беззаботным летом в Сан-Суси (по-французски — «Без забот»)? Фридрих построил этот дворец среди потсдамских виноградников недавно и сам его обожал.

Дороги, по которым Вольтер через Вестфалию, Гессен, Ганновер добирался к месту назначения, были так плохи, что к четырем лошадям, которые везли его карету, пришлось припрячь еще двух. Недаром он жаловался Фридриху, ожидавшему его с не меньшим нетерпением: «Я направляюсь в рай, но путь выложен сатаной».

Небезынтересная подробность: хотя в остальном Пруссия по сравнению со своими соседями процветает, дороги ее еще хуже. Это объясняется хитроумным расчетом короля. Он хочет, чтобы чужестранцы, а их приток в страну велик, тратили как можно больше денег на дорожные издержки, вынужденные остановки в трактирах. Кроме того, он преследует и военные цели: плохие дороги задержат продвижение противника, если опять начнется война, да еще на его территории...

И все-таки наконец наступает 10 июля 1750 года. Вольтер у цели и принимает почести. Достаточно сказать, что поначалу ему отводят замок Шарлоттенбург, где раньше жил Морис Саксонский, прославленный полководец, последний возлюбленный Адриенны Лекуврер. «Наименьшими милостями» Вольтер в «Мемуарах» называет королевских поваров, готовивших ему обеды, королевских кучеров — когда он отправлялся на прогулку. Король щедро поил его волшебным зельем, начав это делать еще раньше, «когда не было той лесты, к которой он ни прибеги бы, чтобы заставить меня приехать» («Мемуары»), Потом Вольтер уличает в неискренности и короля и самого себя: «Как мог я устоять против победоносного короля, музыканта и философа, который притворялся, что любит меня? Я тоже поверил, будто его люблю».

Было ли это действительно притворством или замороженный приемом, отходчивый и снисходительный Вольтер в самом деле забыл о том, что не раз страдал от коварства Фридриха? Ведь всякий раз оно было продиктовано желанием заполучить его к прусскому двору!

Сейчас же было от чего закружиться голове... Принят во дворце Софи Доротеи, матери-королевы, вознагражденной сыном за материальные и духовные лишения при жизни покойного мужа. Принят и у брошенной королем, не нуждающимся в женской любви, его супруги. Многочисленные прусские принцы и принцессы, прекрасно владеющие французским языком, чрезвычайно охотно беседуют с лучшим собеседником Европы.

А с каким удовольствием они репетируют и играют в трагедиях Вольтера! Для прусского двора любительские спектакли — совершеннейшее новшество. Но и в этом, как и во всем остальном, он охотно подражает французскому. Одна за другой сразу же после приезда автора ставятся и играют «Заира», «Альзира», особенно часто

«Магомет», «Брут», «Смерть Цезаря» и «Спасенный Рим», до этого не видевший сцены, кроме улицы Траверзьер.

Исполнители в восторге от автора как режиссера. Показывая им, он декламирует монологи, играет целые сцены. Пусть при этом и беспрерывно кричит на высочайших особ, позволяет себе браниться. Они не обижаются: так остроумна его брань, так разумны требования!

Он от напряженной работы — не так-то просто сделать из этих Гогенцоллернов Заиру, Оросмана, Брута — безмерно устает, еще больше худеет, на лице торчит один острый нос. Но все искупает счастье быть вновь признанным на театральной сцене.

Не менее радуется Вольтера и то, с каким восхищением король относится и к содержанию и к форме новых песен «Орлеанской девственницы», и той, где конюха принимают в аду, и той, где прекрасную Доротею хотят сжечь на костре за сопротивление, оказанное ею дяде-епископу, пытавшемуся ее изнасиловать.

Настаивая на независимости поэта — в «Мемуарах» это выражено формулой: «В стихах мы имеем право говорить обо всем», Вольтер так же независимо и сурово держится с королем как его редактор и учитель. Два часа занятий с Фридрихом II его сочинениями — главная обязанность нового камергера. Разумеется, если не считать идей, которыми он снабжал короля и на знаменитых ужинах, и в переписке из одной комнаты в другую. С идеями Фридрих II не всегда соглашался. А что касается королевской поэзии и прозы — насколько строг был учитель, настолько послушен и терпелив ученик. «Я исправлял все его сочинения, никогда не упуская случая похвалить то, что находил в них хорошего (все-таки автор был сувереном, не говоря уже о том, что это испытанный педагогический прием. — А. А.), и вычеркивал все, что никуда не годилось» («Мемуары»), Вольтер превращал уроки в школу поэтики и эстетики, не ограничиваясь частными замечаниями и редактурой. И король безропотно по сто раз перделывал одно и то же, если этого требовал его наставник, и старался усвоить теорию. Вольтер и здесь позволял себе не стесняться в выражениях. Мог сказать: «Эта строфа ни гроша не стоит», или: «Как это вам удалось сочинить четыре хорошие строчки, остальные никуда не годятся?» Королю

так хотелось, чтобы за его подписью выходили в свет хорошие стихи, и он понимал, что Вольтер прежде называл их «великолепными» лишь из вежливости... Поэтому и не обижался.

В «Мемуарах» написано, что только для исправления своих сочинений Фридрих «приманил» Вольтера. Но это не вполне справедливо, как и многое другое, сказанное там о прусском короле и их отношениях.

Как литературное произведение «Мемуары» превосходят. Но как биографический и исторический источник для главы о Вольтере в Пруссии они требуют критического подхода. Конечно, в «Мемуарах» немало ценных наблюдений, признаний, обобщений — они приводились и еще будут приводиться. Однако нельзя забывать, что в части, касающейся Фридриха II и управляемой им страны, есть оттенок памфлета. Она написана, когда у автора еще не прошло раздражение после ссоры, что не могло способствовать объективности. К тому же он не знал многого из того, что открылось потом исследователям.

Любопытны обстоятельства, при которых «Мемуары» появились, благодаря чему они дошли до нас. В 1759 или 1760 году Вольтер, уступив настояниям друзей и домочадцев, согласился перенести на бумагу некоторые из анекдотов о происшествиях, которых был участником или очевидцем, слышал о них и теперь рассказывал в Ферне. Одних действующих лиц он представлял как палачей, других как жертв...

Но прошло не так много времени, и Вольтер помирился со своим врагом, чего тот, оказавшись в тяжелом положении, очень добивался. Тогда сам автор сжег экземпляр «Мемуаров», написанный им собственноручно, полагая, что теперь уже ни прусский король, никто иной их не прочтет.

Однако это не удалось. «Мемуары» вышли в свет после его смерти, но при жизни Фридриха II. Автор, очевидно, забыл, что существовали еще копии, сделанные его секретарем Ваньером. Одна из копий, похищенная Лагарпом, не однажды воровавшим рукописи Вольтера, была им передана или продана Екатерине II. Вторая от мадам Дени, наследницы дяди, перешла к Бомарше,

издателю первого посмертного собрания сочинений Вольтера. Там-то и напечатаны впервые «Мемуары».

В отделе редкой книги ленинградской Библиотеки имени Салтыкова-Щедрина вместе с библиотекой и другими рукописями Вольтера хранится, очевидно, первая из двух копий «Мемуаров». Она — парадная, переписанная Ваньером, содержит 220 страниц. Точное место ее нахождения — шкаф 4, папка 240.

Такой же перебор розовой краски, как в «Мемуарах» черной, в первых письмах Вольтера из Пруссии. «Вот я, наконец, в этом некогда диком месте, которое ныне украшено искусством и облагоустроено славой. 150 000 победоносных солдат (они уже упоминались в другом контексте. — *А. А.*), власть повелителя, опера и комедия, философия и поэзия, герой, который в то же время философ и поэт, величие и приятность, гренадеры и музы, трубы и скрипки, Платоновы пиры, общество и свобода...» Правда, здесь есть и скрытая ирония.

Из писем мы знаем, что весь день, кроме двух часов, был в его полном распоряжении. Часть года, а именно сезон карнавала, вместе с королем Вольтер проводил в Берлине, остальное время — в Потсдаме; комнаты во всех дворцах ему отводили вблизи покоев самого монарха.

О королевских ужинах он пишет: «Нигде в мире не говорили так свободно о всевозможных людских предрассудках, не осуждали их с большими насмешками и презрением... Бога там уважали, но зато не щадили всех тех, кто божьим именем обманывает людей...»

Словно бы действительно в Пруссии сосредоточились Европа Просвещения, приглашенные Фридрихом поэты, философы, музыканты, ученые. Словно бы действительно здесь господствовал либерализм или прогрессизм и Вольтер нашел здесь свободу, которой лишен был во Франции.

Вознаграждая себя за то, чего лишил его ретроград отец, Фридрих хотел жить богатой, интеллектуальной жизнью и управлять страной старался иначе, чем покойный. Но притом все же оставался и сыном своего отца и, несмотря на просвещенность, деспотом, в чем Вольтер смог убедиться уже через полгода.

Вскоре после его приезда король имел случай показать

другу, которого наконец залучил к себе, свою столицу в полном блеске, а его самого как самый почетный свой трофей — жителям Берлина. В августе Фридрих II устроил пышные празднества в честь любимой сестры Вильгельмины, маркграфини Байротской, и ее мужа. Размахом и изобретательностью, с которой проходили эти торжества, Вольтер был просто потрясен. Невиданная иллюминация всего города. Факельное шествие с сорока тысячами фонарей, большая карусель перед дворцом, три тысячи солдат, шпалерами стоявших на улицах. Во время карусели Вольтер сидел в придворной ложе и служил предметом всеобщего восторженного любопытства. Можно было подумать, что он главный герой празднеств. Сочиненное им по поводу этих торжеств четверостишие в прозаическом переводе звучит так: «Никогда ни в Афинах, ни в Риме не было более прекрасных дней и более изысканных наград. Я видел черты Париса у сына Марса и Венеру, присуждающую яблоко». В миф внесены изменения.

Таким же предметом всеобщего внимания и восхищения, как на карусели, он был и на других празднествах этого августа. В честь маркграфини был представлен «Спасенный Рим», и он играл Цицерона.

В «Мемуарах» отмечено странное сочетание аскетизма и эпикурейства прусского двора. Однако при любви Вольтера к роскоши и значению, которое он придавал хорошему вкусу, он не мог не радоваться личным пристрастиям Фридриха II к поэзии, театру, музыке, живописи, скульптуре, архитектуре и не восторгаться великолепным зданием оперы, дворцами, построенными монархом для себя и членов королевской фамилии. Сан-Суси Вольтера просто очаровал.

Дворец был расположен над террасами холма, к нему вела широкая лестница, налево и направо — деревья, подстриженные на французский манер. Пруды, фонтаны, мраморные статуи, парк — все великолепно, во всем Вольтер узнает изысканный французский вкус. Любил он и музыкальную комнату, где Фридрих II исполнял на флейте мелодии Грауна. Действительно, необыкновенный суверен! Обедать со «скучными генералами, придворными, незначительными Гогенцоллернами» Вольтеру не приходилось. Но зато в узком кругу, за ужинами Фридриха II, он был самим собой. Еды не слишком много.

Фридрих расходовал на все трапезы свои и двора всего 36 эку в день. Пили тоже весьма умеренно. Но сотрапезники воспламенялись от словесных перепалок.

Разумеется, особенное оживление и значительность придавало беседам за этими ужинами участие Вольтера. В его лице король приобрел постоянного оппонента своим остроумам, шуткам и сарказмам. Остальные приглашаемые постоянно лица, хотя тоже были далеко не заурядными, гениальностью и остроумием, энциклопедичностью сравниться с Вольтером не могли. Мопертюи, пылая ярко-рыжим париком, время от времени вставлял ученые замечания, но считал себя слишком важной персоной, чтобы участвовать в словесном фехтовании. Присутствие Вольтера, которому он завидовал, сделало его еще более молчаливым и кислым. Альгаротти, товарищ Мопертюи по экспедиции в Арктику и старый приятель Вольтера, был всего лишь второстепенным модным поэтом, прославленным более всего занятной книжкой о Ньюtone, Д'Аржанс тоже не более чем популярный средний писатель. Ученый Дарже привлекателен для дам, но скучен в мужском разговоре, Шассо отличался не раз в военных битвах, но не годился для словесных — за столом он был сонным и немногоречивым. Пожалуй, самым забавным можно счесть барона Пельница, любителя скандальных историй и их героя; первый камергер, он не вылезал из долгов и постоянно нуждался в деньгах, что заставило его даже переменить религию. (Всех не называю.)

Действительно выдающимся человеком среди участников этих ужинов был Ламетри. Врач по специальности, он был и автором очень значительных книг. Более всего из них прославилась «Человек-машина». Он читал свои сочинения королю, и тот слушал с большим вниманием и интересом. Кроме того, Ламетри был примечателен тем, что, категорически отрицая религию, крестился, когда гремел за стенами дворца гром или кто-нибудь просыпал соль. Вольтер над этим подтрунивал так же, как и над его врачебным искусством, или, точнее, его отношением к своим пациентам. «Избави меня бог от такого лекаря! Он бы прописал мне вместо ревеня средство от запора, да еще сам бы надо мной насмеялся».

Тем не менее Вольтеру очень нравились королевские ужины, пока неровный характер и двуличие короля не

стали проявляться все более и более явно. Когда умерла жена Дарже, женщина выдающаяся, прославленная прекрасным знанием языков, Фридрих II послал вдовцу христиански сочувственное письмо и тут же сочинил о покойнице насмешливое стихотворение.

И кроме того, даже, когда обращение короля с ним не оставляло желать ничего лучшего, стороннику мира сразу не понравился военный дух, который сохранился и в мирной теперь стране. Это проскальзывает в самых восторженных его отзывах, приведенных выше. Есть и иные — «Дух казармы здесь сильнее, чем дух Академии», и тому подобные.

Правда, вначале все это еще искупалось улыбками Фридриха, его большими голубыми глазами, ласково глядевшими на Вольтера, чей ум, гениальность, поэтическое мастерство он хотел сделать своей собственностью.

Но мысль о возвращении обратно возникла у окруженного почетом, но все-таки эмигранта, чужеземца очень скоро. Поневоле отложив это намерение, Вольтер с ним не расставался, связей с Францией не терял. Писал Ришелье, что вернется, как только создадутся маломальски сносные для него условия. Он достиг того, к чему стремился, — уважения при другом дворе: «Я больше не изгнанник, который выпрашивает разрешения возвратиться. Ведь я покину двор, где ни от кого не завишу, никто и ничто мне не угрожает, ни духовенство, ни министры...»

И все-таки не уезжал не только потому, что во Франции сносных условий для него не создавалось. Не возразив против милостей, оказываемых Вольтеру прусским королем, Людовик XV тут же фактически лишил своего придворного историографа этого звания, хотя тот заслуживал его как нельзя больше именно теперь, усиленно работая над «Веком Людовика XIV» и тем самым открывая новое направление исторической науки.

Яростному противнику войны льстило иметь своим другом и считать себя советчиком монарха, который, выиграв две войны, усердно и успешно занимался мирным созиданием. Фридрих II за короткий срок превратил Пруссию в могущественное и процветающее государство.

Вольтер сравнивал его с Петром Великим и противо-

поставлял Людовику XIV последних лет царствования и тем более Людовику XV.

Не одобряя того, что прусская армия продолжала увеличиваться, военные укрепления занимали первое место среди строительных работ, Вольтер не мог не торжествовать, видя, как благодаря энергии и таланту Фридриха II ожила его страна. Все улучшалось положение крестьян, хотя и медленно и постепенно, но отменялось крепостное право. Развивались земледелие, скотоводство, огородничество, выращивались лен и шелковичные деревья, почему Пруссия могла соперничать с Францией в производстве шелка. И все это поддерживалось лично королем. Проводились каналы, строились порты, жилые дома, публичные здания, дворцы... Экономно и разумно распоряжался Фридрих финансами страны.

Словом, все иначе, чем во Франции, где двор во главе с королем, занимаясь одними интригами и развлечениями, совсем не интересовался благосостоянием народа и процветанием страны. Недаром Людовик XV прославился изречением: «После меня хоть потоп!» — и заслужил прозвание «влюбленный» и «возлюбленный». Не одному Вольтеру, но многим передовым умам Пруссия тогда казалась страной будущего, притягивала к себе эмигрантов. Берлин по тогдашним меркам вырос в огромный город: сто тысяч жителей.

И хотя Вольтера не «затрудняли» ни сельским хозяйством, ни строительством, ни управлением финансами, во всех преобразованиях Фридриха II он ощущал бесспорное влияние своих философских и политических идей. Может быть, более всего в юстиции, причем не только в практике судов, отдельных прецедентах, но и в том, что Фридрих II старался перестроить законодательство и судебный процесс в корне. Здесь больше чем где-либо он применял гуманность новой философии, просвещения и прежде всего *терпимость*. Сам Вольтер не мог бы придумать лучшей юридической общей формулы, чем Фридрих II: «Представить себе, что все люди — черти, и преследовать их жестокостью было бы маниакальным представлением человеконенавистника. Предполагать, что все люди — ангелы, было бы мечтой неумного капуцина. Нужно исходить из того, что они и не хорошие и не плохие... Добрые поступки оценивать выше их достоинства, за дурные наказывать меньше, чем

того требовала бы вина... Вот как должен действовать разумный человек).

В Фридрихе II причудливо переплетались деспотизм, ненамного меньший, чем у отца, и следование принципам правления страной, высказанным еще в «Анти-Макиавелли»: «Суверен в ответе не перед богом, но перед подданным, он — слуга государства».

Став из угнетаемого отцом кронпринца всевластным королем, Фридрих от такого понимания долга суверена не отказался. Оно служило теоретическим обоснованием его беспримерного для монарха того века труда. Превосходство может быть отдано лишь Петру I, скончавшемуся много раньше.

Даже уже озлобленный на прусского короля Вольтер в «Мемуарах» пишет: «Он вставал в пять утра летом и в шесть зимой (известно еще и что Фридрих приказывал будить себя, поливая холодной водой. — А. А.). Если вам угодно знать, какие церемонии сопровождало это вставание, каковы были большие и малые выходы, какие обязанности несли при этом старший капеллан, главный камергер, палатный дворянин и пристава (намек на ритуал вставания французского короля. — А. А.), то я отвечу, что один-единственный лакей разводил огонь в камине, одевал и брил короля, который, впрочем, привык одеваться почти без посторонней помощи. Спальня его была недурна. Пышная решетка из серебра, украшенная амурами прекрасной работы, окружала балюстраду, на которой якобы стояла кровать, закрытая пологом. Но позади занавесей полога вместо постели находились книжные полки». На самом же деле король спал на «жалкой койке с тоненьким тюфяком, спрятанной за ширмой. Ложе Марка Аврелия и Юлиана — апостолов и величайших мужей стоицизма — не могло быть хуже этой койки». За эпикурейской декорацией — аскетизм, добавлю я от себя.

Потом, правда, Вольтер язвит насчет противоестественных «забав» Фридриха с его фаворитами. Но, полагаю, много важнее для философа были государственные занятия короля, о которых мы знаем и из других источников.

Король сам принимает утром почту, раскрывает конверты, читает письма, делает пометки, набрасывает ответы. Секретари получают от него корзины с коррес-

понденцией, уже рассортированной. К четырем часам дня приносят на подпись ответные письма. А Фридрих до тех пор занимается текущими государственными делами, выслушивает доклады и проекты меморандумов министров, отдает им распоряжения. До обеда он успевает принять и генералов, обсуждает с ними военные дела и самолично проводит занятия с полком Потсдамского гарнизона.

После обеда с теми же генералами, придворными и принцами снова возвращается к делам, уже другим, и дает аудиенции.

Только после этого Фридрих II позволяет себе вспомнить о том, что он поэт, сочиняет стихи и прозу и два часа проводит с Вольтером как учителем, играет на флейте.

Спать ему приходилось очень мало, да еще на жесткой койке, почему Вольтер и прозвал его «Марком Аврелием». Ужины затягивались порой до четырех часов утра. Очень характерный парадокс эпохи: свободололюбивые разговоры сотрапезников дорого обходились слугам: у тех от долгого стояния опухали ноги...

И здесь у Вольтера была женщина-друг, и не только друг, — графиня Софи Шарлотта Бентинк. По отзывам современников, она была очень красива и величественностью превосходила всех королев. Разумеется, у нее был муж, голландский посланник в Берлине. Подобно маркизе и маркизу дю Шатле, они тоже вели процесс, И Вольтер так же помогал им в ведении этого процесса, который привел к осложнению дипломатических отношений между несколькими странами: Пруссией, Россией, Великобританией. Вольтер мог уделять процессу и, главное, самой графине время, потому что суверен оставлял его в избытке своему камергеру. Фридрих II, несмотря на подагру, еще и очень много разъезжал по своей стране.

Прусский король имел право с иронией и презрением отзываться о других европейских монархах, осуждая их за страсть к развлечениям, лень и глупость. Все это, утверждал он, мешает им сделать свои народы счастливыми. Вполне ли счастлив был его народ, несмотря на бурную государственную деятельность короля и некоторые законодательные, административные, экономические улучшения? Вряд ли...

Достаточно ли и долго ли Фридрих был верен не только людям, которых привлек к своему двору, переместив, таким образом, центр Просвещения, но и самим идеям Просвещения, тому, что больше всего сближало с ним Вольтера?

Как показывают факты, не только те, которые приводят обычно, объясняя бегство обожаемого учителя от своего ученика, но и совсем иные, *причины их разногласий были очень серьезны*. Но не менее серьезны и основания дружбы.

Чтобы быть справедливым и к королю, как надлежит историку, сперва расскажу о верности его Просвещению. Первый открытый конфликт между Вольтером и Мопертюи произошел по следующему поводу. Вольтер предложил выписать в Берлин и сделать прусским академиком аббата Рейналя, ученого, глубоко уважаемого в парижских салонах, истинных убежищах передовой мысли Франции, но отнюдь не в официальных научных кругах ее. Рейналь, бесспорно, украсил бы собой Берлинскую академию — убедительно доказывал ходатай за него. Но Мопертюи предложению воспротивился. Смертельно завидуя своему сопернику, и так лишившему его главенства в интеллектуальном ведомстве прусского короля, не стерпел вмешательства Вольтера непосредственно в дела Академии. Он, и никто иной, был ее президентом! Еще один блистательный конкурент был Мопертюи вовсе не нужен.

Вольтеру его противодействие крайне не понравилось. Не только потому, что обиделся за Рейналя. Здесь все должно было быть иначе, чем в Париже, где людям, действительно ученым и талантливым, дорога в Академию была закрыта или усыпана острыми камнями. С каким трудом он сам достиг кресла «бессмертного»!

Удалось добиться, чтобы Фридрих II лично пригласил в свою Академию наук аббата Рейналя. На этот раз король еще оказался единомышленником французского Просвещения и хотел его сосредоточия в Берлине.

Мопертюи был победой Вольтера глубоко задет и, как только представилась возможность, отомстил сопернику.

А теперь перейдем к разногласиям.

И раньше, и теперь Фридрих II изволил интересоваться главным трудом Вольтера в Пруссии — «Веком

Людовика XIV» и словно бы продолжал его одобрять. Книга вышла впервые в 1751 году в Берлине.

Но именно она-то едва ли не более всего повредила отношениям автора с королем. Естественно, через историю проглядывала современность, причем не только французская, но и непосредственные впечатления автора от жизни Пруссии. Вольтер, дополняя и переделывая «Век Людовика XIV», открыто осуждал ужасы войны и режима преследований, проявлял все больше и больше ненависти ко всему, что делало людей несчастливими, все сильнее протестовал против прославления мнимого героизма тех, кто этого не заслуживал. Потом в «Мемуарах» появилась фраза о том, что эпитеты, которыми их автор и Фридрих награждали друг друга, обим ничего не стоили. Но уже сейчас за ужинами у «Юлия Цезаря», «Марка Аврелия», «Северного Соломона» Вольтер, рассказывая о своей книге, неодобрительно отзывался о других монархах, государственных деятелях. Пусть и не относя упреков прямо к прусскому королю, не упоминая о его баталиях, яростно восставал против войн как таковых. Фридрих же отличался достаточным умом и догадливостью.

В записках, которыми друзья обменивались из комнаты в комнату, философ некоронованный позволял себе то же самое уже по конкретным злободневным поводам. Философ коронованный высмеивал французский двор за то, что он, хлопоча о мире, стучится во все двери, и заявил, что не будет за соседку сражаться. Вольтер возразил... Конечно, не из сочувствия Людовику XV и его правительству, но желая мира во всем мире. Фридрих, в свою очередь, выразил несогласие с этой запиской на ее полях. А однажды за ужином Вольтер внес деловое предложение, как улучшить международные отношения, что королю опять-таки не понравилось.

Первой и главной причиной охлаждения между ними было все более и более отчетливое расхождение во взглядах между деспотом, пусть просвещенным, и завоевателем и просветителем истинным, миролюбом, народолюбом, человеколюбом.

Выла и вторая причина, о ней говорят все биографы Вольтера, — уязвленное авторское честолюбие короля. Одно дело — позволять лучшему поэту Европы править свои сочинения и совсем иное — узнать, что он дурно

отзывается о них за глаза, подвергая сомнению само дарование поэта на троне перед подданными. Кто-то из завистников насплетничал королю, что Вольтер считает его стихи плохими. Рассказывали широко, и вряд ли это не дошло до высочайших ушей — когда генерал Майнштейн зашел к Вольтеру посоветоваться насчет своих мемуаров, тот ответил: «Я должен сначала выстирать королевское грязное белье, а затем уже приступить к стирке вашего».

Может быть, еще и не зная об этих слухах — при его остром языке они, вероятно, не были выдумкой, — учитель заметил, что ученик дает ему все меньше и меньше своих сочинений для исправлений. Написав так в «Мемуарах», добавил: «Я был в настоящей опале». Для того времени, о котором идет речь, жалобу можно считать преувеличением.

Еще одну, третью причину охлаждения к нему Фридриха Вольтер подметил правильно: «Я почувствовал, как свобода моего обхождения с ним должна была не нравиться королю, более самодержавному, чем турецкий султан».

Очевидно, из-за всех трех причин, когда Ламетри — он позволял себе говорить королю все, что хотел, — однажды сказал его величеству: многие завидуют фавору, которым Вольтер пользуется при прусском дворе, последовал высочайший ответ — знаменитая фраза об апельсине, из которого высасывают сок, а затем выбрасывают кожуру. Под апельсином имелся в виду, разумеется, Вольтер, и словечко Фридриха означало: пусть завистники не беспокоятся — фавор недолговечен.

Конечно, фраза до Вольтера дошла, так же как и то, что главный распространитель слухов и сплетен о нем — Мопертюи. Во всяком случае, так говорили, и философ верил. А Ламетри вскоре, объевшись паштета, умер, и «апельсин» так и не успел у него спросить, добавил ли король, что Вольтер будет нужен ему не больше года.

После смерти Ламетри, помимо гадостей о нем самом, стали говорить еще, что всеобщий соперник и главный любимец суверена займет его место королевского атеиста — Фридрих II третировал духовенство и самого бога. Но ничего подобного! Вольтер этого места занять не мог. Перебранки между ними все учащались и учащались. Ужины перестали быть такими веселыми, за столом

больше не господствовали свобода суждений и непринужденность:

Охлаждение сперва стало проявляться словно бы в мелочах. Вольтер пожаловался королю, что сахар ему стали подавать хуже очищенный, шоколад безвкусный, кофе и чай без аромата... Фридрих отнесся словно бы сочувственно, пообещал пробрать виновных, но ничего не сделал и на повторную жалобу ответил:

— Не могу же я повесить этих каналов из-за куска сахара!

Это не значит, что король не проявлял такого же коварства и неровного отношения к Мопертюи и другим лицам своего интеллектуального ведомства, но Вольтеру от этого не было легче.

Стали нарушаться и другие условия содержания его при прусском дворе. Одна из самых распространенных легенд о скупости и мелочности великого человека: якобы после ужинов он выносил из королевской гостиной свечные огарки и продавал их. На самом же деле он стал продавать отпускавшиеся ему по условию ежемесячно двенадцать фунтов свечей. А чтобы не сидеть у себя в полной темноте, под предлогом, что должен взять в своей комнате рукопись или книгу, во время ужина брал свечу — не идти же через неосвещенные залы и анфилады — и возвращался без нее.

Казалось бы, это ненамного лучше продажи свечных огарков. Но задумаемся, почему Вольтер так поступал. Не говоря уже о королевской пенсии — она, очевидно, все-таки выплачивалась, он был достаточно богат. Но мог нуждаться в наличных средствах... Чтобы обезопасить «апельсиновую кожуру», то есть не держать свое состояние в Берлине, а у него было тогда 300 тысяч ливров, Вольтер позже дал их герцогу Вюртембергскому под залог его земель, а пока не брезговал спекуляциями в Германии.

Еще более вероятное объяснение этой мелочной операции со свечами — демонстрация недовольства, ответ на плохой сахар, безвкусный шоколад, чай и кофе без аромата и другие признаки опалы.

Осень, сменившая такое счастливое прусское лето 1750 года, была для Вольтера осенью тяжелой. Прежде

всего, вынужденный жить в летней резиденции, он страдал от холода и сырости. Так тяжело болел желудком, что стал напоминать обтянутый кожей скелет и вынужден был даже манкировать очень приятными обедами графини Бентинк... Она одна поддерживала его до самого конца во всех злоключениях при прусском дворе.

Сомнения Вольтера в разумности его дальнейшего пребывания в Потсдаме и Берлине все усиливаются и усиливаются. В ноябре 1750-го он пишет Мари Луизе: «...дружба Фридриха может оказаться ненадежной, вполне вероятно, он поведет себя как король». Добавлю — уже повел...

В этом письме высказана далеко не вся правда о его тогдашнем положении в Пруссии, и оно не опускалось пока до низшей точки.

Однако все письмо пестрит «но». Его трагедии еще играют в Потсдаме, *но*... Ужины у короля по-прежнему великолепны, *но*... Дух свободы там еще господствует, *но*... «Милое дитя, ветер становится холодным», — признается он мадам Дени.

До развязки этой драмы еще далеко. Вольтер пробудет у Фридриха против своего желания — король не отпускает «апельсиновую кожуру» — целых три года.

Будут еще в их отношениях и оттепели после суровых зим, но зим и осеней больше...

Крайне неприятная история разыгралась зимой 1750/51 года. Привыкнув к удачным спекуляциям во Франции, Вольтер задумал заняться ими и здесь. Особенно его к этому побуждало то, что за кошачьими шуточками Фридриха он уже почувствовал львиную лапу, удары которой были весьма и весьма неприятны. Чтобы обезопасить себя от нового, возможно, еще более тяжелого удара, и предпринял эту крупную спекуляцию, не предполагая, конечно, какие беды она за собой повлечет. Блистательный финансист и коммерсант, он, решив в своих интересах воспользоваться одним пунктом Дрезденского мира, на этот раз просчитался.

Этот пункт выговаривал прусским подданным, обладателям саксонских податных свидетельств, право требовать по ним уплаты с прибавкой процентов в срок, ука-

занный в документах. Саксонцы были этого права лишены. Однако Фридрих II был крайне недоволен рвением пруссаков, скупавших у саксонцев по дешевке свидетельства и предъявлявших их в дрезденское казначейство к уплате по полной стоимости, и, чтобы подобные спекуляции пресечь, запретил своим подданным самую покупку бумаг.

Вольтеру более чем кому бы то ни было не следовало нарушать королевского повеления. Хотя он и не был пруссаком, но зато прусским камергером, академиком и европейской знаменитостью. Однако слишком велик был соблазн наживы, и, как ему казалось, ничего не стоило скрыть нарушение приказа. В его деловой переписке по поводу этой спекуляции саксонские податные свидетельства именовались «мехами и драгоценностями».

Вольтер воспользовался услугами берлинского негодяя, еврея Авраама Гиршеля. Тот в свое время дал ему напрокат бриллианты. Автор «Спасенного Рима» щеголял в них в роли Цицерона в придворном спектакле. Теперь же «Цицерон» снабдил Гиршеля деньгами и поручил купить для него в Дрездене «меха и драгоценности» за 65 процентов их стоимости. Негоциант, пользуясь тем же шифром, написал своему доверителю из саксонской столицы, что свидетельства можно приобрести лишь за 70 процентов их цены. Тот согласился. На следующий день пришло письмо, что стоимость бумаг возросла до 75 процентов. Вольтер имел основания заподозрить, что дело ведется нечисто. Но его агент уверял, что оклеветан своим конкурентом, предложившим Вольтеру более выгодные условия, то есть меньшие комиссионные.

Доверитель с неукротимостью своего темперамента решительно во всем, не задумываясь о последствиях, опротестовал в Париже самый крупный из векселей, которыми снабдил своего поверенного. Гиршель, не успев ничего сделать, вернулся в Берлин. Естественно, он был обижен и требовал возмещения понесенных расходов, грозил жаловаться. Вольтер, чтобы избежать опасной огласки, решил удовлетворить его претензии и купил у Гиршеля бриллианты, которые тот давал ему напрокат для спектакля «Спасенный Рим». Оценив камни у ювелира, перед тем как приобрести их, заплатил достаточно до-

рого, чтобы возместить своему агенту и путевые издержки, потраченное время и труды.

Все было бы кончено, и никто, особенно король, ничего не узнал бы об этой истории, если бы через несколько дней Вольтер, пожалев о своей покупке, не потребовал от Гиршеля еще драгоценностей и отказался за них заплатить, утверждая, что стоимость этих камней покрывают 30 тысяч талеров, отданных за бриллианты Цицерона. Затем он зашел еще дальше, потребовав, чтобы его противник взял все драгоценности обратно, вернув все полученные деньги, «забыв» о возмещении расходов на поездку в Дрезден. Такова принятая версия. Насколько она верна?

Каждый настаивал на своей правоте. Гиршель — на том, что бриллианты Цицерона перед покупкой были оценены, и возмещении путевых издержек. Вольтер — на том, что оценка была завышенной и его противник пытался обмануть его, выполняя поручение с саксонскими бумагами.

Разыгралась бурная сцена. Говорили даже, что философ схватил негоцианта за горло. Во всяком случае, доверитель подал на поверенного в суд. Дело оказалось очень сложным и запутанным. По одной версии — 8-го, по другой — 26 февраля 1751 года оно кончилось словно бы победой Вольтера, хотя и Гиршель не слишком пострадал. Истец получил обратно все свои векселя и сумму, только на 10 тысяч талеров меньше, чем требовал, ответчик — почти все свои драгоценности и эту сумму.

Однако если отвлечься от судебного приговора, победа оказалась пирровой. Хотя суд и не разбирал вопроса о запрещенной покупке саксонских свидетельств, король о попытке Вольтера нарушить его приказ узнал и очень рассердился. И главное... Гений, философ, поэт оказался спекулянтом, человеком нечестным в расчетах, сутягой, ниже Гиршеля, а евреи — нетрудно догадаться — не пользовались тогда в Пруссии особым уважением... Вольтер, заявил король, опозорил себя постыдным процессом. И речи быть не могло о продолжении их дружбы!

Однако и общественное мнение было против Вольтера. Отрицательно об этой компрометирующей великого человека истории, будучи хорошо осведомлен, высказался будущий знаменитый немецкий просветитель Готтольд Эфраим Лессинг. Тогда ему было всего два-

дцать два года, и голодающего студента секретарь Вольтера, Ришье, порекомендовал патрону для перевода на немецкий язык требуемых судом деловых бумаг.

Это рождество было для Вольтера очень грустным. В первый день он сочинил покаянное письмо Фридриху: «Я в своем возрасте не прав так, что это почти неправимо. Никак не могу освободиться от проклятой манеры быть вездесущим...» На второй день — ностальгическое письмо на улицу Траверзьер, мадам Дени: «Я пишу тебе у печки, с тяжелой головой и больным сердцем. Смотрю в окно на Шпрее, она впадает в Эльбу, а Эльба — в море. Море принимает и Сену, а наш дом в Париже близко от Сены. Я спрашиваю себя, почему я в этом замке, в этой комнате, а не у нашего камина?»

Неприятности на него так и сыпались. Принц Генрих подкупил еще раньше секретаря Вольтера Тинуа — потому поэт и сменил его на своего земляка, преподавателя французского языка в Берлине Ришье. Тинуа списал для принца «Орлеанскую девственницу», и автору никак не удавалось выручить из враждебных рук свое опасное сочинение.

Поддерживала Вольтера по-прежнему одна графиня Бентинк.

Они виделись постоянно, если болезнь не приковывала его к постели. Тогда он писал своей возлюбленной: «До завтра. Надеюсь, что буду здоров и смогу вас видеть». На обороте записки неизменно стояло еще одно слово: «Ежедневно».

Зато Фридрих был с Вольтером как нельзя более холоден и резок. После окончания январского карнавала, как обычно, уехал в Потсдам, но против обычая не взял Вольтера с собой, оставив его в Берлине продолжать свой процесс. С помощью заступничества Дарже и собственных писем королю философ пытался восстановить свою репутацию и если не прежние, то хотя бы сносные отношения с его величеством. Делал вид, что только теперь узнал от берлинского бургомистра и шефа берлинской полиции, что покупать саксонские податные свидетельства воспрещено. А может быть, и в самом деле прежде не знал? Просил у короля разрешения, отказавшись от пенсии, вернуться в Потсдам и поселиться в малень-

ком домике, прежде занимаемом Дарже. Обидевшись на Фридриха II, тот уехал на родину, в Ментону. От короля последовал суровый отказ Вольтеру с перечислением всех его прегрешений, действительных и мнимых. В монаршей отповеди на одну доску ставились афера с саксонскими бумагами и «вмешательство» в дело графини Бентинк. Король может терпеть возле себя лишь миролюбивых людей!

Через четыре дня в насквозь промерзшее берлинское жилище Вольтера пришло еще одно не слишком любезное письмо от короля. Но все-таки оно означало прощение. Фридрих писал: «Вы можете вернуться в Потсдам. Я рад, что это неприятное дело кончилось, и надеюсь — у Вас не будет больше неприятностей ни с Ветхим, ни с Новым Заветом. Дела такого рода обесценивают. Ни самыми выдающимися дарованиями, ни своим светлым умом Вы не сможете смыть пятна, которые угрожают навсегда запачкать Вашу репутацию». «Пятна», а не «пятно» объясняется тем, что у короля были сведения и о более ранних аферах философа, хотя в большинстве их Вольтер оказывался страдающим лицом. Ему не везло в Германии как финансисту.

11 марта он наконец приехал в Потсдам, поселился в маленьком домике с садом, сохранившимся, как Сан-Суси, и сейчас... Кончал «Век Людовика XIV», несмотря на болезнь.

Постепенно он снова входит в милость к королю. Ему помогает честолюбие Фридриха II — поэта. Король во что бы то ни стало хочет, чтобы его французские стихи признавались превосходными. А кто еще может помочь в осуществлении этого желания?

Но здоровье королевского метра все ухудшается и ухудшается. Теперь, кроме желудка, его донимает еще и скорбут (цинга), и он теряет сперва несколько зубов, потом еще и еще... Впалый рот придает ему то саркастическое выражение, к которому мы так привыкли по скульптурам Гудона.

В июне Вольтер чувствует себя уже лучше. Две недели проводит в Сан-Суси с Фридрихом. Король снова изволит очень интересоваться «Веком Людовика XIV», и как раз тогда книга выходит в Берлине.

Вольтер не ставит своей фамилии на титульном листе, на нем обозначен только как издатель королевский

советник, член Берлинской академии наук Франшевиль. И без того мыслящая Европа знает, кто автор этого выдающегося труда.

Казалось бы, снова все хорошо, если не говорить о болезнях. Впрочем, к ним он привык и, в письмах изображая себя на смертном одре, работает с еще большей энергией. Отношения с королем терпимые. Он живет снова то вместе с Фридрихом, то врозь, в Берлине и Потсдаме.

Но враги и завистники — во всяком случае, как кажется мнительному Вольтеру — не дремлют, и главный из них в Берлине, Мопертюи, приобретает союзника, которого его соперник будет считать своим противником долгие и долгие годы.

И вот тут-то и нужно разоблачить легенду, на этот раз касающуюся не Вольтера, но, напротив, им созданную и с его легкой руки прочно укоренившуюся. Речь идет о только что упомянутом союзнике Мопертюи — Лоренте Англивиеле де Лабомеле. Заслуга первой верной характеристики, более того, открытия этого интереснейшего писателя и мыслителя, одного из самых радикальных просветителей, до сих пор известного только как врага Вольтера, принадлежит советскому ученому Льву Семеновичу Гордону. Его статья «Политические максимы Лабомеля» («Французский ежегодник» за 1967 год, Изд-во АН СССР, 1968) начинается так: «Трудна задача историка, когда он сталкивается с материалом, обросшим плесенью предвзятых, давно сложившихся, но ложных мнений и представлений. При этом давность ошибки как бы освящает ее, придает ей ореол достоверности, особенно там, где она подкреплена мнением свидетеля, всеми признаваемого за непреложный авторитет». Под свидетелем, как нетрудно догадаться, имеется в виду не кто иной, как Вольтер.

Л. С. Гордон приводит, опираясь на источники, обвинения, которые с невероятной яростью Вольтер на протяжении многих лет возводил на Лабомеля. На самом деле тот был значительно больше его союзником, нежели противником. А если и подверг позже критике «Век Людовика XIV», то с позиций более радикальных и с явной пользой для автора указал на неточности.

Без всяких оснований Вольтер в письме к Руссо от 30 августа 1755 года называет Лабомеля «плагиатором» только за то, что тот после изданий самого Вольтера (Гордон называет одно — берлинское, было еще и второе — лейпцигское) опубликовал его знаменитый труд со своими примечаниями. В них-то и было все дело. Если верить Вольтеру, в примечаниях «самое грязное невежество изрыгает самую гнусную клевету».

Позже с такой же яростью и такой же несправедливостью он обрушивается на Лабомеля в полемической статье «О литературной честности». А в «свирепом» (Гордон) «Письме автора «Литературной честности» негодует по поводу опубликованных Лабомелем «Мемуаров мадам де Ментенон».

Пристрастность и предвзятость отношения Вольтера к Лабомелю, как убедительно доказывает исследователь, ясны уже из надписи, сделанной автором на обороте шмуцтитала франкфуртского издания «Век Людовика XIV» 1753 года. Это и было то криминальное издание, за которое Вольтер обозвал Лабомеля «плагиатором», хотя тот ничего не присвоил, честно указал автора книги на том же шмуцтитале, не допустил ни малейших искажений самого текста, а только снабдил его своими примечаниями и предисловием, опять-таки не невежественными и не клеветническими, а, напротив, содержащими указания на фактические ошибки и критику самого понятия «век Людовика XIV» («Какие народы Людовик XIV извлек из рабства, из варварства или из нищеты?»).

Вот текст надписи Вольтера на франкфуртском издании, неоспоримо доказывающий, как ни больно это признать, что по его вине тот, кого он неверно считал своим противником, очень дорого заплатил за разумную и полезную критику: «...издание выпущено негодяем по имени Лабомель, изгнанным из Женевы и Копенгагена. А при возвращении в Париж был заключен в Бисетр за это самое издание, которое он наполнил самой свирепой и самой нелепой клеветой».

Л. С. Гордон не приводит других доказательств, что Вольтер принял все меры, чтобы мнимый клеветник оказался в тюрьме (кстати — вопреки надписи — Лабомель отсидел полгода не в Бисетре, месте заключения воров и проституток). Но, несмотря на только что ука-

занную неточность, сама надпись очень убедительно подтверждает версию исследователя.

И наряду с этим, явно дурным, «приемом полемики» Вольтер, словно забывший, как его самого некогда заключили в Бастилию, в том же 1753 году выпустил новое исправленное издание «Века Людовика XIV», устранив в нем некоторые отмеченные Лабомелем ошибки. Однако, не признаваясь в пользе, принесенной книге примечаниями к франкфуртскому изданию, автор ее одновременно опубликовал и «Дополнения к «Веку Людовика XIV», где не полемизировал с Лабомелем, но страстно, нетерпимо, оскорбительно излил свое негодование по его адресу.

Обо всем этом весьма убедительно рассказано в статье Л. С. Гордона. Он приводит и чрезвычайно интересные возражения Лабомеля, касающиеся уже не частных ошибок книги Вольтера, но общей ее концепции.

Однако как ни красноречивы эти цитаты, как ни метко в «примечаниях» и особенно в «Ответе на «Дополнения» характеризуются Людовик XIV и его царствование, мне кажется, что исследователь не совсем прав, безоговорочно соглашаясь с аттестацией Лабомелем Вольтера как «панегириста режима, достойного лишь осуждения». Л. С. Гордон излишне пристрастен — в хорошую сторону к Лабомелю, в дурную — к Вольтеру. Это вполне объяснимо пылом открывателя, к тому же справедливо возмущенного исторической несправедливостью, но противоречит тому неоспоримому факту, что, уже готовя первое, берлинское, издание «Века Людовика XIV», Вольтер все усиливал и усиливал критику слабых сторон короля и его царствования, и это, как уже мной говорилось, навлекло на него недовольство Фридриха II. Что же касается неправомерности самого понятия «век Людовика XIV» — здесь Гордон тоже не поправляет Лабомеля, — я и с этим не могу согласиться. Ведь название книги подчеркивает, что речь идет не об одном монархе, но обо всей эпохе. Это понятие не отвергнуто исторической наукой. (Объективнее всех к Лабомелю Бестериан в книге «Вольтера» — 1969 г.)

Притом, конечно, Вольтер все-таки идеализировал Людовика XIV, и Лабомель дал характеристику его царствования, несравненно более правдивую, точную и справедливо жестокою. Л. С. Гордон приводит, и я ее сей-

час повторю, большую цитату из «Писем» Лабомеля, дающую полное представление о различиях их позиций.

«Пусть покажут мне, — пишут Вольтер в своих «Дополнениях к «Веку Людовика XIV», — хотя одну монархию на земле, где законы, отправление правосудия (justice distributive) и права человечества попирались бы меньше!» Но когда я вспоминаю все случаи частных и общих несправедливостей, совершенных покойным королем, я не могу читать эти строки без негодования. Как! Людовик XIV был справедлив, когда он забывал (а забывал он это постоянно), что власть вручается одному лицу лишь для блага всех?! Был ли он справедлив, когда вооружил 100 тысяч человек, чтобы отомстить одному сумасшедшему за оскорбление, нанесенное одному из его посланников? (Речь идет о споре испанского посланника с французским в Лондоне в 1662 году по вопросу о «старшинстве».) Когда в 1667 году он объявил войну Испании, чтобы расширить свои владения, несмотря на законность торжественного и свободного отречения? (Война из-за приданого королевы Марии-Терезии.) Когда он вторгся в Голландию, только чтобы унижить ее? Когда он бомбардировал Геную, чтобы наказать ее за то, что она не стала его союзницей? Когда он настойчиво пытался полностью разорить Францию, чтобы посадить одного из своих внуков на иностранный трон? (Война за «испанское наследство». 1701—1714.)

Был ли он справедлив, уважал ли он законы, щадил ли он права человечности, когда отягощал свой народ налогами? Когда, чтобы поддержать свои неосторожные мероприятия, он придумывал тысячи новых поборов, вроде гербовой бумаги, из-за которых произошли восстания в Ренне и Бордо? Когда в 1691 году 80 налоговыми эдиктами он разорил 80 тысяч семей? Когда в 1693 году он исчерпал их терпение и усугубил их нищету еще 60 эдиктами? Когда он выпускал кредитные билеты, которыми расплачивался со своими подданными и которых не принимал от них к уплате? Когда в 1704 году он предписал, чтобы эти билеты, потерявшие до 12—15 процентов, принимались во всех отраслях торговли как наличные деньги? Когда каждый год он отягощал государство миллионной рентой, — не для того, однако, чтобы поощрять промышленность или защищать границы, а чтобы давать празднества и строить Версаль?..

Покровительствовал ли он законам, способствовал ли он отправлению правосудия, совершал ли он великие деяния на благо общества, возвеличивал ли он Францию выше всех монархий на земле, когда, чтобы подкопаться под основы эдикта, дарованного одной пятой нации, он в 1676 году отсрочил на три года уплату долгов новообращенным? Когда в 1679 году он запретил верховным судам назначать гугенотов судьями? В 1680 году запретил акушеркам оказывать помощь беременным женщинам? Когда он отнял у всех подданных право менять свои мнения? У больных — утешение спокойной смерти? Когда декларацией от 17 июня 1681 года он разрешил семилетним детям переходить в католичество и тем самым уходить из-под родительской власти? Когда позволил церковным старостам терзать совесть агонизирующих? Иезуитам — захватить Седанскую академию? Госпиталям — присваивать имущество, оставленное по завещаниям для бедных протестантов?» (Lettres de Mr. de la Baumelle à Mr. de Voltaire, p. 88—91.)

Самое поразительное, что противники, чего не понимал Вольтер, оба принадлежали к французскому Просвещению, Гордон считает — к его буржуазному крылу. Я не сторонница столь категорических социологических определений, тем более что Вольтер, являя собой ранний этап Просвещения, выступал от имени недифференцированного третьего сословия. Но не могу не согласиться с объяснением исследователем отсутствия между ними единства тем, что «Вольтер с его ставкой то «на философа на троне», Фридриха II, то на «Семирамиду Севера», Екатерину II, представляет в Просвещении реформистское начало, а Лабомель — его радикальную, боевую сущность».

Но, на мой взгляд, Л. С. Гордон недооценивает эволюцию Вольтера, страдания, им испытываемые оттого, что, так любя свободу, он вынужден был жить при королях, счастья, его обуревавшего, когда он сам себе стал королем. Об этом уже говорилось и будет еще говориться в моей книге.

Зато крайне интересно то, что в статье рассказывает о Лабомеле, в частности сделанное автором открытие — его герой раньше Вольтера «поднял голос в защиту Каласа».

Вернемся, однако, к началу конфликта между противниками-союзниками и его причинам. Вольтер получил от молодого французского литератора Лабомеля письмо с извещением, что тот издает в Копенгагене «Генриаду» и просит автора исправить два места поэмы. С этим словно бы все обошлось благополучно. Но в 1751-м Лабомель приехал в Берлин, где вскоре выпустил книгу «Мои мысли», написанную еще в Копенгагене. Ее сразу заметили. Несколько раз она переиздавалась. Книга состояла из политических и философских максим, внешне разрозненных, но складывающихся в единую систему просветительского мировоззрения.

Вольтеру не могли не быть близки главные мысли Лабомеля. Прежде всего молодому автору, как и ему самому, был свойствен историзм мышления, убеждение в изменяемости мира, так же как и в том, что неизбежным переменам мешают дряхлеющие институты старого порядка — абсолютизм и церковь. Отсюда страстный протест — антимонархический и антиклерикальный — и такая же страстная защита прав личности, в первую очередь права ее самостоятельно судить обо всем.

Вольтеру должно было нравиться и то, что автор спорил с Руссо, хотя он сам еще не вступил в непримиримую и длительную полемику с Жан-Жаком. Лабомель писал в своей книге: «Что бы ни говорил красноречивый и желчный гражданин Женевы, легко доказать фактами и рассуждениями, что искусство бесконечно способствует счастью людей: они усиливают связи в обществе, а общество есть благо. Всюду, где не насаждаются искусства, господствует анархия или деспотизм».

Но одна максима, вытекающая из общей позиции автора, борющегося с деспотизмом и рожденным им протекционизмом, задев Вольтера лично, и заставила его возненавидеть Лабомеля. Тот посмел заявить, что есть писатели покрупнее Вольтера, но такой крупной пенсии, как он, никто из них не получает. Впрочем, говорилось дальше, это дело вкуса. Так же как другие, немецкие принцы держат при себе карликов и шутов, король прусский держит поэта.

Не могу поручиться за полную достоверность излагаемого дальше эпизода, но в нем нет и ничего неправдоподобного. А если все происходило действительно так, он не мог не разжечь страсти. Кто-то постарался и дал

прочеть или пересказал Фридриху II «Мои мысли», которые, естественно, ему, отошедшему уже от идей Просвещения, не слишком понравились. Возможно, король спокойнее, чем к другим, отнесся к максиме о том, что он вместо шута или карлика держит при своем дворе поэта. Было ли это так или неприязнь к президенту Берлинской академии наук заставила Вольтера думать — это Мопертюи распустил слух, — и сам Вольтер подsunул королю книгу Лабомеля? На самом же деле д'Аржанс решил поглумиться над своим приятелем и дал Фридриху «Мои мысли». Но так или иначе, недовольство ученика учителем было вызвано. К тому же Мопертюи, несмотря на крамольность книги, сумел добиться высочайшей аудиенции для ее автора.

Не удивительно, что при характере Вольтера он стал относиться, как к злейшему врагу, к Лабомелю, не признающему его великим писателем. Тот и потом называл его лишь «эрудитом и компилятором», отрицая самую возможность «века Вольтера», так же как «века Людовика XIV».

И хотя Лабомель до конца своей жизни (он умер в 1775-м) был его вернейшим союзником в борьбе с фанатизмом и религиозной нетерпимостью, Вольтер не хотел этого видеть и ничего в своем отношении к мнимому противнику не изменил.

К тому же вымышленный враг был другом Мопертюи, к которому Вольтер, вполне вероятно, был тоже не совсем справедлив.

Временами, правда, благодаря свойственной ему отходчивости Вольтер к обоим относился и более снисходительно и доброжелательно.

Не замедлил произойти и новый конфликт между соперниками, служившими по интеллектуальному ведомству Фридриха II. Мопертюи тоже не любил критики, даже самой мягкой. Решив, что им открыт очень важный закон природы, он сделал о нем доклад в Академии и написал книгу. Самое интересное, что Вольтеру она понравилась, и он попросил у автора разрешения указать лишь на несколько неудачных мест. Это было как раз тогда, когда он перестал сердиться и на Мопертюи, и, до новой вспышки, на Лабомеля. Честолюбивый президент Академии, однако, и слышать не хотел, что в его сочинении могут быть даже неясные места.

Вольтер сказал ему:

— Раз вы хотите возобновления войны, война между нами возобновится, но пока давайте без ссор ужинать с королем.

Будучи настроен миролюбиво и не нападая сейчас на извечного противника, он, однако, предупредил графиню Бентинк, что словно бы такой обходительный и любезный ее друг Мопертюи за спиной зло язвит насчет гостеприимной хозяйки салона, где постоянно бывает.

Но тут произошло нечто совсем неожиданное. Против этой книги Мопертюи выступил старый знакомый Вольтера и наш лейбницианец Самуэль Кениг. И в данном случае оказался прав он, а не ньютонианец. Кениг привел в своей статье выдержку из письма Лейбница. Тому были давно известны якобы открытые Мопертюи явления природы, но он не счел их достаточно значительными, чтоб возвести в закон.

Вольтера совершенно не интересовала научная сторона спора, и мы знаем его отношение к Самуэлю Кенигу. Но президент Берлинской академии возмутительно обошелся со своим противником и заодно с истиной: не зная этого письма Лейбница, не поверил представленной Кенигом копии, объявил ее подложной, опозорил противника публично и заставил его вернуть диплом прусского академика. Поведением Мопертюи была возмущена вся просвещенная Европа. Мог ли смолчать Вольтер? Он опубликовал в газете «Библиотек резоне» коротенькую заметку, в которой заступился за обиженного. Двигало ли им одно чувство справедливости или теоретические споры с Кенигом в Сире и Брюсселе отступили перед неприятностями, которые теперь беспрерывно причинял ему Мопертюи?

Хотя заметка не была подписана, все угадали автора. Угадал и Фридрих II и рассердился: никто не смел оспаривать решений его Академии. Он тоже выступил в этой газете и назвал Вольтера «низким человеком».

Не вдаваясь в описание подробностей продолжения этого конфликта, скажу только, что девизом Фридриха II было: «Не нужно никакого шума, если в этом участвую я». Поэтому король приказал сжечь все напечатанное в ходе этой «научной дискуссии», кроме собственной заметки. Сожжена была 24 декабря 1752 года рукой палача и сатира Вольтера на Мопертюи.

Это было уже последней каплей, переполнившей чашу терпения философа. Король был тоже вне себя от сатиры Вольтера, где зло и метко был высмеян президент его Академии, тем самым неприкосновенное лицо...

Тогда-то, в самый день нового, 1753 года, Вольтер отослал Фридриху II свой орден и камергерский ключ.

Ведь он давно хотел покинуть Пруссию, как уже покинули ее, недовольные холодным ветром, дувшим от короля, Шассо, Дарже и Альгаротти. Прежде это Вольтеру не удавалось. Но сейчас решение его было непоколебимо. Несмотря на все уговоры Фридриха, что в Германии, в Глаце, есть воды несколько не хуже, чем французские в Пломбьере, Вольтер уехал. Пообещал вернуться, но обещание выполнить и не собирался. Фридрих II заставил его взять регалии обратно, и он захватил с собой, помимо всех своих вещей, книг и рукописей, еще и орден, камергерский ключ. Не забыл и томика королевских стихов, что навлекло на него большие неприятности. В сборнике были эпиграммы на европейских монархов.

Отбыл Вольтер как большой барин — в прекрасной карете, запряженной сперва четверкой, а потом шестеркой лошадей, на козлах — два лакея, в экипаже, рядом с патроном, — новый секретарь, флорентинец Коллини. Из его воспоминаний мы узнаем многое о произошедшем после того, как 26 марта 1753 года они покинули Потсдам. Больше с Фридрихом II Вольтер лично не встречался.

Всего три недели провел он в Лейпциге, но многое там успел. Посетил известного немецкого писателя Готшеда, обменялся письмами с парижскими друзьями и словесными выстрелами с Мопертюи. Напечатал в местной газете шуточное, весьма язвительное объявление, зашифрованный выпад против этого своего врага. И последним поступком нарушил обещание, данное королю прусскому перед отъездом, — не предпринимать ничего против президента его Академии наук. Мало того, как раз в это время в Берлине стала распространяться пародия на стихи самого Фридриха, и в авторстве заподозрили того же Вольтера.

Существенным оказался и такой, казалось бы, мало-значительный факт: философ оставил в Лейпциге один из тюков или ящиков — и тут разные версии — своего бесчисленного багажа.

Оттуда Вольтер отправился в Гот. В «Мемуарах» говорится, как о счастливой передышке, о пяти неделях, проведенных автором у герцогини Сакса Готской (или Сакса Гота), «лучшей из всех земных принцесс, самой кроткой, самой мудрой, самой ровной в обращении...», к тому же *не сочинявшей стихов.*

Вечером, 31 мая, по свидетельству Коллини, они приехали в Франкфурт-на-Майне. Здесь наконец произошла встреча Вольтера с мадам Дени, после долгой разлуки и взаимных измен возобновились близкие отношения. Но сам он осторожно называет ее: «одна из моих племянниц, вдова капитана Шампанского полка, очень милая, исполненная талантов и вдобавок принадлежащая к высшему обществу».

После того как Мари Луиза упорно не хотела переехать в Пруссию и даже ни разу не навестила его ни в Берлине, ни в Потсдаме, Вольтер восторгается — «она имела мужество покинуть Париж, чтобы разыскать меня на берегах Майна».

То, что для начала своего пребывания в этом городе Вольтер расхворался, бесспорно и привычно. Но затем начинаются расхождения между «показаниями» его самого в «Мемуарах» и «показаниями» Коллини, хотя в главном они совпадают. Оба рассказывают, что Вольтера задержал в Франкфурте-на-Майне, когда тот собирался отсюда уехать, барон Фрейтаг.

Но патрон называет его «темной личностью», изгнанной из Дрездена после того, как был там выставлен у позорного столба и присужден к каторжной тачке, и так объясняет, что впоследствии Фрейтаг стал франкфуртским агентом прусского короля, — он не требовал жалованья и довольствовался займами у проезжающих.

Коллини, вероятно, ближе к истине: он писал воспоминания, а не памфлет на Фридриха II и его приближенных. Секретарь именуется «каторжника» прусским военным советником и резидентом.

По Вольтеру — Фрейтага сопровождал купец Шмидт, некогда присужденный к штрафу за обмен фальшивых денег, и «оба уведомили меня от имени короля прусского, что я не выеду из Франкфурта, пока не возвращу драгоценности, мной у его величества увезенные».

По Коллини — «Когда все было готово к отъезду и лошади стояли у крыльца... Фрейтаг в сопровождении прусского офицера и франкфуртского сенатора именем короля потребовали у Вольтера возвращения ордена, камергерского ключа, рукописи Фридриха II и книжки его стихов». Потом секретарь тоже рассказывает в своих воспоминаниях о Шмидте, но гораздо более сдержанно.

В «Мемуарах» сцена изложена красноречивее, но вряд ли точнее. Вольтер приводит свой остроумный ответ на требование Фрейтага и Шмидта (об офицере и сенаторе не упоминает):

« — Увы, месье: я не взял с собой из этой страны ничего. Клянусь вам, что не увожу даже никаких сожалений. Каких же украшений бранденбургской короны вы требуете у меня?»

— Сьер монсир, — ответил Фрейтаг на ломаном французском языке, — летр де поэши де моя гран метр. (Это, месье, поэтические произведения моего повелителя.)

Вольтер книгу стихов Фридриха оставил в Лейпциге и уверял, что имел право увезти подаренный автором экземпляр. Но в «Мемуарах» приводится и забавная записка Фрейтага на том же ломаном французском — Вольтер сможет покинуть Франкфурт, как только из Лейпцига будет доставлен тюк со стихами повелителя. «К этой записке я приписал, что обязуюсь выполнить требование резидента относительно королевских стихов».

По его версии, только 17 июня прибыл, наконец, тюк с высочайшими стихами. Он отдал книжку и рассчитывал, что сможет теперь беспрепятственно покинуть Франкфурт. Но, говорится в «Мемуарах» дальше, тут его самого, секретаря, слуг, мадам Дени, несмотря на то, что у нее то был паспорт короля французского и она никогда не исправляла стихов короля прусского, арестовали.

Весь этот эпизод «Мемуаров» выразителен, впечатляющ, блистателен. Четверо солдат волокут племянницу Вольтера по грязи, «хотя дам принято щадить и в разгаре ужасов войны». Всех запихивают в некое подобие гостиницы под охраной двенадцати солдат, четверых — в комнате «главного преступника», четверых — на чердаке, куда отвели его племянницу; ей, правда, «предоставили маленькую кроватку, но войны со штыками заменяли бедной представительнице прекрасного пола и занавески и горничных...». И еще четверых — «в открытом всем вет-

рам сарае, где мой секретарь вынужден был спать на соломе».

В воспоминаниях Коллини эта чудовищная история выглядит несколько иначе. Гостиница «Золотой Лев» была та же самая, где они сразу остановились, и содержали Вольтера со спутниками там под арестом лишь после бегства в Майнц, откуда Фрейтаг их вернул. Мадам Дени прибыла во Франкфурт не сразу, а лишь когда узнала, что дядя задержан, правда, оставалась там, пока вся эпопея не окончилась. Коллини добавляет еще и что, несмотря на тяжелейшие обстоятельства, его патрон, «этот необычайный человек», работал над «Имперской летописью», очень серьезным историческим трудом.

Так же как Вольтер, секретарь вспоминает о неудачных хлопотах у германского императора. 17 июня (тюк, по его версии, прибыл 18-го) прусский король послал приказ освободить Вольтера, взяв с него письменное обязательство при первой возможности возратить книжку. Но приказ не прибыл к 20 июня, когда была предпринята неудачная попытка бегства в Майнц. О солдатах и о том, что мадам Дени волочили по грязи, Коллини пишет, что это выдумка раздраженного Вольтера. Мари Луиза сама явилась в гостиницу, где содержали дядю со всем штатом. 21-го приказ Фридриха от 17-го был получен, а 25-го — другой его приказ — освободить задержанного без всяких условий.

Может показаться странным, Вольтера не освободили и не выпустили с сопровождающими лицами из Франкфурта сразу после того, как прибыл тюк, ящик или сундук из Лейпцига и он вернул книжку, и даже после получения двух приказов короля, и зачем ему понадобилось снова попытаться бежать, из-за чего Фрейтаг продержал пленника еще две недели во Франкфурте.

У Коллини мы находим разгадку. Лейпцигский сундук был вскрыт только после того, как Фрейтаг, послав новое донесение о второй попытке узника к бегству, получил от своего повелителя нагоняй и вынужден был, наконец, снять арест.

Из-за своей горячности Вольтер чуть было не пристрелил надзирателя Дорна, который пришел, чтобы его освободить и вернуть деньги и отобранные вещи, вплоть до табакерки. Хорошо, Коллини успел схватить патрона за руку и спасти Дорна! Вольтер был крайне возмущен еще

и тем, что с него же взыскали сто гульденов за содержание.

Да еще и мошенник-издатель Ван Дюрен потребовал уплаты по счету тринадцатилетней давности.

Вольтер везде кричал, что его дотла ограбили во Франкфурте, и в «Мемуарах» написал: «Нельзя было дороже заплатить за поэтические произведения короля прусского. Я потратил приблизительно ту сумму, которую он издержал, чтобы выписать меня к себе и получать мои уроки. Таким образом, мы квиты».

И в том, что касается оплаты счета Ван Дюрена, патрон и секретарь расходятся. В «Мемуарах» читаем: «Он заявил, что его величество должен ему двадцать дукатов, и я ответстен за это. Он насчитал еще проценты и проценты на проценты. Месье Фишер, франкфуртский бургомистр, признав расчет вполне правильным, заставил меня выложить тридцать дукатов, двадцать шесть из них взял себе и четыре отдал жулику-книгопродавцу». Коллини же рассказывает об этом случае совсем иначе. Вместо уплаты Ван Дюрену Вольтер закатил ему пощечину И быстро убежал. Находчивый секретарь утихомирил и утешил книгопродавца тем, что пощечину он получил от великого человека.

Вольтер во всем обвиняет *одного* Фридриха. Между тем пострадали от неприятного франкфуртского происшествия — точнее, цепи происшествий — *оба*, и у короля была своя правда: не мог не опасаться — что же еще произойдет с книгой, если она останется в руках уже явного противника?

О возвращении Вольтера в Пруссию не приходилось и думать. Поэтому у Фридриха II были все основания требовать обратно и камергерский ключ, и орден «За заслуги».

Конечно, сыграли роль и описанные случайности. В результате же Вольтер провел пять весьма неприятных недель, а Фридрих II заплатил несмываемым пятном на своей репутации, запачкав себя тем, что, по примеру Франции, рукой палача сжег книгу и арестовал великого человека.

Только 7 июля Вольтер уехал из Франкфурта. Он прожил три недели в Майнце, чтобы, по его выражению, «высушить свои вещи после кораблекрушения».

ГЛАВА 2

ПО ДОРОГЕ В ЖЕНЕВУ

Конечно же, Вольтер мечтал о Париже, страстно хотел туда вернуться.

Но если камергерский ключ, орден «За заслуги», «волшебное зелье» не смогли вернуть, точнее — снискать, расположения Людовика XV и королевы, их приближенных, то и ссора с Фридрихом, на что Вольтер рассчитывал, — тем более. Он из Майнца переехал в конце августа в Страсбург и оттуда делегировал как парламентаря к французскому двору мадам Дени. Надеялся — добьется для него разрешения вернуться в Париж. Увы, как Мари Луиза ни хлопотала, будучи крайне заинтересована и лично, как ни обивала все пороги, ничего утешительного сообщить не могла.

Больше всего настраивало короля против Вольтера дуровенство.

Пришлось примириться с необходимостью, во всяком случае пока, жить у границы Франции, в Эльзасе. Любопытная подробность... Против обыкновения он остановился не в одной из лучших гостиниц, но в скромной, маленькой, удаленной от центра города. Как происходило с ним почти всегда — и это послужило поводом для клеветы. Особенно любили его, такого щедрого, обвинять в скупости. Так поступили и на этот раз: дескать, пожалел денег на номер в дорогом отеле. На самом же деле у него была иная и очень благородная причина поселиться там. «Вот доказательство, — пишет Коллини, — как обманчива внешность и как осторожно нужно судить о человеческих поступках. То, что казалось скупостью, было проявлением сердечной доброты». В Майнце Вольтеру приглянулся внимательностью и особенно своей расторопностью один служащий местной гостиницы. Сам он был родом из Страсбурга и попросил великого человека остановиться там в гостинице «Белый медведь», которую содержал его отец, видимо, нуждавшийся в постояльцах.

Впрочем, Вольтер прожил там недолго и вскоре переехал в загородную виллу под Страсбургом, где принимал всех желающих его посетить. Виделся он и с историком Шоефленом и по его указаниям исправил кое-что в «Имперской летописи». К тому же у профессора был в Кольмаре брат, владелец типографии. Вольтер ссудил его деньгами, и тот согласился издать «Имперскую летопись».

Чтобы лично наблюдать за печатанием, автор перебрался в октябре в Кольмар.

Он все еще продолжал ожидать перемены ветра при французском дворе. Ветер продолжал оставаться противным. И тут-то Вольтер совершил, как он полагал, разумный, а на самом деле напрасный тактический ход: причастился на пасхе 1754 года. Знал, что сыщики наблюдают за ним и в Кольмаре, и был уверен — их донесение о благочестивом поступке якобы исправившегося безбожника откроет ему путь в Париж. Не помогло. Его по-прежнему не принимали. Враги злорадствовали по поводу неудачного маневра. Друзья осуждали за проявленную слабость.

Ну что ж, раз так, нужно, но крайней мере, действительно позаботиться о своем здоровье, поехать на воды. В Пломбьер его как больного не могли не пустить. Но возникло неожиданное препятствие — там лечился в это время Мопертюи.

Вольтер выждал его отъезда в Сеннонском аббатстве, где встретился с сирейским еще приятелем, ученым монахом Кальма.

Пробыв в Пломбьере две недели, снова вернулся в Кольмар. Здесь его ожидал приятный сюрприз: посещение Вильгельмины, маркграфини Байротской, с мужем. Несмотря на ссору ее брата с Вольтером, она, продолжая оставаться другом последнего, пригласила провести с ними зиму в Монпелье — он не поехал — и, главное, вызвалась помирить с Фридрихом. Из этого, как и из его собственных попыток получить снова приглашение в Берлин, хотя он и не собирался туда вернуться, а делал тактический ход для повышения своих шансов на возвращение в Париж, ничего не вышло. Фридрих написал своему бывшему секретарю Дарже: «...Вольтера только приятно читать, но поддерживать с ним знакомство опасно».

Теперь словно бы приглашение короля прусского уже и не нужно. Герцог де Ришелье, назначенный губернато-

ром одной из французских провинций, Лангедока, снова предложил товарищу по коллежу поддержку. Д'Аламбер и другие истинные друзья философа предостерегали Вольтера, уговаривали не верить посулам «его старой куклы». Тщетно! Они с Ришелье условились встретиться в Лионе.

15 ноября 1754 года встреча состоялась. Но герцог, если бы и желал, не мог сообщить изгнаннику приятных новостей. Напротив, в довершение всех бед в Париже появились списки «Орлеанской девственницы» и продавались каждый за луидор. Это не сулило автору ничего доброго: в поэме он не щадил никого — ни церкви, ни светской власти. Напечатав потом «Орлеанскую девственницу» сам, выбросил все опасные места. Но чья-то вражеская рука постаралась, чтобы в списках этой злой для автора осенью она была дана полностью, без купюр. Стал известен публике и «Опыт о нравах и духе народов».

Что толку было Вольтеру с того, что лионский театр в его честь сыграл «Меропу» и «Брута» и зрители восторженно приветствовали юбиляра — в ноябре ему исполнилось шестьдесят лет, — так же как Лионская академия?! С того, что его чествовал весь город? Старый знакомый, банкир Роберт Троншен — Вольтер дружил со всей семьей Троншенов — сделал для него все. Здесь оказалась в это время и Вильгельмина Байротская и относилась к изгнаннику еще лучше и добрее, чем в Кольмаре.

Но в данных обстоятельствах ему было много важнее снискать расположение лионского архиепископа, кардинала де Тенсена. Несмотря на острый приступ ревматизма, Вольтер оделся самым парадным образом и, велев заложить карету, отправился с визитом в архиепископский дворец. Коллини рассказывает: нога патрона болела так, что без помощи секретаря он не смог бы дойти и до приемной кардинала. Однако, едва войдя туда, немедленно вышел обратно, взял Коллини под руку — тот ожидал за дверью — и молча направился к выходу. Только тогда, когда они очутились на улице, Вольтер сказал: «Нет, эта страна не по мне!» Оказалось, кардинал заявил: он не может пригласить к своему столу человека, дурно аттестованного при дворе.

В гостеприимстве отказали великому человеку и городские власти.

Впоследствии Вольтер отомстил де Тенсену в тех же «Мемуарах», написав, что он «стал известен тем, что составил себе карьеру, обратив Ло в католичество...». «Система Ло сделала де Тенсена столь богатым, что он смог купить себе кардинальскую шляпу».

Дальше в «Мемуарах» приводится то, что сказал де Тенсен, и остроумный и независимый ответ Вольтера кардиналу. «Он был государственным деятелем и в качестве такого доверительно сообщил — не может угостить меня парадным обедом, ибо французский король недоволен тем, что я его бросил ради короля прусского. Я ему сказал, что никогда не обедаю, а что касается королей, то отношусь к ним совершенно равнодушно, равно как и к кардиналам».

Вполне возможно, эта блистательная отповедь была придумана потом. Зачем бы иначе Вольтер стал ездить в архиепископский дворец?

Но так или иначе, а, пробыв в Лионе всего шесть недель, он вынужден был не только покинуть город, где его так радушно принимали все, кроме власти имущих, где не помог и герцог де Ришелье, но и искать себе новую родину.

Скорее всего, он решил поселиться в республике, устав от королей. Но в «Мемуарах» все объясняется иначе, вероятно, оттого, что к тому времени он был недоволен и швейцарскими синдиками-кальвинистами и успел убедиться, что свободы нет и на их земле. По его версии, он попал в Женеву лишь оттого, что проезжал через нее, направляясь на воды Эмса в Савойе, а остался потому, что знаменитый врач Троншен, «незадолго перед тем поселившийся там, объяснил, что эмские воды меня убьют, а он берется продлить мою жизнь».

Затем следует выпад против религиозной нетерпимости, равно ненавистной Вольтеру, от приверженцев какой бы веры ни исходила. Он пишет в «Мемуарах»: «Католикам не разрешается селиться для постоянного проживания ни в Женеве, ни вообще в швейцарских протестантских кантонах. Мне показалось забавным приобрести имение в той единственной стране, на чьей земле мне это было воспрещено».

Часть V

ГЛАВА 1

ВОРОТА ОТКРЫТЫ...

И опять он не знает, как повернется его судьба. Не решил еще, где поселится — в Женеве или Лозанне, не знает, надолго ли. Словно бы поначалу предпочитает Лозанну. Барон Жан Жорж де Пранжен, офицер швейцарской армии, предлагает в его полное распоряжение свой замок.

Так и не приняв окончательного решения, Вольтер оставляет значительную часть своего багажа у Роберта Троншена и 10 декабря 1754 года с неумолимой мадам Дени, Коллини, слугами покидает Лион, хотя местная Академия наук и избрала его своим почетным членом.

Городские ворота протестантской Женевы обычно запираются в определенный час. Но 11 декабря для Вольтера их оставили открытыми: знали, что прославленный гость приедет позже. Здесь его сразу окружают заботой представители той же семьи Троншенов: городской советник Франсуа — брат Роберта и их кузен Теодор, знаменитый доктор.

Вольтер и его спутники остановились у Франсуа Троншена, обедали на следующий день у Теодора. Прием им был оказан превосходный и тут и там. Две восторженные дамы, не будучи приглашены к обеду, чтобы не пропустить ни одного его слова, даже спрятались за занавеской.

Слава Вольтера была такой громкой, что местные ученые, узнав о его приезде, выразили желание, чтобы он остался здесь навсегда. Многие склоняло его к тому, чтобы и в самом деле поселиться в Женеве.

Здесь не было французских властей, но говорили по-французски. Уже последнее по сравнению с нелюбимым им немецким языком являлось серьезным преимуществом.

Состояние его здоровья было таким плохим, что по Европе пронесся слух о смерти философа. Когда выяснилось, что, к счастью, это ошибка, Фридрих II даже разразился по сему поводу эпиграммой. Но болезни, одолевавшие Вольтера, были настолько серьезны, что поселиться около Теодора Троншена, которому пациент доверял больше, чем всем его коллегам, вместе взятым, было и в самом деле очень разумным.

Кроме того, в Женеве жил и самый любимый из его издателей, Габриель Крамер. Как раз теперь он решил выпустить собрание сочинений Вольтера в 17 томах, форматом в восьмушку листа. Вскоре они с братом издадут и «Опыт о нравах и духе народов».

Место, прекрасное для здоровья больного, кроме того, отличалось превосходным географическим расположением для преследуемого: и Франция рядом, и он *свободен*, не зависит ни от Людовика XV с его двором, ни от кардинала де Тенсена.

Чудесное впечатление поначалу произвели на Вольтера и жители Женевы, и то, как они его встретили. Один местный пастор, увидев у своего знакомого портрет Вольтера, заметил: «Вот он и оказался среди людей, которые обожают, не преклоняя коленей, посещают, не наскучивая, и не обижаются, застав хозяина в халате...»

Действительно, он чувствовал себя в тихой Женеве так, словно мог все время ходить в халате и домашних туфлях, а не в придворном костюме, как во Франции или Пруссии.

Вольтер писал о женевах: «Вглядитесь в этих людей, серьезных и проницательных, когда они прогуливаются по улицам, вслушайтесь в их спокойные, неторопливые разговоры!» Ему нравилась привычка горожан останавливаться во время прогулки через каждые десять шагов, чтобы словно вбить своей палкой в почву солидный аргумент. Он с удовольствием беседовал с местными учеными, советниками, даже пасторами. Они слушали, не спеша опровергать то, что он говорил о самом главном и постоянно вызывавшем споры: о религии и человечности, о благополучии всех и каждого. И Вольтер не обижается на то, что может показаться любезным равнодушием аборигенов к новопоселенцу. Напротив, он доволен, что в Женеве на него не накин-

дываются ни для того, чтобы обнять, ни для того, чтобы повалить на землю.

После контрастов Лиона, где население, актеры, театральная публика, Академия безумствовали, чувствуя почетного гостя, а кардинал и городские власти относились к нему как к зачумленному, он прямо-таки наслаждался простотой и демократичностью женевских нравов.

Триумфами Вольтер пресыщен так же, как устал от преследования. С самой юности он множество раз испытывал опьянение славой и горечь унижений, которым его тут же подвергали. Слишком часто его обожествляли и слишком часто «избивали». Сын нотариуса ощущал себя то принцем, то лакеем, жывал во дворцах и дважды сидел в тюрьме, бывал и придворным, и беглецом, изгнанником. Потому-то он так дорожил тем, что здесь его приняли не как бога и не как демона, а как *человека*. Не очаровывались и не негодовали. Знали, что к ним приехал знаменитый писатель, но знали и то, что он искал в их городе тихой пристани.

Решив остаться в Швейцарии и, вероятно, вытребовав свой багаж из Лиона, он искал у Женевского озера *отдыха* (слово это — «retrait» — постоянно встречалось в его письмах того времени), как бы вышел на пенсию и считал, что скоротает здесь свои дни до близкой уже кончины.

Но Вольтер хочет поселиться не в самой Женеве, а в ее окрестностях. Друзья ищут для него имение, которое можно было бы купить. Ищут и находят маленькое поместье Сир-Сен-Жак.

Чтобы обойти запрещение католикам селиться на землях кальвинистов — мы знаем, Вольтера оно только подстрекало, — банкир Троншен покупает имение на свое имя, а Троншен-советник добывает разрешение французу там жить. Некоторое время приходится пользоваться гостеприимством Пранжена в его замке.

5 марта 1755 года новый владелец переезжает в первое собственное поместье. Тут же переименовывает Сир-Сен-Жак в Делис (по-французски — «Прелести»).

Пусть он и много заплатил за дом и клочок земли, и сколько еще потратит, но счастье, ожидающее его здесь, все окупит. В конце концов, свобода и должна стоить дорого! По Локку, свобода означает возможность делать

то, что хочешь. К примеру, Вольтер выписывает первоклассного французского повара, и тот готовит знаменитых форелей, каждая из которых стоит десяти книг. Причуда? Ну и пусть! Он в состоянии ее себе позволить. Даже мадам Дени — она все еще чувствует себя парижанкой и очень требовательна — оценила достоинства Делис. Этот поистине прелестный уголок превосходит все, что она видела в окрестностях Парижа, Дижона, Лиона, Эльзаса, не говоря уже о нелюбимом Мари Луизой Сире.

Вольтер в таком упоении от своего нового жилища, что воспевает его в стихах: «Это дом Аристиппа...» Пишет Франсуа Троншону, что Делис «соединяет в себе дворец философа с садом Эпикура». Еще важнее то, что говорится в другом его письме: «Я принадлежу всем нациям: мой дом — в Швейцарии, на берегу озера, расположенного между Францией, Савойей и Женевой».

Но когда деятельный человек решает отдохнуть, устройству своего отдыха он отдает столько же энергии, сколько труду, борьбе. Именно так действует Вольтер, хотя и собирается тут умереть, всеми забытый. Он не просто обставляет свой новый дом, расходуя деньги, нанимая рабочих, отдавая распоряжения... Не просто приказывает приготовить покои для себя, мадам Дени, домочадцев и гостей, заказывает кареты... Он сам и плотник и маляр, красит все в разные цвета... Решительно на всем здесь, как всегда, — отпечаток его вкуса, и все должно отвечать названию имения.

И главное — он сам садовник и огородник... Сажает тюльпаны и морковь, апельсиновые деревья и деревья такие, которые и не надеется увидеть большими. Именно потому, что не рассчитывает прожить долго, он торопится. Огромная радость звучит в словах его письма: «Я строю, сажаю, я выращиваю цветы и деревья. Я благоустраиваю два дома на двух краях озера (позже мы узнаем, почему два. — А. А.), и все это быстро, потому что жизнь коротка». Спрятав «Орлеанскую девственницу», он забывает даже о ней.

«*Строю, сажаю, выращиваю*» — формула его жизни с того времени до самого почти ее конца — употребляется в этом письме Формону (май 1755 года) впервые. В июле он подтвердит и Тьерью, какую испытывает от этих занятий радость. И отнюдь не только потому, что

готовит себе убежище для отдыха в своем «преlestном Эрмитаже», как называет Делис.

Через год он объяснит тому же Тьерью, почему отказался от весьма лестного приглашения Марии-Терезии и не поехал в Вену: «Я счастлив, что *живу у себя*, со своими племянницами (приезжала погостить и вторая, мадам де Фонтен, худая, как дядя, в отличие от уже толстой мадам Дени. — *А. А.*), своими книгами, садом, виноградником, лошадьми, коровами, орлом, лисой, кроликами, они кладут лапку на нос... Кроме того, у меня есть еще и Альпы, величественные и живописные...» За этим следует самая важная фраза: «Я предпочитаю браниться со своими садовниками, нежели оказывать почести королеве».

Пока Вольтер всем доволен, и философу кажется, что он приобрел независимость, окупив ею расходы и хлопоты. Полагает, что он, так любивший свободу и прежде, но вынужденный жить при королях или подчиняться монархам, теперь стал сам себе королем. Увы, это не совсем так, и женеvцы не столь хороши, как Вольтер думал поначалу.

Делис он будет благоустраивать еще года три-четыре. Но едва имение обжито, как хозяин предается своей самой большой старой страсти — театру. Скоро из Парижа в Делис приезжает Лекен. В его честь тут же из Женевы прибывают Троншены и синдики. Конечно, они хотят насладиться игрой знаменитого актера. На галерее замка устраивается импровизированное представление «Заиры». Главную роль исполняет мадам Дени, Лузиньяна, разумеется, — хозяин дома, Оросмана — Лекен.

Этот случайный спектакль имел такой огромный успех и такой широкий резонанс, что Вольтер захотел и в Делис завести постоянный домашний театр. Но то, что было просто в Сире и даже в Париже, тут не могло не вызвать осложнений, потому что противоречило самому духу кальвинизма. В отношении к театру кальвинисты — те же протестанты — не отличались от квакеров. В Женеве театральные представления — «порождение дьявола» — запрещены со времен Кальвина, а он умер в 1564 году. В 1732-м был издан новый указ против них. Когда профессор Морис рискнул у себя дома

в 1748-м поставить *христианскую* трагедию Корнеля «Поликт», «дьявольского приспешника» проклинали с амвонов всех женеvских церквей. В 1752-м пятнадцать подмастерьев-парикмахеров осмелились дать любительский спектакль, избрав для него «Смерть Цезаря» Вольтера. Им всем был вынесен строгий выговор.

Не удивительно, что и домашний театр автора трагедии у самых ворот Женевы вызвал серьезнейшее недовольство церковных и городских властей, по сути единых. Беда была еще в том, что сами женеvцы не могли устоять против искушения ни как зрители, ни как исполнители. Тогда духовенство стало натравливать чернь на искусителя. Она хотела поджечь дом в Делис. Власть имущие но прочь были изгнать и самого хозяина из Женевы, из кантона, из Швейцарии.

Что же касается Вольтера, для него театр не просто развлечение и эстетическое наслаждение для себя и для других. Как он напишет потом в «Исторических комментариях» к «Генриаде»: «Театр облагораживает нравы». Поэтому, вынужденный обещать, что в Делис спектаклей больше не будет (и это обещание выполнялось не столь уж строго), он с тем большей энергией станет давать их в своей зимней швейцарской резиденции, на другом берегу озера, под Лозанной. Там теплее в прямом и переносном смысле слова.

Из-за преследования кальвинистами театра он очень быстро меняет свое отношение к Женеве, не восторгается больше господствующими там свободой и демократизмом нравов. Напротив, превосходно понимает лицемерие и рабскую трусость этих преследований, которые продолжатся и потом. В 1759-м он напишет д'Аламберу: «Если бы у наших социниан, женеvских пасторов, не так велик был страх, они с удовольствием признали бы Христа богом, лишь бы получить право посещать представления театра, которые я устроил в Турне, совсем поблизости от Делис...» И не только посещать. Дальше в том же письме говорится: «...женеvцы дерутся из-за ролей». Но это он понимает уже и в 1755-м.

Утешает то, что он «строит» и «сажает», хлопочет о благоустройстве Делис и других своих домов. Пока эти глаголы — «строить, сажать, выращивать» — не

имеют еще того глубокого и расширенного смысла, который приобретут потом и выразятся в «Кандиде» знаменитым призывом: «Но надо возделывать свой сад». В Делис это для него еще больше развлечение и отдых от огорчений, избежать их не удастся и в райском уголке. Вскоре после переезда в первое свое имение он советует знакомой даме заняться разведением сада: «Это очень развлекает, а развлекаться нужно. Пруды, цветы, кусты доставляют нам много радостей. Про людей это не всегда можно сказать». Чтобы утешиться от горестей, доставляемых людьми, новоявленный помещик входит во все мелочи. В одном из писем 1756 года прислуге Делис он приказывает собирать с каштановых деревьев майских жуков и кормить ими кур. Заботится сам, чтобы всегда в порядке содержались кухня и погреб, чтобы в конюшнях было много лошадей, в сараях много экипажей... Все это необходимо для приема многочисленных гостей. И он сам, и мадам Дени радушны, хлебосольны, а популярность Вольтера такова, что этот уединенный уголок быстро приобретает всеевропейскую известность. Так было и так будет везде, где бы он ни поселился, и никогда не мешает ему работать.

Но не одни преследования его домашних спектаклей и театра вообще женевскими ханжами быстро нарушают покой Вольтера на Женевском озере. Снова им овладевают страхи, когда из Парижа доходят вести, что списки «Орлеанской девственницы», да еще в искаженном виде, продолжают распространяться. Это грозит обвинением автора в богохульстве. А что еще может случиться, если рукопись, чего столько людей хочет, напечатают?! Необходимо сделать все, чтобы не допустить ее издания.

И тут новая ужасная весть: лозаннский книгопродавец Грассе собрался выпустить ее в Швейцарии, и снова с искажениями. Конечно, Вольтер немедленно ему написал, просил, требовал, чтобы тот отказался от своего замысла. Ответа не было. Тогда Коллини настоял, чтобы Грассе явился для личных переговоров в Делис. Этот мерзавец привез с собой всего одну страницу искаженной рукописи, на ней только шестнадцать стихотворных строчек, и потребовал от автора выкупа в 50 луидоров. Трудно представить себе, что сделалось с Вольтером!

LA
PUCELLE
D'ORLEANS
POËME
DIVISÉ EN QUINZE LIVRES.

PAR
MONSIEUR DE V***



LOUVAIN,
M·DCC LV.

Титульный лист «Орлеанской девственницы».

Лицо его покраснело, он весь затрясся от негодования, вырвал из рук Грассе проклятую страницу и велел выгнать его из замка.

Тут же Вольтер, решив поставить все на карту, возбудил судебное дело против издателя, который задумал выпустить пасквиль или пародию на его рукопись. К сожалению, мы не располагаем достаточными подробностями, как при том, что он не признавал себя автором крамольной поэмы, был мотивирован иск. Но так или иначе Грассе был арестован, допрошен и, едва ему удалось освободиться, на следующий день покинул Швейцарию, чья земля оказалась для негодея слишком горячей.

У истца, однако, было не меньше, чем у ответчика, оснований беспокоиться: а если дело на этом не кончится и захотят установить, кто же автор поэмы? К счастью, суд ограничился тем, что приказал рукой палача сжечь богохульную страницу. Догадка, что возмущенный Вольтер, сам возбудивший дело, написал крамольную поэму, в тупые головы судей не пришла.

Но автора продолжают мучить страхи из-за распространения списков поэмы в Париже. Он боится снова попасть в Бастилию. Мари Луизе приходится даже просить Теодора Троншена как врача успокоить его, объяснить неосновательность опасений. Пациент все понимает умом, но ничего не может поделать с эмоциями, с нервами. Даже во время этой беседы плачет, закрывая лицо руками, и повторяет: «Да, мой друг, я глуп...»

Ему действительно трудно быть спокойным. Другой книготорговец — мы знаем, что в XVIII веке они же были и издателями, и владельцами типографий, — не упуская случая нажиться на сулящих большие прибыли неразрешенных рукописях, задумал выпустить в свет «Век Людовика XV». Это тем более возмутительно, что книга еще не вышла из-под авторского пера, *не закончена и не отделана*. Однако вырвать ее из рук мародера нисколько не легче. Еще неприятнее, когда выясняется, кто виновник этого бесчинства и грабежа. Мнимый друг автора, к тому же бывший любовник мадам Дени, маркиз де Хименес выкрал из ящика бюро Вольтера рукопись и продал ее за несколько луидоров.

И однако, эти неприятности отступают перед появлением нового, гораздо более серьезного противника.

Война с ним займет много лет, и Вольтер никак не мог ее предвидеть. Начинается все очень невинно: он получает подарок — книгу с весьма любезной авторской надписью. Разумеется, Вольтер, как и никто иной, не мог тогда предугадать, какое огромное воздействие на умы современников и потомков окажут мысли, в этой книге изложенные. Название ее «Происхождение неравенства среди людей», имя и фамилия автора, женева родом, — Жан-Жак Руссо.

Отношения двух великих людей занимают такое большое место в биографии Вольтера, что перипетии их вражды, отнюдь не только личной, не раз встретятся в этой книге.

Пока же вернемся в Делис. Прекрасное лето и мягкая осень сменяются невыносимой для парижанина холодной женева зимой. В ином варианте повторяется то, что хозяин имения пережил уже в Потсдаме и Берлине. Снова появляются у него мысли о близкой смерти. Их вызывают морозы в природе и обществе.

Нужно срочно менять климат. Зимы Вольтер будет проводить на другом берегу озера. Сперва при посредстве знакомого банкира Жиеза приобретет сельский дом в кантоне Во, затем Монрепо в окрестностях Лозанны и городской дом в самой Лозанне.

Приходится, правда, менять секретаря. До сих пор он терпел возле себя легкомысленного флорентинца, бабника Коллини. Но горничная показала барину письмо этого негодника, наполненное насмешками над мадам Дени, хотя, казалось бы, он был с ней в таких прекрасных отношениях. И подобного преступления простить уж никак нельзя.

Однако, если не считать этой неприятности, в Лозанне Вольтер чувствует себя хорошо. Здесь — большая колония соотечественников, французских гугенотов. Среди них появляется немало милых сердцу друзей. Здесь никто не мешает заниматься театром. Снова он ставит «Заиру» и «Альзиру». В одном из его писем читаем: «Зимой я в Лозанне — кустарный комедиант, пользуюсь большим успехом в ролях стариков...»

Но и имения под Женовой он пока не оставляет. «Весной я садовник в Делис, — говорится в том же письме. — ...у Вас тоже в марте цветут тюльпаны?»

И тем не менее вскоре после скандала в Женеве, в 1757-м, из-за статьи д'Аламбера под тем же названием в седьмом томе «Энциклопедии» Вольтер начинает искать нового убежища, даже убежищ. Немалую роль в его желании удалиться от столицы ханжей играет Руссо. Без участия Жан-Жака не обходится ни одна неприятность ни раньше, ни позже, и эта битва, и преследования «Поэмы о гибели Лиссабона», многое еще...

А чего только этот «сумасшедший», этот «дурак» не предпринимает, чтобы помешать домашнему театру своего бывшего учителя и кумира! Мало того... Руссо изменяет особенно гонимой теперь партии «философов», к которой прежде принадлежал, отказывается впредь сотрудничать в «Энциклопедии». Этому Вольтер никак не может ему простить, хотя более снисходительный Д'Аламбер считает, что «Жан-Жак все-таки и теперь служит правому делу». Руссо между тем навлекает в Женеве опасность на самого Вольтера.

Поэтому уже в сентябре 1758-го тот начинает переговоры с де Броссом о покупке имения Турне, совсем близко от французской границы. В октябре — с владельцем Ферне, повторно, на французской территории, но в часе езды от Женевы, неким голландским полковником. Покупает и то и другое.

И это не случайно, и не от жажды приобретений. «Философы должны иметь три или четыре убежища, подполья...» — объясняет Вольтер в одном из писем. Только имея возможность менять свои убежища — Делис, Турне, Ферне, он может ощущать себя ничьим подданным — ни Людовика XV, ни Фридриха II, ни Швейцарской республики... На поверку, свободы в ней ненамного больше, чем в королевствах. Теперь наконец богатый и независимый, Вольтер на седьмом десятке устроил свою жизнь так, как хотел, занял блистательную стратегическую позицию. Если захочет обидеть Женева — он на французской земле... Если Версаль — он в Швейцарии.

Итак, он становится королем. Но не только потому, что образ жизни его в самом деле независим и роскошен. Прежде всего он король мысли, арбитр справедливости.

ГЛАВА 2

ЛИССАБОН

РАЗРУШЕН...

Делис далеко от Лиссабона, и Вольтер, его близкие, дом, сад, виноградник, конюшня не пострадали от того, что была разрушена португальская столица. Но если землетрясение докатилось до Италии и Северной Африки, затронуло Англию, Скандинавию, Азорские острова и, по одному из бюллетеней, доходивших до Женевы, оказалось ударом по всей Европе, то не меньшим ударом было оно и для Вольтера. Не меньшие последствия имело для его внешней и духовной биографии и умственной жизни общества.

Когда 1 ноября 1755 года в Делис задрожали оконные стекла, никто и сам хозяин сразу не поняли, что это значит, и тем более не мог предвидеть, как далеко разойдутся круги от катастрофы. Но скоро стали доходить страшные известия о землетрясении. Оно разрушило одну из европейских столиц и крупнейший центр мировой морской торговли. Сперва доносились еще туманные слухи. Но вскоре за ними последовали письма очевидцев, бюллетени с ужасными подробностями. Десятки тысяч людей погибли вместе с рухнувшими домами. Не меньше оно застало в церквах и соборах: 1 ноября — день поминовения усопших. Молясь за них, верующие сами были убиты: кого раздавило, кто сгорел между развалинами от возникших в изобилии пожаров. Точное число жертв в Лиссабоне неизвестно, но предполагали — сто тысяч. Уже этого одного, не говоря о том, что земля заколыхалась и в других странах, было достаточно, чтобы волнение охватило все народы, все слои общества. В салонах, в тавернах, в мануфактурах и мастерских не говорили ни о чем другом.

Заколебалась земля, основа всего, и с ней заколебались привычные для большинства убеждения. Сомнения

стали вызывать сама *религия* и *господствующая философия*. Ведь основа мироздания — человек. Для него — тысячелетиями твердили духовные книги и проповедники и на протяжении века Лейбниц и его ученики, английский поэт Поп — создано благополучие мира. И вдруг столь наглядно это благополучие рушится, гибнет сто тысяч человек. Многие и далеко от Лиссабона усомнились в боге как добром отце.

Вольтер, прежде всего, очень страдал. Ничто не ранило его так, как человеческое несчастье. А клеветники называли и продолжают называть Вольтера злым. Перед его глазами вновь возникла Варфоломеевская ночь. И до того он мучительно переживал каждую ее годовщину. Но на этот раз не одни люди уничтожили других, ни в чем не повинных, а сама природа. Вольтеру с его живым воображением казалось, он слышит предсмертные крики несчастных, видит истерзанные, разорванные в клочья тела.

Но он был не только человеком с большим сердцем, а и философом. Много раньше Вольтер стал противником Лейбница. Теперь неправота доктрин философского оптимизма так трагически подтвердилась. Как можно признать лучшим из миров мир, где произошла такая катастрофа, и чему лучшему может служить гибель Лиссабона и его жителей?! Так же опровергалась землетрясением столь же оптимистическая, только иначе выраженная формула Попа, некогда столь чтимого Вольтером, — в мире все прекрасно.

На этом, однако, Вольтер как философ не мог остановиться. В мире существует зло. Это бесспорно. Признается даже оптимистами. Они говорят, что зло необходимо в силу извечных законов природы. Но как объяснить его необходимость и самый выбор жертв? Как лейбницианцы докажут, что для блага вселенной залези серы должны были находиться именно под Лиссабоном? Можно ли ответить на этот вопрос? А если нельзя, то мы находимся в заколдованном кругу, и выхода из него нет. Остается лишь покориться и надеяться... Но надежда не есть еще уверенность. Необходимость зла недоказуема. Как сделать так, чтобы его не было вовсе? Вопрос Задига повторяется в ином, более действенном варианте. Оптимисты пренебрегли существеннейшей частью бытия — злом. Вольтер должен им заняться,

Религия же говорит, что бог наказывает за грехи.
Но чем Лиссабон грешнее других городов?

Горе Вольтера, его сомнения, отрицание философского оптимизма и религиозной догмы наказания за грехи он выразил в одном из самых значительных своих произведений 50-х годов — «Поэме о гибели Лиссабона». Характерно уже ее второе название — «Проверка аксиомы: «Всё благо»».

Поэма начинается с опровержения аксиомы, возмущения ею:

О жалкая земля, о смертных доля злая!
О ярость всех бичей, что встала, угрожая!
Неистощимый спор бессмысленных скорбей.
О вы, чей разум лжет: «Все благо в жизни сей»,
Спешите созерцать ужасные руины,
Обломки, горький прах, виденья злой кончины,
Истерзанных детей и женщин без числа,
Разбитым мрамором сраженные тела;
Сто тысяч бледных жертв, землей своей распятых,
Что спят, погребены в лачугах и палатах,
Иль, кровью исходя, бессильные вздохнуть,
Средь мук, средь ужаса кончают скорбный путь.
Под еле внятный стон их голосов дрожащих,
Пред страшным зрелищем останков их чадающих
Посмеете ль сказать: так повелел закон, —
Ему сам Бог, благой и вольный, подчинен?
Посмеете ль сказать, скорбя о жертвах сами:
Бог огомщен, их смерть предрешена грехами?
Детей, грудных детей в чем грех и в чем вина,
Коль на груди, родной им гибель суждена?
Злосчастный Лиссабон преступней был ужели,
Чем Лондон иль Париж, что в негах закоснели?
Но Лиссабона нет, — и веселимся мы.
Вы, созерцатели, бесстрашные умы!
Вдали над братьями вершится дело злое,
А вы причину бед здесь ищите в покое,
Но если бич судьбы познать случится вам,
Вы плакать будете, как плачут нынче там.

Ближе к концу дается вывод Вольтера:

*Все может стать благим — вот наше упованье,
Все благо и теперь — вот вымысел людской!*

Даже слабый перевод А. Кочеткова дает представление о взрывчатой силе поэмы. В книге о Вольтере Хэвенса приведен гораздо более выразительный вариант фразы «вот наше упование». В черновике было: «вот наша хрупкая надежда».

Доктор Троншен — он имел самое большое влияние на автора — тщетно уговаривал его сжечь поэму. Другим друзьям удалось убедить его взять обратно рукопись, уже отданную братьям Крамерам, переделать, смягчить. В марте 1756-го поэма в новой редакции вышла в свет. И все равно такого шума еще ни одно произведение Вольтера не вызывало. Двенадцать изданий выходят и раскупаются моментально.

Поэма вызывает ожесточеннейшую дискуссию. Опровержения сыплются как из рога изобилия... Пасквили, устные проклятия с амвонов и других трибун.

Воздействие поэмы на умы и сердца нельзя было уничтожить, как уничтожен сам Лиссабон, но это всеми средствами пытались сделать. Вольтер первый и единственный открыто высказал сомнение в том, что этот мир — лучший из миров, и тем самым посягнул на веру в бога. Ведь если бы было возможно создать лучший мир, бог с его мудростью, всесильный, добрый, это бы осознал! Так утверждали Лейбниц, Шефтсбери и другие философы. То же нашло свое классическое выражение в поэме Александра Попа «Счастливый человек». А Вольтер посмел усомниться в том, что наш мир не мог бы быть лучше. Он кричал: «Страдания не нужны!» Резкие вопросы его поэмы, как бичом, хлестали по церковникам и философам-оптимистам. Еще больше, чем последней атакой (все когда-нибудь будет хорошо — это наша надежда, все хорошо сейчас — обман), поэма воздействовала на современников всем ходом мысли автора, тем, что признание нашего мира лучшим из миров уже сейчас он воспринимал как оскорбление. Он негодовал против пренебрежения к человеку.

Перечитав некогда любимого им Попа, он написал на книге, как делал часто: «На что мне надеяться, если все хорошо?» Теперь он осознал до конца: религиозный и философский оптимизм на самом деле — фаталистические доктрины оправдания несчастья, антисоциальные учения.

В авторском предисловии к поэме мы читаем: «Если

наши беды — лишь последствия всеобщего и необходимого порядка, мы — только винтики большой машины, и нам не большая цена у бога, чем у злых сил, которые нас терзают... Человек — ничто без надежды на счастье впереди».

А лишиться надежды на лучшее будущее человечества было бы для Вольтера невозможно, невыносимо. Он не просто вел теоретический спор, опровергал, доказывал — он боролся и вел за собой других ради того, чтобы мир и люди стали лучше. Это возможно, и это должно быть осуществлено. Из этой посылки нужно исходить во всех дальнейших идейных и политических деяниях, утверждал он. Так и случилось. Вольтер и его единомышленники — «философы», просветители — двигались в этом направлении все вперед и вперед.

Но и среди «философов» нашелся один, которого консерваторам удалось натравить на Вольтера. Конечно, им оказался тот же Жан-Жак Руссо. Женевские пасторы, донельзя возмущенные поэмой, обратились за помощью к своему земляку. И тот написал Вольтеру большое письмо, даже хотел его опубликовать, оспаривая вину природы в Лиссабонском землетрясении. Следуя своей доктрине, он обвинял людей, поддавшихся искушениям культуры. «Природа, — писал он, — никогда бы не поселила в двадцати тысячах многоэтажных домов столько людей, природа расположила бы их на гораздо большем пространстве».

Это рассуждение вызвало такое недовольство адресата, что он не счел ни письмо, ни человека, его сочинившего, достойным прямого ответа. Зато из произведений Вольтера выпускались стрелы, направленные в Руссо. Он высмеивал «всеобъемлющую любовь, признающую такой порядок природы, при котором животные пожирают друг друга».

Землетрясение в Лиссабоне еще много лет занимало умы. Этот катаклизм стал еще больше расшатывать старый порядок, религию, философию оптимизма, побеждаемую Просвещением. Он бесконечно расширил круг сомневающихся и отрицающих, желающих перемен.

Очень многое изменило и выкристаллизовало оно и в самом Вольтере. Перенесенное потрясение и реакция на его реакцию принесут еще большие плоды.

ГЛАВА 3

ВОЙНЫ И ПРИМИРЕНИЕ

Но, как всегда, Вольтер вспахивает свои поля одновременно и со всех собирает урожай. Современность не мешает ему заниматься историей. Закончен и в том же 1756 году издан братьями Крамер «Опыт о нравах и духе народов». Кроме того, Вольтер объединил в одной книге «Век Людовика XIV» и дописанный уже теперь «Век Людовика XV». Больше чем когда-либо автор противостоит принятому до сих пор направлению исторической науки, если до его трудов ее можно признать заслуживающей этого названия.

Но пока Вольтер в Делис занимается историей, история не останавливает своего движения. Слишком много еще в различных частях света земель, которые хотя бы завоевать. И начинается новая полоса войн, столь им ненавидимых. Англия и Франция воюют между собой за Северную Америку и Индию. Непокойно и в Европе. Фридрих II не может больше радоваться тому, что некогда отторгнул Силезию. Мария-Терезия хочет сделать ее снова своим владением. Было время, когда прусский король сепаратным и внезапным миром нанес удар Франции. Теперь новый австрийский канцлер, граф Кауниц сумел дипломатическими маневрами погасить старую вражду своего государства и королевства Людовика XV. Австрия в дружбе и с Россией. Фридрих II оказался в изоляции. Да еще к тому же его ненавидела императрица Елизавета. Только после ее смерти Петр III, обожавший прусского короля, сделал все, чтобы установить наилучшие отношения между Санкт-Петербургом и Берлином. Но пока до этого должно пройти еще несколько лет, и в начале 1756-го Фридрих II заключает союз с Англией. Та втянула Пруссию во вспыхнувший вновь европейский конфликт, и в этом же году началась новая война за Силезию. Война кончилась лишь в 1763-м и в историю вошла под названием Семилетней.

Воевали всюду.

На острове Минорка за тридцать лет укрепились такая цитадель Порт-Мако, что сильнее ее был только Гибралтар. Здесь Франция одержала большую победу. Ришелье командовал лишь одной флотилией, но высадился со своими моряками на берег и взял «неприступную» крепость. Англичане были невероятно удручены и возмущены столь постыдным для них поражением. Они не привыкли быть побежденными на воде, тот же Ришелье бывал ими бит.

Козлом отпущения стал командующий британским флотом, адмирал Бинг. Не виноватый в том, в чем его обвиняли, он был тут же переправлен в Лондон и предстал перед военным судом.

И вот тут-то Вольтер, не принимавший участия в войне ни на одной из сторон, противник войны вообще, отдаленный территориально от всех нолей битв — и сухопутных и морских, первый раз выступает как адвокат справедливости. Первый, но отнюдь не последний. Затем он в этой роли прославится на весь мир и останется в веках.

Очень давно, еще живя в Англии, Вольтер был лично знаком с Бингом. Но не это случайное обстоятельство, а то, что *честный человек* стал жертвой чудовищной несправедливости, облит грязью, побудило философа стать защитником адмирала. Прежде всего добровольный защитник подсудимого обратился за справками к его победителю, Ришелье. Тот ответил, что Бинг сопротивлялся с редким мужеством и стойкостью. Не его вина была в том, что военная удача оказалась на стороне французов, а бессмысленно жертвовать своими людьми он не хотел. Это еще больше накалило Вольтера. Нелепость и несправедливость процесса Бинга не давали ему покоя. Как воспротивиться неправде, как помешать ее торжеству? Вольтеру приходит в голову смелая и дерзкая мысль — просить французского маршала, герцога де Ришелье выступить на процессе свидетелем защиты. Его друг сразу согласился и, так как не мог оставить позиций и приехать в Лондон, столицу противника, дал письменные показания. Они должны были спасти честь Бинга. Вольтер переслал адмиралу копию письма Ришелье. Оно было оглашено в ходе процесса. Но только четверых судей Вольтер таким образом заставил подать

голоса за оправдание адмирала. Остальные высказались за смертную казнь. Была еще разыграна комедия с прошением английскому королю о помиловании осужденного. Король ходатайства не удовлетворил. Первое свое дело Вольтер проиграл.

Это еще обострило его протест против массового истребления людьми друг друга, против чудовищной несправедливости захватнических войн. «Я жалею бедный человеческий род, который из-за нескольких квадратных миль в Канаде снимает друг другу головы!» — пишет он и, полемически противопоставляя мирный труд и независимость войне, продолжает: «Я сам чувствую себя свободным, как воздух, с утра до вечера. Мои виноградники и я никому ничем не обязаны. Это все, чего я себе желаю».

Но мир был слишком взбудоражен, чтобы такой человек мог сохранить свой если не внешний, то внутренний покой. Конечно, он не надел траура, как надел его Париж, когда некий смельчак Дамьен совершил покушение на Людовика XV. Это было тоже вызвано войной. Она повлекла за собой повышение налогов и протест плательщиков. Конечно, Вольтер не молился за здравие раненого короля, как молились исполненные или не исполненные раскаяния парижане, согласно приказу по сорок восемь часов подряд простаивая на коленях в церквях и соборах.

Но хотя ранение оказалось легким и народ успокоился, отнюдь не успокоились Людовик XV и те, кто управлял королем. В апреле 1757-го сняли двух либеральных министров... И, что ближе всего касалось Вольтера, был издан указ против литературы. Он предусматривал две кары. Смертную казнь тем авторам, издателям, книгопродавцам и даже покупателям (это было нововведением) сочинений, которые, будоража умы, затрагивали религию, угрожали королевской власти или нарушали порядок и покой. Галеры — тем, кто сочинял, составлял и распространял книги и брошюры, не получившие привилегии.

Как мог честный писатель спокойно работать под прессом этого указа? И особенно писать для «Энциклопедии»? Сейчас Вольтер усиленно старается употреблять все свое остроумие и изобретательность, придавая статьям для «Словаря» самую безобидную форму. И тем не

менее д'Аламбер вернул ему одну статью, просил сделать текст более христианским, чтобы можно было напечатать.

Это тоже была война — война Просвещения и старого режима, и она требовала маневренности не меньшей, чем понадобилась маршалу герцогу де Ришелье у острова Минорка.

Среди войн оружием и пером личное примирение Фридриха II и Вольтера тоже было связано с войной, неотделимой от Фридриха, и стремлением установить мир на земле, столь важным для его бывшего учителя.

Немалую роль в этом примирении — казалось, невозможном — сыграло доброе сердце Вольтера.

Фридрих II жаждал примирения, потому что был несчастен, а в несчастье мы обычно тянемся к старым друзьям. Несчастен же он был прежде всего потому, что ему изменила военная удача. После одного поражения он даже стал носить пузырек с ядом. Вольтер, переехав в Швейцарию, прозвал бывшего «Северного Соломона» «Люком» — кличка злой обезьяны, которая жила в Делис. Но теперь он жалеет страдающего врага, хотя и не без оттенка превосходства и не все королю прощая. «Я не знал, когда его покинул, что моя судьба сложится лучше... Я прощаю ему все, кроме его вандализма по отношению к мадам Дени».

Фридрих II и в самом деле очень нуждался в прощении и сочувствии Вольтера. Король переживал очень тяжелые месяцы. Умерла его мать. Брат, Август-Вильгельм, оказался совершенно непригодным как главнокомандующий войск. Генерал Мориц проиграл бой. В довершение всего Фридриха очень огорчила смерть другого деятельного и способного генерала. Единственное утешение король находил в сочинении стихов да еще в чтении философских книг. Как тут было не вспомнить о счастливых временах дружбы с Вольтером, их переписке, ужинах, уроках поэзии? Да тут еще и понадобилась его помощь, потому что французский премьер-министр герцог де Шуазель был крайне недоволен изданием сатирических стихов Фридриха II, и Вольтер хлопотал, улаживая конфликт. Его с Шуазелем связывала личная дружба. Однако хлопоты успехом не увенчались.

Письмо прусского короля из полевого стана в сентябре 1757-го с мыслями о самоубийстве, да еще и с приложением копии его письма императору Отто, где автор намекал, что не переживет проигранной войны, очень сильно подействовало на Вольтера. Он тут же ответил — пусть Фридрих и не помышляет о самоубийстве, приведя в письме и такой аргумент: оно может быть неправильно истолковано и недругами и друзьями.

Словом, корреспонденция их восстановилась, дружба ожила. И Вольтером руководило не одно лишь сострадание. Он согласился на примирение и потому, что хотел им воспользоваться, чтобы восстановить мир в Европе. По одной версии, инициатором мирных переговоров между Францией и Пруссией оказалась Вильгельмина Байротская. Думается, эта мысль могла прийти и самому Вольтеру. Он снова становится дипломатом и протягивает нити между Фридрихом II и Ришелье, той же маркграфиней и кардиналом де Тенсенем.

Но, однако, мелкие личные мотивы снова вмешались в большую политику, и мир между Францией и Пруссией не был заключен. Все старания Вольтера разбились о сопротивление мадам де Помпадур. Она не могла простить Фридриху II ни злосчастной фразы — «Я ее не знаю», — сказанной в 1750 году, ни тем более свежих эпиграмм, ранивших маркизу. К тому же переговоры еще не закончились, как маркграфиня 14 октября 1758 года умерла.

Удобный момент для того, чтобы покончить с войной, был упущен. Фридрих перестроил и укрепил свою армию. 5 ноября он снова начал боевые действия. Нарушив принятые правила ведения войны, он внезапно и стремительно, а потому успешно атаковал противника.

Дипломатическая миссия и на этот раз не удалась поэту и философу. Война снова восторжествовала над миром. Но дружба с Фридрихом II больше не нарушалась.

Если Вольтер не смог направить сегодняшний ход истории в лучшую сторону, ему не осталось ничего иного, как продолжать изучение прошлого, искать и находить в нем примеры для настоящего. Не случайно он возвращается к Петру Великому, принимается за капитальный труд о нем и его времени, и, конечно, не толь-

ко потому, что камергер Елизаветы Шувалов убедил императрицу, не слишком интересовавшуюся литературой и наукой, поручить автору «Карла XII» написать биографию ее отца. Потому Шувалов и убеждал, что знал, как Вольтер заинтересован этой исторической личностью, этой эпохой.

Любопытно, какие материалы Вольтер просил Шувалова доставить. Он огорчен тем, что нет данных «об открытии мануфактур, речных сооружений, постройке публичных зданий, чеканке монет, правосудии, армии и флоте (в последнюю очередь. — А. А.). Одним словом, месье, обо всем том, что больше всего характеризует нацию, никому не известную». Еще более, чем когда он писал свою первую историческую книгу, Вольтера занимает Петр I как *созидатель*, а не завоеватель. Несомненно, он надеялся, сочиняя новый, очень серьезный труд о петровской России, что этим поможет установить мир в Европе Людовика XV, Фридриха II, Елизаветы Всероссийской.

«История Петра Великого» мира в Европе не установила, но была щедро вознаграждена императрицей. Автор получил от нее много денег и драгоценных мехов. Санкт-петербургский немецкий пастор Боппиг, позволив себе заметить, что ни одна плохая работа не была так щедро оплачена, жестоко пострадал за дерзость.

Вольтер оценил щедрость Елизаветы и, когда она умерла, написал д'Аламберу: «Смерть императрицы Всероссийской — большая потеря для меня». Скоро сменившая Петра III на престоле Екатерина II была так умна, что, покровительствуя французским просветителям, простила Вольтеру сожаление о смерти притеснявшей ее тетки мужа.

Но я уже забежала вперед. А пока в Делис не было ни мира, ни покоя, столь необходимых хозяину для этой и других его работ. Мира не было в душе Вольтера...

ГЛАВА 4

КАК БЫТЬ С ЭТИМ МИРОМ?

Снова костер. В марте 1759-го на городской площади Женевы палачом публично сожжена книга. Фамилии автора нет. Даты выхода в свет — тоже. Только в переиздании 1761 года к надписи на шмуцтитуле «Перевод с немецкого, сделанный доктором Ральфом» приписано: «с добавлениями к этой повести, найденными в кармане доктора после его смерти, в Мендене, в 1759 году от Р. Х.». (В расширенной 21-й главе даны и сами добавления.) Это единственное указание, что книга впервые была издана не раньше января и не позже февраля 1759 года. Ведь в марте ее уже сожгли.

Зато есть название — «Кандид, или Оптимизм». И третья фраза объясняет, почему такое имя дано главному герою: «Он судил о вещах довольно верно и простосердечно, почему, и думаю, звали его Кандид». Французское прилагательное «candide» значит «искренний», «простосердечный». А эти качества позволяют судить обо всем непредвзято и здравомысляще.

Кем и когда повесть была написана? Конечно, не немецким автором, даже не названным... Когда делались к ней добавления — опять-таки не вымышленным доктором Ральфом, но сразу всеми узанным подлинным автором, французом?..

Удивительно, что Вольтер, в переписке столь щедрый на комментарии ко всем своим философским повестям, сказкам, притчам, хранил полное молчание о том, когда ее сочинял впервые, когда и в каком направлении обрабатывал и дорабатывал. Делал ли он секрет из того, что было ему наиболее дорого и близко, чему отдавался больше, чем всему остальному? А «Кандид» была главной из его философских повестей. И то, что Вольтер работал над ним много, с редкой тщательностью, доделывая и отшлифовывая каждый эпизод, мельчайшую деталь, чуть ли не каждую фразу, видно уже по единственной сохра-

нившейся рукописи первого варианта. Такое неисчисли-
мое количество в ней авторских поправок.

Однако и это свидетельство не дает ответа, за сколько времени и тем более когда и где «Кандид» был написан. Иной вопрос, что сличение последующих переизданий говорит — автор и потом щедро вносил дополнения и доделки.

Первая информация, тоже рукописная и хранящаяся, как и сам этот вариант, в Ленинграде, — заметка секретаря Вольтера — Ваньера: «Кандид» был напечатан в 1759-м, сочинен в 1758-м. Первая копия, которую я снял — в июле 1758-го, в Шветцингене, для месье курфюрста Палатинского». Эта заметка дополнена в «Воспоминаниях гражданина» (Берлин, 1789): «...делал (Вольтер. — *А. А.*) приятное курфюрсту и среди прочего начал сочинение «Кандида», читал принцу главы по мере того, как они были готовы... После сражения, следующего за чтением, всякий раз находил предлог, чтобы уйти, оставляя курфюрста захваченным тем, что услышал...»

Казалось бы, кому, как не Ваньеру, знать, когда и где повесть была написана, и тем не менее его свидетельство отнюдь не бесспорно. Уже тогда существовали иные версии. Импровизационная манера «Кандида» давала основания думать, что он был написан за три недели, по иной версии — за три дня. По Ваньеру, тоже получается, что не больше чем за дней двадцать, если уже в июле он снимал копию. Письма помогают установить, что Вольтер прибыл в резиденцию Карла Теодора, курфюрста Палатинского, только 16 июля, а уехал 5 и 6 августа 1758-го.

Много вероятнее, как доказал Вэйд, серьезнее других изучивший творческую историю «Кандида», что Вольтер писал его дольше и начал, если не кончил, до поездки в Шветцинген. То, что он развлекал курфюрста чтением глав повести, вовсе не значит — там он их и писал. Мог и отделывать, шлифовать готовое.

Вэйд называет такие сроки написания «Кандида». Был начат в первых числах января 1758-го, когда Вольтер сравнил Лозанну с Константинополем, а турецкая столица в повести фигурирует. Работал с невероятной энергией. 15 января отложил на два месяца в сторону. Между 15 марта и 15 апреля сделано больше половины.

К 15 июля повесть была уже практически готова. Копию Ваньера Вольтер, вероятно, подарил Карлу Теодору перед отъездом из Шветцингена как плату за гостеприимство. Но Вэйд располагает и доказательствами, что мог послать 23 августа. Не исключает исследователь и того, что «Кандид» был закончен в резиденции курфюрста и тогда уже начал ходить в списках.

Не все современные западные вольтеристы — у нас этот вопрос так тщательно не изучался и столько не дебатировался — разделяют точку зрения Вэйда. Мориц еще прежде пришел к выводу, что «Кандид» был начат не раньше июля и дописан не позже сентября. Хэвенс — что вся повесть была начата и окончена в Шветцингене. Торри склоняется к тем же срокам.

Конечно, не столь существенно, когда и где был написан «Кандид», за три дня, за десять дней или за три месяца, однако с перерывами.

Значительно важнее то, что главное содержание, антилейбницианский пафос повести дают все основания думать — корни ее уходят далеко вглубь, она зародилась еще в Сире. Иной вопрос, что в сюжет «Кандида» вошли многие позднейшие события, названные прямо или зашифрованные, — Семилетняя война, ссора с Фридрихом II и бегство автора из Пруссии, Лиссабонское землетрясение, иезуитское государство в Парагвае и война с ним испанцев...

Ясно одно — изданный в начале 1759-го, он был написан в 1758-м. Все сходится на том, что побудило Вольтера именно тогда написать «Кандида», *какие исторические и биографические* события вызвали появление повести. Особых разногласий не вызывают у исследователей и реалии, которые легли в основу «Кандида», и что из сочинений Вольтера его подготовило, почему автор выбрал эту форму, причудливо сочетая действительность и вымысел, чем вызвано и на этот раз столь излюбленное им, но превосходящее другие повести обилие путешествий героя.

Хэвенс в своей книге в главе «Советуюсь с «Кандидом» риторически спрашивает: «Что может быть лучше для распространения идей, чем так называемая философская повесть? Не философские тракты, во всяком случае!»

Затем он переходит к предыстории «Кандида», его реалиям, к предшествующим фактам биографии автора. Соответствия видны сразу.

В первых главах легко угадывается сатирически изображенная под названием Вестфалии Пруссия. Возможно, намекая на свое незаконное происхождение и, главное, высмеивая немецкую аристократическую спесь, Вольтер пишет о Кандиде: «Слуги подозревали, что он был сыном сестры барона Тундер-тен-Тронка (в замке которого жил юноша. — *А. А.*) и одного соседнего доброго и честного дворянина, за которого эта барышня ни за что не хотела выйти замуж, так как он мог указать только семьдесят одно поколение предков, остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной силой времени». И характеристика самого барона, насмешки над тем, что «у него не было настоящих гончих», — скрытое противопоставление французским аристократам, — «и в случае необходимости собаки с его заднего двора превращались в охотничью свору», и то, что баронесса, его супруга «весила почти триста пятьдесят фунтов, и это вселяло к себе величайшее уважение», служат этой же цели.

Затем такая же спесь, вызвавшая изгнание Кандида из-за ничтожной причины бароном пинками ноги в зад, — преобразованное отражение обращения с Вольтером прусского короля. Комментаторы часто указывают на ссору автора с Мопертюи, вызвавшую гнев Фридриха.

Во второй главе Кандида коварно вербуют в солдаты царя болгарского, то есть короля прусского, осыпая монарха преувеличенными похвалами. Тут Вольтер явно негодует против отмененной Фридрихом II, но, видно, не совсем, системы формирования армии его отцом, покойным королем. То, что рассказывается затем о муштровке и шпицрутенах, применяемых и при философе на троне, очень точно. Явная издевка и то, что милосердие царя болгарского — он даровал Кандиду жизнь — «будет прославляться во всех газетах и во все века».

Глава третья — гротескное описание войны, объявленной царем болгарским (прусским) царю аваров. Это Семилетняя война, а под аварами имеются в виду французы. И в той же главе благодетелем Кандида, которому отказывали в милостыне и те, кто ораторство-

вал о милосердии, стал анабаптист, человек, который никогда не был крещен. Над крещением Вольтер смеялся еще в «Философических письмах». И хотя анабаптисты — название реальной секты, распространенной тогда лишь в Германии и Нидерландах, Вольтер, очевидно, имел в виду и английского протестанта Фолкнера, некогда спасшего его в Англии, и швейцарских кальвинистов, открывших для великого изгнанника ворота Женевы и поначалу так ему нравившихся.

Вместе с биографией автора и история вошла в повесть сразу нравами Пруссии и Семилетней войной. Теперь она продолжится Лиссабонским землетрясением, которое увидят Кандид и его учитель Панглосс, взятые анабаптистом Жаком с собой на корабль, когда он через два месяца отправился по торговым делам в Португалию.

Сопоставление биографических и исторических фактов с сюжетными мотивами, исторических личностей с персонажами принадлежит мне, но подтверждает мысль Хэвенса: я с ней согласна.

Вэйд тоже считает, что «Кандид» — продукт серии событий, начавшихся с 1750 года и даже раньше». Опираясь на Лансона, исследователь пишет: «То, что Вольтер быстро оправлялся после несчастий, было почти его второй натурой». То же можно сказать и про Кандида, мы в этом убедимся, анализируя повесть.

Затем Вэйд перечисляет произведения, которые «Кандид, или Оптимизм» как бы вобрал в себя: «...реакцию автора на Лиссабонское землетрясение — «Поэму о гибели Лиссабона», «...отклик на все поражения Вольтера и черты его времени — «Мемуары».

«Каждое из этих произведений — часть «Кандида», — пишет Вэйд, и это верно, поскольку имеется в виду дань сказки реальности и генезис ее. Но ни одно из названных сочинений, даже «Задиг», не равны «Кандиду» по идейной глубине и художественному совершенству, давшим ему бессмертие.

Не только Вэйд, но многие вольтеристы считают «Историю путешествий Скарментадо» (1756) первым наброском «Кандида», отмечая даже созвучие названия города Кандия, где родился герой первой вещи, с именем героя второй. И это верно. Те же путешествия, те же злоключения, то же разочарование в доктрине «все к лучшему

в этом лучшем из миров» и то же осознание необходимости продолжать жизнь.

Вэйд правильно отмечает и различия: «Проблемы Скарментадо вовне, он смотрит наружу, но не внутрь себя самого», подчеркивает и сходство, «но такое, как ранний набросок может напоминать законченный идеал», «История путешествий...», бесспорно, недописанная работа, отрывок чего-то, что могло быть осуществлено, но осуществлено не было...» Называя его «эмбрионом «Кандида», Вэйд пишет: «Ни время, ни место, ни характеры, ни действия, ни оправа еще не те, но видна уже возможность стать формой, стилем, мыслью...»

Действительно, пусть не совпадает время действия: Скарментадо родился в 1600 году и начал свои странствия пятнадцатилетним мальчиком — Кандид старше, пусть, кроме Италии, Франции, он объезжает иные страны и части света, но так же плохо везде. В первой повести нет еще и Эльдорадо. Иронический конец «Скарментадо» частично подсказывает философский вывод «Кандида», речь о котором впереди. Вот чем заключается «набросок»: «Я видел все хорошее, прекрасное и восхитительное, что есть на земле, и решил, что в будущем стану довольствоваться тем, что смогу видеть дома, в родной стране. Я женился на своей соотечественнице; она меня сделала рогоносцем, но я пришел к выводу, что мое положение еще одно из лучших в мире». Эта повесть заключала в себе зерно «Кандида» до Семилетней войны и лиссабонских событий.

Сходство заметили и Мориц и Хэвенс, Скарментадо стал бы Кандидом, если бы приобрел его *опыт*. Этот «наивный», «искренний», «чистосердечный» еще только родился. Он как бы зародыш локковского характера.

Такие же зародыши и другие персонажи «наброска». Конечно, повесть была подготовлена и «Поэмой о гибели Лиссабона». Потрясение Вольтера этим стихийным бедствием еще не прошло, а критика Лейбница, Попа, требуемого религий подчинения PROVIDENTIO, усилилась. Но выбрана совсем иная форма, и более решителен ответ на вопрос «Что делать?».

Корни «Кандида» — и в «Задиге», о котором подробно говорилось в главе «Безделки оказались самыми серьезными», и в «Мемноне» втором, имеющем еще иное название — «Человеческая мудрость». И здесь ангел

или гений разъясняет герою, что среди сотни тысяч миллионов миров, рассеянных в пространстве, установлена строгая постепенность. Во втором мире мудрости и счастья меньше, чем в первом, в третьем — меньше, чем во втором, и так дальше — до последнего мира; там уже — полное безумие. Герой на это возражает: «Я подозреваю, что наш земной шар и есть именно сумасшедший дом вселенной». — «Не совсем, — отвечает ангел, — но вроде того, все должно быть на своем месте».

И еще один источник, он же и прототип. Вольтер в свое время восторгался герцогиней Сакса Гота. По сравнению с Фридрихом II она казалась ему ангелом, лучшей из принцесс. Сейчас письма герцогини он находит сентиментальными, они Вольтера раздражают, хотя по-прежнему корреспонденция носит самый дружеский характер. В чем же дело? Слишком различен их взгляд на действительность. Вольтер разочарован, убежден в том, что далеко не все к лучшему в этом далеко не лучшем мире. Герцогиня полна лейбницианского оптимизма. И даже не Вэйд первый сделал это интересное и важное открытие. Он сам ссылается на немецкого писателя Хаеза, который задолго до его книги 1959 года, еще в 1893—1894 годах указал на свет, который письма герцогини Сакса Гота проливают на «Кандида». Не один Самуэль Кениг, но и эта милая и благодушная принцесса послужила прототипом Панглосса.

И наконец, «Кандид» полемизирует и с Жан-Жаком Руссо, его швейцарской сентиментальностью. 16 августа 1756 года женевец в Париже шлет парижанину в Женеве одно из своих философских писем, озаглавленное «Письмо о провидении». По этому поводу между Вольтером и Руссо завязывается переписка, отчетливо показывающая, насколько различны, полярно противоположны их взгляды на провидение.

Нельзя понять «Кандида» и без произведения Вольтера, написанного не раньше, а позже, правда, прежде оно существовало в устных рассказах автора. «Мемуары» не набросок, не художественный предшественник, но как бы ключ к повести. Вэйд, вероятно, справедливо претендуя на то, что первый в книге «Вольтер и «Кандид» сделал это открытие, очень подробно останавливается на

«Мемуарах», сообщая и многое, что моему читателю уже известно из главы «Лета, осени, зимы...». Этого, естественно, я повторять не стану. Но изложенные им версии того, когда «Мемуары» были написаны, небезынтересны. Одна — сразу после возвращения из Пруссии — в 1753-м, вторая — еще раньше, в 1751-м. Вэйд опровергает обе тем, что в «Мемуары» включены более поздние события: издание книги маркизы дю Шатле — 1757 год, преследования просветителей из-за книги Гельвеция и запрещение «Энциклопедии» — начало 1759 года, и называет даты на двух уцелевших копиях — 6 ноября 1759 года и 1 февраля 1760 года, а они, бесспорно, были сняты сразу после окончания оригинала.

Для трактовки «Мемуаров» как ключа к «Кандиду» небезынтересно и то, что, изложив общепринятую версию (я тоже о ней рассказала), Вольтер не знал, что копии сохранились (Вэйд установил — их было даже не две, а пять), исследователь утверждает — автор сам предназначил одну для Екатерины II, другую — для мадам Дени. Отсюда вытекает — Вольтер хотел, чтобы не только зашифрованная картина прусского королевства и замаскированный портрет Фридриха II в «Кандиде», но и открытое шаржированное их изображение дошло до потомства.

В чем исследователь видит сходство этих столь различных произведений?

Во-первых, говорит Вэйд, «Мемуары» хорошо написаны, как и «Кандид». Современные события встречаются и тут и там, эхо происшествий — в одном произведении, реминисценции — во втором. Он перечисляет многочисленные совпадения, как, к примеру, сравнение правления Фридриха II с деспотизмом в Турции. Оно было и в письмах, добавлю я.

Далеко не во всем с Вэйдом можно согласиться, хотя бы с тем, что дезертирство Фридриха из отцовской армии похоже на дезертирство Кандида из болгарского войска. Это было бы нарушением метафорического плана. Поскольку Фридрих в «Кандиде» — сам болгарский царь, он не может бежать из собственной армии.

Зато бесспорно сходство между африканским плантатором и кораблестроителем, голландцем Вандердендуром и знакомым нам издателем «Анти-Макиавелли» Ван Дюреном, фигурирующим в «Мемуарах». Сатирически

изображенная прусская армия тоже и тут и там. Старому солдату, мобилизованному за его высокий рост и расплатившемуся за дезертирство тем, что его прогнали сквозь строй тридцать шесть раз, хуже, чем Кандиду. Два раза меньше, чем тридцать шесть. Но Кандида приговорили тоже к тридцати шести: разительно самое совпадение числа.

Сходны и программные сентенции в последней главе повести и в конце «Мемуаров».

Кандид, возвращаясь на ферму, высказал глубокомысленные суждения по поводу речей турка (старика, возделывающего свои двадцать арпанов со своими детьми и «работой избавленного от скуки, порока, нужды». — А. А.). Он сказал Панглоссу и Мартену:

«Этот добрый старец создал себе, по-моему, судьбу более завидную, чем те шесть королей, с которыми мы имели честь ужинать».

В «Мемуарах» Вольтер, тогда уже обосновавшийся в Ферне, пишет: «В то время как я наслаждаюсь отдыхом и жизнью, наиболее приятной, какую только можно себе представить, я еще испытываю маленькое удовольствие, доступное философу, — видеть, что короли Европы не вкушают этого счастливого покоя».

Став «королем» у себя, Вольтер и в «Кандиде» и в «Мемуарах» высказывает свое презрение к коронованным королям, установленному ими порядку жизни народов. Мне представляется одним из самых главных в «Кандиде» суждений замечание Мартена, противопоставленного оптимисту Панглоссу: «Не знаю ...на каких весах Панглосс мог бы взвесить несчастья людей и оценить их страдания. Но предполагаю, что миллионы людей на земле во сто раз более достойны сожаления, чем король Карл-Эдуард, император Иван и султан Ахмет».

Кстати сказать, все названные свергнутые монархи, короли в изгнании — подлинные исторические личности, хотя к фактам добавлен и вымысел.

В «Мемуарах» нет такого прямого противопоставления королей народам. Но критика государственной системы Франции, при которой от прихоти фаворитки зависят судьбы науки и самих великих людей, ханжества и произвола духовных сановников, издевка над

королевством, основанным иезуитами в Парагвае, так же как созданный автором «для того, чтобы никто не мог пренебречь массой противоречий, именуемых Фридрихом II», портрет его, как центральной фигуры книги, и многое иное, характеризующее нравы эпохи, пропущенные с явным пристрастием через собственную судьбу, разве не служили той же цели?! И «Мемуары» направлены против всех несправедливостей.

К тому времени, когда писался «Кандид» и вскоре «Мемуары», произведение тоже замечательное и глубоко вольтеровское, автор захотел обозреть свою жизнь, спрашивая самого себя, как случилось, что, достигнув успеха, он не испытывал от этого удовольствия? Его образ мыслей несколько не циничный, в чем упрекали великого человека, не похожий на образ мыслей Жана Франсуа Рамо, несколькими годами позже изображенного Дидро в его знаменитой повести, или Фигаро с его фразой, превратившейся в поговорку: «Хорошо смеется тот, кто смеется последний».

Из прошлого перед Вольтером выступали враги, множество врагов, обид, несправедливостей, в Париже и не одном Париже... Его травили как атеиста за то, что он был заинтересован в торжестве истинной философии. Канцлер д'Агессо не разрешал печатать «Элементы философии Ньютона»...

Все это снова и снова всплывало в памяти Вольтера, когда он садился за «Мемуары». Интриги мадам де Моли, махинации «осла Мирепуа», откровенная враждебность Морепе, его презрительное: «Я вас раздавлю...» Неблагодарность французского двора после удачных — так он думал — переговоров с Фридрихом... И, может быть, всего мучительное было — если он и получал награды и удостоивался почестей, то не за свои подлинные заслуги, а лишь благодаря покровительству опять-таки королевской фаворитки, маркизы де Помпадур. Да, жизнь его была полна горечи и особенно отравлена смертью мадам дю Шатле и разочарованием в жестоко обидевшем своего учителя Фридрихе II... Стать выброшенной «кожурой апельсина», франкфуртским арестантом и затем быть изгнанным, отторгнутым французским двором и кардиналом де Тенсеном...

Но горше всего, что, так любя свободу, он вынужден был жить при королях. Причем не только внешне...

В «Мемуарах» Вольтер не боится показать, как придворное начало проникло в самую его натуру.

Вэйд упрекает его за комплименты кардиналу Флери, за то, что он гордится добрыми отношениями с маркизой де Помпадур: «Я знал ее достаточно, был даже поверенный ее любви».

Мне кажется, что Вэйд недооценивает или просто не видит иронии Вольтера в «Мемуарах» по отношению к самому себе, саморазоблачения.

В том, что долго его судьбой было — от короля к королю, он тоже виноват. С какой издевкой над собой написано, что он не мог «противиться победоносному суверену, поэту, музыканту и философу, который претендовал на мою любовь к нему, приняв меня в Потсдаме лучше, чем Астольфа — в замке Альчины!».

О том, как на самом деле складывались отношения Вольтера с Фридрихом, читатель знает из главы «Лета, осени, зимы...». Но сейчас я говорю о другом — как, будучи беспощаден к Фридриху, Вольтер беспощаден и к себе...

В «Кандиде» «я» — рассказчика и многое, хотя и не все, сказочно преобразовано. В «Мемуарах» «я» — Вольтера и внешней преобразованности нет. Напротив, внешне все документально. Подчеркиваю — внешне, сатиричность их не только в авторской интонации, но и в преувеличениях фактов и даже вымысле. Примеры приводились.

Но основное различие не в этом. В «Мемуарах» — история скорее комментарий к биографии. В «Кандиде» биография — комментарий к истории, а история — материал для философии. Поэтому, казалось бы, Вольтер должен был написать «Мемуары» раньше «Кандида». А написал потом. Однако и в этом есть своя закономерность — он позже изготовил ключ к шкатулке, уже сделанной. Как мы убедились, «Мемуары» позволяют расшифровать реалии «Кандида».

Казня себя за иллюзии в «Кандиде», Вольтер вместе с тем как бы разделился между Панглоссом и Мартеном, сложно объединив оптимизм и пессимизм и найдя выход из того и другого. Однако при всей автобиографичности ряда перипетий судьба Кандида — это отнюдь не портрет Вольтера. Это и не характер, хотя в нем есть элементы характера. То же относится и к персофинициро-

ванным идеям — Панглоссу и Мартену, несмотря на то, что у первого есть реальный прототип и несчастья его — преобразованные неприятности Кеуига в Берлине.

Только к концу Панглосс откажется от своего учения. Но на всем протяжении повести он, несмотря на жесточайшее испытания, — оптимист.

Вот одно из самых программных мест повести:

«— Скажите же, мой дорогой Панглосс, — спросил его Кандид, — когда вас вешали, вскрывали, избивали, когда вы гребли на галерах, продолжали ли вы думать, что все к лучшему в этом лучшем из миров?»

— Я всегда оставался при своем первоначальном мнении, — ответил Панглосс, — потому что я же философ. Мне не пристало отрекаться от своих мнений, ибо Лейбниц не мог ошибиться, а предустановленная гармония есть прекраснейшая вещь в мире, так же как полнота вселенной и невесомая материя...»

Здесь атакуется лейбницианство, пренебрегающее опытом. Кандид постепенно начинает извлекать уроки из действительности, для Панглосса это невозможно, безнадёжно.

Конечно, то, что тут сказано, не включает всего Лейбница и его роли в истории человеческой мысли. Он тоже был одним из предшественников французского Просвещения, потом замещенным английскими эмпириками, материалистами. От них пошло уважение Вольтера к опыту.

И в «Кандиде» и в «Мемуарах» Вольтер еще до Дидро полемизирует с племянником Рамо. Тот говорил: «Самое важное, что вы и я существуем, и наш мир не был бы лучшим из миров, если бы вы и я не существовали». *Как* существовать, для него неважно. А для Вольтера важно. *Опыт* показывает, что мир, в котором он живет, отнюдь не хорош. А жить надо. *Как?* Ответ на этот вопрос словно бы дан приведенной цитатой из письма — в спокойствии, наслаждении им, чего лишены короли. Однако это не расшифровка, а, напротив, зашифровка подлинного ответа на вопрос *не только, как жить самому, но и как быть с нашим, отнюдь не совершенным миром.*

В «Мемуарах» говорится не об одном покое, но и о свободе, которой автор пользуется с тех пор, как для него открылись ворота Женевы, и о том, что теперь

он не может удержаться и не сказать нескольких слов о своем жизненном опыте.

В «Кандиде» тот же жизненный опыт, но и опыт исторический использованы для философского вывода и, как будет показано дальше, программы действий.

Вернемся в 1758 год. Задумаемся, почему именно тогда был написан «Кандид». Вольтер — на вершине своих возможностей во всех смыслах. Независим, прежде всего, и внешне и внутренне. Обогащен глубоким знанием и современности и истории. Позади поучительнейшие путешествия и жизнь в Голландии, Англии, Бельгии, не говоря уже о Франции и Швейцарии, Пруссии. Мысль его до отказа снабжена событиями, происшествиями и анекдотами... Написаны и «Век Людовика XIV» и «Опыт о нравах и духе народов», для чего прочтены тысячи фолиантов, отобраны и выстроены в единую концепцию десятки тысяч исторических фактов. Не менее важно его разочарование в дворах, равно версальском и потсдамском, его действительный успех, сопровождаемый неизменной завистью и преследованиями. Он успел уже сказать много о деликатных материях религии и государства и заплатил за это дорогой ценой костров, на которых сжигались его произведения, Бастилии, изгнаний, травли... Не избежал и некоторых компромиссов, которые осуждает в «Кандиде» не меньше, чем осудит в «Мемуарах». Его прозаический стиль «безделок», оказавшихся самым серьезным, уже раньше создан в первых циклах философских повестей — тех, что написаны в Со, Люневиле, Берлине; стиль убийственный тем более, что остро отточенная шпага легка и изящна...

К тому времени в «Поэме о гибели Лиссабона», эпистолярной полемике с Руссо, решительно ниспровергнуты Лейбниц и Поп, религиозная доктрина покорности провидению.

Словом, все подготовлено для завершения того, что было лишь набросано в «Истории путешествий Скарментадо».

У Вольтера впереди еще два десятилетия огромной жизни человечества и жизни собственной. Еще будут написаны портативный «Философский словарь» и словарь семитомный, «Простак», «Человек с сорока экю»,

«Принцесса Вавилонская», окончены «Орлеанская девственница» и «Век Людовика XV»... Предстоят еще борьба за «Энциклопедию», процессы справедливости... Но уже пришло время для во многом итогового, идущего далеко вперед произведения Вольтера — «Кандид, или Оптимизм».

Понимал ли сам автор значение этого маленького романа? Переписка показывает, что не сразу. Был уверен, что истинную глубину мысли проявил в классицистических трагедиях, в философских поэмах. «Кандид» сперва казался автору если не безделкой, то легким откликом на текущий момент, не потребовавшим серьезных приготовлений, длительных трудов, как «главные» его сочинения... Всего лишь счастливым продуктом деятельного пера, с удивительной быстротой бегущего по бумаге,

Удивительно, как Вольтер с его прозорливостью был поначалу (потом он будет очень ревниво относиться к «Кандиду») так слеп к шедевру не только своему, но и мировой литературы! Даже Карл Теодор сразу верно и широко понял значение повести.

Однако реакция подлинного автора на сожжение книги — письмо несуществующего брата несуществующего автора ее, некоего капитана Диманта, опубликованное в апреле 1759 года в «Энциклопедическом журнале», — была тем более серьезной, чем остроумнее и шутивее была мистификация. Вольтер не охватил в этом письме всего содержания «Кандида». Нанес удар лишь клерикалам и религии. Но выстрел безошибочно бил по цели. Приведу начало письма, где высказано самое главное, последующее лишь добавляет издевательские аргументы: «Брат мой, добрый христианин, сочиняя свой роман во время постоя на зимней квартире, имел в виду, главным образом, обращение на путь истинный социиниан. Эти еретики, не довольствуясь отрицанием троицы и загробных мук, смеют утверждать, что бог создал наилучший из миров и что «все хорошо». Дерзкие забывают, что эта идея совершенно очевидно противоречит догмату первородного греха...»

Разумеется, ни надпись на титульном листе, ни это письмо никого не смогли одурачить. Кто, кроме «мага из Ферне», мог сочинить «Кандида»? Любивший, что греха таить, славу и теперь, подлинный автор малень-

кого романа мог быть вполне удовлетворен. Первое издание сожгли, но это не помешало еще тринадцати, а может быть и больше, повторным изданиям выйти в одном 1759 году.

Популярностью «Кандид» соперничал с «Новой Элоизой» заклятого врага автора — Жан-Жака Руссо.

И примечательно, что оба произведения перешагнули свой век. «Новую Элоизу» теперь, правда, больше не читают, разве что ученые и студенты-филологи. Для нас роман очень скучен. Зато он надолго определил господствующее направление литературы не только французской, но и европейской.

«Кандид» тоже имел большое влияние на литературу XIX века, особенно первых его десятилетий. От него пошла романтическая ирония. Флобер отзывался о «Кандиде» просто восторженно. К повести Вольтера восходит философский роман XX века, от Франса до Хаксли и Веркора. Перескочив через двести лет, «Кандид» близок и современным авторам, и современным читателям. Свободная форма, ирония, открытая пародийность, фантастическое преобразование жизни в соединении с прямым воспроизведением текущих событий, философичность и злободневность художественной прозы снова в чести.

Прежде всего бросается в глаза, что «Кандид» написан с обычным для Вольтера в этом жанре сказочным лаконизмом. В русском переводе Федора Сологуба, воспроизводимом, несмотря на его серьезные недостатки, в советских изданиях, он занимает всего 90 страниц среднего формата. В оригинале, в парижском критическом издании философских романов и сказок Вольтера Рене Помо 1966 года — и того меньше, 80 страниц, правда, более убористого текста. Между тем в этом маленьком романе 30 глав, и их очень трудно, почти невозможно рассказать короче, чем они написаны: столько схвачено событий, столько действует персонажей и, главное, столько высказано мыслей!.. Сам автор, правда, вслед за номером главы дает ей название, еще более лапидарно излагающее, о чем в ней говорится. И через всю книгу проходят философский спор, картины времени и биография автора.

Во внешне метафорическом плане первой главы барон выгнал Кандида, увидев, как тот целовался с его собственной дочерью Кунигундой.

Обратим внимание на вводное предложение, комментирующее решение «Тундер-тен-Тронка: «уяснив себе все причины и следствия». Оно заимствовано у Панглосса, представленного в этой же, такой крохотной и такой содержательной главе. Философ преподавал пародийно названную науку — метафизико-теолого-космологию и «великолепно доказывал, что нет действия без причин и что в этом лучшем из миров замок монсье́ра барона был прекраснейшим из замков, а его супруга была лучшей из возможных баронесс». Знал биографию Вольтера до той поры и главного прототипа Панглосса, нетрудно догадаться, что автор походя высмеивал и лейбницианскую окраску галантности Кенига по отношению к маркизе дю Шатле. А в том, что этот мир не лучший из миров и замок Тундер-тен-Тронка не прекраснейший из замков, Кандид, простосердечный и поэтому воспринимающий все таким, как оно есть на самом деле, легко мог бы убедиться из факта своего изгнания, если бы не оставался все еще учеником Панглосса.

Сам Вольтер, хотя и критикующий доктрину «все к лучшему в этом лучшем из миров», тоже ведь сначала идеализировал прусский двор и Фридриха II!

В главе второй очень важна ироническая фраза, атакующая уже философию Шефтсбери, Локка и самого автора в молодости: «Как он (Кандид. — А. А.) ни был уверен, что воля свободна... пришлось сделать выбор». «Он решил в силу божественного дара, именуемого свободой, пройти тридцать шесть раз через строй (вместо того, чтобы получить в лоб двенадцать пуль. — А. А.) и выдержал две прогулки».

Сатирическое изображение войск болгар (пруссаков) и авар (французов) соединено с сатирой на лейбницианский оптимизм. «Ничто не могло бы сравниться по красоте, по блеску, благоустройству с обеими армиями. Трубы, флейты, гобои, барабаны, пушки создавали гармонию, какой не бывало и в аду. Сперва пушки уложили около шести тысяч человек с каждой стороны; потом ружейные залпы избавили лучший из миров от девяти или десяти тысяч бездельников, которые оскверняли его поверхность».

Затем следует явный выпад против Мопертюи, неудачно посетившего поле сражения, но он же и возражение Кенига и Лейбницу — «Кандид дрожал, как подо-

бает философу, в течение всей этой героической битвы, прятался, как только мог» и во время благодарственных молебнов, отслужить которые призывали оба царя, «решил уйти, чтобы рассуждать о следствиях и причинах в другом месте».

Он все еще верный ученик Панглосса и, даже когда в той же главе просит милостыню, объясняет, «что нет следствий без причин, все освящено цепью необходимости и устроено к лучшему».

В главе четвертой «Как Кандид встретил своего прежнего учителя философии, доктора Панглосса и что из этого вышло» одно несчастье громоздится на другое. Но главное — то, что Панглосс превратился в покрытого гнойными язвами сифилитика, явилось последствием «огромной цепи причин и следствий». Он заразился от графини, она — от каноника, он — от горничной Панкетты, она — от францисканца, тот — от маркизы, она — от пажа, паж — от иезуита, а этот, будучи послушником, получил болезнь по прямой линии от спутников Кристофора Колумба.

И все равно Панглосс считает, что «это было неминуемо в этом лучшем из миров, это было необходимо, ибо, если бы Колумб не схватил на одном из американских островов болезни, заражающей источник размножения, часто даже мешающей ему и, очевидно, противной великой цели природы, — мы бы не имели ни шоколада, ни кошенили...».

Но это же сказка, где все возможно, и чудесные спасения — неперемнная принадлежность жанра. Кунигунда и ее брат не раз, вопреки неизбежной гибели, оказываются живы. Однако к сказке примешивается сатира. Не изменив своей спеси, молодой барон откажет Кандиду в руке сестры и когда она подурнеет, постареет, станет до невозможности сварливой.

А философский спор продолжается. Панглосс оправдывает Лиссабонское землетрясение, данное уже не преобразенно, а реально, тем, что оно тоже к лучшему. Повторяются аргументы, раскритикованные прежде всерьез в поэме, а теперь сатирически заостренные. Философ говорит: «Ибо в Лиссабоне есть вулкан. Он не мог быть в другом месте, потому что невозможно, чтобы вещи находились не там, где они находятся. Ибо все хорошо».

В главе шестой высмеиваются с такой же внешней легкостью местные мудрецы, которые «не нашли более верного средства предотвратить полное разрушение города, чем устроить великолепное аутодафе».

Панглосса и его ученика тоже схватили, одного высекли, другого повесили. И тут-то Кандид впервые усомнился в правильности доктрины своего учителя: «Если это лучший из миров, то каковы же другие?»

Воскрес и повешенный Панглосс — это же сказка, — но лишь для того, чтобы, как Кандид и Кунигунда, стать жертвой новых напастей.

Так чудесные спасения чередуются со страшными бедствиями, постигающими героев во всей книге. Вольтер в равной мере изобретателен, нагромождая те и другие.

И так же неизменно в вымышленные приключения героев вторгаются реальные события. Более того, каждое бедствие их вызвано этими событиями. Пострадав от Семилетней войны и лиссабонского аутодафе, Кандид увлекается и в военные действия испанцев против королевства иезуитов в Парагвае.

Не прекращается ни в одной из глав — повторяю — философская дискуссия. Кандид, например, предполагает, что, поскольку они едут в другой мир (то есть на другой материк), там уже наверняка все будет хорошо. Конечно же, его надежды далеко не полностью оправдываются.

И так же Вольтер на всем протяжении книги пародирует авантюрный роман. Не только громоздит одно приключение на другое, но и вводит обязательный для жанра персонаж — преданного слугу героя Какамбо.

Самое причудливое смешение жанров и создает новый жанр.

Вместе с тем в «Кандиде» *невероятное окружено обыденным* согласно эстетике Просвещения, требованию, сформулированному Дидро. В очень точно реалистически описанном кабинете, с мраморными колоннами и трельяжем, Кандид встречает так же реалистически описанного немца, белолицего, краснощекого, преподобного иезуита-коменданта, который и оказывается чудом выжившим братом Кунигунды.

Приключения следуют за приключениями для того, чтобы автор мог опровергать доктрину Панглосса и высказывать якобы быходя собственные взгляды не

умозрительно, но подкрепляя их фактами и столь же содержательным вымыслом.

Преодолев ужасные препятствия и преграды, беглецы приезжают в единственную на свете благополучную страну (вымышленную) *Эльдорадо*, где гостиницы содержатся за счет государства, купцы вежливы, а золото, драгоценные камни — они здесь в невероятном количестве — не ценятся ни во что. Попутно сообщается несколько исторически точных сведений, как это государство, в существование которого верили, пытались завоевать испанцы и некий англичанин — кавалер Ралей.

Рассуждение встреченного ими местного старца о том, что все жители Эльдорадо поклоняются *не разным богам, а одному* богу, который дал им все, что нужно, скорее всего и подожгло костер на площади Женева.

Затем Кандид и Какамбо провожают во дворец короля, которого не надо ни приветствовать на коленях, ни ползти к нему по полу, ни целовать пол у его ног, ни возлагать руки на голову или за спину, а просто обнять и поцеловать в обе щеки. Современники легко угадывали, какие ритуалы пародировались. Угадываем и мы.

В Эльдорадо нет ни парламента, ни судебных учреждений, зато есть Дворец науки. Три тысячи физиков, они же инженеры, по приказу короля пятнадцать дней работают над машиной, требуемой, чтобы выпроводить этих чудаков. Они хотят отсюда уехать, между тем как подданные его величества настолько благоразумны, чтобы никогда не покидать своей страны. Нелепой кажется королю и просьба Какамбо подарить им не только несколько баранов, нагруженных съестными припасами, но и «камнями и грязью», как называют в Эльдорадо изумруды, рубины, алмазы и золото.

Но когда иностранцев сажают в машину (она стоила двадцать миллионов *фунтов стерлингов* — явный намек на Англию, так же как и наличие трех тысяч физиков или инженеров), им дают двух баранов, оседланных и взнузданных для переправы через горы, двадцать вьючных баранов, нагруженных съестными припасами, тридцать — с образцами того, что страна имела самого любопытного, и пятьдесят, нагруженных драгоценными камнями и золотом.

Эльдорадо — центральный эпизод романа, воплощение

положительного идеала автора. Поэтому я и сочла нужным напомнить читателю его содержание.

Дальше, издеваясь над властью денег, Вольтер заставляет своего героя, ошибочно полагавшего, что он теперь могуществен, очень быстро потерять свои сокровища, превосходящие все богатства Азии, Европы и Африки. И это богатство так же непрочно, как пистолеты и бриллианты возлюбленной Кандида, полученные ею у обоих любовников — Великого Инквизитора и донна Иссахара. Приобретая этот опыт, Кандид понимает, что прочны лишь добродетель и счастье вновь увидеть мадемуазель Кунигунду, что тоже окажется не совсем верным.

А после того, как автор рассчитывается с Вандерлендом — Ван Дюреном, избличая заодно и колонизаторскую Голландию, Кандид решительно отказывается от учения Панглосса, объясняя своему слуге, что такое оптимизм: «Это страсть утверждать — все хорошо, когда на самом деле все плохо».

После новых и новых злоключений, подтверждающих его тезис, приходит время вывести и второго участника спора между двумя мировоззрениями, спора, происходящего в самом авторе и персонифицированного в героях романа. Из тысячи соискателей, которых не мог бы вместить целый флот, Кандид выбирает одного, самого несчастного и разочарованного и согласно условиям конкурса дает ему две тысячи пиастров, чтобы тот сопровождал его на корабле, отплывающем во Францию.

Тут снова возникают реминисценции, как возникают они в «Кандиде» очень часто. Избранник Кандида — бедный ученый — десять лет проработал на книгопродавцов в Амстердаме и решил, что нет в мире ремесла, которое могло бы внушать большее отвращение. (Отношение Вольтера к книгопродавцам мы знаем хорошо.)

Мартен уверяет, что он принадлежит к секте не социниан, в чем его обвиняют, но манихейцев (религиозное учение о борьбе доброго и злого начал), и видит в мире одно зло. Кандид с ним не согласен:

— Есть же, однако, и добро!

— Возможно, но я его не знаю!

Не согласен с Мартемом, как мы убедимся потом, и сам Вольтер. Это несогласие — итог большого жизненного опыта и длительных философских размышлений, а также споров, уже известных нам. Кандид испытывает боль-

шую радость, вновь обретя одного красного барана, чем испытанное им горе при потере всех ста, — тоже очень важный психологический и философский вывод.

Проспорив пятнадцать дней плавания и ничего друг другу не доказав, они добираются до берегов Франции.

Главы двадцать первая и двадцать вторая посвящены незамаскированной Франции и поэтому еще более автобиографичны, чем первые главы о Вестфалии — Пруссии.

Для начала высмеян конкурс, объявленный Бордоской академией наук, которой Кандид вынужден был подарить своего единственного барана, — чтобы она могла объяснить, почему шерсть у него красная. Автору не везло на конкурсах дважды, если не больше.

В Париже некий аббатик, каких Вольтер знал много, «принадлежащий к тому сорту хлопотливых личностей, всегда веселых, всегда услужливых, беззастенчивых, ласковых, сговорчивых, которые заманивают приезжих иностранцев, рассказывают скандальные городские истории и предлагают развлечения на любую цену», ведет друзей в театр. Рядом с ними новую трагедию смотрят несколько остроумцев, что не мешает Кандиду плакать над превосходно поставленными сценами. Как выясняется из намеков, вложенных автором в замечания одного умника, раскритиковавшего и спектакль и пьесу, — это «Магомет» самого Вольтера.

Умник в антракте говорит герою:

«— Вы напрасно плачете, эта актриса весьма плоха, актер, который играет с ней, еще хуже, и пьеса еще хуже актеров. Автор не знает ни одного слова по-арабски, между тем действие происходит в Аравии, и, кроме того, этот человек не верит во врожденные идеи (Вольтер следовал Локку. — А. А.), я покажу вам завтра двадцать брошюр против него».

Все реально так же, как верна для того века справка, данная аббатиком: во французских театрах идут пять или шесть тысяч пьес, хороших из них — пятнадцать или шестнадцать.

К примеру, предместье Сен-Марсо, через которое они въехали в Париж, показалось Кандиду похожим на самую жалкую деревушку Вестфалии — Пруссии: очень точное наблюдение.

Легко угадываемыми намеками унижена чуть ли не

каждая строка: то упоминается, не называемая, очень плохая трагедия Томаса Корнеля, то речь идет о похоронах Монины — Адриенны Лекуврер. Умник, наговоривший столько дурного о «Магомете», «толстая свинья», назван прямо. Это враг Вольтера — критик Фрерон. И еще много подлинных имен: доктор теологии Гош, писатель-клерикал архидьякон Трюбле, знаменитая актриса Клерон... Упоминается война янсенистов с молинистами.

Удивительно точно показаны парижские нравы в эпизоде, добавленном в 1761 году. Кандид ужинает у дамы, которая выдает себя за маркизу до Паролиньяк.

Играют в «фараон»... Все увлечены игрой донельзя и не видят вновь пришедших. (Намек на карточную страсть Эмилии.) Но стоило Кандиду в две талии проиграть пятьдесят тысяч франков, чтобы его приняли за английского милорда. «Ужин такой же, как большинство ужинов в Париже, сперва молчание, потом невыносимый шум... шутки, большая часть которых несносна, ложные новости, глупые рассуждения, немного политики и много злословия, говорили даже о новых книгах». Вслед за тем мнимая маркиза приглашает Кандида к себе в кабинет и учит французской галантности, что приводит к его измене мадемуазель Кунигунде...

Но наряду с картиной нравов не только того времени, когда Вольтер жил в Париже, — и одиннадцатью годами позже они не изменились, — в этих главах очень много вечного, действительного для других городов, стран и эпох. Возьмем хотя бы преимущества — часто они же и накладные расходы — богатства. Громадный бриллиант на пальце Кандида и тяжелая шкатулка в его экипаже и в наши дни привели бы к нему, страдающему всего лишь легким недомоганием после дороги, не в одной Франции «двух врачей, которых никто не приглашал, несколько друзей, которые не покидали больного, двух сиделок, которые разогревали ему бульон». И все эти преувеличенные заботы не помогают, а мешают герою выздороветь.

«Вспоминаю, как я захворал в Париже во время моего первого путешествия. Я был очень беден, и поэтому у меня не было ни друзей, ни сиделок, ни докторов, и я все-таки выздоровел», — как точно это замечание Мартена для любого времени!

Так же живучи и аббаты (конечно, они могут быть и без рясы), и дамы, выдающие себя за маркиз и доби- вающиеся, чтобы бриллианты с пальцев соблазненных ими простаков перешли на их собственные в так назы- ваемом свободном мире. Увы, не вывелись там и фреро- ны (к самому Фрерону Вольтер, возможно, был и не вполне справедлив), и мало изменилось соотношение пло- хих и хороших пьес в репертуаре театров.

Он стремится в Венецию к Кунигунде. Так как авто- ру нельзя не коснуться Англии, у мнимого полицейского офицера, арестовавшего Кандида и Какамбо и выпустив- шего их за бриллианты, есть в Дьеппе брат, который сажает Кандида и Мартена на корабль, отплывающий в Портсмут.

Постоянное восхищение Вольтера английскими по- рядками на этот раз уступает место злой критике. Он сер- дит на страну, у которой «другой вид безумия», чем у Франции, но «эти две нации ведут войну за несколько сажен снегов в Канаде». Кроме того, автор не может простить англичанам казни неназванного адмирала Бинга, при которой присутствует Кандид и Мартен, и объяснение сути процесса тоже направлено против вой- ны и несправедливости.

Обозревая состояние мира, Вольтер не менее сатири- чески изображает и республику Венецию, где герои по- знакомились с ученым дворянином, синьором Пококуран- те. Выясняется, что, хотя республиканцам должны нра- виться свободно написанные произведения англичан, и хозяин согласен — «хорошо, когда пишут то, что дума- ют, это привилегия человека», — «в Италии пишут толь- ко то, чего не думают»... В библиотеке Пококуранте три тысячи театральных пьес: итальянских, испанских, фран- цузских, но он говорит, что среди них нет и трех дюжин хороших.

И снова скрытая автобиографичность. Пятеро коро- лей, среди них Станислав Лещинский, дали бедному Тео- дору по двадцать цехинов на платье и белье. Кандид дал ему алмаз и две тысячи цехинов, чем потряс монархов. Они сказали: «Кто же это такой?.. Этот простой человек в состоянии дать в сто раз больше, чем каждый из нас, и действительно дает».

Мне кажется, здесь Вольтер выразил гордость тем,

что он сам к тому времени был так богат и щедр, превосходя своим благополучием королей.

Остается напомнить, что верный и бескорыстный Кандид все-таки женился на Кунигунде, отнюдь уже не прекрасной, и страдал от ее сварливости... Панглосс больше сам не верил в то, чему учил... Мартен продолжал считать — человек рождается, чтобы жить в судорогах беспокойства или в летаргии скуки... И все они обращаются в «Заклучении» к знаменитому дервишу с вопросом: для чего создан человек? Дервиш возмущается, как они смеют спрашивать, и сравнивает людей с корабельными крысами, о которых не думает его величество, снаряжая корабль в Египет. Людям остается только молчать.

А кончается маленький роман — напомним — знаменитыми словами Кандида после встречи с турком, владельцем двадцати десятин: «Но надо возделывать свой сад».

Фраза (вывод, призыв) тоже автобиографична, много раз встречалась в письмах Вольтера предшествующих лет, приводилась. Он в буквальном смысле возделывал свой сад в Делис, потом в Ферне и советовал то же другим.

И многие понимали заключительную фразу Кандида именно так, буквально. Расширяли до переносного смысла любой работы. Не обязательно быть садовником или даже земледельцем, но просто трудись и не думай ни о чем! Якобы такой вывод сделали Кандид и сам автор из жизненного опыта героя.

На самом деле это вовсе не так. Норман Торри в блистательной статье «Сад Кандида» («Candide's Garden and the Lord's Uingard». Studies, выпуск XXVII, 1963) глубже всех, хотя и не первый, раскрыл истинный смысл фразы. И не к отказу от осмысления жизни, стремления ее переделать и улучшить пришел Вольтер. Не тягостное настроение автора, разочарование, депрессию выражает этот вывод, хотя именно в таком состоянии автор начал писать свой маленький и великий роман.

Торри справедливо настаивает на аллегорическом значении фразы. Ссылается на своих предшественников-вольтеристов, которые тоже считали — не к успокоению, возделыванию лишь собственного сада звал

автор «Кандида». Напротив! Уже Лансон и позже Мо-риц, Брейлсфорд, Хэвенс отметили — не случайной была бурная деятельность Вольтера сразу после того, как он закончил роман. И они правильно рассматривают не одну эту заключительную сентенцию, но всю книгу в целом как призыв к действенному сопротивлению злу, которого так много в мире. И в этом призыве, добавлю от себя, — более чем во всем ином — вечное значение «Кандида».

Маленький роман учит не объявлять дурное хорошим, не считать — человек рожден содрогаться в судорогах или погибать в летаргии скуки, не приравнивать людей к корабельным крысам, не смеющим рассуждать о воле высочайшего владельца корабля, то есть бога, но и не только возделывать свой сад в буквальном смысле.

«Ключ к парадоксу, — пишет Торри, — лежит, я думаю, в Вольтеровом пользовании сатирой и делаемом им очень осторожно различии между садом Кандида (или садом турка, который привел его к этому выводу. — *А. А.*) и господним виноградником — метафора, которая благодаря многочисленным повторениям, приобрела символическое значение».

Две метафоры, стоящие рядом, очень хорошо проиллюстрированы самим Вольтером в его корреспонденции и подтверждены его деятельностью начиная с Лиссабонского землетрясения и почти до конца жизни. Вторая метафора — «Раздавите Гадину!» — появится только в 1759-м, когда «Кандид» уже издан, в письмах автора, но она — рядом с первой. Трудиться в господнем винограднике, то есть для пользы человечества, для переделки мира, но и собственного усовершенствования, и значит раздавить Гадину, и наоборот. И самое главное — повторю еще и еще раз — Вольтер не ограничивается словами. То, что он сам возделывает, выращивает, строит, своего рода реализация метафоры. «Кандидом», и другими произведениями, и своими делами, борьбой, примером великий человек «возделывает», «выращивает», «строит» общественное сознание.

ГЛАВА 5

ГЕНЕРАЛ СВОЕЙ АРМИИ, ИЛИ ВОЛЬТЕР И „ЭНЦИКЛОПЕДИЯ“

Вольтер и Д'Аламбер, Вольтер и Дидро, Вольтер и Морелле — все французские просветители почти неизменно в письмах обращаются друг к другу «*философ*» или «брат», с добавлением разных эпитетов: «дорогой», «обожаемый», «прославленный», «знаменитый». Обращение подчеркивает принадлежность к одной партии или содружеству, поскольку списков, карточек, членских билетов у самых передовых умов Европы второй половины XVIII столетия не было. Связь определялась общностью взглядов, единством в борьбе с абсолютизмом, религией, нетерпимостью, враждебными направлениями философии, науки, искусства. Примечательно, что, не делая различия между мужчинами и женщинами, Вольтер и к подруге энциклопедиста Гримма мадам д'Эпине (Луизе Флоранс Петрониль Тардьо д'Эскавель д'Эпине) обращается тоже «мой прекрасный философ».

Связь скрепляла «Энциклопедию», или «Толковый словарь наук, искусств и ремесел». Редакторами этой «книги всех книг» и «арсенала» орудий, бывших по старому порядку, сперва были Дидро и Д'Аламбер. Затем, как ни парадоксально это звучит, когда из-за его же собственной статьи «Женева» в седьмом томе, вышедшем в ноябре 1757 года, последовало прямое запрещение издания, д'Аламбер с редакторского поста бежал.

Дидро один довел великое предприятие до конца. Десять остальных томов он с помощью верного шевалье де Жокура за шесть лет подпольно подготовил и выпустил *все сразу*, в 1765-м, под маркой швейцарского книгопродавца — Самуэля Фиша. В 1772-м вышли и одиннадцать томов таблиц и иллюстраций, составленные под его руководством и наблюдением. Дополнительные тома делались уже без его участия.

Раймон Нав (Raymond Naves) в книге «Voltaire et L'Encyclopedie» (Париж, 1938) утверждает: «Для Вольтера «Энциклопедия» никогда не была занятием первого плана, хотя с 1752-го по 1772-й найдется мало лет, когда он не уделял ей по меньшей мере некоторого внимания, чаще всего вкладывая и личный труд, много места она занимала и в его переписке». Нав не прав: с 1757 года Вольтер придавал изданию «Словаря» огромное значение. Придавал и прежде.

Впервые он упоминает об «Энциклопедии» в 1752-м, через год после выхода первого тома. Знал ли Вольтер о ней раньше? Если знал, то как встретил составленный Дидро «Проспект» и «Предварительное рассуждение» (две части его написал Д'Аламбер), предшествующие изданию первого тома? Почему д'Аламбер — он, а не Дидро, привлек Вольтера к сотрудничеству в «Словаре» — сделал это не сразу, и, казалось бы, такая естественная мысль не возникла у редакторов сначала? То, что духовный отец энциклопедистов уже в 1750-м уехал в Пруссию, мало что объясняет.

Между тем в «Предварительном рассуждении» Вольтер — в стиле гиперболической элоги, не называясь прямо, — именуется лишь автором «Генриады», но не упоминается как будущий сотрудник «Словаря».

Потом их на много лет свяжет дружба, в бестермановском издании вольтеровской корреспонденции переписка с д'Аламбером занимает огромное место, и оба делятся самыми важными и сокровенными мыслями. Но когда «Энциклопедия» зачинается, д'Аламбер еще считает «Историю Карла XII» и научные занятия Вольтера в Сире несерьезными. Да и Вольтер поначалу не слишком высоко ценит «Энциклопедию». Называет ее «компиляцией», а «для человека подлинно хорошего вкуса — это самая низкая ступень литературной иерархии». Таково его отношение к энциклопедиям вообще, сложившееся много раньше. Исключение он делал только для своего учителя Пьера Бейля, назвав автора «Исторического и критического словаря» «самым глубоким диалектиком из всех писавших словари, почти единственным компилятором, имевшим вкус». Правда, это было сказано еще в 1737 году.

Раймон Нав утверждает — и потом среди энциклопедистов у Вольтера почти не было личных друзей, мало

с кем из них его связывали близкие отношения. Кроме д'Аламбера, он якобы был близок только с Морелле и сравнительно мало известным графом де Трессен, хотя переписывался с Беанзо, Бургала, Десманом. И это не точно, особенно если взять большой отрезок времени. Уже в 1760-м Вольтер в письме мадам д'Эпине спрашивает не только, что она делает, что говорит, где веселится, но и правда ли, что барон Гольбах вернется из Италии через Делис. И дальше — «Это будет большим утешением для меня...». Пусть автор галантно объясняет, что нуждается в Гольбахе для того, чтобы иметь возможность побеседовать о ней, конечно, барон интересен Вольтеру и сам по себе. В том же письме есть упоминание и о Гримме.

В 1765-м он пишет д'Аламберу, что ждет к себе Гельвеция и надеется, что тот будет хорошо принят. Встречались с философом, гащивали у «фернейского патриарха» и Мармонтель и другие энциклопедисты. В последние годы жизни Вольтер был особенно близок с Кондорсе, принадлежавшим к их младшему поколению. Не случайно тот стал его первым биографом.

Но, как ни странно это звучит, если знаешь, что Вольтер остался верен «Энциклопедии», когда решалась ее судьба, и потом необычайно высоко ценил Дидро, они не были лично знакомы. Встретились впервые уже незадолго до смерти «фернейского патриарха», когда тот в 1778-м последний раз приехал в Париж. А до тех пор лишь переписывались, и поначалу не слишком деятельно. Почему-то знакомство не состоялось и когда Дидро посетил спектакль на улице Траверзьер.

Тому, что они так поздно лично встретились, были весьма уважительные внешние причины. В 40-х годах среда будущих энциклопедистов была Вольтеру чуждой. Мы знаем, чем тогда кончилось его сотрудничество с Руссо. В 1746-м д'Аламбер подарил ему свою книгу, но они были едва знакомы. Затем Вольтер около сорока лет не жил в Париже, а Дидро, напротив, был к Парижу прикован «Энциклопедией». Да если бы и не это, неприязнь его к Фридриху II была так велика, что, и отправившись в Санкт-Петербург, он нарочно объехал Берлин.

Перевести издание «Энциклопедии» в столицу Прус-

сии в то время, о котором идет речь, — год 1758—1759-й и позже, в 1762-м, о чем хлопотал Вольтер, — он отказался по той же причине и считая, что это было бы проявлением страха перед врагами. Представить его себе участником знаменитых потсдамских ужинов невозможно. Дидро придворным никогда не был, деспотов просвещенных и непросвещенных равно ненавидел, много позже, в 1773-м, обманувшись лишь в Екатерине II. Надеялся, что императрица учредит в России республику сверху, освободит крепостных, позаботится о рабочих и ремесленниках, и то, побывав в Петербурге, быстро понял свою ошибку.

Посетить Вольтера в Делис, Лозанне, Монрепо, Турне и Ферне из-за той же занятости «Энциклопедией» он опять-таки не мог, может быть, и не слишком стремился.

Что же касается Вольтера, тот был этим явно огорчен, жаловался другим, но самому Дидро прямо своей обиды не высказывал и, лишь когда последний собирался в Россию, написал ему: «Большое несчастье для меня, что Ферне не лежит на Вашем пути к Екатерине».

И еще много раньше, 24 мая 1758 года, в письме своему главному наперснику, графу д'Аржанталю: «Можно ему простить некоторые резкости за руководство «Энциклопедией», оказывающей такое влияние на парижское общественное мнение».

Но как литератору он тогда отдает явное предпочтение д'Аламберу. Это мы знаем из письма гостившей как раз в 1758 году в Делис мадам д'Эпине Гримму: «Месье Дидро не ценится здесь так, как он этого заслуживает. Когда речь заходит об «Энциклопедии», говорят только о д'Аламбере. Вольтер считает Дидро литератором второго ранга. Сочувствует тому, что тот как редактор получает такое маленькое вознаграждение, всего 3000 ливров, но при этом добавляет: «Если б д'Аламбер захотел, он мог бы получать 20000». Вступает в силу тот же критерий вкуса, еще очень важный для Вольтера.

А для Дидро тогда Вольтер как писатель был *прошлым*. Он знал его только по трагедиям, «Генриаде», и преклонялся перед отцом французского Просвещения лишь как перед носителем новых философских и политических идей. Большое влияние на молодого Дидро имели «Философические письма», зародив такое же восхищение английской свободой. Позже то, что «фернейский патри-

арх» предпринимает для дела Каласа, вызывает в Дидро прямо-таки энтузиазм. «Прекрасное употребление гения», — пишет он Софи Волан 8 августа 1762 года. Но не выражает должной благодарности за хлопоты Вольтера о том, чтобы его в 1760-м приняли в Академию, а издание «Энциклопедии» в 1762-м было перенесено в Петербург, раньше — в Берлин. Мало того, раздражается следующей резкой тирадой в письме Софи Волан 10 ноября 1760-го: «Какой черт просит его вмешиваться в мои дела?» Считает, что это вмешательство «носит характер неприятный и даже вредный...».

Переписка Вольтера с Дидро, и когда стала более частой, и в ней согласия было уже много больше, чем разногласий, не приобрела такого интимного и влюбленного характера, как переписка с д'Аламбером.

Личной дружбы между ними так и не возникло. И когда Дидро все больше и больше понимал величие Вольтера и его роль в их общем деле, он, вероятно, мог бы написать так, как Grimm — мадам д'Эпине: «Надо стараться быть с ним (Вольтером. — А. А.) в хороших отношениях. Это человек самый обольстительный, самый приятный и самый знаменитый во всей Европе... Пока вы не становитесь его близким другом, все идет прекрасно...» Это не слишком справедливо. Вольтер умел быть превосходным другом, и у него было много близких друзей: д'Аржантали, Сидевиль, легкомысленный и неверный Тьерьо, отнюдь не совершенство — герцог Ришелье, Троншены... Список очень легко продолжить и увеличить.

Тем не менее и не связанные личной дружбой, и во многом очень разные Вольтер и Дидро принадлежали к партии философов. В нее входили также Гольбах, Гельвеций, Grimm, Морелле, аббат Рейналь, другие просветители, энциклопедисты. И главой партии был Вольтер.

Уже начиная с переезда в Делис и особенно в Ферне он придавал огромное значение единству партии и сердился на могущие повредить ей разногласия. 7 сентября 1764 года писал Дамилавиллю: «Наши философы должны чувствовать, что проводят жизнь среди лис и тигров, и, не понимая этого, не в состоянии объединиться и держаться сплоченно». Призывами к сплоченности философов пестрят его письма разных лет и разным корреспон-

дентам. Иной вопрос, что ему самому нередко приходится лавировать и быть обходительным с «лисами» и «тиграми», но не из малодушия и неразборчивости, а лишь в интересах *дела*.

Пренебрежение Вольтера к «Энциклопедии» много раньше и очень быстро сменилось симпатией и уважением, хотя и потом отношения со «Словарем» складывались неровно. Полученные Вольтером в Берлине сперва первый, а потом и второй тома его заинтересовали, хотя и не полностью удовлетворили. Уже тогда он поделился с Фридрихом II идеей собственного портативного «Философского словаря», реализованной много позже. Замысел был полемически заострен против «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера. В его словаре должна была быть не сумма человеческих знаний, но лишь самые главные вопросы и философское их объяснение.

Примечательно, что первые статьи для «Энциклопедии» д'Аламбер заказал ему в 1754-м, лишь для пятого тома, и тогда же началась переписка редактора с автором. Среди этих статей были малозначительные, проходные, как «Evidence» («Очевидность»), «Eloquence» («Красноречие»), но и очень серьезные, ключевые, как знаменитые «Esprit» («Ум»), «Education» («Воспитание»), поражающие и мыслями и эрудицией.

Постоянным сотрудником «Энциклопедии» Вольтер становится лишь с 1755-го. Но он тогда поглощен устройством Делис, своим театром и довольно равнодушен к тому, что происходит в Париже, в том числе и к сражениям энциклопедистов с их противниками. Характерно, что в ответе на книгу Руссо «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» — он занят и этой полемикой — Вольтер, перейдя от защиты науки и искусства к «Энциклопедии», пишет еще: *«Ваши друзья»* из «Словаря», а не *«наши друзья»*.

И тем не менее Вольтер уже назван в «Уведомлении о наших авторах», д'Аламбер заказывает ему новую серию статей на следующие за буквой «Е» букву «F» и букву «G», среди последних очень значительная — «Gout» («Вкус»).

Заказана и еще одна из самых важных для автора и для «Словаря» статья — «Historie» («История»), которая

il marque , à ce que disent les écrivains de l'art héraldique , la sévérité , &c.

GOUT, f. m. (*Physiolog*) en grec , γεῦσις, en latin , *gustus* ; c'est ce sens admirable par lequel on discerne les saveurs , & dont la langue est le principal organe.

Du goût en général. Le goût examiné superficiellement paroît être une sensation particulière à la bouche , & différente de la faim & de la soif ; mais allez à la source , & vous verrez que cet organe qui dans la bouche me fait goûter un mets , est le même qui dans cette même bouche , dans l'œsophage & dans l'estomac , me sollicite pour les alimens , & me les fait désirer. Ces trois parties ne sont proprement qu'une organe continu , & ils n'ont qu'un seul & même objet : si la bouche nous donne de l'aversion pour un ragoût , le gosier ne se resserre-t-il pas à l'approche d'un mets qui lui déplaît ? L'estomac ne rejette-t-il pas ceux qui lui répugnent ? La faim , la soif , & le goût sont donc trois effets du mê-

Страница «Энциклопедии» с началом статьи Вольтера «Вкус».

будет напечатана позже, когда самого д'Аламбера на редакторском посту уже не будет.

Примечательно, что в 1755 или 1756 году Вольтер однажды удивленно заметил, что переписывается с ним один д'Аламбер, все заказы поступают от него. Дидро как бы отсутствует. Но уже в 1757-м последний привлечет его особое внимание своей драмой «Побочный сын». И главное, Вольтер не знает, но это так: без «невидимки» Дидро он не попал бы в «Уведомление о наших авторах».

Еще одну, самую важную, причину того, что он не сразу стал не только постоянным сотрудником «Энциклопедии», но не стал и одним из ее редакторов, раскрывает сам Вольтер уже в 1770 году. В письме д'Аламберу от 31 января читаем: «Я не страдал оттого, что мое имя

не стояло перед Вашим и месье Дидро в работе, которая так влекла вас обоих. Я тогда же заявил, что мое имя принесет труду больше вреда, чем пользы, и разбудит врагов, которые рассчитывают увидеть слишком много свободы в статьях самых умеренных. Я заявил, что нужно вычеркнуть мое имя в интересах самого предприятия. Я заявил, наконец, что если мои продолжающиеся страдания (очевидно, имелись в виду болезни. — А. А.) позволят мне развлекаться работой, я буду писать в другом роде, который, может быть, не сравнится серьезностью с «Энциклопедическим словарем»... Лучше мне быть *панегристом* этого труда, чем его сотрудником. И мое последнее заявление — «если предприниматели (то есть Дидро и д'Аламбер. — А. А.) захотят включить в труд несколько моих статей — они абсолютные хозяева».

Вот истинный ответ на вопросы, поставленные выше, — знал ли Вольтер уже о замысле «Энциклопедии», как отнесся к нему, почему не был сразу привлечен. У нас есть все основания полностью доверять его собственному свидетельству, тем более что оно — в письме д'Аламберу, который знал все это уже в 1751-м...

Словом, ситуация была подобной той, которая хорошо известна нам из биографий Пушкина и Грибоедова и истории декабристов. Обоих не приняли в члены тайного общества прежде всего потому, что они были ранее скомпрометированы в глазах царя и правительства и навлекли бы опасность на самое дело. И уже только второй причиной явилось то, что их берегли.

И тем не менее все факты, касающиеся отношения д'Аламбера и Дидро к Вольтеру и Вольтера к энциклопедиям вообще как компиляциям тоже верны, хотя и далеко не однозначны.

Именно споры из-за дальнейшей судьбы «Энциклопедии» сблизят Вольтера и Дидро. Оба окажутся куда радикальнее и смелее д'Аламбера, хотя он и произносит в свою защиту немало якобы вольнолюбивых и непримиримых тирад.

Вернемся, однако, к статье «Женева». Она была написана после того, как автор в 1756-м гостил в Делис и оттуда несколько раз ездил в Женеву. К собственным впечатлениям д'Аламбера прибавлялись еще два очень

les devions qu'à leur ignorance. (e)

* GENETYLLIDES, f. f. pl. (*Myth.*) Pausanias qui a parlé seul de ces divinités, se contente de nous apprendre que c'étoient des déesses qui avoient des statues dans le temple de la Vénus Colliade.

GENÈVE, (*Hist. & Politiq.*) Cette ville est située sur deux collines, à l'endroit où finit le lac qui porte aujourd'hui son nom, & qu'on appelloit autrefois *lac Leman*. La situation en est très-agréable; on voit d'un côté le lac, de l'autre le Rhone, aux environs une campagne riante, des côteaux couverts de maisons de campagne le long du lac, & à quelques lieues les sommets toujours glacés des Alpes, qui paroissent des montagnes d'argent lorsqu'ils sont éclairés par le soleil dans les beaux jours. Le port de Genève sur le lac avec des jettées, ses barques, ses marchés, &c. & sa position
entre

Страница седьмого тома «Энциклопедии» с началом статьи д'Аламбера «Женева».

ценных источника информации и идей — записка о политической конституции Женевы, написанная по его просьбе профессором, пастором Верне, и сам Вольтер. Пока последний своими соседями еще очень доволен. Здесь республика, здесь добродетель, и, как ему кажется, терпимость, и приверженность к «современной» — просветительской — философии.

Вольтер крайне заинтересован в том, чтобы такая статья, задуманная, вне сомнения, с его участием, была написана и напечатана. Многие их наблюдения над жизнью Женевы совпадают, и удивительное согласие во мнениях, взглядах обоих. Если некогда он признавал д'Аламбера лишь как математика, астронома, теперь тот его *собрать-философ*.

Так же, как, впервые приехав в Женеву, поступил Вольтер, и д'Аламбер знакомится с кальвинистскими пасторами и находит, что отличия их вероисповедания от католицизма — неверие в божественность Христа, в таинства и вечные мучения — сочетаются с достойной преданностью простотой, нравственной чистотой и терпимостью этих священников.

Так он написал в статье; и в каждой фразе его похвал женеvским пасторам легко угадывались осуждение мракобесия, нетерпимости, жестокосердия отечественного духовенства, неприязнь к нему. Причем это противопоставление и явное предпочтение, отдаваемое автором служителям протестантской веры, задевало в равной мере иезуитов и янсенистов, сановников католической церкви и ее «низших чинов», ветреных аббатов и маскирующихся ханжеством распутных прелатов.

Конечно, все они были крайне озлоблены, прочтя, что женеvские пасторы нравственны на деле, а не на словах, не расходуют времени на яростные споры о том, чего нельзя объяснить и доказать, и не загромождают суды непристойными и вздорными тяжбами. Не меньшее преступление автора — восхваление женеvской консистории за то, что не вмешивается в дела, ее компетенции не подлежащие, и первая подает пример покорности законам и судьям. Нетрудно было понять: эта похвала — удар по парижскому духовенству — оно постоянно занималось мирскими делами — и по Парижскому парламенту, который это терпел. То же самое происходило и в других французских городах и округах.

Удар достиг цели и должен был быть отражен. Разве могли католические ханжи примириться хотя бы с таким рассуждением: «Ад, являющийся одной из опор нашей веры, перестал быть таковым для многих женеvских пасторов. По их мнению, люди оскорбили бы бога, допустив, что высшее существо, исполненное справедливости и благости, способно наказывать людей за их прегрешения вечными мучениями. Руководствуясь здравым смыслом, эти пасторы истолковывают те места священного писания, которые противоречат их мнениям, доказывая — не должно понимать буквально то, что оскорбляет человеческое достоинство и разум»?!. Ведь это было прямым выпадом против важнейшей догмы католической церкви, ее нетерпимости, и проповедью терпимости и мягкосердия.

Статья д'Аламбера посягала на сам католицизм и на чудовищные деяния его служителей и мирских правителей. Ад небесный автор толковал как земной ад. Вольтер, много раз перечитав статью в рукописи, отнесся к ней с восторгом. Он думал так же и уже давно. 24 мая 1757 года написал д'Аламберу: «Здесьний (то есть земной. — А. А.) мир — это сплошной ад».

Земное толкование ада автором «Женевы» прекрасно поняли апостолы нетерпимости. Вероятно, поэтому и духовные и светские власти Франции больше всего и ополчились на автора.

Вольтер же был счастлив обнаружить в одном из редакторов и главных авторов «Энциклопедии» «действенный и воинствующий *антихристианизм*». Я подчеркнула это слово, потому что бившая словно бы по католикам статья задела и протестантов. Женевские пасторы оказались крайне недовольны тем, что д'Аламбер причислил их к социнианам. А тут еще вмешалась защита «порождения дьявола» — театра.

Не говоря уже о Руссо, и среди последовательных энциклопедистов нашлись противники статьи. Гримм, например, назвал ее неуместной и слишком смелой. Вероятно, он считал так потому, что новые преследования «Энциклопедии» и запрещение ее были вызваны и книгой Гельвеция «Об уме», сожженной на костре благодаря стараниям прокурора Омера Жоли де Флери, хотя автор в «Словаре» и не сотрудничал. Без всяких доказательств Дидро обвиняли в соавторстве с Гельвецием и, ополчившись больше всего на него, рассчитались с «Энциклопедией».

В воздухе слишком пахло жареным. Прежде, живя далеко от Парижа и не нуждаясь в привилегиях для издания своих сочинений, Вольтер недостаточно представлял себе, как должны были лавировать, а порой идти и на уступки те, кто выпускал пока еще подцензурную «Энциклопедию» в самой французской столице. Услышав об их мучениях и уловках, о преследованиях, которым «Словарь» и его редакторы подвергались, от своего гостя д'Аламбера, он, как только статья «Женева» была написана, стал сомневаться, что подобное сочинение разрешат напечатать.

Однако, считая главным отделом «Энциклопедии» теологию и метафизику или философию, где до сих пор деятельно сотрудничали Ивон и Прад, но с последним недавно произошла очень шумная история, Вольтер предлагает д'Аламберу, пока он в Швейцарии, заказать для этого отдела несколько статей новым авторам. Разумеется, теологию Вольтер хочет сделать лишь камуфляжем для просветительской философии. Идеалом было бы найти среди вольнолюбиво настроенных женеvских пасторов человека доброй воли, который захотел бы сотрудничать в «Энциклопедии». Точно не установлено, кого именно он предлагал д'Аламберу, но вполне вероятно — того же Верне.

Во время своего пребывания в Делис д'Аламбер заказывает самому Вольтеру ряд новых статей для VII тома, который выйдет через год и вызовет такую бурю. Часть из них существенна, другая — нет. Это «Galant» («Галантный, или любезный»), «Gazette» («Газета»), «Généreux» («Благородный»), «Genre ou style» («Жанр или стиль»), «Genres de belles-lettres» («Жанры литературы»), «Grace et gracieux» («Милосердие и милосердный»), «Gravité» («Серьезность»). Сам хозяин предлагает статьи, бесспорно значительные по теме, открывающие большие возможности для пропаганды их идей: L'Idée («Идея»), особенно «L'idole, idolatre, l'idolatrie» («Идол, идольское, идолопоклонство...»).

Примечательно, что Вольтер уже тогда, в конце 1756-го, предвидит возможность запрещения «Энциклопедии» и дает д'Аламберу советы: на этот случай составить план последующих томов и сейчас раздать заказы сотрудникам издания, чтобы наверняка обеспечить статьи, не для одного отдела теологии, но и для других.

Отзвуки шума из-за «Женеvы» пришли в Женеву раньше, чем самый VII том. Разгорелся скандал и здесь, особенно из-за места о пасторах. Еще не прочтя статьи, они уже знали, что под окраской эклоги были объявлены сочинениями и действиями. Вольтер, сторонник и вдохновитель статьи, делал все, чтобы пасторов успокоить, тем более что был заинтересован и в защите театрального искусства, и своего домашнего театра в Делис. Он употреблял весь свой дипломатический талант, играя двойную игру, но безуспешно.

Что же касается судьбы «Энциклопедии», Вольтер

сразу за сопротивление преследованиям и продолжение издания, хотя потом будут и непродолжительные колебания. Он — на стороне Дидро, а не д'Аламбера. Личные отношения отступают перед общностью позиции в борьбе за дело партии философов. В январе 1758-го Вольтер проявляет максимальное упорство в борьбе за сохранение «Энциклопедии».

Сперва он решительно осуждает пасквиль на энциклопедистов «Каконаки» — с тех пор враги стали их так называть.

Затем, после долгого молчания своего постоянного корреспондента д'Аламбера, Вольтер первый пишет Дидро, с которым до тех пор — напоминая — обменивался письмами редко и больше из вежливости. На этот раз письмо очень значительно, содержит призыв к борьбе: она должна быть направлена против главных противников «Энциклопедии» — иезуитов.

«Новые Гарассы (Garasse — реакционный писака XVII столетия. — А. А.) должны быть у позорного столба. Сообщите мне — я Вас прошу — имена этих несчастных! Я воздам им согласно достоинствам в первом издании «Всеобщей истории» и в статье, которую готовлю для «Словаря».

Вольтер еще точно не знает об уходе д'Аламбера из «Энциклопедии», его письмо к женевским пасторам с отказом от своих слов о них. Поэтому, не получив ответа на первое, шлет Дидро второе письмо, чтобы тот укрепил дух товарища, помешал ему уйти на покой, сбегать. «Крайне важно, чтобы месье д'Аламбер продолжал Вам помогать». Тон этого письма более решительный, чем первого, — это воинствующая пропагандистская листовка, это боевой приказ. Вольтер теперь уже, бесспорно, главнокомандующий своей духовной армии, глава своей партии.

Он отдает и второе распоряжение Дидро: «Надо произвести суд над Гарассами», — и объясняет: «Это касается великой революции человеческого духа, и это Ваша главная обязанность, месье!»

Сам он приехать в Париж не может и командует боевыми действиями отсюда. Но делает все, чтобы до мельчайших подробностей знать, что там происходит, Дидро так занят, так поглощен борьбой, что не находит времени ответить Вольтеру. Тот жалуется на эту «не-

вежливость», эту «грубость» виновному в гораздо более серьезном преступлении д'Аламберу. Пишет ему 23 февраля 1758 года: «Не подражайте ленивому (? — А. А.). Дидро, уделите полчаса, чтобы поставить меня в курс дела!» Просит его ответить, продолжается ли «Энциклопедия». Как он сам, изменился ли под ударами фанатиков или достаточно силен, чтобы продолжать говорить опасную правду? И спрашивает, правда ли, что Дидро за двенадцать лет работы получил всего 25 тысяч франков (на самом деле, как мы знаем из письма последнего Гримму, он получал хотя и немного, но больше — 2,5 тысячи за том. — А. А.). Цель этого письма явно воспитательная. Вольтер хочет удержать адресата в боевой готовности, укрепить в нем уважение к Дидро и желание продолжать работу. Он спрашивает д'Аламбера, видит ли тот Гельвеция, кто автор фарса против философов. (Речь идет о комедии Палиссо «Философы».)

Через три дня приходит ответ Дидро. Он содержит обвинительный акт д'Аламберу и горькую жалобу на его измену: «Оставить наше дело — это значит повернуться спиной к бреши, пробитой противниками... Я не пренебрегу ничем, чтобы его вернуть. Я не забуду ему этого поступка. У меня нет Ваших статей, они у д'Аламбера, и Вам это хорошо известно».

А Вольтер в тот же день, не зная, разумеется, что через несколько часов получит ответ Дидро, жалуется д'Аржанталю на то, что, когда он писал королю прусскому или аббату Бертье о вещах менее важных, те достаивали его ответом. Но, несмотря на горькую обиду, Вольтер тут же расправляется с планом д'Аламбера — уйти всем вместе, заставить публику ждать их и по общей просьбе устроить триумфальную сцену возвращения. Обида не мешает ему в том же письме д'Аржанталю, еще не получив ответа Дидро, назвать его великим человеком и выразить уверенность, что маркиза де Помпадур должна выхлопотать ему пенсию: «Я люблю месье Дидро. Я его уважаю, и я на него сержусь».

Правда, еще не раз в 1758-м он с излишним пристрастием к политесу и вспыльчивостью выражал свое негодование неаккуратностью Дидро как корреспондента и делал из нее неверные выводы: «Человек, который способен два месяца не отвечать на письма, да еще такие

важные, способен ли вести такое дело?» («Энциклопедию». — А. А.) и жаловался: «От Дидро легче получить книгу, чем письмо».

Тому было тогда так трудно и так плохо, что не стоило обижаться на задержку с ответом.

Тогда же, однако, глава партии философов, генерал духовной армии просветителей гораздо больше сердит на д'Аламбера, которому еще 19 января (все происходит с месячной примерно дистанцией) отправил письмо с подробными наставлениями, как продолжать борьбу: прямо адресоваться к правительству, к Мальзербу — начальнику управления по делам печати, добиться сохранения привилегии.

И тут вмешалась случайность, вызвавшая кратковременные колебания Вольтера. Ответа от Дидро даже на первое письмо еще не было, а от д'Аламбера письма пришли. Он точно описывает преследования, которым подвергается «Энциклопедия», объясняя причины своего дезертирства в письме от 20 января: «Я измучен оскорблениями и придираками всякого рода, которые навлекло на нас это предприятие. Злобные и гнусные пасквили, которые печатаются... не только дозволяются, но и одобряются, поощряются и даже заказываются теми, в чьих руках власть. Проповеди, или, вернее сказать, удары в набат, раздающиеся против нас в Версале в присутствии короля, без протеста с чьей-либо стороны, новые невыносимые притеснения, налагаемые на «Энциклопедию», с назначением таких новых цензоров, которые еще более несговорчивы и предъявляют еще более нелепые претензии... Все эти причины вместе с некоторыми другими вынуждают меня навсегда отказаться от данного предприятия...»

Затем выясняется, что имеется в виду под «некоторыми другими», — декрет о запрещении «Энциклопедии» после выхода седьмого тома, а если бы и удалось добиться отмены декрета, разве бесчисленные препятствия и нападки не сделали бы, по мнению д'Аламбера, продолжение издания невозможным? Кроме того, он до смерти напуган, боится попасть в Бастилию.

Вольтер сперва уговаривает его не отступать, не оставлять редакторский пост. Но случается и момент,

когда он соглашается с доводами своего младшего друга, что «философы покрыли бы себя позором, если бы преклонили головы перед унижительным игом министров, духовенства, полиции». В споре о том, продолжать ли «Энциклопедию», Д'Аламбер высказывает и такое, по видимости благородное, основание, прикрывая свое бегство требованием вообще прекратить издание.

Тогда Вольтер написал Дидро: «Прежде всего нужно смотреть в глаза противнику; было бы просто отвратительным слабодушием продолжать дело после ухода д'Аламбера, было бы просто нелепо, если бы такой гениальный человек, как вы, сделал из себя жертву книгопродавцев и фанатиков. Разве этот «Словарь», в сто раз более полезный, чем «Словарь» Бейля (в его устах это оценка более чем высокая. — А. А.), может стеснять себя всякими предрассудками, которые он должен уничтожать?! Разве можно вступать в сделку с негодьями, которые никогда не выполняют того, что условлено?»

Он оказался прав в одном: книгопродавец и издатель Лебретон, хотя и продолжал вместе с компаньонами дело и после запрещения, жестоко обманул Дидро, изуродовав многие статьи, и тот обнаружил преступление, когда ничего нельзя было уже исправить. Но зато, как он быстро понял сам, Вольтер оказался не прав насчет стеснения предрассудками. «Энциклопедия» уже одного Дидро, без участия д'Аламбера, боролась со старым порядком и религией с еще большей энергией.

И это письмо Вольтера, однако, заканчивается двумя фразами, словно бы не имеющими отношения к предмету и даже противоречащими тому, что сказано выше, но тем более важными: «Разве в такой век, как наш, преследователи философии могут не возвышать свой голос против разума? Человечество находится накануне великого переворота, и этим оно обязано прежде всего Вам».

Дидро не поколебало и мнение учителя, но произвело на него большое впечатление. Он упоминает об этом письме Вольтера в письмах к своей подруге Софи Волан дважды — 11 и 20 января 1758-го — и вспоминает о нем чуть ли не через два года — 11 октября 1760-го.

В Швейцарию Вольтеру приходит наконец письмо Дидро от 19 февраля 1758 года: «Оставить. «Энциклопедию» значило бы покинуть поле битвы и поступить так, как желают преследующие нас негодяи. Если бы Вы

знали, с какой радостью они встретили весть об удалении д'Аламбера! Что же остается нам делать? То, что прилично мужественным людям, — презирать наших врагов, бороться с ними... Разве мы недостаточно отомстим за себя, если уговорим д'Аламбера снова приняться за дело и довести это дело до конца?»

Д'Аламбера уговорить не удалось. Тянулось это препирательство долго. Уже в конце апреля 1759-го у Лебретона собрались пообедать, а затем обсудить дальнейшую судьбу «Энциклопедии» барон Гольбах, шевалье де Жоккур, д'Аламбер, Дидро и остальные.

Д'Аламбер не только не уступил — кричал, сердился, противоречил самому себе, но и ушел до конца совещания. Остальные семеро обсудили положение во всех подробностях и пришли к выводу, о котором Дидро писал 1 мая 1759 года Гримму: «Подбадривая друг друга, мы приняли определенные решения, поклявшись довести издание до конца... составлять дальнейшие тома с той же свободой, с какой составлялись предыдущие, и в случае необходимости перевести печатание в Голландию».

Не убедив своего соредатора, Дидро убеждает Вольтера. Тот уже раз навсегда решает, что издание «Энциклопедии» ни прекращать, ни прерывать нельзя, но все-таки, желая сохранить и д'Аламбера, с присущей ему практической изобретательностью, как мы уже знаем, вносит предложение перенести издание в Пруссию, то есть обезопасить его и тем самым примирить редакторов, и не просто предлагает, но, пользуясь своими связями, и хлопочет.

Дидро, как ему ни трудно, отказывается и от такого компромисса.

Теперь Дидро не раз требовалось напоминать авторам, что нужно вовремя сдать ту или иную статью. Недаром 5 июня 1759-го он жаловался в письме тому же Гримму: «Мне приходится тащить за собой паралитиков».

Напоминать приходилось и Вольтеру, но он остался верен и нелегально издававшейся «Энциклопедии». Еще до исторического решения, принятого у Лебретона в апреле 1759-го, старик уже 26 июля 1758-го пишет Дидро: «Вы не представляете, месье, какое удовольствие

мне доставляет класть один, другой камешек в Вашу великолепную пирамиду. Очень жаль, что обо всем, касающемся метафизики и истории, нельзя иной раз говорить правду».

Итак, он продолжал писать для следующих за седьмым томов «Словаря». Хотя 29 декабря 1759-го и просил Дидро уволить его от статьи «История», но все-таки ее написал, и она была напечатана так же, как «Идол и идолопоклонство», «Историография», говоря всю возможную правду об истории и метафизике, теологии.

Постепенно Вольтер поймет до конца, какой мелочью по сравнению с тем, что делал Дидро, была неаккуратность в ответах на письма и чем она была вызвана, и напишет ему 10 октября 1760-го: «Я имел бесспорно слабые основания жаловаться на Ваше молчание, поскольку Ваше время было занято подготовкой девяти томов «Энциклопедии». Это невероятно. На свете нет никого, кроме Вас, способного на такое напряжение, Вам помогают Ваши достоинства... Вы знаете, с каким энтузиазмом ждут Ваших определений и примеров. ...Но сколько восхитительных статей! Цветы и фрукты соответствуют препятствиям, через которые Вы проходите под колючей проволокой... Преследующая Вас Гадина только способствует Вашей славе. Пусть Вашей славе всегда сопутствует удача, и пусть Ваш огромный труд не отразится дурно на Вашем здоровье! Я смотрю на Вас, как на человека, необходимого всему миру не для того, чтобы декларировать, но чтобы раздавить фанатиков и лицемерие, со множеством ресурсов, которыми Вы владеете...»

Письмо кончается так: «Прощайте. Я Вас люблю, я Вам кланяюсь, я Вам обязан до конца моей жизни».

А Раймон Нав утверждает, что Вольтер всегда был с Дидро холоден.

Когда в 1762-м, едва вступив на престол, Екатерина II предложила Дидро перенести издание «Энциклопедии» в Ригу или какой-либо иной город ее империи, заверяя, что там «Словарь» встретит поддержку против всех демаршей, суля его редактору «свободу, покровительство, славу, чины — словом, все, что могло соблазнить людей, недовольных своим отечеством и мало привязанных к друзьям, и уехать» (письмо к Софи Волап), Вольтер ликовал и настоятельно советовал принять приглашение. Он был по-прежнему очень озабочен судьбой

«Энциклопедии» и, сочувствуя Дидро — тому было очень трудно, — 25 сентября 1762 года писал ему: «Ну, прославленный философ, что скажете Вы об императрице России? Не находите ли Вы, что ее предложение самая веская пощечина, которую можно отпустить Омеру?»

Дидро не мог поколебать и авторитет Вольтера. На этот раз его ответ пришел очень быстро: «Нет, мой дорогой и очень знаменитый брат, мы ни в Берлине, ни в Петербурге не будем кончать «Энциклопедию»... Наш девиз — никакой пощады суверенам, фанатикам, невеждам, сумасшедшим, тиранам, и я надеюсь, Вы к нему присоединитесь».

И Вольтер, хотя и был тогда весьма расположен к «Северной Семирамиде», больше его не уговаривал и в значительной степени к «нашему девизу» присоединился.

Отношения их, действительно далекие сначала, когда Дидро был для Вольтера человеком таинственным, словно бы другой расы, и он не одобрял недостойной истинного философа работы компилятора и того, что тот «раб издателей», все улучшаются и улучшаются. Теперь уже, если на письмо долго нет ответа, Вольтер пользуется посредничеством д'Аржанталея или общего «почтальона» просветителей Дамилавиля. Дидро становится для него «братом Платоном», а Платона он высоко ценил; д'Аламбер же, несмотря на большую личную симпатию, был всего лишь «братом Протетажиусом».

А как Вольтер радуется, когда Екатерина II покупает у Дидро его библиотеку, оставив ее в пожизненное пользование хозяину и выплачивая большое жалованье ему как своему библиотекарю. Теперь у его дочери есть приданое, и сам он обеспечен и, значит, еще больше независим!

Принадлежность обоих к партии философов и все большая общность позиции определили и известное единство их эстетических взглядов. Конечно, было между ними и немало разногласий, но единство много важнее. В размежевании классовых сил в литературной борьбе XVIII века Вольтер и Дидро — единомышленники и союзники. Противники Просвещения одинаково враждебно относятся и к классицистическим по форме трагедиям Вольтера и к мещанским или слезливым драмам Дидро.

Для них не составляет разницы, нарядили ли Талию в философский креп или вовсе изгнали ее.

Потому-то, противостоя этим нападкам и, в свою очередь, наступая, Вольтер перестал ощущать Дидро отсутствующим, когда появился «Побочный сын». Хотя слезливые бытовые драмы Дидро и не нравились и не могли нравиться Вольтеру, он при посредстве друзей добивается их постановки на сцене, искренне радуется успеху «Отца семейства», расценивая его как победу Просвещения над мракобесием и фанатизмом. «Мне представляется очень важным, чтобы пьеса имела успех, — писал он еще раньше. — Это ободрит публику, откроет двери Дидро в Академию, заставит замолчать фанатиков и плутов. Да будут благословенны наши братья!» (письмо мадам д'Эпине 23 февраля 1761 года). Сам Дидро тоже рассматривал успех своего «Отца семейства» в первую очередь как общую победу партии философов (письмо Вольтеру 26 февраля 1761 года). Примечательно, что оба письма разделяют лишь три дня.

В написанном позже, как и сама трагедия, авторском предисловии к «Скифам», называя себя не прямо, а иносказательно, Вольтер пишет: «Он (Дидро) во всем того же мнения, что и автор «Семирамиды». Обоих философов объединяет взгляд на театр как средство просветительской пропаганды и на драму как на своеобразную школу добродетели».

То, что объединяло партию философов, касалось ли это политики, философии, борьбы с фанатизмом, нетерпимостью, ханжеством, взглядов на назначение искусства, разделяло их со своими противниками или отступниками. Конечно, с согласием и разногласиями все обстояло совсем не просто. Руссо, которого Вольтер считал только противником, боролся с теми же врагами, за то же, что и другие просветители, хотя во многом расходился с ними. Д'Аламбер был, утверждая это, прав. «Фернейский патриарх» и Дидро тоже далеко не во всем бывали согласны и теперь.

Но единство в главном много важнее для партии философов, чем самые значительные расхождения во взглядах. И не случайно, когда в 1757-м реакция перешла в решительное наступление, Вольтер принял аллюр генерала, командуящего своими офицерами.

Так написаны его письма, боевые приказы Дидро и

д'Аламберу, когда шла решающая битва за «Энциклопедию». И если всего лишь справедливо признать его не только отцом французских просветителей XVIII столетия, но и генералом их духовной армии, то это звание он заслужил в январе — феврале 1758 года.

А влияние Вольтера не на одного молодого Дидро, но и на других членов партии философов началось с первой бомбы, брошенной французским Просвещением в старый порядок и религию («Философических писем» — 1734).

Однако партия философов как партия образовалась позже — с возникновения «Энциклопедии» и сплотилась еще больше после кризиса 1757—1759 годов. Д'Аламбер потом снова примкнул к ней. И заслуга Вольтера в победе «Словаря», конечно, меньше, чем Дидро, но тоже велика.

Пусть и удаленный географически от главного поля битвы — Парижа, старый, больной, бесконечно занятый собственной работой и делами, генерал армии просветителей неизменно руководил сражениями со своего командного поста.

Ведь это была война идей, а он был ее стратегом, часто подсказывая и тактику боев, и связь налажена была у «генерала» с «офицерами» превосходно. Конечно, его часто огорчала разлука со своей армией. В 1763-м он писал «ангелам», графу и графине д'Аржанталь: «Я не могу с подножья Альп руководить всеми движениями на войне... Я могу указывать только в общем...» Но и общие указания главнокомандующего значили очень много.

В письмах Вольтеру просветители постоянно называли его еще и «учитель»!

ГЛАВА 6

ВРАГИ, ИЛИ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Анна Ахматова удивительно точно заметила — если бы не Пушкин, которого они преследовали, никто бы теперь не помнил графа Бенкендорфа и его помощников.

В 1765 году Жозеф Альфонс Омер граф де Вальбель, отвечая Вольтеру, жаловавшемуся на врага, советовал не обращать такого внимания на современных Зоилов. Он писал: «Надо презирать тех, кто заслуживает презрения! Не оставляйте их имен потомству в своих сочинениях! Если мы знаем, что Зоил и Терзит существовали, то лишь благодаря Птолемею... Но лишь благодаря Вам будут знать о Фрероне — позорище нашего века... Притом я сомневаюсь, что когда-либо мы увидим его у позорного столба».

Вальбель оказался пророком. Действительно, имена аббата Дефонтена, Фрерона, старых врагов Вольтера, и Ле Франка де Помпиньяна, нового его врага, история сохранила лишь потому, что они преследовали великого человека, и он сам немало тому способствовал и сочинениями и письмами. Сюда надо присоединить и аббата Нонота, и еще множество хулителей Вольтера, хулителей Провсвещения — помельче...

И нельзя обвинять главу партии философов в том, что он так яростно оборонялся против врагов и на них нападал. Им руководила прежде всего не личная обида, а интерес всеобщий. В 1759 году Вольтер писал Тьерью: «Какие несчастья со всех сторон терпит народ! А мои дорогие парижане развлекаются пошлостями и дразгами, когда государство страдает, когда Франция истощена и кровью и деньгами...»

Затем речь идет словно бы о частном случае. Мармонтелю приписали пародию, которая и не могла выйти из-под пера энциклопедиста. «Это дело не его ума, не его

сердца», — писал Вольтер, доказывая, что комедия «Женщина, которая права», в искаженном виде напечатанная в листке Фрерона «Анне литерер» (Амстердам, 1759), была продукцией самого «фатоватого издателя». Это он посмел так непочтительно изобразить женщину, нечаянно попавшую в его руки. Де Фрерон *«думает, что это новое произведение, и не знает (иронические словоупотребления Вольтера выделены мной. — А. А.), что она была сыграна двенадцать лет назад на маленьком празднике во дворце Станислава Лещинского. Главную роль исполняла мадам дю Шатле. Разумеется, пьеса не была такой, какой ее представил читателю Фрерон. Он схватился за эту вещь, как голодный пес за первую попавшуюся ему кость».* Вольтер особенно негодовал, потому что была задета память божественной Эмилии. Вероятно, она и была автором комедии.

Но главный пафос письма не в разоблачении этой подлости. Дальше Вольтер признается: «Я люблю, по правде сказать, протягивать янсенистов, молинистов, выдающих банковые билеты за билетки исповеди, эту беду нашего века...» Затем он переходит к иезуитам и заверяет: «Я не опускаюсь до того, чтобы осмеивать брата Бертье. Я оставляю этих господ для исторической статьи, где поставлю вопросы, касающиеся Португалии и Парагвая».

Но пасквили, мелкая клевета и дразги, не меньшая беда столетня, ранят его чуть ли не больше, чем злая власть божьих слуг и самого бога. С горечью он называет низости Фрерона «развлечениями моей старости» и «расплатой за мою отставку».

Лейтмотив письма — как можно этим заниматься, этим увлекаться, когда родина в несчастье?

Фрерон был не пасквильантом и клеветником, а умным и язвительным критиком другого лагеря, но направление мысли Вольтера правильно.

И нужно помнить о его темпераменте.

Не случайно он называет Фрерона худшим из рецидивистов. В том же 1759 году критик грубо посягнул на «Кандида». «Как он мог? Несчастье тем, кто противостоит множеству почитателей!» — воскликнул жестоко оскорбленный Вольтер, уже оценивший свою повесть.

С каких пор он знал сменившего аббата Дефонтена этого главного своего врага на протяжении уже четырнадцати лет и потом врага пожизненного? После на-

падок Фрерона на «Кандида» Вольтеру попался старый номер «Анне литерер» 1754 года. Правда ли говорил Вольтер, заявляя: «Мне сказали, что он (Фрерон. — А. А.) издавна мой враг. Уверяю, что ничего об этом не знал?»

Вероятно, согласиться было бы выгоднее для Фрерона. Но он рискнул обнародовать мнимую наивность Вольтера и доказательства того, что он много раньше был знаком с ним самим и его листком. По словам критика, Вольтер еще в Берлине распространял слухи, что Фрерон приговорен к каторге.

Тот ответил и на нападки, и на это разоблачение в 1760-м комедией «Шотландка», где вывел своего противника под прозрачным именем Флерона, изменив одну букву. Пьеса была тогда же и напечатана, и сыграна труппой автора. В другом персонаже «Шотландки» зрители без труда узнавали редактора иезуитского журнала аббата Бертье. Вольтер оказался непоследователен и не сдержал обещания атаковать духовенство только в серьезной исторической статье.

Он, разумеется, заявил, что комедия принадлежит другому автору и даже переведена с английского. Мало того, признал справедливость суровой критики пьесы самим Фрероном. Тот утверждал, что Вольтер не мог написать так плохо. Подлинный автор «Шотландки» не преминул с этим согласиться и еще развил доказательства своего антагониста и прототипа главного героя. «Ведь я не мог написать так скверно!» — это — мы знаем — постоянный аргумент Вольтера, когда он отрицает свое авторство.

Между тем комедия для своего времени была хороша, злободневна, била по цели, имела, помимо успеха у зрителей и читателей, большой общественный резонанс, и автором ее был *Вольтер*.

Это лишь эпизоды из длительной и ожесточенной борьбы его с этим врагом. Вот еще два. В 1761-м Вольтер иронически благодарил Дамилавиля: «Вы мне доставили удовольствие, опубликовав глупости Фрерона о комментариях к Корнелю». Последние написал сам Вольтер, приложив их к изданному им собранию сочинений Пьера Корнеля.

В «Анекдотах о Фрероне», написанных якобы Лагарпом, тогда очень приближенным к Вольтеру молодым литератором, рассказан и такой случай, относящийся к тому же времени. О нем 6 мая 1761-го Вольтер писал одному

своему корреспонденту: «Месяц назад лейтенант полиции Сартен отдал приказ, велел Фрерону к нему явиться, чтобы намылить его ослиную голову за мадемуазель Корнель».

И то и другое было очень чувствительно для Вольтера, так любившего удочеренную им двоюродную внучку великого драматурга, столько труда вложившего в издание собрания сочинений ее деда и потому, что ценил его наследие, и чтобы обеспечить Мари.

Фрерон разоблачен и в «Орлеанской девственнице». А в «Кандиде» и «Простаке», будучи соответственно аттестован, даже прямо назван.

Не случайно врагом, на которого в 1765-м жаловался Вольтер графу де Вальбель, был не Фрерон, а Ле Франк де Помпиньян.

Должность, необходимая в королевстве французском не менее, чем должность генерального контролера, министра иностранных дел или архиепископа парижского, «должность» «Анти-Вольтера» никогда не оставалась вакантной. С 1760 года эта должность, бесспорно, занималась Помпиньяном, или даже называлась «Ле Франк де Помпиньян».

Конечно, у него были подручные, помощники, коллеги и начальники. Но роль Помпиньяна в крестовом походе, предпринятом на границе 50-х и 60-х годов против «Энциклопедии» Просвещения, Разума, была очень велика. Он обладал для этой роли всеми необходимыми качествами: непомерным честолюбием и заносчивостью бездарности, не могущей простить гению его гениальности, правдолюбцу — его любви к правде, неукротимым желанием прославиться; вопреки отсутствию каких-либо способностей превосходным слухом, позволяющим угадывать, на каком инструменте и какую мелодию нужно играть, чтобы угодить «сильным мира сего».

Его ненависть к Вольтеру была особенно велика, потому что в нем Помпиньян видел главное препятствие на пути к Олимпу. Даже сделанная им пышная карьера не могла возместить того, что ему не удалось стать поэтом века, для чего — по собственному убеждению — был рожден. Он считал Вольтера злостным узурпатором якобы ему принадлежащего трона. Таковы были личные мотивы

этого Анти-Вольтера, примешивавшиеся, как часто бывает с Анти-Вольтерами всех времен и народов (термин нужно понимать расширенно), к борьбе идей. Да и какие у клеветников, злопыхателей, карьеристов бывают идеи? Не случайной Вольтер отделил иезуитов, социниан, молинистов, прочие секты и ордена от пасквилянтов. У тех все-таки были пусть ложные, но идеи!

Военные действия Помпиньяна, чье имя, уподобившись для XVIII века Зоилу, стало еще более нарицательным, чем аббата Дефонтена, Фрерона, начались в 1759-м. «Энциклопедию» не удалось сжечь в буквальном смысле слова, но гарь от фигурального костра разнеслась далеко, дошла — мы знаем — и до Женевы и ее окрестностей. Ле Франк де Помпиньян был одним из главных поджигателей, подыгрывая тому же «ослу Мирепуа», который плакал у ног короля, причитая: «Сир, ваше величие утрачено, а «Энциклопедия» продолжает существовать», — и тут же подсказал подходящего цензора, чтобы предложить ему уничтожить или сжечь статьи, подготовленные для «Словаря».

Знакомство Вольтера с Помпиньяном уходило в гораздо более дальние времена и сопровождалось односторонней пока враждебностью. Безуспешно подражая Расину, этот бездарный литератор еще в 30-х годах пытался занять место Вольтера на французском и европейском Олимпе. Но тот с высоты триумфа «Заиры» не опустил до гнева, заслуженного низменными происками провинциального поэта.

Ле Франк де Помпиньян происходил из Нормандии, так же как аббат Дефонтен. Много позже, в письме д'Аламберу от 2 июня 1773 года, «фернейский патриарх» об этом вспомнит и сравнит их. Назвав обоих подлецами, добавит: «Не знаю, кто из двоих более бесчестен... Думаю, что аббат Дефонтен, поскольку он священник...» Сомневаюсь в искренности последнего замечания. Один стоил другого, а уважения к сутане Вольтер не питал.

Но в те давние времена Вольтер, встретив Помпиньяна в 1739 году в одном знакомом доме, обошелся с ним весьма учтиво и даже дружественно. Затем отправил ему несколько приятнейших записок и, получив в ответ не слишком любезные ответы, не счел их преднамеренными. Напротив, рассыпался похвалами, утешениями и за-

верениями. «Все люди имеют свою амбицию, — писал он завистнику и недоброжелателю, будущему злейшему врагу, — моя амбиция, месье, состоит в том, чтобы предложить Вам возможность мне жаловаться, облегчить порой Ваши страдания и неизменно оставаться Вашим другом».

Так у них установились, по видимости, наилучшие отношения. Жан Орё объясняет это заблуждение Вольтера в истинной цене человека, которого он напрасно дарил своим расположением и зря верил во взаимность, тем что Вольтер ничего не любил так, как быть любимым, улыбаясь тем, кто ему улыбался. Я объясняю то, что он ошибся в де Помпиньяне, как вообще часто ошибался в людях, иначе — щедростью души великого человека, особенно к молодым литераторам, его редкостной снисходительностью, способностью прощать, доверчивостью. Тем больше Вольтера ранило, когда вместо благодарности с ним обращались дурно.

Ему очень хотелось уже смолоду установить всеобщее содружество литераторов. Даже будучи кем-либо из них обижен, продолжал предлагать мир. Правда, в первоначальную формулу «Все литераторы — братья» позже был вынужден внести оговорку «кроме подлецов» и признаться: «Я питаю страсть к искусствам, схожу от любви к ним с ума. Вот почему меня так ранят преследования писателей... Именно потому, что я гражданин, я ненавижу гражданскую войну и делаю все, чтобы ее предотвратить...»

Ле Франк де Помпиньян имел бесчестье провоцировать Вольтера и гражданскую войну, пусть не оружием, а словом и пером, разжечь. Произошло это, правда, через двадцать лет после их первого знакомства.

Пока Помпиньян жил в Нормандии, на его долю выпало несколько маленьких литературных успехов, которые его опьянили. В Париже, куда он переехал, опьянение быстро прошло от опьянения других. Тогда, не дав окончательно киснуть вину своего первого успеха, честолюбец вернулся в провинцию. Там голова его закружилась еще больше. Чины — он стал президентом, богатство, титул помогали маленькому рифмоплету в Париже здесь чувствовать себя новоявленным Вергилием. И он дерзнул сделать первый набег на Академию уже в 1758-м. Пока его еще не выбрали, но и не лишили надежды.

В 1760-м Помпиньян, не обладая заслугами покойного, занял кресло, освободившееся после смерти Мопертюи. Прямо-таки фатальное седалище противников Вольтера.

«Бессмертным» нормандский дворянчик смог стать, лишь нападая на истинно бессмертных. Сперва он занял должность гувернера «детей Франции», внуков короля. Чтобы нравиться дофину, ему надо было быть или казаться чрезвычайно религиозным. Преуспев в этом, он наполнил свою вступительную речь академика нападками на безбожие, на «Энциклопедию», особенно бессовестными, потому что она не могла обороняться, на литературу и даже на Академию, где можно было обнаружить меньше всего противников веры. Никогда еще Академия не получала от вновь избранного ее члена вместо благодарности подобной пощечины.

Помпиньян произнес свою речь с необычайной гордостью и сильнейшим монтобанским акцентом. Набожные слушали его набожно. Дюпре де Сант-Мор сравнил оратора с Моисеем, родной брат, епископ дю Пюи — с Аарном, сказав, что бог призвал Ле Франка совершать чудеса в Израиле, то есть на берегах Сены.

Зато бурный взрыв хохота вызвала эта речь на берегу Женевского озера. Смеялся Вольтер и над комплиментами, ей расточавшимися. Но он и негодовал, и с тех пор без трепета и содрогания не мог слышать о Ле Франке де Помпиньяне. Особенно Вольтера задело похвальное слово, произнесенное Мопертюи его преемникам.

Последний, разумеется, не сомневался, что речь обеспечила ему не только звание «бессмертного», но и подлинное бессмертие. Парадокс заключался в том, что он, да еще и с клеймом позора, остался в веках лишь благодаря бурной реакции на речь Вольтера. Тот не уставал публично сечь сей перл ораторского искусства в стихах, прозе, частных письмах — тоже образцах превосходной прозы, наполненных философскими мыслями и разящей сатирой.

У Вольтера была еще одна причина, причем очень серьезная, для негодования. Подчеркнув в той же речи его причастность к «Энциклопедии» и всячески скомпрометировав перед ханжами и королем, Помпиньян окончательно уничтожил надежды фернейского отшельника на возвращение в Париж. А как он ни наслаждался свободой и независимостью от всех дворов и правительств, эта мечта его не оставляла.

Так же как Дефонтен, выреченный Вольтером из тюрьмы, и этот враг платил ему злом за добро.

Речь Помпиньяна была вскоре издана вопреки сопротивлению покровителя «Энциклопедии», начальника управления по делам литературы, печати и книжной торговли Мальзерба, по личному распоряжению Людовика XV. Недаром автор приложил к ней похвальное слово королю. Рассказывали, что его величество соблаговолил прочесть речь и весьма одобрил. Широкому успеху ее это, однако, не способствовало.

Зато во всех парижских салонах, кафе, на улицах, где ее продавали, в руках каждого читающего парижанина почти одновременно появилось иное сочинение — «Полезные замечания на речь, произнесенную в Академии 10 июля 1760 года». Разумеется, сочинение не было подписано. Но все знали — это наилучший Вольтер, а раз так, значит — наихудший для его мишени.

Речью в Академии и «Полезными замечаниями» война не кончилась. Честолюбец, раб ложной веры и гнусных страстей не ограничился тем, что сам, не имея ни единой заслуги перед наукой, стал академиком. Он пытался еще изгнать из Академии Вольтера.

Этот проект завистнику, однако, реализовать не удалось. И по Парижу тут же стал распространяться афоризм: «Если Вольтера вычеркнут из числа сорока, в итоге останется ноль». Д'Аламбер и Дюкло немедленно заявили, что тогда и они покинут Академию.

История повторяется, и, как широко известно, так же поступили Чехов и Короленко, когда Николай II не утвердил почетным академиком Горького. Д'Аламберу и Дюкло своей угрозы осуществлять не понадобилось. Стронники Вольтера победили, но ценой большой борьбы.

Он и сам не успокаивался. Написал «Поэму о тщеславии» и еще одну, не менее сатирическую — «Бедняга». Главным героем ее был земляк Помпиньяна Симон Валлет, среди персонажей был без «псевдонима» он сам.

Однако бывали у Вольтера с врагами отношения и более сложные. Глава партии философов противников дифференцировал. А нередко в ту или иную сторону в них заблуждался. Мы знаем, как не любил он Жан-Жака, считал вредным безумцем и требовал его исключения из

своей партии. Но когда тому со всех сторон угрожала опасность, великодушно предложил убежище в своем имении. Тот приглашения не принял. А в 1770 году, подводя итоги своей жизни и борьбы, Вольтер писал д'Аламберу:

«Я не люблю и не уважаю Руссо, который сейчас в Париже, но стараюсь жалеть его. Что же до Лабомеля, это не то же самое... Он человек бесчестный, так же как Фрерон и Палиссо. Несправедливо было бы зачислять Жан-Жака с ними в один класс». Относительно Лабомеля — мы знаем — автор был не прав.

Но с Палиссо отношения у Вольтера отнюдь не были прямолинейно враждебными. Тот начал атаковать просветителей, энциклопедистов еще в 1755-м комедией-памфлетом «Кружок, или Оригиналы», где особенно ополчился на Руссо. В 1756-м выступил с «Письмами против философов», главной мишенью их был уже Дидро. Если нападение на Жан-Жака могло даже порадовать Вольтера, то иначе, казалось бы, он должен был отнестись к нападению на чтимого им редактора «Энциклопедии». Однако и на этот раз его реакция не оказалась ожесточенной.

Палиссо даже напечатал в трехтомном собрании своих сочинений письма Вольтера к нему. Они были старыми знакомыми, встречались в Люневиле, у Станислава Лещинского. Очевидно, в отличие от Помпиньяна и это сыграло свою роль.

В 1760 году Палиссо прославился главным своим произведением, комедией «Философы», где под прозрачными именами вывел Дидро, Гельвеция, затронув и книгу последнего «Об уме» и «Энциклопедию». Актер, игравший Криспена, чьим прототипом был Руссо, выползал на сцену на четвереньках. Так высмеивался призыв к возвращению человечества в первобытное состояние. (Об этой пьесе Вольтер и спрашивал д'Аламбера, кто ее написал, но насчет «четверенок» он писал и сам, нападая на Руссо.)

Комедия наделала очень много шума. Успех ее был скандальным. Немедленно появилось не менее двадцати брошюр «за» и «против» «Философов». Аббат Морелле за свою брошюру даже поплатился заключением в Бастилию. Выступил ли Вольтер против комедии? Существует версия, что один из памфлетов — разумеется, под псевдонимом — принадлежал ему. Я сама в книге «Дидро» эту версию привела. Сейчас, однако, в ее правдоподобии сом-

неваюсь. Вряд ли он скрывал бы это свое сочинение от д'Аламбера. Между тем тот и 17 ноября 1762 года, по истечении двух лет, спрашивал в письме, когда наконец обожаемый учитель заинтересуется «Философами». И добавлял: «Я не думаю, чтобы Омер (прокурор. — А. А.) и Палиссо могли нанести ущерб философам». Но, не будучи атакован лично, тем не менее считал — *«надо вершить суд над врагами»*.

Вольтер на этот раз суда не вершил. Отчасти потому, что сам он Палиссо не был задет. Мы могли уже убедиться, как он был чувствителен к личным обидам. Но, вероятно, принял за чистую монету заверения автора, что в «Философах» он бил по моде на философию, а не по ней самой, в его добродушии. В авторском «Комментарии к комедии», напечатанном в собрании сочинений Палиссо, тот писал, что хотел «только посмеяться над своими персонажами без того, чтобы их унижить».

Мнение Вольтера, однако, решительно разошлось с мнением века. Тогдашние «репетилы» в комедии действительно атаковались, но она была и по Просвещению, только осторожнее, чем в прежних пасквилях того же писака.

Обратимся к тексту «Философов». Старый слуга мадам Сидализ, Мартон, объясняет отвергнутому ею жениху дочери Розалин: «Мы хотим мужа, одетого в новое платье, — словом, мы выбрали философа», — и чуть спустя говорит о своей хозяйке: «Ум — вот что она обожает. Это — болезнь, неизвестная в 20 лет, но очень заразительная в 50... Мадам написала книгу, не брошюру, но том ин-квартие. Они (философы. — А. А.) над ней насмеяются, особенно ваш соперник. Если бы он знал ваш вкус, он бы ей не позволил аплодировать себе... Мадам окружают приятные льстецы...»

Отставленный жених крайне огорчен и хочет дознаться, в чем сила соперника и его партии:

«Дамис. И что они делают, философы?»

Мартон. Чтобы завоевать доверие мадам? Секрет в том, что мошенник заслужил у нее звание ученого».

У креатуры мадам Сидализ, Валера, за которого она хочет выдать дочь, нет прототипа среди энциклопедистов. Он — именно примазавшийся к ним Репетил. Но зато прототипами других персонажей были, кроме Руссо, Гельвеций, Дидро.

Персонаж, чьим прототипом является Гельвеций, говорит, высказывая главную свою идею: «Все люди одинаковы перед лицом природы», но тут же снижает ее, добавляя: «Однако не нужно забывать, что Сидализ — женщина».

Роман Дидро «Нескромные сокровища» неуважительно называется «забавной штучкой, достаточно философской».

Вольтера, неоправданно снисходительного к комедии, могло расположить к ней то, что Палиссо прошелся по Фрерону, кстати сказать, в том же году, когда была написана «Шотландка».

Скандальный успех спектакля «Философы» был очень недолговечен. Когда его через несколько лет возобновили в Комеди Франсез, публика была уже настолько воспитана философами без кавычек, что появление актера, игравшего Криспена на четвереньках, зрительный зал встретил свистом, и ему пришлось встать.

Но Вольтер, увы, не считал комедию опасной и перед премьерой 1760 года. Это явствует из письма его «театрального агента» д'Аржанталь к Палиссо от 10 апреля. Выражая, разумеется, точку зрения своего доверителя, граф писал:

«Я узнал вчера вечером, месье, что Вы рассматриваете анонс о двух пьесах месье де Вольтера как препятствие Вашему желанию, чтобы играли Ваших «Философов». Это мнение основано на темном слухе, который слишком хорошо освещен. Правда, месье де Вольтер прислал мне две трагедии, одну новую, другую исправленную, или, лучше сказать, совсем переделанную. Одна должна пойти зимой, другая — скоро, но могу Вас заверить — он далек от того, чтобы оспаривать Ваше место». Затем идет фраза, словно бы невинная, но и ядовитая: «Главные актеры, в которых он нуждается, в Вашей пьесе не играют. Можно разучивать обе одновременно...» И совсем мягко, но тоже с подтекстом: «Если это кажущееся соперничество Вас задевает, распределение ролей в трагедиях Вольтера задержат, пока постановка Вашей комедии не будет готова».

Кончается письмо традиционно любезно: «Пользуюсь случаем обновить заверение в чувствах, которые имею честь к Вам питать. Ваш очень почтительный и обязанный слуга д'Аржанталь».

В 1763 году Вольтер даже предпринял попытку примирить Палиссо со своей партией, написав ему: «...я хотел бы, чтобы Вы были другом всех философов, так как, в конечном счете, о многом Вы думаете так же, как они. Почему бы Вам с ними не объединиться? Я хотел бы видеть Вас в Ферне вместе с Дидро, д'Аламбером, Юмом, Жан-Жаком... Здесь и мадемуазель Корнель. Фрерона не будет». И очень характерная приписка: «Только дураки могут быть нашими врагами».

Палиссо был в самом деле одареннее и умнее если не Фрерона, то Помпиньяна, хотя на титульном листе первого тома собрания его сочинений из вольтеровской библиотеки собственной рукой владельца написано: «Очень плоские».

Характерно, что в примирительном письме, а таких было много, Вольтер все время употребляет местоимение множественного числа третьего лица — «они», «ними», а не «мы», «нами». Его отношения с Палиссо были несравненно лучше, чем у других философов, что не делало Вольтеру чести.

Палиссо, в свою очередь, очень дорожил хорошими отношениями с Вольтером и всячески старался показать, как огорчен тем, что оказался между двумя лагерями. Он писал в Ферне: «О несчастье, месье, я порой ссорился с философами и антифилософами... Могу Вас заверить, как человек чести, я сам не верю в мою ссору с настоящими философами!»

Вольтер в это время особенно заботился о расширении своего лагеря и старался быть терпимым, к кому только возможно, хотя и понимал, как трудно этого достигнуть. Он ответил Палиссо так: «Философ будет чувствовать себя плохо, участвуя в гражданской войне. Я всегда желал, чтобы все люди, думающие верно, объединились против дураков и крикунов. Я от всего сердца желал бы связать Вас с хорошими людьми. Но полагаю, не добьюсь ничего иного, кроме благодарности Фрерона и де Помпиньяна. Я согласен с Кандидом, что надо возделывать наш сад...»

А я столько места уделила этой самой по себе малозначительной фигуре, чтобы показать, как сложны были методы гражданской войны, которую вел Вольтер.

Часть VI

ГЛАВА 1

В ФЕРНЕ, ИЛИ ВСЕ ЭТО — ВОЛЬТЕР...

Письмо было адресовано: «Королю поэтов, философу народов, Меркурию Европы, оратору отечества, историку суверенов, панегиристу героев, верховному судье вкуса, покровителю искусств, благодетелю талантов, ценителю гения, бичу всех преследователей, врагу фанатиков, защитнику угнетенных, отцу сирот, примеру для подражания богатым, опоре бедных, бессмертному образцу всех наших добродетелей». Имя и фамилия не указаны. Почтовое отделение находилось далеко от Ферне. Но служащие отправили письмо Вольтеру, не сомневаясь, что он один заслуживал всех этих эпитетов. Случай произошел в 1769 году, но мог бы произойти и позже и раньше, особенно начиная с 1762-го, когда к прежней его славе прибавилась еще и слава защитника Каласа.

Теперь Вольтера чаще всего называют «фернейским патриархом», и ему самому титул нравится. Прежде напоминая горный поток с бурным течением, изгибами, порогами, его жизнь у подножия горы Юры становится спокойной, как озеро, на берегу которого расположен замок. Но если присмотреться внимательнее, покой «больного старика из Ферне» — так он себя называет — сводится лишь к тому, что не угрожают постоянные опасности и нет нужды, как раньше, избегая преследований, стремительно скрываться, прятаться, готовить сразу несколько убежищ. Переехав сюда, он еще несколько лет сохраняет за собой и Делис и Турне. Временами, но все реже и реже, живет и в этих поместьях, выезжает то в Берн, то в другие города Швейцарии и соседние государства — Германию, Голландию... Но, увы, не в Париж.

В 1765-м он продает Делис. Турне тоже сдано в аренду. Постепенно главной, а затем единственной резиденцией Вольтера становится Ферне.

Но — повторяю еще раз — покой его только внешний,

так же как неподвижность. Независимый, обеспеченный, по собственному выражению, лишь одной ногой стоящий в деспотической и клерикальной Франции, он становится, несмотря на преклонный возраст и болезни, еще деятельнее и, главное, смелее и воинственнее.

Уже в 1761-м пишет д'Аламберу: «40 лет я выносил преследования ханжей и разных подлецов. Я убедился, что своей умеренностью ничего не смог добиться. Вообще глупо рассчитывать на умеренность. Надо воевать и умереть благородной смертью, уничтожив вокруг себя целое полчище ханжей!»

И теперь, когда он может не беспокоиться за себя, хотя, как мы убедимся, не пренебрегает и собственными делами, Вольтер *воюет*. Воюет сочинениями и письмами — приказами по своей армии, воюет судебными процессами, воюет, превращая нищее село Ферне в процветающую колонию, как бы модель будущего общества, помогая и всему округу Жекс, страдающему больше других округов Франции еще и от своего пограничного расположения. Недаром колонисты и соседи называют Вольтера *сеньором справедливости*, а передовая Европа — *адвокатом справедливости*.

Больше, чем в Делис, Вольтер увлекается сельским хозяйством и строительством. Не только как помещик «возделывает собственный сад», перестраивает замок, но и как сеньор справедливости поднимает агрокультуру крестьянских участков, повышает благосостояние жителей села, помогает им обзаводиться новыми домами. Он застал земли Ферне запущенными, население малочисленным и бедным.

А к 1776 году число жителей Ферне дошло до 1300 человек вместо 200—300, по другой версии — вместо 8—10. За это время Вольтер привлек сюда и новых земледельцев, и ремесленников, мастеров и подмастерьев основанной им часовой мануфактуры.

Далеко не все знают, что и знаменитые швейцарские часы — долго лучшие в мире — связаны с именем Вольтера, хотя Ферне и на французской территории.

Особенно покровительствовала этой его затее Екатерина II, одна из первых оптовых покупательниц. «Пришлите часов на несколько тысяч рублей, я все возьму!» — писала Вольтеру императрица. И он послал на 8 тысяч рублей, присовокупив очень характерный совет — «дарить

часы артистам и писателям, чтобы прославляли доброту ее величества».

Давая работу мастерам и подмастерьям, он, оставаясь буржуа, конечно, не забывал и о собственных доходах. Кроме мануфактуры, не прекращал и коммерческих сделок. Упоминаниями о них и деловыми переговорами полны его корреспонденции 60-х и 70-х годов.

Сколько времени занимала все возрастающая и возмужавшая переписка, число его корреспондентов все увеличивалось! Для «фернейского отшельника» она стала главным способом контактов с друзьями и единомышленниками, объединения партии философов, борьбы с врагами, ведения дел коммерческих и дел справедливости, обмена идеями и теоретических споров, получения научной информации, но иногда и вздорных ссор.

Казалось бы, апогея своей славы, вершины Олимпа, самого большого из всех современников авторитета как мыслитель и политик он достиг уже раньше. Но самое высшее, всемирно-историческое значение Вольтер приобрел тем, что написал и сделал с тех пор, как перед ним открылись ворота Женевы, и особенно в Ферне.

Нужно было быть Вольтером, чтобы при его физической немощи, между шестьюдесятью и восемьюдесятью четырьмя годами написать и кончить самые выдающиеся свои произведения, отличающиеся вопреки возрасту автора чисто юношеской свежестью, прелестью и легкостью стиля.

Сколько он работает как писатель, философ, ученый, пропагандист, полемист, свидетельствуют его письма-отчеты друзьям. 7 июля 1762 года перечисляет д'Аржанталем текущие литературные труды: «Комментарий к собранию сочинений Корнеля», перевод белым стихом «Юлия Цезаря» Шекспира, перевод «Геракла» Кальдерона. И это в то же время, когда он наводит бесконечные справки по делу Каласа, хлопочет о том, чтобы вызволить из монастыря его дочерей, реабилитировать участников процесса.

В 1768-м пишет «ангелу-хранителю»: «Я нахожусь среди епископов XIV века и должен рычать с этими святыми волками».

В том же году, семидесяти четырех лет от роду, за

несколько месяцев написал пять песен «Гражданской войны в Женеве», «Обед у графа де Буленвилье», «Письмо архиепископу Кентерберийскому», «Реляцию о смерти кавалера де Лабарра», «Реляцию об избииении иезуитов в Риме»... По-прежнему вспахивает одновременно несколько литературных полей...

Диапазон его интересов безграничен. Для примера перечислю темы, затронутые в одном письме д'Аламберу от 23 апреля 1768-го. Начав с «Дон-Кихота», переходит к трудам по медицине, походя отпускает комплименты книге самого адресата, снова возвращается к сочинению Полле о сифилисе. (И после «Кандида» продолжает им интересоваться.) Размышляет о месте, где страшная болезнь зародилась. Он полагает, что в пустынях Аравии. Если родина сифилиса, как принято считать, Египет, почему же войска Марка Аврелия, Цезаря, Августа или их победителей не занесли ее в Рим? Приводит еще один аргумент против распространенной версии: почти все богатые римляне имели слуг-египтян...

И широте его познаний не приходится удивляться. Одно из самых больших чудес Ферне, поражающее посещающих его современников, поражающее и нас, когда мы приходим в отдел редкой книги Государственной публичной библиотеки в Ленинграде имени Салтыкова-Щедрина (ГПБ), — библиотека Вольтера.

После перестройки замка под нее отвели большую комнату в нижнем этаже правого крыла. Окна выходили на Женевское озеро. С библиотекой граничили столовая и спальня хозяина, служившая ему и кабинетом.

Конечно, многие тома приобретены раньше. Наряду с живой жизнью, рассказами участников и очевидцев книги всегда служили источниками сочинений Вольтера. И прежде он собирал новинки, но и старые и старинные издания на разных языках, литературу художественную и по многим областям науки, выходившую не только во Франции и Швейцарии, но и в Голландии, Англии, Италии, Испании, России...

Немецких книг здесь нет, как ни одной немецкой фразы не встретишь в его произведениях и письмах. Зато много латинских и древнегреческих.

Особенно библиотека Вольтера разрослась в Ферне. Книги стекались в нее отовсюду и различными каналами. Хозяин заказывал их книготорговцам и издателям. Дари-

ли, с нежными или почтительными надписями, авторы... Присылали друзья... Привозили гости...

Большое место занимали, разумеется, бесчисленные издания и переиздания сочинений самого владельца.

Мы не можем, к сожалению, когда это касается изданий до 1758 года, выделить книги, приобретенные раньше. Существовали ли каталоги библиотеки Вольтера в Сире, Париже, Фонтенбло, Берлине и Потсдаме, Делис? Очень вероятно. Но до нас они не дошли.

А каталог фернейской библиотеки, составленный самим «патриархом» с помощью Ваньера и еще трех человек, чьи почерки не удалось опознать, и сейчас хранится в подлиннике вместе с самими книгами в Ленинграде. Он дважды издавался за границей и дан как приложение к капитальному труду «Библиотека Вольтера» (Издательство Академии наук СССР, 1964).

Каталог, правда, не полностью соответствует самому фонду, насчитывающему 6814 томов, включая сюда и рукописи. Часть книг была приобретена в последние месяцы жизни владельца, в Париже. Часть ошибочно попала из библиотеки соседа, Анри Рье, которому Вольтер подарил все издания на английском языке. Есть серьезные основания думать, что несколько томов принадлежали Дидро, чья библиотека, сознательно разрозненная по приказу Екатерины II, до сих пор в ГПБ имени Салтыкова-Щедрина не собрана. А некоторые книги, стоявшие на полках книжных шкафов Ферне и перевезенные в Петербург, в наличии есть, но в каталог не включены. Другие, например, в нем числятся, но, с пометкой Вольтера «украдена» или без нее, отсутствуют. Тем не менее достаточно полное представление о библиотеке Ферне и о том, как «патриарх» ею пользовался, каталог дает. Большим подспорьем, конечно, служит и составленный сотрудниками отдела редкой книги ГПБ, современными хранителями, алфавитный каталог, напечатанный в той же книге 1964 года.

Вольтер очень любил показывать гостям свои книжные сокровища и еще больше — рассказывать о них, вводя в лабораторию своего чтения.

Посетителей, как правило, поражали не столько размеры библиотеки (некоторым она даже казалась небольшой), сколько ее состав, изящество переплетов и книжных шкафов, обстановка комнаты. И главное — много-

THÉOLOGIE

PORTATIVE.

livre dangereux

Книга из фернейской библиотеки с пометкой Вольтера: «Книга
опасна».

численные и разнообразнейшие пометы Вольтера на книгах. Это была именно *рабочая* библиотека, хотя в ней встречаются и случайные тома, не читанные владельцем вовсе или прочтенные раньше в других экземплярах.

Нередко на сборниках, составленных Вольтером из особо интересующих его чужих произведений, анонимных изданиях собственных сочинений и на томах авторов, наиболее близких ему по духу, встречается sacramентальная надпись: «Книга опасна», или: «Очень опасно».

Шведский путешественник Бьернсталь писал: «Библиотека Вольтера хороша и прекрасно подобрана. В ней имеется труд Кальма о библии, с многочисленными пометами, очень любопытными, сделанными его рукой и вложенными между страницами... почти все итальянские писатели, те французские, которых он больше всего ценит, к примеру — Расин... книги о всех науках и словари на всех известных языках... на полу распростерта шкура тигра; вид у нее такой гордый и свирепый, как будто бы зверь жив и готов укусить...»

Английского писателя и музыканта Твисса, посетившего Ферне в 1768 году, больше всего поразили оттиснутые на корешках названия, часто не соответствующие титульным листам, и то, что Вольтер брошюровал и переплетал вместе различные издания, создавая упомянутые выше искусственные сборники. (Это диктовалось рабочими соображениями, а иногда — осторожностью: опасное сочинение, как, например, «Завещание» Мелье, опубликованное, правда, не полностью, а лишь его антирелигиозные страницы, окруженное сочинениями невинными, меньше бросалось в глаза. А основания для конспирации были у Вольтера и здесь: слишком часто воровали у него и рукописи и книги, принося неприятности.) Большое впечатление произвела на Твисса надпись «Моя Жанна» на корешке великолепного издания «Орлеанской девственницы» и такая же — «Варварские трагедии» на корешке переплетенных вместе трех английских трагедий. (Вольтер любил все называть по-своему, переименовая и заглавия собственных произведений.) Еще больше удивило Твисса, что толстая книга Рабле оказалась неожиданно тоненькой. Владелец библиотеки нередко вырывал нужные ему для работы страницы, безжалостно уничтожая остальные.

При Твиссе библиотека состояла из 5 тысяч томов.

Рабочий, а не парадный характер собрания подчеркивает и каталог. Книги, их распределение перечислены по шкафам, с указанием местоположения шкафа и сбивчивой, на наш взгляд, разбивкой по тематическим разделам. К примеру: «История и литература» — 1-й отдел, слева от входа до печки», или: «История. Продолжение первого отдела», «Поэзия и другие художественные произведения» — справа от печки, ин-фолио, 1-й отдел».

Иногда сообщается количество томов. Все записи очень кратко: рассчитаны на себя, а не на посторонних читателей.

В каталоге даны и сведения более точные — о количестве томов каждого названия, числе экземпляров, языке, на котором издана книга, жанре — в стихах или прозе, какое и которое это издание, наличие иллюстраций.

Система расстановки, понятная хозяину, его секретарю и другим помощникам, нам говорит мало. Книги были расставлены по формату и перечислены в том порядке, в котором стояли на полках, и по расположению шкафов.

Год, когда был составлен каталог, неизвестен, но, бесспорно, с пополнением библиотеки пополнялся и он. В каталоге отражены не только новые поступления, в том числе повторные издания, — Вольтер старался их приобретать, — но и изменения в расстановке томов.

Любопытно, что на книгах появляется все больше и больше саркастических помет, причем не только самого Вольтера, как, например: «Церковь, воюющая против сумасшедшего по имени д'Оразон», или: «Томас не святой», но и рукой Ваньера — «Варвар Шекспир, переведенный шарлатаном Ле Турнером».

Настоящее изучение библиотеки Вольтера, всех прочтенных им книг, оставленных на них пометок владельцев, в сопоставлении с тем, как прочитанное сказывалось в его собственных сочинениях, дало бы бесценный материал для изучения их творческой истории, анализа, роли в умственной жизни того времени и последующих веков, вплоть до наших дней.

К сожалению, пока эта важнейшая работа еще не выполнена ни советскими, ни иностранными учеными. Она лишь начата. Примером может служить исследование о пометах на «Эмиле» Руссо. Но созданы все возможности для нее. Библиографическое описание изданий было начато покойным М. Л. Лозинским, продолжено погибшей в

войну Д. С. Крым. Очень велики заслуги редкостного знатока библиотеки Л. С. Гордона и основателя отдела редкой книги ГПБ покойного В. С. Люблинского, вообще очень много сделавших для Вольтерианы.

Приношу личную благодарность нынешним хранителям — Н. В. Варбанец, Л. Л. Альбиной и другим, давшим мне возможность получить доступ к книгам, принадлежавшим Вольтеру.

В алфавитном каталоге 1964 года, помещенном в названной книге, есть выходные данные по каждому тому, отмечено, читал ли его владелец, воспроизведены пометки на титульных листах, но иных, а их очень много, к сожалению, нет. Конечно, и это потребовало огромного труда, а для определения, что эту книгу владелец читал, если на ней нет маргиналий, и научной прозорливости. Порой, кроме соломинки или засушенного листка между страницами, иными доказательствами, что эту книгу Вольтер читал в поле, а ту в саду, и, главное, читал вообще, составители не располагали. Помогали им, правда, еще загнутые уголки и прикрепленные к страницам клочки папиросной бумаги: так он отмечал, где прервал чтение.

Но и так спасибо судьбе, библиотека и каталог ее, составленный владельцем, сохранились! Благодаря жадности мадам Дени, они у нас. Мы знаем, *что* читал Вольтер, можем сами прочесть те же книги, многие из них — большая библиографическая редкость, можем узнать, *как* читал, *что* извлекал из чтения.

В девятом томе «Studies» («Трудов о Вольтере и Просвещении XVIII века»), издаваемых Институтом Вольтера в Делис, где второй раз за границей опубликован фернейский каталог, ему предпослана очень содержательная статья и дан перечень отделов библиотеки. Он отражает разнообразие интересов владельца. Явно стоит этот перечень воспроизвести:

1. Теология и религиозные энциклопедии и журналы. 2. Теология и сообщения в Академии наук и избранных библиотеках. 3. История Франции. 4. История Франции, опирающаяся на историю других наций. Латинские авторы. 5. Словари ин-фолио. Плутарх. Платон. Попурри (так Вольтер называл свои сборники. — *A. A.*) 6. История. Попурри. 7. Вольтер ин-кварто. Корнель ин-кварто. Словари ин-кварто. 8. Философия. Вольтер в восьмуш-

ку. 9. Итальянские, английские, различные французские... 10. Театр, поэзия, художественная литература. 11. Путешествия. Коммерция. Естественная история, медицина...

Посмотрим же на сами книги Вольтера. Обильно представлены различные издания Руссо, и некоторые из них в его сборниках. Он очень интересовался сочинениями своего постоянного противника, и как иначе мог бы с ним полемизировать?! А как мог бы бороться с Гадиной, если бы не располагал многочисленными библиями, трудами святого Августина и отцов иезуитов?! Продолжал Вольтер с таким же вниманием, как во времена «Философических писем», относиться и к Фрэнсису Бэкону. А может быть, третье издание его самого знаменитого труда на латинском языке 1633 года и «Эссе, или советы гражданские и нравственные» на английском 1718-го были приобретены Вольтером еще в Лондоне?

А вот позднейшие издания книг, служивших источниками прежних работ Вольтера — «Истории Карла XII», сочинений о Петре Великом: «Воспоминания о Карле XII» Норнберга 1742—1748 годов, «Дневник Петра Великого» 1775-го... И последние, наиболее совершенные издания любимых писателей — Рабле, Расина... Это собрание и библиофила. Сейчас готовится издание всех пометок Вольтера.

Если читал Вольтер везде, среди книжных шкафов, отдыхая — в саду или в поле, то сочинял в спальне. Она же служила и кабинетом. На пятом десятке, в Сире, в постели писал одни стихи, на седьмом и на восьмом десятке уже не писал, а диктовал *все*. Спал очень мало и нередко среди ночи будил Ваньера и писцов. То, что в работе был крайне нетерпелив, сказывалось не только в этом. Диктовал так быстро, что за ним едва успевали записывать. Едва начав, торопился скорее кончить. Едва окончив, хотел тут же увидеть новое произведение переписанным набело и, если не предстояло особых затруднений, напечатанным. Если прежде над многими сочинениями трудился годами и десятилетиями, как над «Веком Людовика XIV», «Опытом о нравах...», «Орлеанской девственницей», то теперь, естественно, годы заставляли его спешить и еще усилили природную нетерпеливость.

От прежнего осталось лихорадочное состояние, в кото-

рое приходил сам, сочиняя драму. Действовало уже известное нам его правило. Требуя от актеров одержимости, «дьявола в крови», считал то же обязательным для авторов, особенно стихов, будь то лирика или стихотворная трагедия.

О том, как работал Вольтер в Ферне, мы знаем по воспоминаниям Ваньера.

Естественно, что среди прочих дел и занятий Вольтера и теперь занимают большое место хлопоты об издании его сочинений. Занимали и прежде.

Различие в том, что раньше ему приходилось иметь дело преимущественно с мошенниками и стяжателями, как Ван Дюрен, Грассе. Даже не сразу после переезда в Швейцарию — в первое время еще случались — мы знаем — неприятные происшествия и здесь — ему стало с издателями везти.

Не случайно 63-й том «Корреспонденции» озаглавлен Теодором Бестерманом «Крамер». Действительно, в этом томе много писем Габриелю Крамеру и от него.

И это нисколько не удивительно. Именно сейчас братья Крамеры издали один из самых важных и самых грустных трудов Вольтера — «Философию истории» — и приступили к новому собранию его сочинений.

Габриель Крамер — не только издатель, но и друг Вольтера — фигура, особенно для того времени, поистине замечательная. Стоит только подумать, сколько изобретательности и мужества требовалось, чтобы издавать Вольтера, заботясь притом не о наживе, но о самих изданиях и оберегая автора поелику возможно!

Это, разумеется, не значит, что «патриарх», при взрывчатости его характера, Крамером всегда доволен, но преобладают благодарность и расположение.

Одновременно издания идут и по другим каналам. 5 апреля того же 1765 года, апрель — июль которого охватывает 63-й том, Вольтер благодарит Дамилавиля за то, что быстро и очень секретно издает его «отчет» о деле Каласа. Характерно, что сочинение в письме не названо: очевидно, настолько была важна конспирация.

Под конец жизни появился еще один дружественный, добросовестный издатель — Шарль Жозеф Панкук. Это он выпустил полное уже посмертное собрание сочинений Вольтера, законченное вместе с Бомарше.

7 марта 1778 года из Парижа писатель пишет этому

издателю: «Прошу Вас, месье, прислать мне сброшюванный том, который Вы побудили меня задержать. Я сам заполню пропуски, внесу исправления. Сделаю то же самое и в других томах, которые получу. Проведу за этим остаток жизни, если бог мне ее продлит. И этот остаток будет счастливым благодаря опоре, которую я нашел в таком человеке, как Вы».

В отличие от прошлых десятилетий негодование Вольтера не обрушивается на издателей, но лишь на злопыхательную критику, недобросовестную прессу. В 1765 году Вольтер отправил герцогу де Праслену горькую и смелую жалобу на покровительствуемую им «Газет литерер», требуя защитить авторов от подобных редакций.

Клеветать на него продолжали и потом. Сочинения Вольтера не переставали подвергаться весьма неприятным для него операциям. Но зато теперь у него были Крамеры, а потом и Панкук. У писателя появилась опора в лице издателей.

Не один 63-й, но каждый том бестермановского издания корреспонденции Вольтера озаглавлен. Названия фернейских томов — «Танкред», «Часовых дел мастер», «Дело Каласа», «Жекс», «Война в Женеве», «Философский словарь» и еще много иных. Заглавием тома составитель подчеркивает лейтмотив переписки, сперва — десятилетий, затем — годов и под конец — нескольких месяцев. Чем длительнее была разлука с Парижем и особенно чем внешне неподвижнее жизнь Вольтера, но шире и активнее его деятельность, тем больше он писал и получал писем, все увеличивая и увеличивая число своих корреспондентов. На последние неполные шестнадцать лет жизни Вольтера, с 1762-го по конец мая 1778-го, приходится примерно восемь тысяч номеров из общего числа двадцать с лишним тысяч. Цифры приблизительны, потому что в нумерацию входят и письма третьих лиц о Вольтере. И все равно неутомимость больного старика в корреспонденции так же поразительна, как поразительна она во всем остальном.

Названия томов, разумеется, условны. В том-то и состояла одна из главных черт великого человека, что он занимался одновременно всем в еще большей степени, чем другие просветители. Вдумаемся: само название «энциклопедист» двузвучно. Оно происходит от «Энциклопедии».

Но имеет и тот смысл, что круг интересов и занятий этих людей был безграничен. А для двух последних десятилетий жизни Вольтера это еще характернее.

Конечно, несколько искусственно и выделение той неизменной стороны его существования, которую я, следуя Бестерману — а он, в свою очередь, пользовался ходячим определением, — называю *«хозяин постоянного двора Европы»*.

Слава Вольтера все растет и растет. И, естественно, умножается число его посетителей, тем более что «патриарх» выезжает все реже и реже, а потом окончательно становится «фернейским отшельником».

Замок у подножья горы Юра постоянно осаждает гостями. Они приезжают отовсюду. Не только из соседней Швейцарии, но и из Франции, Англии, Италии, Голландии, Германии, России.

Среди посетителей — друзья и единомышленники, члены партии философов: Мармонтель, Гримм, Морелле, Дамилавиль, мадам д'Эпине, «философ-бабочка» мадам де Сен-Жюльен, молодой Кондорсе. Д'Аламбер даже однажды, предполагая лишь остановиться в Ферне на несколько дней по дороге в Италию, никуда не уехал и прожил у боготворимого учителя несколько месяцев.

Среди посетителей «патриарха» были и просто знакомые или даже незнакомые. Одних приводило почтительное обожание, других — любопытство, желание увидеть воочию самого знаменитого человека Европы. Некая Амелия Стюард писала мужу из Ферне: «Наконец-то я достигла предела моих желаний и моих странствий. Я видела месье де Вольтера и не знаю, какими словами воспользоваться, чтобы описать чувства, которые я испытала...»

Среди них — титулованные особы и люди, достоинства которых превышали короны и титулы. Достаточно назвать блистательного английского философа Чарльза Джеймса или молодого шотландца, игравшего большую роль в политике, Джеймса Босуэлла, знаменитого актера Лекена, не менее знаменитую актрису Комеди Франсез мадемуазель Клерон и... Казанову, гения любви.

Карло Гольдони, хотя Женева и не лежит на его пути, хочет видеть «оракула Франции» и пишет об этом Вольтеру из Парижа в мае 1771 года и тогда же — мадам Дени, что будет счастлив познакомиться и с ней.

«Больной старик из Ферне» был поразительным, прямо-таки гениальным хозяином. Он так любил принимать гостей, что даже специально для них одевался. Если — это случалось редко — посетителей, особенно желанных, в имении не было, Вольтер носил длинный, почти до колен, белый камзол, серые чулки; ноги в них походили на две тоненькие тросточки; голову покрывал маленькой шапочкой из белого бархата.

В известной серии бытовых зарисовок «фернейского патриарха» Гюбера он изображен и в ночной сорочке и ночном колпаке. Таким его видели домашние.

Но только чья-либо карета подъезжала к воротам замка, хозяин надевал другой — парадный, красиво вышитый камзол, жилет с золотыми галунами, все ярко-синего цвета, кружевные манжеты доходили до кончиков пальцев.

Вольтер считал: в обществе коллег он и сам должен иметь благородную внешность.

Хозяин соблюдал диету и был умерен, как спартаец. Но посетителей ублажал превосходными блюдами и винами, угощая еще и чтением вслух песен «Орлеанской девственницы», других самых остроумных своих произведений, звучного Ариосто, забавными и язвительными анекдотами о соседней Женеве.

Разумеется, главной приманкой, побуждавшей людей приезжать в Ферне, порой за тысячи лье, по ужасным дорогам, служила личность хозяина. Но иных, вероятно, соблазнял и поистине королевский прием.

Женевец же — мы знаем — особенно манил запретный плод — театр, здесь еще более великолепный, чем в Турне, где приглашенные Вольтером лионские мастера соорудили сцену с такой перспективой, что актер казался зрителям стоявшим далеко, а на самом деле был под их носом. Пока Вольтер жил и там, спектакли шли в обоих домашних театрах попеременно. В Ферне были сыграны и «Олимпия» и «Скифы» — самая демократическая, вероятно, трагедия Вольтера.

Любопытная подробность — Мармонтель привез с собой для мадам Дени дантиста польского короля. Она стеснялась декламировать звучные тирады при исполнении главных ролей в трагедиях дяди из-за того, что одни зубы ее были испорчены, другие вовсе отсутствовали. Теперь у Мари Луизы появились новые зубы. Таланта и мастерства это ей, конечно, не прибавило.

Сам Вольтер услугами дантиста не воспользовался.

Этот же дантист Гален у себя дома был и артистом комической оперы. А в Ферне сражался с Ваньером за шахматным столиком. Тот, говорили злые языки, игру обожал, но приходил в отчаяние, если оказывался побежденным.

После спектакля — и до того, как мадам Дени встала новые зубы, и после того — участникам и зрителям давался роскошный ужин, иногда на двести — двести пятьдесят персон.

Вот как в 1765 году Вольтер описывает Дамилавиллю жизнь в замке. Сперва подтрунивает над отставным иезуитом, отцом Адамом, священником его церкви. Читает мессу и играет с хозяином в шахматы, не умея делать ничего иного. Не общается с женевцами: никогда не ездит в город. Что же касается самого Вольтера, он счастлив доставлять удовольствия магистрату и гражданам, приглашая к себе, давая им превосходные обеды и ужины и произнося к тому же «Похвальные слова» в честь соглашения, господствующего в Женеве.

Пройдет не так много времени, и в Женеве разразится гражданская война. Ну что ж, если эклоги не могли предотвратить войну, Вольтер напишет о ней сатирическую поэму, не предвидя, какие это навлечет неприятности.

А пока он очень заботится о мире в Женеве, как и вообще на земле. В том же письме мы находим несколько строк о французском резиденте в Женеве, Эноне. Тот постоянно посещает Ферне, видит миротворческие усилия хозяина и, по его мнению, должен завершить это дело. Затем следует самое важное признание Вольтера: *«Я играю единственную роль, которая меня устраивает, освобождая от необходимости куда-либо выезжать. Принимаю у себя весь свет, весьма любезно и без всякого вознаграждения...»* (курсив мой. — А. А.). Месье д'Аржанталь знает, что я веду себя подобным образом. Месье герцог де Праслен об этом извещен».

Под конец письма автор не может удержаться от жалобы: пятьдесят лет на него клеветают.

Вольтер имел основания жаловаться и сейчас... Конечно, если знал. Далек не все гости, несмотря на прекрасный прием, отзывались о хозяине хорошо. Мадам де Жанлис, французской романистке, «голос «фернейского патриарха» показался могильным и придавал его речи

странную тональность, тем более что он имел обыкновенные говорить громко, хотя и не был глухим. Когда разговор не шел о религии или его врагах, беседа Вольтера была естественна и — при его уме — весьма приятна. Но мне казалось, он не выносил мнений, которые, хотя бы в одном пункте, противоречили его собственным. Стоило только поспорить с ним, в его тоне появлялись колкость и пронзительность. Он, конечно, потерял многое из искусства светского обхождения, которым должен был обладать, и это естественно: с тех пор как он поселился в этих местах, к нему являлись только за тем, чтобы опьянить его похвалами. Даже короли никогда не были предметом столь чрезмерного поклонения...»

Зато примерно в то же время принц де Линь восхищался Вольтером: «Держась одного мнения со всеми и всех заставляя разделять свое мнение, вынуждая говорить и думать тех, кто был на это способен, оказывая помощь всем обездоленным, строя дома для бедняков, он был добрым в своем доме, добрым в своей деревне, добрым человеком и человеком великим в одно и то же время...»

Как всегда, и теперь огорчения чередуются с радостями, обиды и преследования с почестями, к которым Вольтер неизменно чувствителен.

В 1770 году он удостоился чести, какой редко удостоивались при жизни даже самые великие люди. Речь идет о предпринятой подписке на статую Вольтера, заказанную знаменитому тогда скульптору Пигалю. 23 июня из Ферне было отправлено письмо инициатору подписки, Сюзанне Неккер: «Мадам! Это Вам я обязан всем, это Вы успокоили конец моей жизни и утешили во всех волнениях, которые мне пришлось пережить за пятьдесят с лишним лет».

Конечно, статуя была делом не одной этой умной и по заслугам ценившей Вольтера женщины. Д'Аламбер примерно тогда же писал Фридриху II, что содружество философов и писателей решило организовать подписку на статую Вольтера. «Вы знаете, сир, что философы и писатели всех стран, особенно французы, издавна считают его своим прародителем и образцом... какой почет оказало бы Ваше августейшее величество, возглавив нас».

Статуя, кстати сказать, была уже готова, необходимая

сумма собрана. Следовательно, Д'Аламбер заботился лишь о проявлении уважения и расположения короля прусского к «патриарху». Сам Вольтер тоже придавал значение участию Фридриха в подписке. Причем его не столько интересовал коронованный друг сам по себе, сколько желание, чтобы подписка вопреки известному ему первоначальному проекту носила *не национальный, а интернациональный* характер. Король не только ответил согласием д'Аламберу, но известил об этом Вольтера письмом настолько лестным, что друзьям с трудом удалось уговорить последнего этого письма не публиковать. Фридрих еще и заказал на своей фарфоровой мануфактуре бюст обожаемого учителя и прислал его в Ферне с надписью «Immortel» («Бессмертный»).

Вольтер был также весьма польщен участием в подписке и короля датского, Христиана, и 5 декабря того же года писал его величеству, давая попутно урок управления государством: «Без сомнения, не было еще простого гражданина, которому воздвигли бы статую. Европа должна была бы воздвигать их королям, которые путешествуют, насаждая Просвещение, и подают примеры, рассчитывая их получать, не угнетают своих подданных, но делают их счастливыми и уничтожают варварство.

Я готов кончить мою карьеру тем, что Ваше величество ее начало...»

Вольтер был доволен и самой статуей, назвал Пигалья великим скульптором, благодарил его за услугу.

Сюзанна Неккер писала в Ферне, что весь свет одобрил монумент, но жаловалась на язвительность скульптора и трудности с установкой статуи. А еще больше была недовольна тем, что Пигаль захотел изобразить Вольтера голым. Оригинал статуи, рассказав об этой ее жалобе 18 марта 1771 года в письме д'Аламберу, просил, чтобы он и другие философы оценили его изображение... «Это — Вы, кому я обязан, это — Вы, кто подает мне надежду».

С прижизненным памятником Вольтеру были связаны еще и другие недоразумения и неприятности. Вопреки утверждению доктора Давида Фридриха Штрауса, что Жан-Жак Руссо тоже принял участие в подписке, против чего якобы Вольтер резко протестовал, из 75-го тома «Корреспонденции», так и озаглавленного — «Статуя Пигалья», явствует: противник оригинала скульптуры в подписке участвовать отказался. Вольтер был возмущен его отказом.

Впрочем, при их отношениях этот поступок Руссо отнюдь не вызывает удивления.

Но недоразумения и неприятности пришли и ушли, а статуя осталась, хотя она и менее знаменита, чем работы Жана Гудона.

Однако ни самый великий скульптор, ни самый великий художник не могли воплотить Вольтера таким, каким он был, во всей его неповторимости. Мнения современников о его наружности, особенно в старости, не были особенно лестными, хотя встречались и исключения.

Сам Вольтер, хотя и был крайне доволен тем, что лучшие умы Европы поставили ему памятник при жизни, не мог скрыть от той же Сюзанны Неккер своего смущения ввиду непригодности «модели»: «Мне семьдесят шесть лет... Говорят, месье Пигаль должен приехать, чтобы лепить мое лицо. Но, мадам, нужно, чтобы у меня это лицо имелось. Сейчас трудно угадать, где оно. Глаза ввалились на глубину трех дюймов, щеки похожи на ветхий пергамент, плохо прикрепленный к костям... Последние зубы исчезли... Никто никогда не лепил статуи с человека в таком состоянии...»

Но Амалия Стюард даже пятью годами позже пришла в совершеннейший восторг от внешности Вольтера: «Нет возможности описать пламя его глаз и изящество его облика. Такая очаровательная улыбка!..»

Как это случается с большинством людей, к старости обостряются и многие черты характера Вольтера. По своему правы и принц де Линь и мадам Жанлис, хотя во многом она несправедлива. Больше других, мне кажется, нужно верить преданному секретарю «патриарха» с 1756 года до самой смерти Жану Луи Ваньеру. По его воспоминаниям, Вольтер стал еще более вспыльчив, а порой и резок. Если старику перечили, им легко овладевал гнев. Но, пишет Ваньер, никто так охотно не соглашался с разумными доводами. Особенно примечательно, если вспомнить, как любят утверждать, что он презирал и третировал чернь, приравнивая ее к животным, — вспылыв против слуг, Вольтер неизменно уже через несколько часов просил у них извинения, ссылаясь на свои недуги. Неизменно был любезен с дамами. В каждый разговор с ними вкрапывал стихотворные экспромты-мадригалы.

Оставался по-прежнему лучшим собеседником Европы XVIII столетия и так же умел слушать, как говорить. Если обсуждался серьезный вопрос, не торопился высказывать собственное мнение.

Если в замке не было гостей, приходилось ему напоминать об обеде: иначе забывал. Да и вообще не соблюдал определенных часов для трапез. И по утрам вставал в самое разное время, что не удивительно: так плохо и мало он спал и по ночам работал. Но очень любил прогулки — и в одиночестве, и в сопровождении приятных ему гостей.

Лечась у Троншена и врача Жекского округа, приглашаемого мадам Дени, предпочитал, однако, домашние средства. Постоянно жалуясь, что слепнет от белизны альпийских снегов, и перетруждая зрение непрерывным чтением, очков, однако, никогда не носил. Промывал глаза холодной водой, отчего они блестели.

Ваньер рассказывает еще и о том, что доверчивость его патрона, притом что не существовало ума более выдающегося, более проницательного, а многие Вольтера называли хитрецом, была просто поразительна. Кстати, еще Коллини говорил, что никого нельзя было обмануть легче, чем его хозяина. И обманывали... Когда Вольтер был молодым... В зрелые годы... И нисколько не меньше в старости. Причем чаще всего так поступали те, кто пользовался наибольшим его доверием и больше всего был ему обязан.

Щедрость его не уступала доверчивости, опять-таки вопреки укоренившейся за Вольтером репутации скупца. Иной вопрос, что он мог судиться с соседом чуть ли не из-за поленицы дров: вздорность нрава, ему присущая и прежде, еще усилилась. Но, бесспорно, много важнее то, как он распорядился своими очень крупными доходами.

Содержание замка и домашнего театра, сперва даже двух, и нескольких поместий обходилось дорого. Многочисленная прислуга, прием гостей... Большие средства поглощала колония. Когда беспорядки в Женеве заставили несколько семей бежать оттуда, Вольтер пригласил их в Ферне, выдал ссуды на постройку домов, давал, предлагая сам, и потом еще многим. Какое приданое он дал мадемуазель Корнель, мы знаем. Не говоря уже о невероятной щедрости по отношению к мадам Дени, помогал и ее брату, не жалел денег и на вторую племянницу. Много тратил на ведение процессов справедливости и суб-

сидировал тех, кого защищал, и других, кто в этом нуждался.

В последние десятилетия обычно отказывался от литературных гонораров, дарил свои драмы актерам, другие сочинения — издателям или бедным молодым литераторам.

Доходы от мануфактуры, коммерческих операций должны были покрывать перечисленные расходы. Но как раз тогда, когда его траты достигли наибольших размеров, покровитель Вольтера герцог де Шуазель получил отставку, что сразу сказалось на финансовом положении «фернейского патриарха». Государственный контролер де Тере принял меры, чтобы Вольтер потерял 200 тысяч франков в королевском банке. К тому же именно тогда прекратили платежи самые крупные должники, уже названные Ришелье и Вюртембергский. Взыскать деньги с последнего помог только через много лет Фридрих II, искупая свою давнишнюю вину.

Разумеется, не успокаивались и враги, старые и новые. Большим потрясением оказалась ссора с мадам Дени и отъезд ее на два года в Париж, о чем будет дальше рассказано подробно.

Но судьбы человечества и родины, как никогда, занимают Вольтера гораздо больше, чем превратности и шероховатости собственной жизни. Он чувствует приближение революционных потрясений. Пророчески звучит это место из его письма герцогу де Шевелену еще от 2 апреля 1764 года: «Все, что происходит вокруг меня, бросает зерна революции, которая наступит неминуемо, но я вряд ли буду ее свидетелем. Французы всегда достигают своей цели поздно, но когда-нибудь они все-таки достигнут ее. Свет распространяется все больше я больше: вспышка произойдет при первом удобном случае, и тогда начнется страшная сумятица. Счастливы тот, кто молод, он еще увидит прекрасные вещи».

Это, может быть, самое прямое высказывание Вольтера, свидетельствующее о том, что в 60-х годах он не только предвидит революцию, но и мечтает о ней. Но оно не единично и не случайно. А вместе с тем настораживают слова «страшная сумятица», стоящие рядом с «прекрасными вещами», которые увидит тот, кто еще молод.

Действительно ли он хотел вооруженного восстания народа или скорее опасался его? Великой французской революции, до которой он не дожил, предшествовала одна Великая буржуазная революция — английская. Ее Вольтер изучал очень серьезно. И восторгался государственным, общественным, экономическим устройством Великобритании, плодом революции. Портативный «Философский словарь», где об этом очень много говорится, по сути дела, — продолжение в 1764 году «Философических писем» 1734-го. Но саму английскую революцию он с ужасом и содроганием называет «великим мятежом, когда царствовали холодное ожесточение и обдуманная кровожадность, когда меч был посредником в отношениях между людьми и эшафот ожидал побежденного».

Кромвель ужасает Вольтера «варварством» и «зверской дерзостью, которая все приносит в жертву своим взглядам», и в то же время привлекает силой характера, целеустремленностью.

Называя себя самого прежде умеренным, Вольтер уже в английских трагедиях 30-х годов выступил как тираноборец и, жалея Карла I как человека, признал справедливость приговора, ему вынесенного.

Особенно с тех пор, как он стал невенчанным королем в Ферне, Вольтер объективно содействовал подготовке общественной мысли Франции к Великой буржуазной революции 90-х годов.

Не он один ее предвидел. К середине XVIII века приближение революционной бури в обветшавшем королевстве было настолько очевидно, что ее неизбежность сознавали даже наиболее проницательные люди из верхов. Маркиз д'Аржансон уже в начале 50-х годов написал: «Нельзя побывать ни в одном доме, чтобы не услышать злословия по адресу короля и его правительства. Все сословия в равной мере недовольны. Все это горячий материал: возмущение может перейти в мятеж, а мятеж — в настоящую революцию».

И даже гораздо раньше проницательный клиент метра Аруэ, герцог Сен-Симон предупреждал о грозном приближении революционных потрясений беспечного Филиппа Орлеанского и его министров. Он адресовал регенту докладную записку о необходимости созыва Генеральных штатов и писал: «Штаты возвысят свой голос, возмущенные отказом, но не успокоенные и тем, что им будет даро-

вано. А гордые завоеванием они снова соберутся своевольно, и тогда разгорится гибельная борьба, во время которой могут проникнуть порядки соседнего королевства» (то есть Великобритании. — А. А.).

Обо всем этом не мог не знать и не думать Вольтер.

Подготавливая революцию, мечтая о ней и ее опасаясь, Вольтер и в Ферне не мог не возвращаться к мыслям о гражданских войнах во Франции, более кровопролитных и изобилующих преступлениями, чем в Англии. С его точки зрения, ни одна из них не имела своей целью сколько-нибудь разумную свободу... Он отнюдь не разделял отношения Жана Мелье к народным восстаниям. (Потому и не включил в свой сборник бунтовского начала «Завещания».)

Вместе с тем несравненно более прозорливый, чем это представляется многим исследователям, Вольтер предвидел не только неизбежность революции во Франции, но и ее противоречия и бедствия... Как истинный просветитель, объяснял их опасностями, грозящими революции, если у ее кормила окажутся полуобразованные люди.

И однако, недаром Людовик XVI, оказавшись в Бастилии в комнате с книгами Вольтера и Руссо, воскликнул: «Вот кто погубил монархию!» Иное дело, что Виктор Гюго несколько преувеличил, воскликнув в «93-м году» устами своего героя: «Если бы Вольтера и Руссо повесили, революции во Франции бы не произошло!» Тем не менее сама Великая французская революция признала обоих главными своими идейными предшественниками, выделив из всех просветителей. Это широко известно.

Вольтер, бесспорно, не был самым радикальным из передовых умов Франции XVIII столетия, которая задолго до штурма Бастилии знала идею революционного насилия, о чем свидетельствует и «Завещание» Мелье. Первое и второе сословия — духовенство и дворянство — страшились революции, искали путей, чтобы ее избежать. Народные массы решительно рвались к смелой ломке старого порядка и извещали об этом даже прокламациями на стенах Лувра.

Но, также бесспорно, Вольтер был самым широким, самым всеобъемлющим умом своего времени, и с особой силой это сказалось в последние два десятилетия его жизни.

ГЛАВА 2

ПАРОЛЬ

„РАЗДАВИТЕ

ГАДИНУ!“

60-е годы. Перелистываешь тома корреспонденции Вольтера. Вот письмо д'Аламберу. Оно кончается словами: «Раздавите Гадину!» Другое — тому же адресату... Письма Дидро, Гольбаху, Морелле, всем единомышленникам, а они в разных концах Европы, неизменно кончат тем же призывом, девизом, лозунгом, паролем.

В частной корреспонденции, статьях, брошюрах, книгах Вольтер не устает повторять: необходимо уничтожить «гноусное привидение», «ужасное чудовище», «мерзкую гидру». Это главная боевая задача, которую генерал теперь выдвигает перед своей армией, руководитель — перед своей партией. Что имеет он в виду под «Гадиной», «Гидрой», «Чудовищем»? То, что речь идет о религии, несомненно из контекста. Но, может быть, подразумевает одну секту — скажем, янсенистов, или одни предрассудки? Сам Вольтер иной раз намеренно сбивает с толку, верный принципу «ударить и отдернуть руку». Кстати, именно так сформулированный совет этот он в одном из писем той поры дает д'Аламберу. В другом письме ему же сразу же за призывом «Раздавите Гадину!» иронически поясняет: «Вы понимаете, я имею в виду только предрассудки: ибо, что касается христианской религии, то я уважаю и люблю ее так же, как Вы». Д'Аламбер был деятельным участником организованного Вольтером заговора против Гадины, и христианство «любил» так же.

Нет, «Гадина», «Гидра», «Чудовище» — это не предрассудки, не какая-либо секта и даже не только католицизм, как принято думать. Мы уже знаем, что к этому времени Вольтер давно разочаровался и в кальвинистах и ненавидел их фанатическую преданность своему вероисповеданию не меньше, чем католицизм. 1 января 1765 года он пишет Бетрану — пастору французской (очевидно, протестантской) церкви в Берне и члену Академии:

«Ваша религия — реформированная или претендует на то, что реформированная». Дальше Вольтер отказывается прочесть книгу о протестантстве, рекомендованную адресатом, — он занят своим полем. И затем — «Вас это интересует, меня — отнюдь. Я — бедный земледелец, который Вас нежно любит и ни о чем не спорит». Но что надо понимать под возделыванием им сада или поля, мы знаем.

И тем же числом помечено письмо Фридриха II самому Вольтеру, свидетельствующее, что адресат интересуется религией и спорит. «Я считаю Вас настолько занятым уничтожением Гадины, что не представляю себе, чтобы Вы могли думать о чем-либо ином. Удары, которые Вы наносите, давно бы ее пригвоздили, если бы эта Гидра не продолжала беспрестанно распространяться на все новые и новые площади, захватывая поверхность всей земли. Я считаю богословие шарлатанством, давно обманывающим и соблазняющим людей».

Мне представляется, Вольтер призывал к борьбе со всякой церковью, всякими религиозными предрассудками, всяким фанатизмом. Иной вопрос, что христианство он считал самой опасной разновидностью Гадины, а из христианских вероисповеданий — католицизм. В 1767-м Вольтер писал Фридриху II: «Несомненно, оно (христианство. — А. А.) самая нелепая, самая кровавая религия из всех, когда-либо существовавших». В трактате «Бог и люди» Вольтер подсчитал приблизительное число жертв религиозного фанатизма: десять миллионов человек. Большая часть из них — жертвы христианства. «Христианская религия, — негодуя, восклицает автор, — вот каковы твои достижения! Ты родилась в одном из уголков Сирии, откуда тебя изгнали, и ты пересекла моря, чтобы донести свою непостижимую ярость до краев континента». В другом месте той же книги он обрушивает проклятия на «христианство, гнусное и варварское, угнетающее душу и заставляющее наше тело умирать от голода и ожидания, когда и душа, и тело будут сожжены на вечном огне». «Христианство довело народы до нищеты, обогащая монахов и тем самым вызывая вынужденные преступления. Христианство ограбило Европу и нагромодило в храме Лоретской богородицы больше сокровищ, чем потребовалось бы, чтобы накормить 20 голодающих стран...» Оно могло бы утешить мир, на что претендует, но «утопи-

ло его в крови бесчисленных сражений и навлекло на него бесчисленные бедствия».

Что же касается ударов, которые Вольтер наносит Гадине, в это десятилетие они бесчисленны и разнообразны. Для него писать — значило действовать. И он действовал против фанатизма, нетерпимости, предрассудков, неверного представления о мире известным уже нам «Опытом о нравах и духе народов», изданным в 1762 году, хотя здесь это не было его главной и единственной задачей, бичуя феодальное духовенство, обманывающее и обирающее народ. Действовал философскими трактатами — «Важное исследование лорда Болингброка» (1767), «Бог и люди» (1769) и другими.

Но, вероятно, из всего написанного им в это десятилетие против Гадины наибольшее значение имели сочинения, связанные с практической борьбой, защитой жертв фанатизма и нетерпимости. А еще важнее общеевропейский резонанс от самих процессов, которые он вел.

В начале развернутого им в 60-х годах наступления на христианство Вольтер думал, что не так уж трудно будет разрушить это здание, оно прогнило насквозь и лишь кажется еще крепким. «Его соорудили двенадцать человек, — писал он д'Аламберу 24 июля 1760 года, имея в виду апостолов. — Но чтобы его снести, достаточно пяти-шести дельных людей, которые сговорятся между собой». Он предлагает и организует заговор и считает, что его участники должны действовать не только в полном единении, а и «во мраке», «не подставляя свои головы палачу». Они не должны погибнуть, как Самсон, обрушивший храм на врагов — филистимлян, но и сам погребенный под его развалинами.

Уловки, к которым успешно прибегал Вольтер, борясь с Гадиной, отметил молодой Маркс, написав о Вольтеровой «Библии, получившей наконец объяснение», — в тексте автор «проповедует безверие, а в примечаниях защищает религию», «и верил ли кто-нибудь в очистительную силу этих примечаний?».

Поняв, что борьба окажется много сложнее, чем он предполагал, Вольтер пишет все больше и больше теоретических и пропагандистских сочинений и все шире и шире распространяет их. Но еще более, чем прежде, ста-

рается всякий раз скрыть свое авторство. А когда оно обнаруживается, страстно отрицает. Ведь если бы он поступал иначе, за написанную еще в 50-х годах, но снова размноженную теперь «Проповедь пятидесяти» пришлось бы поплатиться пожизненным заключением в Бастилии. А его покойному другу, умершему в Берлине в 1751-м, Жюльену Ламетри, которому он приписал «Проповедь», ничто не угрожает. В такой же безопасности тогда же скончавшийся лорд Болингброк. Покойника не привлечешь за якобы переведенное с английского «Важное исследование милорда Болингброка» и другие, такие же резкие антиклерикальные сочинения, изданные под его именем, но на самом деле написанные Вольтером.

Величайший мастер конспирации, пользовавшийся — наминаю — 137 псевдонимами, то фамилиями покойников, то живых, то вымышленными, а сколько его сочинений выходило анонимно, Вольтер становится еще более изобретательным теперь, когда «бомбы», обрушиваемые им на религию и старый порядок, становятся все тяжелее и тяжелее и все сильнее разят цель.

Но не меньше, чем о «мраке», Вольтер заботится о единстве. Умножая собственные усилия, действуя уже и как адвокат справедливости и терпимости, продолжая писать, издавать, распространять бесчисленное множество книг, брошюр, листовок, не оставляя и драматических жанров, и бьющих по той же мишени философических повестей, Вольтер неутомимый руководитель заговора против Гадины. И в числе участников заговора не только офицеры и солдаты его армии, партии философов. Круги от центра или штаба заговора — Ферне — расходятся все шире и шире. Блистательный стратег и тактик, Вольтер каждого используетсообразно его дарованиям и возможностям. Аббат Морелле написал «Учебник инквизиторов». Нужно как можно шире распространить эту замечательную книгу, мощное орудие в их арсенале.

Дамилавилъ — тоже сотрудник «Энциклопедии» — такой книги не написал. Но постоянный связной просветителей, чему очень помогает должность начальника почты, конспиративно соединяет Вольтера с Дидро, Гольбахом, другими преследуемыми энциклопедистами. Кроме того, он передает опасные рукописи издателям и копиис-

там: то, чего напечатать никак нельзя, расходится по всей Европе в списках. Д'Аржанталь устраивает на парижскую сцену трагедии Вольтера, а ведь они бьют по той же цели. Д'Аламбер не только сам выступает против Гадины, но вербует сторонников заговора во французской Академии. Доктор Троншен добывает информацию, что тоже очень важно.

Еще более примечательно, что Вольтер сумел вовлечь в заговор не одного старого безбожника, Фридриха II, издавна третировавшего духовенство, но и Екатерину II, Станислава Понятовского, немецких курфюрстов и курфюрстинь, маркграфов и маркграфинь, принцев и принцесс других государств, герцога де Шуазель, маркизу де Помпадур, каждому отводя его боевую точку и прекрасно понимая предел их убеждений и искренности.

Одно перечисление произведений Вольтера 60-х и 70-х годов, один список его адресатов и адресантов заняли бы очень много места. И девиз «Раздавите Гадину!» стоит над всем, что он писал и делал в эти десятилетия, рядом с другим девизом — «Но надо возделывать свой сад!», являясь — повторяю — его вариацией.

Конечно, критика религии Вольтером на наш сегодняшний взгляд несовершенна, а порой, особенно когда речь идет о библии, и груба. Но мы должны относиться к ней исторично и прежде всего оценить, какую огромную роль играла его критика тогда.

В статье портативного «Философского словаря» «Бог» подчеркивается необходимость веры в высшее существо, но отвергается «мстительный бог», «бог-полисмен», санкция наказания преступления официальной религии, породившей миллион преступлений.

Мы находим в той же статье и сомнения в существовании бога, так же как и в том, что его не существует. Нет доказательств ни того, ни другого. «Но если бог существует, быть его учеником — значит видеть благородное сердце и справедливый разум».

Там же в статье «Деист» говорится: «Деист — человек, твердо убежденный в существовании высшего существа, столь же доброго, столь могущественного, создавшего все... который без жестокости наказывает за преступления и с добротой вознаграждает за добрые поступки. Деист не знает, как бог наказывает, как он благодетельствует, как прощает, деист не настолько отважен, чтобы

льстить себя надеждой, что он знает, *как* бог действует. Но он знает, что бог действует и что он справедлив». Дальше подчеркивается — деист не принимает никаких иных религий.

Из других определений деизма Вольтером еще более очевидно, что это не религия, противостоящая другим религиям и отвечающая его общим воззрениям.

«Кто такой деист?» — спрашивает автор и отвечает: — «Тот, кто говорит богу: «Я поклоняюсь и служу Вам». Но это только начало. Дальше следует: «Тот, кто говорит турку, китайцу, индейцу, русскому: «Я люблю Вас». Автор идет еще дальше: «Деист верит, что все люди — братья».

Действительно, *практические потребности* диктовали Вольтеру признание существования бога, как правильно считал академик В. П. Волгин, с ним соглашается и Е. Г. Эткинд. Но, думается мне, первой и главной «практической потребностью» была борьба с официальной религией и самыми страшными ее спутниками — нетерпимостью и фанатизмом, борьба за справедливость, а отнюдь не обман народа с целью его обуздания. Слишком громко Вольтер кричал, что, если бога не существует, его бы следовало выдумать, остроумно заметил М. Лифшиц. Этого нельзя было не услышать, и это слышали. С другой стороны, у фразы есть продолжение: «но в этом нет нужды, ибо бог есть».

Вольтера так любят относить к правому крылу французских просветителей, что упорно не замечают его широты, того, как в нем сочеталась защита частной собственности и забота о благе народа и народов, о каждом человеке и человечестве.

Не только слабость, но и сила Вольтера была в том, что в основе его мировоззрения — защита всего недифференцированного третьего сословия. Разделение произошло уже потом, у его учеников, энциклопедистов, Дидро, Руссо и других.

Один из самых замечательных поступков «фернейского патриарха» 60-х годов, уже известный нам, — то, что он первый опубликовал, хотя и не полностью, без самой бунтовской части, «Завещание» Жана Мелье. Вольтер использует замечательное произведение в своей борьбе с Гадиной. В письме д'Аламберу, с тем же паролем, от 26 февраля 1762 года, напоминает: «Жан Мелье, умирая, ска-

зал правду о том, что думал о Христе». Два года позже пишет тому же «великому и обожаемому философу»: «Завещание» Мелье должно быть в кармане каждого честного человека!»

Уже одно это проливает свет на то, что для Вольтера главный пафос борьбы с Гадиной — в защите справедливости, прав человека и гражданина. Религия — одна из форм угнетения, и, естественно, она опирается на незаконные и произвол сильных мира сего. Они тоже должны быть уничтожены. Пароль, девиз, лозунг Вольтера надо понимать еще шире, чем борьбу со всеми религиями. Его добрый, справедливый бог противостоит всякому угнетению, всякому ущемлению прав человека.

Он построил в Ферне церковь, приказав выгравировать на ее фронте: «Богу построил Вольтер». Показывая эту надпись гостям, смеялся и говорил: «Прекрасное слово между двумя звучными именами». Надпись же была полемична, программна, серьезна. Она означала, что Вольтер не признает посредников между богом и собой, между богом и людьми, но признает бога. В церкви для прихожан, разумеется, шли службы. Но победа сеньора справедливости выразилась в том, что в его церкви молились и католики и протестанты. Неслыханная по тем временам религиозная терпимость!

Конечно, и религия, исповедуемая Вольтером, — деизм (он называл ее «святой и естественной», самой распространенной), признававшая бога лишь доброго, но все-таки бога, противоречила его философии. Но уже в «Трактате о метафизике» (1734 год) бог для него лишь первопричина, то есть, собственно, не бог в понимании канонической религии. Это осталось и тогда, когда Вольтер поднялся до понимания материализма и, в сущности, стал материалистом. Не случайно его ученики и друзья — оппоненты, последовательные материалисты и атеисты, шутя прозвали своего учителя «коз-финалист» (от слова — «cause» — «причина» и «finale» — «конечная»).

ГЛАВА 3

АДВОКАТ

СПРАВЕДЛИВОСТИ

Кто не слышал о деле Дрейфуса и защите его Золя, мултанском деле и роли в нем Короленко?

Но Вольтер *первым* из писателей не только выступил против *нетерпимости*, которую, по словам Виктора Гюго в его речи к столетию со дня смерти великого человека, представляла *религия, несправедливости — правосудие, невежества — народ*, но и победил. До Вольтера Каласы всегда были виноваты, а судьи — правы.

Самое удивительное, что Вольтер, живя вдалеке, сперва и не знал об этом деле, о котором весь свет говорил: «Калас убил своего сына, чтобы наказать за обращение в другую веру. Это ритуальное убийство. Это ужас из ужасов!» И когда слух о нем докатился до Ферне, «патриарх» тоже сперва осудил «убийцу», уже казненного по приговору Тулузского парламента. К тому времени Вольтер разочаровался в протестантах, а Калас был гугенотом, и его сын Марк Антуан якобы перешел в католичество и на самом деле увлекался театром. Философ сказал: «Мы немногое стоим, но гугеноты еще хуже, чем мы, декламируя против Комедии. Вот нашелся человек, ненавидящий театр и поэтому убивший своего сына. Жан-Жак нападает на театр, он способен на то же». По любому поводу Вольтер вспоминал недобрый словом о Руссо.

Но позиция фернейского мудреца в деле Каласа потом изменилась благодаря информации, всегда быстро получаемой им отовсюду, но на этот раз задержавшейся. Из Тулузы приехал д'Аламбер и рассказал о процессе. Вольтер сразу лишился сна. Гадина столкнулась с Гадинной, католики с протестантами. Он не знал еще, кто прав. Но счел себя обязанным прояснить истину, дознаться, что же произошло на самом деле. Ни обвинение, ни невинность осужденного равно не доказаны, потому что, как он быстро понял, настоящего следствия не провели.

Ну что же, он проведет следствие сам, пусть после приведения в действие приговора. Тут в Вольтере проснулся юрист. Исходя из презумпции невиновности, он решил добыть доказательства преступления Каласа. Если же их нет — значит, ошиблись судьи, и казненного нужно посмертно реабилитировать.

Словом, он взял на себя работу, которой не проделали ни следователи, ни суд. Не будучи еще уверен в невиновности Каласа, понял, что обвинение не доказано. А это задевало его страсть к справедливости правосудия, почти никогда не удовлетворявшуюся.

Итак, сначала Вольтер заинтересовался и занялся делом Каласа, еще словно бы не как боец с Гадиной, но как потомок Аруэ и особенно Домаров. Терпение, хладнокровие, проницательность, беспристрастие, энергию — все эти качества он применил, чтобы провести следствие прямо-таки классически. Еще важнее, что его совесть была отравлена этим делом. Он должен был за него приняться, и он принял.

Из Ферне отправляются письмо за письмом. Кардинал Берни — его первого Вольтер попросил задуматься над ужасным Тулузским делом — не захотел опечаливать себя и отвлекаться от развлечений; он даже не ответил. Тогда идет второе письмо герцогу де Ришелье, губернатору Лангедока... Еще не дождавшись ответа от старого друга, Вольтер узнает, что в Женеве, в ссылке, — сыновья Каласа. Он снова пишет Берни. Светский человек, тот, наконец, отвечает. Но как?! Ни во что не веря, кардинал не жалеет ни во что вмешиваться, в том числе и в незаконие и несправедливость.

Ришелье, наоборот, якобы сразу съездил в Тулузу, но, оберегая друга от страшной правды, долго молчал. Только после того, как посетитель, месье Робот, человек просвещенный, с изысканным умом, состоявший в переписке с Бюффоном, Неккером, Руссо, открыл Вольтеру горькую истину, Ришелье наконец тоже написал ему об одной из тех страшных смертей, которые способны похоронить живых. Впрочем, он советовал другу в его уединении лучше заняться чем-либо иным, пусть возделывает в Ферне свой сад и углубляется в свою поэзию.

Мог ли Вольтер, который потом назвал *лучшим своим произведением* *сделанное им добро*, последовать второму совету? Что же касается первого, мы уже знаем, как он

понимал формулу «каждый должен возделывать свой сад». В данный момент его «садом» и было дело Каласа.

Хорошо, что сразу нашелся человек, который Вольтера поддержал. Доктор Троншен без труда добыл и представил ему доказательство, что Ришелье получил свои сведения не из парламента Тулузы, а из парламента Бордо. Впрочем, разница была невелика: все парламенты — тогда и суды — заодно. Троншена поддержал своей диссертацией, сам, вероятно, об этом не беспокоясь, президент Бросс, сосед Вольтера, продавший ему Турне.

Теперь «патриарх» окончательно убедился в том, как силен в этих сосредоточиях беззакония дух корпорации, и «решительно повернулся спиной ко всем парламентам Франции и Наварры». Это был еще один важнейший аргумент в пользу того, чтобы самому ревизовать процесс Каласа.

Следствие продолжается. Вольтер связывается с тулузскими коммерсантами и адвокатами, по делам приезжающими в Женеву. Сам ездит туда, чтобы лично допросить их как свидетелей. Больше всего допрашивает сыновей Каласа.

И опять-таки неверно думать, что им руководит одна лишь ненависть к католической церкви, хотя есть уже все основания полагать — виновата она, а не казненный. Протестантский фанатизм претит Вольтеру несколько не меньше, да тут еще и замешана любовь к театру.

Конечно, он жалел семью Каласа, страдающую и преследуемую и сейчас. Но он был слишком Аруэ, обладал слишком трезвым и скептическим умом, чтобы руководствоваться одними необдуманно порывами сердца.

Прежде всего, дабы восстановить справедливость, а это было главным, нужно докопаться до истины. Поэтому он и действовал как настоящий следователь. С пристрастием не расспрашивал, а допрашивал Доната Каласа и его брата Пьера. Последний был старше, развитее и гораздо более осведомлен, привлечен по делу и присутствовал как один из обвиняемых на суде. Вольтер допытывал его четыре месяца, как бы сам судил Пьера Каласа и всех остальных.

Какое нужно было для этого усердие! Какой пример юридической добросовестности он подавал тулузским капитулу-муниципалитету и парламенту, всем следователям, прокурорам, судьям и адвокатам!

Горячему сердцу помогала холодная голова. Постепенно он узнал всех членов семьи казненного, всем ставил ловушки, не принимал ни одного их слова на веру и все выяснил до конца. Теперь он имел право написать 13 февраля 1763 года: «Нет ничего, что я не сделал бы, чтобы прояснить правду. Я допросил многих людей, близких к Каласам, об их нравах и поведении. Я очень часто и много допрашивал самих членов семьи. Поэтому могу быть уверенным в их невинности, как в собственном существовании».

Перед тем как рассказать о хлопотах и победе Вольтера, нужно познакомить читателей с тем, что узнал он в результате тщательно проведенного следствия, и добавить еще некоторые подробности, прояснившиеся потом.

Прежде всего, кем был казненный Жан Калас? Коммерсантом протестантского вероисповедания, с семьей проживавшим в Тулузе и пользовавшимся самой хорошей репутацией. Из четверых его сыновей двое — старший, Марк Антуан, и Пьер — жили с родителями. Луи, приняв католичество, жил отдельно и редко их навещал. Четвертый, еще мальчик, Донат, учился в Ниме. Две молоденькие дочери чаще всего проводили время в обществе знакомых.

Они отсутствовали и в тот роковой вечер 13 октября 1761 года. Родители, Марк Антуан и Пьер ужинали в большой комнате первого этажа. (Напомню, что в западных странах первым этажом называется наш второй. — *А. А.*) К ним присоединился друг Марка Антуана, месье Ла Весс. Вернувшись из поездки в Бордо, молодой человек застал дверь своего дома запертой: все ушли, и направился к Каласам.

После ужина Марк Антуан встал из-за стола, зашел в кухню и сказал служанке, что ему жарко, он пойдет подышать свежим воздухом. Никто не обратил внимания на его уход, и застольная беседа продолжалась, пока Ла Весс не заметил, что Пьер начал зевать, и не распрощался. Мосье Калас и Пьер, взяв свечу, пошли проводить гостя до парадной двери.

Мадам осталась одна. Внезапно снизу до нее донеслись крики и горестные возгласы. Напуганная, она не пошла сама, по послала посмотреть служанку. Та долго не возвращалась, и Анна Роз решила спуститься. Одна-

ко на лестнице Ла Весс загородил ей проход и попросил вернуться в столовую. Сперва мадам послушалась. Но вскоре, охваченная волнением, не выдержала и сошла вниз. Марк Антуан был неподвижно распростерт на полу прихожей. Утешая себя, мать сначала решила, что у него обморок. Увы, это было не так...

Потому-то она и слышала крики отчаяния. Когда Жан и Пьер Каласы провожали Ла Весса, все трое увидели несчастного висящим на деревянной перекладине для рулонов ситца. Немедленно сняли, пытались оживить. Увы, было слишком поздно...

Уже при враче, выйдя из первоначальной подавленности горем, отец сказал Пьеру:

— Чтобы спасти честь нашей несчастной семьи, не нужно поднимать шума. Твой брат сам себя убил.

Это предупреждение объяснялось тем, что в XVIII веке во Франции самоубийц приравнивали к убийцам и запрещали хоронить. Казалось бы, сделанное до допросов, когда не возникло еще чудовищное обвинение в том, что отец убил сына, предупреждение должно было исключить этот вымысел. Увы, оно не помогло, но повредило. Каласов уличали во лжи, когда они говорили правду, обвиняя еще и в том, что отец и брат симулировали самоубийство Марка Антуана.

Да и шума избежать все равно не удалось. Едва мать узнала, что сын мертв, она стала так кричать, что сбегались и соседи и прохожие. Исключительное рвение проявили немедленно прибывшие чиновники капитула. Особенно гнусную роль во всем этом ужасном деле сыграл один из них, Давид де Бодриж.

Ла Весс еще раньше пошел вызывать — по одной версии — полицию, по другой — врача. Вернувшись, он застал дом окруженным сорока солдатами. Понимая, что губит себя этим признанием, молодой человек назвался другом Каласов и сказал, что только что вышел от них. Тогда его пропустили, но не внутрь, а лишь в середину бесноватейшей толпы.

Бедняга пытался объяснить, каким образом Марк Антуан оказался мертв. Его не слушали. Уже раздавались возгласы: «Кто убил?» И тут же из неистовствующей толпы раздался чей-то ответный крик: «Марк Антуан убит родными-гугенотами за то, что принял католичество».

Эта отвратительная клевета и убила Жана Каласа. Она дошла до ушей капитула Бодрижа, и он счел за благо принять ее как истину. Без малейших доказательств объявил виновными тех, кого нельзя было и заподозрить. Без расследования, без осмотра места, где было найдено тело, без мандата на арест объявил опасными преступниками и подверг заключению всех, кто в этот вечер находился в доме Каласов. Не обыскал даже здания. Убийцы, если это было убийство, могли превосходно спрятаться. Не побеспокоился выяснить, происходила ли борьба между повешенным и тем, кого обвинили в повешении, хотя, казалось бы, бесспорно, сильный молодой человек не мог не оказать сопротивления. И как старый отец, а главным обвиняемым стал он, мог бы справиться с сыном?!

Бодрижа все это нимало не интересовало, так же как и то, что в комнате Марка Антуана не нашлось ни одной книги, свидетельствующей — он перешел или хотел перейти в католичество. Суду не предъявили даже бумаг, обнаруженных в его кармане.

Каласы между тем и после ареста наивно думали, что, выслушав их показания, Бодриж отпустит всех задержанных домой.

— И не рассчитывайте скоро выйти отсюда! — таков был ответ капитула. Приговор невинным был им уже вынесен.

И, может быть, еще страшнее, что толпа вынесла тот же приговор. Для фанатичных католиков гугеноты не могли не быть виноваты.

Так из-за честолюбия чиновника, который рассчитывал сделать на этом карьере, и фанатического невежества толпы возникло это столь же чудовищное, сколь нелепое дело. Бодриж заправлял всем его ходом и жаловался на некоторых своих коллег, что они не поддерживают его так, как должны были бы. Но и решительно возражать ему никто не решался. Не помогло даже то, что министр, когда ему доложили о заставляющем трепетать преступлении, оснований для трепета не нашел.

Между тем стоило бы следователям, а затем судьям заинтересоваться самим Марком Антуаном Каласом, и все сомнения в том, что он покончил с собой, тут же бы отпали.

Ему было двадцать восемь лет. Умный, одаренный,

образованный молодой человек успешно изучил право и, казалось бы, имел все шансы сделать блистательную карьеру адвоката. Но для этого надо было иметь свидетельство, что он католик. Марк Антуан без труда получил его у отца Ла Весса, крупного тулузского адвоката, протестанта по истинной вере, но формально католика. Отсюда и версия о ритуальном убийстве. Насколько она лишена была основания, явствует из следующего. У Марка Антуана потребовали еще и свидетельства от кюре собора Сент-Этьен. Священник отказался выдать документ, пока молодой человек не исповедуется, чего он, не изменяя своей вере, сделать не мог.

Марк Антуан впал в полное отчаяние и признался одному из друзей, что карьера, о которой он так мечтал, погибла. То есть на самом деле произошло обратное тому, что утверждали толпа и Бодриж. Марк Антуан католиком не стал.

Поскольку профессия адвоката была ему теперь закрыта, молодой человек вынужден был заняться коммерцией, питая к ней отвращение. Не удивительно, что тут же потерпел неудачу. Будучи самолюбив, с трудом обратился за помощью к отцу, а тот еще и отказался взять сына в компаньоны, справедливо считая его неспособным вести дела. Новая неприятность!

Чтобы «утешиться», Марк Антуан занялся игрой в кафе «Катр Бильярд» и, главное, увлекся как любитель театром. По показаниям многих свидетелей, он хорошо декламировал и, видимо, не случайно предпочитал монологи и сцены, где речь шла о смерти, сомнениях в смысле жизни и даже прямо о самоубийстве, как в тираде Гресса из пьесы «Сидней», монолог Гамлета. Жизнь молодого человека была сломана. Он не только кончил ее самоубийством, но и не мог не кончить.

Однако судей не интересовали превратности судьбы, характер, направление мыслей покойника. Они не хотели признать самоубийства. Им, как и Бодрижу, гораздо выгоднее было завоевать популярность у фанатически настроенной толпы, расположение католической церкви, объявив Марка Антуана Каласа убитым за новую, единственную праведную веру ее противниками.

Три воскресения кряду это провозглашалось кюре и аббатами с амвонов всех тулузских соборов и церквей.

И в то же время для предварительного допроса вызывали лишь свидетелей, явно враждебных семье Каласов.

И три недели труп не хоронили, заливая, чтобы не разложился, известкой. Бодриж, злоупотребляя властью, еще до приговора, а парламент отнюдь не торопился, потребовал, чтобы, будучи католиком (?), «убитый» был погребен по ортодоксальному обряду.

Характерно, что кюре собора Сент-Этьен, точно зная, что Марк Антуан в католичество не перешел, первоначально отпевать его отказался. Зато потом, когда еретика, да еще и самоубийцу, признали святым мучеником, как этот божий слуга торговался с кюре другого тулузского католического храма, кому из них будет оказана высокая честь упокоить тело!

А какой помпой окружили пышные похороны, еще больше наказывая этим ни в чем не повинную семью! Иначе, чем кощунственной комедией, их не назовешь. Гроб окружили сорок католических кюре и аббатов, предшествуемых кающимися во всем белом. Якобы раскаявшимся в ереси был сам покойный Марк Антуан. Покаяния провозглашались и в других соборах и церквах. А в одной капелле на возвышении был воздвигнут скелет, изображающий Марка Антуана с пальмой мученика в одной руке и табличкой с латинской формулой покаяния — и другой. Говорили, что эта затея принадлежала недавно обращенному и поэтому тем более неистовому католику, брату покойного — Лун. Насколько это была достойная личность, явствует хотя бы из того, что он заставил отца назначить ему пенсию за измену своей вере... «Нежный» сын навещал родителей, только когда нуждался в деньгах. А теперь решил нажить капитал и у католической церкви такой фальсификацией, таким издевательством над погибшим братом!

Как велся сам процесс? Защитник Каласа прокурор Дюку сам попался в ловушку, расставленную Бодрижем и руководимыми им капитулами. Они отложили суд на три месяца и устроили публичный акт покаяния обвиняемых перед разбирательством дела. Это заранее обезоружило защиту. Адвокат Сатир попробовал привести доказательства невиновности Жана Каласа. Его даже не удостоили выслушать.

Обвиняемых было пятеро: Калас-отец, его жена Анна Роза, Пьер, Ла Весс-младший, служанка — Жанна Виньер. Все больше и больше злоупотребляя властью, капитулы осмелились подвергнуть пыткам всех троих Каласов, хотя это чудовищное право принадлежало лишь верховному суду.

Несчастливая служанка была признана соучастницей мнимого преступления лишь из-за ее преданности хозяевам. Это было тем более нелепо и чудовищно, что, верующая католичка, Жанна каждое утро слушала мессу и даже способствовала обращению Луи. Если бы убийство имело место, она первая должна была бы донести. Но ей не о чем было доносить, не в чем признаваться... И она не призналась и не уличила своих хозяев. Тогда честную женщину обвинили в клятвопреступлении, не только не выделили из процесса и не освободили из тюрьмы, но даже запретили там причащаться, что при ее набожности было тяжелейшим лишением. И исповедник Жанны не дал суду никакого материала против нее.

Вольтер, изучая процесс, нашел этот аргумент и непровержимо доказал, что, если даже преступление было совершено, служанка его соучастницей не являлась.

В «Трактате о веротерпимости в связи с гибелью Жана Каласа» Вольтер приводит в защиту казненного то обстоятельство, что — протестант — он тридцать лет держал в своем доме эту служанку-католичку.

Процесс проходил в парламенте Тулузы, и господа судьи были людьми, до тонкости изучившими процедуру, и не хуже владели правилами свершения христианского правосудия. Тем более они скомпрометировали себя как истинный трибунал, лишь имея его видимость. Они подчинялись фанатической страсти, охватившей город, и эту страсть разжигали сами. На улицах Тулузы стоял сплошной крик: «Калас — убийца сына!», крик обезумевшего стада, ведомого дурными пастухами. Точно такая же атмосфера была и в зале суда, хотя внешне и более сдержанная.

Единственный из членов парламента, де Ла Салль посмел защищать Каласа. Один из коллег ему крикнул: — Месье, вы сами Калас!

— А вы — толпа! — последовал ответ де Ла Салля. Обе реплики точно выразили атмосферу процесса.

Вот как в своей страстной бессмертной речи Виктор

Гюго отвечает на вопрос, в чьих интересах самоубийство превратили в убийство. «В интересах религии. И кого в нем обвинили? Отца. Отец — гугенот, и он будто бы хотел наказать своего сына, захотевшего стать католиком. Факт чудовищный и фактически невозможный... Все равно: отец убил сына, старик повесил юношу! Правосудие работает, и вот развязка... 9 марта 1762 года на городскую площадь приводят седовласого человека, Жана Каласа, раздевают его догола, возводят на эшафот, кладут на колесо и крепко к нему привязывают. При Каласе на эшафоте — три человека: муниципальный советник Давид, он руководит казнью, священник с распятием и палач с железной полосой в руке. Ошеломленный старик не смотрит на священника и видит перед собой только палача. Тот поднимает полосу и раздробляет ему руку».

Гюго подробно описывает всю процедуру казни и заключает: «В итоге это составило восемь казней». Причем после каждой из восьми, после того как палач раздробил Каласу руки и ноги, нанося по каждой два удара, несчастного по приказу советника приводили в чувство, дав понюхать соли, и священник подносил к его устам распятие. Но Калас нашел в себе мужество всякий раз отворачивать голову.

Наконец, палач, чтобы кончить его страдания, нанес последний удар толстым концом железной полосы, раздробив грудную клетку. По другой версии, палач задушил Каласа и бросил его тело в огонь, чтобы ветер развеял останки. Какая разница?

Казнь, или восемь казней, продолжалась два часа. И все это время Жан Калас слышал голос, уговаривавший его раскаяться в совершенном им перед господом преступлении. В дьявольскую расправу еще впутывали бога! Вольтера это особенно возмутило.

Так кончил свою жизнь Жан Калас, добрый человек, честный коммерсант, любящий муж и отец, верный подданный короля, отнюдь не смутьян, не бунтовщик. Смерть его была воплощением мужества, спокойствия, величия духа. Он сказал священнику Буржу, который вел его на такие мучения: «Как, вы, мой отец, тоже верите, что можно убить сына?!» Его заставляли, принося нечеловеческие страдания, назвать соучастников преступления. Несчастный нашел в себе силы ответить: «Не было преступления, не было и соучастников!» Вольтеру переда-

ли и последние слова его: «Я сказал правду. Я умираю невинным».

Между тем Бурж кричал даже, когда палач убивал жертву, чтобы казнимый признался. Зачем церковь, капитул, парламент нуждались в признании Каласа? Чтобы облегчить свою совесть? В самом деле, что может быть ужаснее мучений нечистой совести?! Но для этого надо иметь совесть... А может быть, они боялись суда потомства?

И суд этот состоялся... Пусть через тридцать лет... Пусть не над ними самими, а над их сыновьями и внуками... Народный трибунал Революции привел на гильотину потомков неправедных обвинителей — они, а не тот, кто заносил железную полосу, были подлинными палачами Каласа.

Внука Давида Бодрижа в 1795 году возвели на эшафот. Он не проявил мужества, подобного Жану Каласу.

А его дед не усомнился и после казни своей главной жертвы. Он доложил министру, что весь свет хочет еще мучений «преступников». Нужно колесовать и мать «убитого», и Пьера... Расправиться и с семьей Ла Весса. Министр не одобрил предложенных им столь крутых мер, но слишком поздно разгадал низменность души и способность к любым злодеяниям этого тщеславного капитула. Лишь после отмены приговора Бодриж был смещен со своей должности.

Семья Каласа хотя и не так жестоко, но пострадала. Сыновей и мать выслали в Женеву. Даже дочерей, хотя их в тот роковой вечер, когда Марк Антуан повесился, и не было дома, заточили в монастырь.

Вольтер должен посмертно реабилитировать Жана Каласа и его жену, детей, Ла Весса, служанку. Должен убедить в их невиновности весь мир. Но прежде нужно убедить власть имущих. Чтобы организовать осаду министра, месье де Сен-Флорентена, он мобилизует Ришелье, герцогиню де Альвиль, герцога де Виллара, но и мелкого служащего Мейнарда. Доктор должен, отпуская государственному деятелю каждое утро дозу рвотного, отпустить и дозу дела Каласа.

К кому только Вольтер не обращается, кому не пишет? Надоедает канцлеру месье де Ламуаньон и прези-

денту Счетной палаты месье де Николаи. Изю всех сил цепляется за маркизу де Помпадур, напоминая о бывшей дружбе, жеманничая, развлекая и, главное, стараясь рас­трогать фаворитку, убедить, что нужно спасти истину, если нельзя уже спасти жизнь Жана Каласа.

Казалось бы, он сумел поколебать даже Тулузский парламент. Судьи больше не были уверены в справедливо­сти вынесенного ими приговора. Конец Каласа, подняв­ший уже второй раз шум во всей Европе, заставил дро­жать не одного советника. Слишком неправдоподобным выглядело теперь, после проведенного Вольтером следст­вия, якобы совершенное преступление. Как мог шестиде­сятивосьмилетний старик один повесить двадцативосьми­летнего молодого человека? Имел ли он соучастников? Ес­ли имел, это в первую очередь должен был быть его вто­рой сын, Пьер. Тогда почему же того оправдали? Уязви­мым в отношении Пьера оказался не только приговор... А эта комедия с изгнанием Пьера из Тулузы! Заставили выйти через ворота Сен-Мишель, чтобы тут же разрешить вернуться через другие ворота... Затем заключили Пьера у монахов-якобинцев и обещали свободу, если он при­мет католичество. Что за бессмысленное сплетение ре­прессий?! Но и на этом непоследовательность наказующих не кончается. После того как Пьер стал католиком, его высылают в протестантскую Женеву.

«Как мог Ла Весс специально приехать из Бордо, что­бы удавить своего друга, не зная заранее о его мнимом от­речении?» (Вольтер.)

Однако, как покажет будущее, Тулузский парламент далеко еще не сдался.

Возникает вопрос: почему философ, столь кропотливо и тщательно допрашивая сыновей Каласа, долго не обра­щался к их матери? Она была совершенно уничтожена, раздавлена тем, что пережила.

Ее ужасное состояние объясняет, почему первое пре­пятствие, которое Вольтер должен был преодолеть, при­ступая уже к защите Каласов, — это получить разреше­ние вдовы казненного. Она сопротивлялась, не хотела. И тут он нашел выход, обратился к сердцу матери. Напо­мнил, что, кроме сыновей, — двое были с ней, третий дав­но откололся от семьи, вел себя враждебно, у Анны Розы еще две дочери, заточенные в далекий монастырь. Мадам Калас жила лишь химерической надеждой их увидеть.

Вольтер сумел убедить ее, что эта надежда станет реальностью и страдания девушек кончатся, их вернут матери, только если будет пересмотрен приговор. Так он добился согласия несчастной женщины. Мало того, сумел ее уговорить поехать в Париж. Нужно было, чтобы там увидели это застывшее, как статуя, воплощение скорби и безвинных мучений. Когда парижане начнут плакать от сожаления, присоединив свои слезы к слезам безутешной вдовы и матери, Вольтер почувствует — дело двинулось. Он делает для поездки мадам Калас все. Не только снабжает ее рекомендательными письмами к своим друзьям и влиятельным лицам, пишет им заранее, дает советы и не жалеет денег ни на дорогу Анны Розы, ни на ее содержание в Париже... Тратит очень много собственных средств на защиту и организует подписку — сбор денег. В опровержение лживой легенды о его скупости, помимо сведений о том, что Вольтер открыл Анне Розе Калас текущий счет в банке Мале, сохранилось и опубликовано Бестерманом множество его письменных распоряжений своим банкирам о выдаче вдове Калас с его текущих счетов сумм. Вот, для примера, одно из таких распоряжений, адресованное 5 сентября 1762 года из Делис банкиру Ампу Кампу: «Я направил мадам Калас письмо, чтобы она могла получить триста ливров с моего счета. Надеюсь, что вызывающая сожаление эта бедная семья добьется правосудия».

Вольтер придает огромное значение появлению вдовы казненного в Париже и Версале. Того, что он сам представляет истину, справедливость, великодушие, для судей мало. Нужно, чтобы вмешались общественное мнение, публика, толпа, народ! Если парламент Тулузы осудил невинных под крики городской толпы: «Смерть Каласу!», то теперь, чтобы спасти то и тех, что и кого еще можно спасти, нужно добиться таких же криков парижан: «Резабилитируйте Каласа!», «Правосудие для семьи Каласов!» И, несомненно, парижане станут так кричать, если воочию увидят вдову казненного.

Благодаря своим влиятельным связям и неусыпной заботе Вольтер обеспечил ей теплый прием. Д'Аржантали превзошли в хлопотах самих себя. А программу действий диктовал он издали. Нужно понимать, что для Вольтера речь шла не только о пересмотре одного несправедливого приговора, хотя и это было очень важно, но и о за-

щите человека вообще от посягательств на его жизнь, свободу, на его право, по меньшей мере, знать, за что на них посягают.

И было бы неверно думать, что Вольтер начал защиту лишь после приведенного выше признания, что он знает об этом деле все и уверен в невинности Каласов, как в своем собственном существовании. Это можно заметить уже по дате распоряжения Ампу Кампу. И 16 августа 1762 года Вольтер инструктирует вдову: «Я предполагаю, что мадам Калас передаст мадам маркизе де Помпадур письмо, которое профессор Троншен написал ей больше месяца назад в защиту месье Каласа. Надеюсь, что есть такое же письмо к месье Кесне. Те, которые направляют мадам Калас в Париж, продиктуют Вам короткое и трогательное письмо месье Кесне (энциклопедист. — *А. А.*), и это будет иметь большой эффект. Было бы также весьма полезно, если бы Вы написали несколько слов герцогу до Виллару, старшему сокольничему Франции, в Версаль». Вольтер тут же советует Анне Розе и заручиться поддержкой месье де Николаи, президента Счетной палаты, родственника и младшего друга канцлера.

Через девять дней Вольтер снова пишет мадам Калас о хлопотах у первой фаворитки короля и других влиятельных лиц: «Говоря, что мадам де Помпадур не заинтересовалась этим делом, заблуждаются. Она не могла, не должна была действовать открыто. Но, бесспорно, была настолько задета чудовищным беззаконием, чтобы пустить в ход все посильные средства, притом не компрометируя себя. Вот почему мадам Калас может рассчитывать на ее поддержку». Предупреждает вдову, чтобы она не удивлялась, что «министр Флорентен не прочтет того, что ему представят, сразу на аудиенциях не читают, и что месье де Николаи не вернет листов процесса после их просмотра»...

Итак, началось сражение Вольтера и его друзей, друзей Каласов с парламентом Тулузы. Возникла первая трудность — достать само дело из суда. Адвокату Мариетту, защитнику Каласа, это не удалось. Парламент не отвечал. Он в это время находился в оппозиции к королю и правительству. Народ заблуждался, полагая, что парламент защищает его интересы. На самом деле защищал лишь свои привилегии.

О консерватизме французских парламентов, даже

по сравнению с Людовиком XV и его министрами и особенно двором, уже говорилось. Это они сжигали книги Вольтера, Гельвеция, других просветителей. Это они вместе с католической церковью были главными его врагами, между тем как у просвещенных аристократов, министров и даже монархов Вольтер часто находил поддержку, встречал в них союзников.

То, что пересмотр дела Каласа зависел от Тулузского парламента, было крайне неблагоприятно. Боясь его, и отец Ла Весса волновался и не одобрял инициативы Вольтера. Боялся — если это ужасное дело поднимется снова, его спасшегося в первый раз сына повесят. И в метра Ла Весса нельзя было бросить камень: слишком многим он рисковал!

Но Вольтер в трудных случаях знал не одну песню. Если призывом к защите справедливости метра не пройдешь, нужно заинтересовать его иным. И Вольтер добился, чтобы взволнованный отец приехал в Париж. А там он быстро понял, что победа над злыми тулузскими судьями возможна... Встретил важных персон Франции, Англии, Голландии, немецких принцев, в добавление к средствам, расходуемым Вольтером, и под его влиянием подписавшихся на очень крупные суммы в фонд защиты Каласа. Сам «патриарх» приехать в Париж не мог, но сумел и издалека объяснить метру Ла Вессу, что ему предоставляется распоряжение этими суммами. Объяснил и то, что у сих важных персон, кроме дела Каласа, еще много дел, менее опасных, но более прибыльных и тоже требующих услуг адвоката. Словом, привлек метра и богатой клиентурой. Так Вольтер добился, чтобы Ла Весс-старший, чье участие в защите было крайне важно, «полюбил справедливость» и расстался со своими страхами.

Ничего не скажешь, Вольтер умел пользоваться своими богатыми связями. А сейчас особенно... В иных случаях непримиримый, он выдвинул принцип: «Не будем ни с кем ссориться, мы нуждаемся в друзьях». И он разворачивает из своего «уединения» энергичнейшую деятельность, вербуя все новых и новых сторонников в дополнение к тому, что было уже сделано раньше. Удалось, конечно, достать и дело из Тулузы.

Но мадам Калас не оправдала его надежд. Он написал вдове: «Если бы колесовали моего отца, я бы кричал громче!» А мы знаем, как он «любил» отца!

Если Анна Роза кричала и плакала недостаточно, он кричал и плакал за нее сам. Если раньше писал д'Аржанталю, что на коленях просит его поговорить с Шуазелем, который может узнать правду у министра де Сен-Флорентена, то теперь выдвинул перед «ангелом-хранителем», конечно, для передачи другим, такой аргумент: «Вдова Калас в Париже с целью просить правосудия. Посмела ли бы она, если бы ее муж был виноват?!» И в следующем письме: «Я убежден более чем когда-либо в невинности Каласа и преступности парламента Тулузы».

Чтобы воздействовать на общественное мнение, Вольтер опубликовал в августе 1762-го свою брошюру «История Елизаветы Каннинг (о другой несправедливости) и Каласе». Всего двадцать страниц, без страстей, но с железной логикой. Это издание было дополнено «Письмом братьев Калас о процессе отца» и вызвало очень большой резонанс. Адвокаты Мариетт и приглашенный Вольтером знаменитый де Бомон, в свою очередь, напечатали «Мемуар о деле Каласа». Надо думать, и тут не обошлось без участия Вольтера. Обе брошюры способствовали широчайшему обсуждению дела.

Кстати сказать, сама замена «процесса Каласа» новым названием — «дело Каласа» могла вызвать бунт, реформу, даже революцию. Так накалена была атмосфера в Париже, столько голосов раздавалось за посмертную реабилитацию казненного!

Благодаря двум брошюрам о «скандале» узнала вся Франция, и он перешел границы. Европа Просвещения заинтересовалась чудовищными язвами средневекового правосудия, открывшимися во второй половине XVIII столетия.

Но до победы еще далеко. Уже было поколебавшись, господа из Тулузского парламента снова были глухи. Что им до памфлетов писаки, который высмеивает вся и все? Парламентарии не одной Тулузы говорили, смеясь, что поднятая кампания не имеет никакого значения: во Франции материализм судят чаще, чем оправдывают Каласов.

Сказано было забавно, но свидетельствовало о глупости тех, кто не понимал: Калас — это сам Вольтер. Он один смог произвести столько шума и, трянув парики тулузских судей, добиться торжества истинного правосудия. Не успокаиваясь, в 1763-м Вольтер публикует, тоже

на материале процесса, «Трактат о терпимости», анонимно и делая все, чтобы поверили — он вышел из-под пера некоего доброго священника. Секрет нам известен из письма Вольтера Дамилавиллю.

И теперь дело близится к победоносному концу. Удаётся расположить к реабилитации самого Шуазеля. Это очень много, но еще не все. Парламенты готовы взбунтоваться, если тронут Тулузский приговор.

И вот, наконец, Королевский совет рассматривает кассацию. В заседании участвуют несколько министров, премьер — герцог де Шуазель, герцог де Праслен, три епископа.

Совет утверждает решение ассамблеи из двадцати четырех судей, которая 4 июня 1764 года единогласно отменила Тулузский приговор. Характерно, что в составе ассамблеи были и тулузские судьи.

Видя неизбежность поражения своего и своих коллег, один из них обратился к герцогу д'Ауену:

— Монсенъёр, и лучшая лошадь может споткнуться.

— Да, — ответил тот, — но не вся конюшня.

Мадам Калас была принята в Версале. Впрочем, этому не стоит придавать большого значения. Она видела короля, но король не увидел ее: в ту минуту, когда вдову хотели представить его величеству, кто-то поскользнулся и упал, это вызвало шум, и Людовик успел пройти мимо.

Зато все читали записку протестанта-докладчика на судебной ассамблее, отменившей приговор, знали о восхищении и уважении, с которыми парижане принимали мадам Калас, в полную противоположность отношению тулузцев.

Известна еще забавная подробность. Одна добрая монахиня из той обители, где содержались дочери Каласа, прониклась симпатией к одной из них, Нанетте, и убедилась в невинности всей семьи. Она послала канцлеру письмо, замечательное по ясности, справедливости, трогательнейшее. Но когда приговор был отменен и Нанетта захотела выразить свою признательность Вольтеру, та же монахиня, узнав об этом, пришла в ужас. Вольтер для нее был дьяволом на земле.

А пока в Париже, во Франции, в Европе разворачиваются все описанные события и одерживается победа, этот ангел или дьявол — в Ферне.

Он узнал о реабилитации своего подзащитного из

письма д'Аржантала. Как раз в это время здесь был и Пьер Калас. Вместе прочтя о счастливом исходе дела, старик и юноша упали друг другу в объятия и смешали потоки своих слез. Вольтер рассказал об этом в ответе «ангелу-хранителю».

И однако, дело еще не было кончено. Парламент Тулузы продолжал чинить всевозможные препятствия. Так, он потребовал, чтобы мадам Калас оплатила двадцать четыре копии приговора — по числу судей, рассматривавших кассацию, стоимость бумаги, переписки. Для нее это была огромная, непосильная сумма.

«Как, — вскричал Вольтер, узнав об этом, — в восемнадцатом веке, во времена философии и морали, просвещающих человечество, колесуют невинного большинством восьмерых против пяти и требуют 15 тысяч ливров... за переписку каракуль трибунала! К тому же хотят, чтобы их заплатила вдова!» Эту сумму внесли Вольтер и его друзья. Мадам пришла от этой новой козни в такое отчаяние, что снова хотела все бросить на самом пороге удачи. И опять Вольтер напомнил Анне Розе о заточенных в монастыре дочерях. Только тогда она нашла в себе силы продолжать борьбу.

А сил требовалось еще немало. Чудовищная процедура тогдашнего французского правосудия требовала, чтобы для реабилитации уже не мертвого, а живых обвиняемых, их всех заточили в тюрьму Консьежери. Именно так и поступили с Анной Розой и Пьером Каласом, Ла Вессом. Какое единство юридического стиля и обвинения и оправдания!

Наконец, только 9 марта 1765 года был, также единодушно, принят окончательный приговор: реабилитируются все обвиненные в мнимом убийстве Марка Антуана. Их имена должны быть вычеркнуты из списков заключенных Консьежери. Тюрьма — в Париже, но вычеркнуть должны те же судьи Тулузы. Они не слушаются, не подчиняются и решению высшей инстанции. Адвокат Ла Весс собственноручно вычеркнул сына.

Реабилитированные, наконец, на свободе... Они вправе требовать возмещения с несправедливо приговорившего их парламента. Вправе, но не смеют. Не мог приказать своей властью и сам король. Нужна была Революция, чтобы лишить парламенты беззакония их привилегий!

И, однако, тогдашние нравы были таковы, что мадам Калас сочла подлинной реабилитацией своей и всей семьи то, что королева соблаговолила принять ее с дочерьми, несмотря на то, что в глазах Марии Лещинской они были еретичками. Трон показал себя либеральнее парламентов, и вдова казненного счастлива!

Правда, этим благодеяния короны не ограничились. Людовик XV дал семье Калас 36 тысяч ливров. Вольтер был так этим доволен, что 17 апреля 1765 года писал Дамилавиллю: «Если бы король знал, сколько людей благословляют его и в иноземных странах, он нашел бы, что никогда не помещал своих денег с такой явной выгодой», и вскоре маркизу д'Аржансу: «Что скажут, мой дорогой маркиз, враги разума и человечности, если узнают, что король дал 36 тысяч ливров?!»

Понимала ли вдова — сделанного Вольтером для Каласа и всей их семьи, для справедливости, свободы, достоинства человека было бы достаточно, чтобы обессмертить его имя? Может быть, и не понимала. Зато понимали передовые умы. Мы уже знаем, как высоко оценил Дидро подвиг старшего единомышленника в письмах к Софи Волан. Но он писал и самому Вольтеру: «О мой друг, — вот лучшее употребление гения!»

Между тем тот не успокаивался на достигнутом. В феврале 1765-го потребовал отставки Бодрижа: «Я надеюсь, он дорого заплатит за кровь Каласа!» И — мы знаем — тот был смещен, ставка проиграна.

Трагедия имела, по правилам, счастливый конец. И все равно Вольтеру не разрешили вернуться в Париж, чтобы самому опустить занавес. Ну и пусть! Все равно он писал: «Мы сами чувствуем себя реабилитированными вместе с Каласами». Он был счастлив и признателен Каласам, которые дали ему возможность совершить добро, защитить справедливость, наверняка не меньше, если не больше, чем они ему.

Совершенно поразительно письмо Вольтера Анне Розе Калас от 9 мая 1766 года: «Я целую Ваш эстамп, Мадам... Я его повесил в изголовье своей кровати... Первое, что я вижу, просыпаясь, — Вы и Ваша семья...»

Затем он желает Анне Розе процветания и заканчивает так: «Имею честь, Мадам, быть Вашим смиренным и очень обязанным слугой».

Но, как всегда, слава Вольтера чередуется, если не с прямыми преследованиями, то с ненавистью и возмущением. Еще в 1762-м д'Аламбер хвалит Вольтера за его брошюру, приложенные мемуары Доната (о Пьере он не упоминает). «Они превосходны, получил наслаждение от истории Елизаветы Каннинг, несмотря на грустный сюжет. Не хотел бы ничего другого так, как чтобы в печати появились и мемуары Жана Каласа (их не было. — А. А.), и последний свидетель — переписка семьи».

Вольтером и его борьбой восторгается герцогиня Сакса-Гота в 1764-м. Крамер в 1765-м начинает письмо Гримму с восхищения ролью «фернейского патриарха» в деле Каласов. В том же году Сидевиль пишет самому защитнику: «Вот, наконец, мой знаменитый дорогой друг, Каласы оправданы, вот — триумф невинности, и Вы, мой дорогой Вольтер, достойны прославления в эпической поэме...»

Но зато сколько негодующих, клеветнических писем приходит из Тулузы!

Еще не заглох шум от дела Каласа, как Вольтер принимается за новые дела справедливости. 17 июня 1765-го обещает прислать тому же адвокату Эли де Бомону мемуар Сервена, которому предъявлено такое же обвинение, и пишет: «Вы увидите, если это вероятно, можно добиться справедливости для несчастной семьи, дать им других судей вместо этих палачей». Еще раньше, 10 апреля, в письме д'Аржанталю проводит аналогию ужасов нового дела с делом Каласов. «Правдолюбец Эли второй раз взялся за защиту невинности. Скажут, слишком много процессов, но, мои обожаемые ангелы, чья это вина?» Тут же вспоминает «Философию истории» аббата Рацена и иронически спрашивает: «Не его ли?»

Восторгаясь де Бомоном, о собственных заслугах Вольтер не говорит. Это естественно. Но зато снова тратит время, силы, деньги, пишет бесчисленные письма, мобилизует помощь и средства друзей для защиты. 9 декабря делится с Дамилавилем радостью оттого, что «наш дорогой Бомон находит примеры, которые ищет. Бесспорно, он триумфально установит невинность Сервенов, так же как невинность Каласов». О своих заслугах снова — ничего!

Насколько высоко он ценил Бомона, единомышленника, союзника, а не просто наемного адвоката, явствует из письма, отправленного 13 января 1765 года ему самому. Письмо свидетельствует и о том, что защита отдельных жертв фанатизма и беззакония тесно связана для Вольтера с общими его убеждениями. «Вы — постоянный покровитель невинности. Вас хорошо приняли в Англии, где судей Каласа приняли бы плохо. Нация врагов предрассудков и преследований создана для Вас. Я не смею льстить себя надеждой, что Вы перевалите через Альпы и гору Юра с таким же удовольствием, как переплыли Темзу. Но надеюсь забыть свою старость, если Вы окажете мне честь быть моим гостем». Далее Вольтер делится остроумно высказанными и смелыми мыслями: «Обмен идеями во Франции прерван. Говорят, что запрещено даже пересылать идеи из Лиона в Париж. Прикрыли мануфактуру человеческого духа, как запрещенных тканей. Это забавная политика — превращать всех людей в дураков и не позволять создавать славу Франции иначе, чем в Комической опере».

Вернемся, однако, к делу Сервенов и изложим его хронике.

6 марта 1760-го молодая девушка Елизавета Сервен, протестантка, француженка, исчезла из дома в Кастре, где жила с отцом, матерью, двумя сестрами. Ее похитили католические духовники, чтобы обратить в свою веру.

9 октября, психически больная, она вернулась к родителям. (Опускаю подробности того, как ее мучили.)

15 или 16 декабря 1761-го девушка исчезла уже из нового дома Сервенов в Сент-Алли.

3—4 января 1762-го ее нашли мертвой в колодце неподалеку.

19 января деревенский судья, возможно вдохновленный примером тулузского капитула и парламента, тоже без всяких доказательств обвиняет Пьера Поля, Антуанетту Сервен и их дочерей Мари Рамон и Жанну в убийстве Елизаветы по религиозным мотивам и отдает приказ о заключении их на три года.

1 декабря 1763 года Вольтер узнает о деле Сервенов.

Между тем, не желая подвергать себя участи Жана Каласа, Сервен с женой и дочерьми бежит суровой зимой через ледники в Швейцарию и лично обращается за по-

мощью к Вольтеру. Мы уже знаем, что первые хлопоты «патриарха» по этому делу начались летом 1764-го.

29 марта того же года, после продолжительных и безуспешных попыток добыть улики против Сервенов заочно приговаривают Пьера Поля и его жену к повешению, дочерей — к присутствию при казни родителей и ссылке.

15 марта 1765-го была рассмотрена их апелляция, составленная, возможно, с помощью Вольтера и Бомона. Ее отклонили. Приговор не мог быть приведен в исполнение: осужденные продолжали скрываться. Казнили изображения Сервенов.

И только в январе 1766-го Бомон деятельно приступает к защите, посыл разработанный им план Вольтеру. Старик, однако, 18 апреля объясняет адвокату, что не признает современной юриспруденции и верит только публице, ее суду.

В августе Вольтер сообщает де Бомону, к кому он обратился с ходатайством о помощи Сервенам: «...отправил записки месье герцогу де Праслену, месье герцогу де Шуазелю, месье де Сен-Флорентену, которые частным образом передаст герцогу де Шуазелю гостящая у меня мадам де Сен-Жюльен. Она уезжает в Париж».

А как он сочинял эти записки, одну за другой, торопясь, в саду, надеясь на свой авторитет защитника Каласа и дипломатические способности и очарование молодой приятельницы.

Вольтер вербует в защитники Сервенов и маркизю дю Деффан. Просит старую приятельницу прочесть записку Бомона, написанную в защиту «семьи, столь же несчастной, сколь почтенной. Она скоро будет напечатана. Я просил президента Эно прочесть ее немедленно...». Вольтер надеется и на доброе сердце герцога де Шуазеля. «Жан-Жак признает троих честных министров. Я знаю их больше».

28 февраля 1767 года представлена вторая апелляция Сервенов, отклонена 7 марта 1768-го. Дело тянется бесконечно.

Вольтер возмущен донельзя. 14 апреля пишет женевскому адвокату Валебуи: «Я хотел бы оказаться неправым. Положение, в котором находятся Сервены, даже не предусмотрено законом 1760 года».

31 августа 1769-го, не выдержав жизни в подполье, под постоянной угрозой, Сервены явились сами и сда-

лись на милость судей. Их заточили в тюрьму. Там они ждали рассмотрения третьей апелляции.

16 декабря вина их снова была подтверждена. Но тяжелое физическое состояние Сервена и его жены вынуждает приговорить их к штрафу и изгнанию.

Но и на этом, к счастью, дело не кончается. 25 сентября 1771-го парламент Тулузы в новом составе рассмотрел четвертую апелляцию, полностью оправдал Сервенов.

Не один Бомон, но и другие адвокаты, прельщенные славой защитников Каласа, приняли участие в этом деле и способствовали его успеху.

10 сентября 1772 года высшая судебная инстанция утвердила оправдательный приговор.

Пусть дело тянулось восемь лет, но оно закончилось так благополучно.

Вольтер счастлив. Его радость омрачается только тем, что жена Сервена, не выдержав физических и нравственных мучений, умерла. Остальных обвиняемых удалось реабилитировать живыми. То, что в Тулузе новый, гуманный парламент, тоже заслуга Вольтера, победы его в деле Каласа.

Конечно, и этот процесс дает ему материал для обобщений и ассоциаций. Когда еще далеко было до победы, он писал Мармонтелю о Сервантесе и «Дон-Кихоте», которого приятнее было бы читать без описания пыток. Затем перешел к темным силам Франции, продолжающим инквизицию в делах Каласов и Сервенов. Тут же, как и в цитированном выше письме маркизе дю Деффан, не мог не задеть и Жан-Жака, позорящего философию, что «лучшие умы, как Вы, должны ему запретить!».

Еще больше нашумел процесс кавалера де Лабарра и его товарищей. Вольтер занимался им параллельно с делом Сервенов. Снова невиновность объявлена преступлением. Разница лишь в том, что на этот раз речь не идет о мнимом ритуальном убийстве. Но фанатизма и беззакония — нисколько не меньше.

Этим процессом Вольтер возмущен и потрясен даже больше, чем теми двумя. Настолько вздорен был повод к обвинению, и юноша, почти мальчик, казнен после утверждения несправедливого приговора. Попытки, ужасная

смерть Лабарра были такой чудовищной чрезмерностью по сравнению с якобы совершенными им преступлениями. К тому же «фернейский патриарх» оказался лично причастным к делу. При обыске у подсудимого нашли портативный «Философский словарь» Вольтера и самые преступления приписали пагубному влиянию этой книги.

Что же произошло во французском городе Абвиле? Вольтер подробно изложил всю историю преступления и наказания в письме Дамилавиллю от 14 июля 1766 года, в «Реляции о смерти кавалера де Лабарра» — от имени адвоката Кессена и повторил много позже в обращении к Королевскому совету от имени заочно осужденного и не казненного д'Эталонда, тоже опубликованном. С этим процессом связан и «Обед у графа де Буленвилье».

Источником дела была вражда между настоятельницей абвилевского монастыря и одним влиятельным человеком в этом городе. Абатиса покровительствовала своему племяннику, юноше из аристократической семьи, учившемуся неподалеку в военной школе, кавалеру де Лабарру. В июне 1765 года, когда он с другом, д'Эталондом, будучи приглашены настоятельницей к обеду, направлялись в монастырь, им повстречалась процессия капуцинов. Как положено, монахи несли гипсовую статую Христа. Шел небольшой дождь. Молодые люди, к ним присоединился знакомый мальчик, лет четырнадцати-пятнадцати, Муанель, отошли в сторону от процессии примерно на пятьдесят шагов и надели шляпы.

Этого было достаточно противнику абатисы для того, чтобы возбудить дело о святотатстве. К первому обвинению он вскоре присоединил другое. Деревянное распятие на городском мосту оказалось поврежденным, то ли от ветхости, то ли потому, что его задела проезжавшая мимо телега. Лабарр, д'Эталонд и Муанель оказались виновными и в том, что подвергли надругательству священное изображение.

Вовремя предупрежденный, д'Эталонд успел бежать за границу, и по ходатайству Вольтера ому впоследствии помог Фридрих II. Остальных обвиняемых схватили. Муанель, совсем ребенок, сперва показывал, что оба его товарища всегда становились перед религиозной процессией на колени и тем более не покрывали голов. Но брошенный в темницу, в оковах, он сдался и утвердительно отвечал на все вопросы неумолимых судей. Впоследствии

он письменно отказался от своих показаний, оправдывая их так: тяжкие испытания навсегда подорвали его здоровье, лишили и способности сознавать, что говорит. Так или иначе, оговорив других, он спас себя.

Лабарр был ненамного его старше, по держался с изумительным мужеством и достоинством. Несмотря на страшные пытки, не признавал себя виновным и не оговаривал не только Муанеля, но и бежавшего д'Эталонда, хотя тому ничто не угрожало. Единственное, чего удалось от Лабарра добиться и что было приведено на суде как доказательство его вины, — признания — *если* он и произнес нечто подобное инкриминируемой ему фразе: «Трудно поклоняться богу, сделанному из гипса», то лишь в беседе с д'Эталондом.

Бумагу, которую заставили юношу написать, обращаясь к милости короля, Лабарр превратил в обвинительный акт: «Это «если» разве что-нибудь доказывает? Разве это «если» что-либо подтверждает? Разве это доказательство, скажите, варвары? Я не включал никакого условия в мой ответ, и я говорю без всякого «если», вы — тигры, от которых следовало бы очистить землю». Действительно, он был воспитан «Философским словарем» Вольтера. И действительно, с ним расправились «тигры».

По приговору Лабарр должен был принести публичное покаяние. Затем у него должен был быть вырван язык, отсечена рука и вместе с телом брошена в огонь. И все это — после пыток. Имущество его — по тому же приговору — конфисковано. «Философский словарь», найденный у казненного, сожгли на том же костре.

Д'Эталонд заочно был приговорен к такому же суровому наказанию: у него должен был быть не только вырван язык, но и у входа в главный городской собор отрублена рука, и на медленный огонь костра его бы бросили живым.

Дело подлежало пересмотру в Парижском парламенте. Но оно составляло 6 тысяч страниц, включая показания 120 свидетелей, передававших разные слухи о религиозном вольнодумстве осужденных юношей (Вольтер называл их шалунами). Конечно же, парламент Парижа, переживая в то время политический кризис, предпочел не затруднять себя чтением такого громоздкого дела и большинством двух голосов приговор утвердил.

«Неужели, — спрашивает Вольтер под именем д'Эта-

лонда, — в трибунале, который руководствовался бы человечностью и разумом, было бы достаточно перевеса в два голоса, чтобы приговорить невинных людей к такой смертной казни, которой подвергают отцеубийц?»

Однако Лабарра именно так казнили. Даже если стать на точку зрения французского законодательства того времени, наказание не соответствовало преступлениям, если бы они и были совершены. Процесс и приговор произвели огромное впечатление на передовые умы всей Европы. Вольтер писал: «Рим думает об этом деле то же, что Петербург, Астрахань и Казань».

Однако и посмертной реабилитации Лабарра и прижизненной — д'Эталонда при своей жизни он не сумел добиться. Обращение 1775 года к королю осталось без последствий, хотя на престоле был уже Людовик XVI. Заслугой Вольтера, он не давал забыть об этом деле, можно счесть лишь помилование д'Эталонда в 1788 году.

Понадобилось бы еще очень много страниц, чтобы даже вкратце рассказать обо всех делах адвоката справедливости.

Развязка последнего дела Лалли, как и оправдание д'Эталонда, последовала уже после смерти защитника.

Вольтер всегда апеллировал к суду общественного мнения, считая его «верховным трибуналом». И он не ошибался. Общественное мнение помогало. Причем Вольтера поддерживала не только образованная часть третьего сословия — ей были адресованы его памфлеты, трактаты и брошюры, реляции, — парижская толпа, кричащая о реабилитации Каласа, но и аристократы, зараженные просветительскими идеями, подпадавшие под влияние Вольтера через посредство его друзей или даже врачей и слуг. Не случайно он писал д'Аламберу: «Любезный философ, Вы объявляете себя врагом высокопоставленных лиц и льстецов. Но эти высокопоставленные лица при случае оказывают покровительство, они могут сделать добро, они презируют суеверия и не будут преследовать философов, если те будут с ними вежливо обходиться».

Конечно, Вольтер умело пользовался и враждой парламентов с троном. Но он подрывал трон и парламенты в равной мере.

ГЛАВА 4

ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И СУДИТЬ!

Задолго до современных покетбуков, еще в 1751 году в Берлине у Вольтера родилась идея портативного философского словаря. Книга должна была стоить дешево, помещаться в кармане, но притом содержать самые важные идеи и знания, изложенные в алфавитном порядке, имея и глубокую внутреннюю последовательность. Прошло, однако, десять лет, пока Вольтер за нее принялся, и тринадцать — пока счел возможным издать. Не только возможным, но и необходимым. Маленький «Философский словарь» должен был стать и стал одним из самых мощных орудий арсенала заговора против Гадины.

На трехстах страницах Вольтеру удалось совершить путешествие по знаниям и мечтам человечества. Гуманизм неотделим в книге от Просвещения. Если не во всем, то во многом автор выступает и как компетентнейший для своего времени знаток предмета разнообразнейших статей «Словаря». Уже одно это дает Вольтеру право каждый раз выносить свое личное суждение. И для него *самое главное* — *высказать все, что «думает об этом и том мире»*. Он хочет известить о своих мыслях «всех честных людей».

Но и этим не исчерпываются намерения Вольтера. Ничто не должно приниматься на веру. Судить должен каждый честный человек! Вот чему книга в первую очередь учит. «Философский словарь» адресован людям не только честным, но и свободно мыслящим. А чтобы думать, нужно знать. И читателей должно быть как можно больше. Поэтому-то необходимо сделать «Словарь» портативным, общедоступным по цене и по манере изложения, мы бы сказали — массовым.

Сначала Вольтер полагал, что издать такую книгу удастся лишь после его смерти, хотя и приступил к ней уже в 1760-м. Этой горькой надеждой он поделился с мадам дю Деффан.

Но вскоре исторические обстоятельства поворачиваются к лучшему, и нет нужды дожидаться могилы, чтобы познать честных людей с тем, «о чем смеет думать». Вот каковы были эти обстоятельства. Семилетняя война еще больше расшатала старый порядок и приблизила французское общество к изменению его. Орден иезуитов был запрещен и изгнан из Франции. Прежняя интеллектуальная традиция еще больше вытеснялась просветительской философией. Дело Каласа кончилось победой, Словом, думал Вольтер, наступило время для *«революции идей»*, а ее-то он и добивался, 1764 год счел самым подходящим для издания «Словаря».

К той поре он стал более чем когда-либо сосредоточенным и целеустремленным, воинственным, и многие сочинения Вольтера этих лет связаны с его действиями адвоката справедливости.

Таким именно сочинением был «Трактат о терпимости», изданный, когда дело Каласа еще не было завершено, в 1763-м. Трактат запретили. Прошел год. Обстановка улучшилась. Вольтер, никогда не успокаиваясь и не останавливаясь, рассчитывает, что «Философский словарь», бьющий по той же цели, получит официальное разрешение.

Уловка не помогла. Привилегии не дали. «Философский словарь» вышел без нее. Не удивительно, что, нанеся этот удар, Вольтер, отрицая свое авторство и настаивая на том, что это общий труд многих людей, к которому сам он никакого отношения не имеет, так усердно отдергивает руку.

Скрывая правду или делая вид, что скрывает, и от своих «ангелов-хранителей», д'Аржанталей, уверяет в письме от 14 июля 1764 года, что ему «приписывают «Философский словарь», которого он «никогда не писал», и, главное, просит «уверить в этом других». Еще более настойчиво просит о том же в письме мадам д'Аржанталь от 19 октября, горько жалуется. Ему семьдесят один год, он почти ослеп от Альп, а «эта клика фреонов, клика помпийянов придумала, что я автор не знаю какого портативного словаря, где много цитат из отцов церкви и фантазий раввинов. В округе, где я живу, хорошо знают, что это сборник многих авторов, составленный бернским издателем, который наделал много абсурдных ошибок. Но двор не так хорошо осведомлен. Клевета при-

ходит по почте, а правда — только в устных разговорах, и ей не столь легко заслужить хорошую репутацию.

Так как д'Аржантали живут в Фонтенбло, Вольтер уповает — правда найдет в них надежную опору, и с их помощью рассчитывает на милости герцога де Праслена.

От д'Аламбера он, разумеется, своего авторства не скрывал. Но конспиративно писал ему уже 16 июня 1764-го: «Я Вам говорил об этом маленьком отвратительном словаре, сочинении сатаны. Он создан прямо для Вас, когда Вам нечего будет делать. Будьте уверены, если бы я мог его раздобыть, Вы получили бы свои боеприпасы...»

Ответ д'Аламбера: «Читал, благодаря милости провидения, словарь сатаны. Мне это чтение принесло удовольствие всех чертей...»

Но 13 октября Вольтер писал уже так: «Я знаю, что в Париже немного его (портативного «Философского словаря». — А. А.) экземпляров и что они в руках отнюдь не сторонников книги». До сих пор Вольтеру удавалось этому препятствовать, но всегда препятствовать он не сможет.

К сожалению, он оказался прав. «Словарь» оказался в руках Омера Жоли де Флери и заслужил такую оценку прокурора: «Таинства, догмы, мораль, дисциплина, культ, истины религии, авторитет божественной и мирской власти — все это становится мишенью богохульствующего пера автора, который хвалится тем, что приравнивает себя к животным и низводит до них человечество...»

Достаточно прочесть одну из самых важных, программных статей портативного словаря, направленного против бога, в защиту человечества, статью «Человек», чтобы убедиться, как нагло исказил палач, именуемый прокурором, мысли Вольтера.

Мы не согласимся с началом, продиктованным буржуазной ипостасью автора. Он восторгается девизом Великобритании — «Свобода и собственность» — и утверждает: «Дух частной собственности удваивает силы человека». Это написано помещиком, фабрикантом, дельцом, солиднейшим клиентом Ампа Кампа и других банкиров, что тоже было Вольтером, частицей его.

Но главное в статье другое — возвеличивание человека, защита человека. Автор снова протестует против пы-

ток. В XVIII веке они еще оставались обязательной процедурой, чтобы вынудить обвиняемых к признанию. Автор отнюдь не приравнивает себя и других людей к животным, в чем его уличает Омер Жоли де Флери, но ужасается оттого, что «большая часть человечества до сих пор живет чудовищной животной жизнью, не обладая достаточной пищей и одеждой, не владея развитой речью и поэтому даже не сознавая, как она несчастна...».

Но вопли Вольтера, что он не писал и не мог написать этой книги, его настоятельные утверждения: «Философский словарь» — сборник многих авторов — крайне правдоподобны. В самом деле, трудно, почти невозможно поверить в то, что *одному* человеку принадлежит свод философских, политических, этических, эстетических, научных идей, подкрепленных множеством фактов, редчайшей эрудицией в разнообразнейших областях знания... Да еще и больному, почти слепому старику, обремененному невероятным количеством иных дел и забот... Однако это именно так. *Один Вольтер — автор* портативного «Философского словаря».

Те же идеи он высказывал и в других трудах. Но здесь они удивительно сконцентрированы, почему разумно и удобно остановиться на этой маленькой книге, а не на написанном позже семитомном «Философском словаре» или других фундаментальных трудах Вольтера.

Характерно, что он все пополнял и пополнял свой любимый портативный словарь. Вплоть до 1776 года книга неоднократно переиздавалась при жизни автора, пользуясь большой популярностью. И четыре издания были дополненными и переработанными. Одни статьи — к примеру, «Война», «Инквизиция» — Вольтер писал совсем заново. Другие обогащал и переделывал.

В 1765 году добавились статьи: «Догмы», «Энтузиазм», «Безумие», вторая часть статьи «Вера» (первая вышла в издании 1767 года), «Происхождение», «Идея», «Законность и беззаконие», «Литература и литераторы», «Свобода мысли», «Мученик», «Преследования», «Священники», «Воскресение», «Философия», «Деист», «Христианство».

В 1767-м — статьи «Адам», «Фортуна», «Божественность Иисуса», «Евангелие», «Папизм», «Первородный грех», «Пророки»

В 1769-м — «Кредо», «Тортюра» (перечень неполон).

Те же английские уроки через тридцать пять и больше лет после возвращения из Лондона не забыты Вольтером и в других статьях.

Уже знакомый нам американский ученый Хэвенс (Havense) в капитальном труде «The age of ideas» («Век идей») справедливо называет одной из ключевых статей большого «Словаря» «Государство и правительство». Вольтер не уступает Монтескье в восхищении государственной системой Великобритании, потому что «любовь к свободе стала главной, характернейшей ее чертой».

Английское законодательство, наконец, этого достигло. Оно сохранило за человеком все естественные права, которых он лишен в большинстве монархий. Эти права — охрана его имущества, свобода говорить нации все словом и пером... Свобода выражается и в праве не быть обвиненным в совершенном преступлении иначе как судом из независимых лиц, не быть привлеченным по какому бы то ни было делу иначе, как в согласии с законом. Свобода исповедовать, какую хочет, религию, отклоняясь сколько угодно от господствующего англиканского вероисповедания. Это очень большие и счастливые прерогативы... Имея их, можно быть уверенным, что «утром проснешься с той же фортуной, с какой лег вечером, что тебя не схватят и не увезут от жены и детей, не бросят в тюрьму и не сошлют в пустыню, что, открыв глаза сегодня, ты так же можешь высказывать свои взгляды, как вчера».

В портативном словаре тоже есть статья под таким названием, но с иным содержанием и подзаголовком «Что лучше?». В ней сравниваются разные государства и правительства.

То, что знал и думал Вольтер, энтузиазм и протест, выраженные в портативном «Философском словаре» не только дошли до честных людей того времени, но многое интересно для нас и сейчас. Не случайно есть несколько новых, комментированных, критических изданий оригинала. К сожалению, нет такого отдельного издания в русском переводе. Но зато очень многие статьи вошли в составленный А. С. Варшавским и Е. Г. Эткингом двухтомник: «Вольтер, Бог и люди, 1961».

«Словарь» жив благодаря так полно выразившейся в

нем личности Вольтера, постоянному его присутствию. Самый лаконизм *портативной* книжки для него ограничен, хотя, конечно, не всегда он писал так сжато. И в статьях для «Энциклопедии» Дидро, и в семитомном «Философском словаре» Вольтер всегда старался быть сдержанным и экономным в изложении знаний и мыслей, «давать квинтэссенцию, каплю эликсира».

Легкость, остроумие, изящество литературной манеры, близкой к эссе, в которой написано большинство статей «Словаря», подкупали современников, подкупают и нас. Они и создают ощущение, что автор везде и всегда дома. Поэтому и читатель тоже чувствует себя дома везде и всегда. Рене Помо в блистательном предисловии к критическому изданию книги (Париж, 1964) приводит убедительный пример. «Нам нравится, — пишет он, — что статья «Иов» начинается так: «Добрый день, мой друг Иов!» Это создает ощущение свободы монолога, с которым «фернейский патриарх» обращается к Ветхому Завету.

Конечно, если судить о «Словаре» с современной точки зрения, многое покажется наивным. Наша вселенная шире и больше той, в которой жил Вольтер, и в материальном и в моральном смысле. Мы лучше знаем структуру материи. Мы восходим к космосу не по простой приставной лестнице к Ньютону небу, по которой восходил он.

Мало того, даже для своего века Вольтер не поднялся до понимания биологического происхождения человека, которого достигли некоторые его современники, не прибегал к известным уже тогда измерениям и даже впадал в глубокие противоречия с теорией эволюции. Он ссылаясь на апокалипсис, но намеренно пренебрегал археологическими изысканиями, в то время производившимися.

Но при всех этих частных отклонениях от вершин человеческого разума того времени, не говоря уже о нашем, многие уроки «Словаря» *сохранили* свое значение. Метко заметил Рене Помо: «История часто возвращает свои колеса в те же колеи. Если из трех главных бедствий человечества, трех наиболее значительных ингредиентов этого низменного мира — чумы, голода и войны, — первый — чума — отошел в прошлое, то два остальных — голод и особенно война — сохранились и поныне».

Знаменательно, что в своем отношении к войне как

таковой Вольтер опровергает точку зрения Монтескье, во многом другом его единомышленника. Вот как выражена эта точка зрения: «Надо идти и убивать своего соседа из боязни, что он намеревается атаковать вас». Вольтер непримирим в отношении всех, кто затевает войну, ее начинает.

А вот как — нападая прямо и пользуясь тонкой иронией — Вольтер атакует тиранию и олигархию, то есть тиранию не одного, но нескольких. «Тираном называют суверена, который не признает законов, кроме своих капризов, который забирает имущество своих подданных и мобилизует их, чтобы они забирали добро соседей» — это прямое попадание. Затем следует тирада, явно ироническая: «Здесь, в Европе, таким тиранам места нет. Если тирания одного или тирания нескольких деспотически правит при посредстве законов, ею самой установленных, то тем более такой тирании в Европе нет».

Явно метя в Женеву, но попутно издеваясь и над абсолютными монархами, на самом деле управляемыми приближенными, Вольтер пишет дальше: «Под какой тиранией хотели бы вы жить? Под никакой? Но, если надо выбирать, я лично предпочитаю тиранию одного тирании нескольких, у деспота всегда бывают хорошие минуты, у ассамблеи деспотов — никогда. Если тиран собирается совершить несправедливость, беззаконие, я всегда могу его разоружить при посредстве любовницы, исповедника или пажа. Но компания грязных тиранов не поддается ничьему влиянию. Если она не несправедлива, то по меньшей мере жестока и никогда не склонна к милости».

Это рассуждение о тирании принадлежит именно 60-м годам, могло быть написано только после разочарования Вольтера не в республиканском образе правления, но в реальной женевской олигархии, хотя тираноборцем он стал, как мы знаем, уже в «Эдипе».

К этим статьям и статье «Государство», «Правительство» примыкает статья «Свобода мысли», где Вольтер восстает против власти ошибочных воззрений, а она необходима тиранам, поддерживая их власть. «Тираны но хотят ничего иного, как того, чтобы люди, которых они поучают, были глупы». Вольтер не устает повторять: «Смейте думать сами! Не верьте тем, кто утверждает: «Свобода мысли вносит в государство беспорядок!»» Напи-

санная в форме диалога, статья эта являет собой подлинный образец прозы Вольтера.

«Литература и литераторы» прямо направлена против Гадины и воинствующего невежества. В ней Вольтер пишет: «В то варварское время, когда французы, немцы, бретонцы, ломбардцы... не умели ни читать, ни писать, почти все школы и университеты создало духовенство, которое, не зная ничего, кроме своего аргю, преподавало его всем, кто хотел учиться. Академии возникли позже. Они презирали глупость университетов, но не всегда смели учить, сопротивляясь ей, потому что существует глупость, которую почитают, принимая за нечто заслуживающее почтения.

Больше всего заслуги писателей, которые принадлежат к малому числу тех, кто думает. Но в нашем мире они изолированы, разобщены, так же как настоящие ученые, заточенные в своих кабинетах, не имеющие возможности ни приводить свои аргументы так, чтобы их услышали со скамей университетов, ни кресел в Академиях... Почти все они преследуемы. Такова участь наших несчастных профессий, потому что те, которые шагают по избитой дорожке, всегда бросают камни в тех, кто зовет идти по новому пути»: И в конце: «Самое большое несчастье писателя — даже не быть объектом зависти собратьев, жертвой кабалы, презрения сильных мира сего, но быть судимым дураками. Дураки заходят очень далеко, особенно когда поддаются инерции фанатизма и инерции духа мести».

Эта статья очень личностная. Вольтер сам — в каждом ее слове, может быть, даже больше, чем в других статьях, и вместе с тем это один из кирпичей здания общей системы воззрений и действий великого человека.

«Теология» даже написана от первого лица, в форме прямого повествования, и это не помешало, но помогло автору показать глубокий кризис, в который зашло богословие.

«Я знал настоящего теолога, — начинает Вольтер, — который владел восточными языками, был сведущ в старинных верованиях настолько, насколько это возможно. Брамины, халдеи, огнепоклонники, сабиняне, египтяне были ему знакомы так же, как иудеи. Он часто заглядывает в Библию и в течение тридцати лет пробовал примирить евангелия, привести святых апостолов к согласию».

В той же благодушной сказочной интонации перечисляется еще множество познаний теолога и стремлений пролить немного света на столько туч, прояснить то, что так запутала природа, — это было его профессией! Но к концу все эти изыскания привели лишь к тому, что он стал пренебрегать большинством своих собратьев. «Чем больше он становился настоящим ученым, тем больше не доверял им, бросая вызов тем, кого знал». Благополучен конец сказки: «Пока он жил, его прощали, когда он умер, признали, что он полезно прожил жизнь». Но какая за этим благополучием стоит ирония! Ведь этот теолог полезно прожил жизнь лишь потому, что осознал бесполезность теологии.

И опять-таки здесь Вольтер не делает различия между религиями: все они одинаково бессильны распутать то, что запутала природа.

Так интересны, каждая по-своему, статьи словаря — стрелы, направленные против религии, тирании, невежества, что хотелось бы сказать обо всех статьях. Увы, это невозможно. Красноречивы уже названия: «Крещение», «Исповедь», «Божественность Иисуса», «Первородный грех», «Идол и идолопоклонство», «Пророки», «Евангелие», «Инквизиция», «Философия»...

Закончить главу о портативном «Философском словаре» мне представляется правильнее всего статьей «*Терпимость*». В ней как бы сведены все вопросы, поставленные в других статьях.

Вольтер спрашивает: «Что такое терпимость?» — и отвечает: «Это достижение человечности. Мы все начине ны слабостями и недостатками, простим друг другу взаимно наши глупости! Это первый закон природы». Дальше говорится о войне, которая ведется на биржах Амстердамской и Лондонской, Сюрата или Бессоры, и как мало отличаются друг от друга все религии и секты, христиане греческие от христиан римских, те и другие вместе — от китайцев. Автор негодует, что и христиане-англичане, и христиане-квакеры, не говоря уже о католиках, всегда готовы занести друг над другом кинжал, чтобы выиграть души для своей веры. Борясь за терпимость, он нетерпим к нетерпимости.

ГЛАВА 5

ДАМА ФЕРНЕ

В официальных документах Мари Луиза Дени именовалась Дама Ферне. Вольтер сделал ее совладелицей имения. Так была оформлена и купчая.

Уже со встречи во Франкфурте до последних дней жизни дяди племянница была, казалось бы, неизменной спутницей его жизни. Хотя мадам очень растолстела, потеряла привлекательность для других, Вольтер любил ее так же горячо и слепо. Только временами прозревал. Мадам Дени играла главные роли в его трагедиях, была хозяйкой за его столом. Иной вопрос, играла ли она главную роль в его духовном мире?..

Многие письма разным лицам, особенно приглашения, иные послания светского характера отправлялись из Ферне за двумя подписями — месье де Вольтера и мадам Дени. Иногда она писала одна, по поручению дяди или просто вмешиваясь в его дела. И тон ее писем в этих случаях был достаточно властен.

Так, 28 марта 1762-го Дама Ферне извещала Лекена:

«Мы будем играть «Семирамиду», «Танкреда»... и «Кассандру» («Олимпию». — А. А.). И я объявляю что дядя не даст Вам «Кассандры», если не приедете за ней сами. Он настроен очень решительно. Кроме того, мой дядя имеет другие замечательные произведения, о которых хочет с Вами поговорить. Словом, месье, мой дядя иначе не будет удовлетворен... Вы не получите даже «Кассандры», если не явитесь за ней одни или с маркизом де Хименесом. Просите меня, если хотите, чтобы я дала Вам играть ее в Париже до отъезда!

В Ферне Вы найдете очень красивый театр, с прелестным залом, дядю и племянницу, которые Вас любят постоянно, и толпу народа, умирающую от ожидания...

Я буду Семирамидой, Амеиадой, Олимпией и испытаю особенное удовольствие, играя с Вами...»

В другом письме Лекену, четырьмя месяцами позже, мадам Дени выражала свою любовь и преданность дяде, восхищение его портретистом Лемуаном и благодарность посреднику между ними, адресату. «Пишу Вам, не зная адреса человека, вызвавшего мой восторг, и прошу передать ему просьбу закончить произведение и то, каким преклонением перед его величием я проникнута.

Мой дядя с самого Вашего отъезда (Лекен приезжал. — А. А.) болен. Он очень деятелен, нуждается в постоянном уходе».

И однако, в отличие от главы «В Сире, или Божественная Эмилия» к заглавию главы «В Ферне...» я не прибавила «и мадам Дени» или «и обожаемая Мари Луиза». А внешняя аналогия очевидна, и с племянницей-любовницей он прожил вместе даже не пятнадцать, а двадцать четыре года, не говоря о том, что связь их началась в 1744-м.

Конечно, столько лет проведя с Вольтером, общаясь благодаря ему с самыми выдающимися умами и талантами Европы, Мари Луиза внешнего лоска набралась. Мы уже видели, что она бралась рассуждать о театре и изобразительном искусстве, хотя в оценке Лемуана, называя его первым художником всех веков, и ошиблась. Но ни разносторонних дарований, ни редчайшей образованности, пытливости ума, одержимости наукой, ни высокого строя души божественной Эмилии в ее преемнице при всем желании обнаружить нельзя.

Маркиза дю Шатле оберегала Вольтера, потому что любила и понимала его величие, хотя и не всегда добивалась того, что ему действительно было нужно. Мадам Дени пеклась о здоровье дяди-любовника, помогала принимать гостей, потому что от этого зависели ее собственное благоденствие, почет, которым окружали Даму Ферне. Она ценила в Вольтере курицу, которая несет золотые яйца; и когда «курица» больше не была нужна, ускорила, как мы увидим, ее кончину.

Маркиза дю Шатле заперала рукописи Вольтера, чтобы их не украли, чтобы опасные сочинения, будучи изданы или распространяясь в списках, не привели автора снова в Бастилию. Мадам Дени его рукописи воровала или помогала воровать и продавать, нимало не заботясь об угрожающих последствиях. Кражу 1755 года — маркиз де Хименес не смог бы ни похитить, ни продать

«Орлеанскую девственницу» без участия Мари Луизы — Вольтер ей простил, как прощал и многое другое, хотя, придумывая ее несуществующие достоинства, не мог не видеть и недостатков обожаемой племянницы.

Вот одно из самых поразительных писем Вольтера, написанное так, как мог написать только человек, способный к глубоким, тонким, искренним чувствам, и по манере напоминающее Чехова или Бунина, хотя шел всего лишь 1768 год. Он писал мадам Дени из Ферне в Париж:

«Без сомнения, судьба существует, и часто она бывает жестокой. Я три раза подходил к Вашей двери. Вы стучались в мою... Я решил прогулять мое горе... Поставил на десять стрелки солнечных часов и ждал, когда Вы проснетесь. Встретил месье Малле. Он сказал, что был опечален Вашим отъездом. Мне стало ясно: он вышел из Ваших апартаментов.

А я-то думал: Вы, как обещали, пообедаете со мной в замке. Ни один из слуг не предупредил меня ни о чем: полагали — я знаю. Позвав Христина (домашнего адвоката. — *А. А.*) и отца Адама, беседовал с ними до полудня. Наконец не выдержал и отправился в Ваши покои... Спросил, где Вы. Ваньер мне сказал:

— Как? Вы не знаете, что мадам; уехала в десять часов?

Скорее мертвый, чем живой, я вернулся к отцу Адаму. Он повторил то же самое...

Я хотел послать за лошадьми в конюшню. Но никого не мог найти.

В доме с двадцатью слугами мы тщетно искали друг друга, так и не встретившись. Я в полном отчаянии. Понимаю, что момент разлуки был бы ужасен, но еще ужаснее, что Вы уехали так внезапно, не повидав меня и сразу после того, как мы напрасно ходили друг к другу.

Послал за мадам Расль, хотел поплакать вместе с ней. Но она обедала с Христином, отцом Адамом, своим мужем (управляющим имением. — *А. А.*). А я не мог и помыслить об обеде. Проглотив обиду, пишу Вам...»

Характерно, что от выражения чувств Вольтер переходит к практическим заботам — надеется, что мадам Дени передадут его письма и пакеты для месье де Шуа-

зеля и Мармонтеля. Есть еще и другие документы, но она так внезапно уехала...

И снова — чувства: «Лагарп — причина моего несчастья... Кто решил бы мне сказать, что он собрался меня убить в ста лье от Вас, не верящей в его намерение?» Лагарп был уже в Париже.

Все письмо написано неровным почерком, выдающим волнение автора. В этом месте его рука особенно дрожала.

И опять Вольтер возвращается к делам: вероятно, хочет себя убедить, что отъезд мадам Дени имеет практический смысл. «Вы увидите месье де Шуазеля, де Ришелье, д'Аржантала и подсластите этим мое несчастье. Это также сыграет роль и в Вашей судьбе. Вы преуспеете в Париже в Ваших и моих интересах. Свидитесь с Вашим братом...»

Конец письма снова полон излияний: «Если я умру, я умру, полностью принадлежа Вам, как для Вас прожил свою жизнь. Нежно обнимаю мадам и месье Дюпюна и сожалею о них...»

Что же произошло? Что послужило причиной отъезда мадам Дени из Ферне в Париж в сопровождении Мари Корнель и ее мужа?

В конце 1767-го Вольтер узнал, что бурлескная поэма «Война в Женеве», предназначенная отнюдь не для печати или распространения, в списках ходит по Парижу и Женеве. Кто в этом виноват? Сперва его подозрение пало на аббата де Бастиана. Повторилась сцена, подобная той, которая некогда разыгралась в Сире с мадам де Графиньи. Так же оба плакали, обнимая друг друга, и обвинитель просил прощения у несправедливо заподозренного.

Затем Вольтер провел настоящее следствие. Виновным оказался Лагарп, а его соучастницей — мадам Дени. «Фернейский патриарх» хранил рукописи, не предназначенные для печати или требующие исправлений, в ящике секретера, в библиотеке. Не многие имели к ним доступ. Доверием хозяина злоупотребили эти двое, самые близкие ему люди.

«Дофин Ферне», как называли Лагарпа, нежно любимого и благодетельствованного Вольтером, долго не признавался, перекладывал свою вину на одного молодого парижского скульптора. Но после очной ставки вор был

неопровержимо уличен и изгнан из поместья — впрочем, довольно мирно.

С мадам Дени, напротив, разыгралась ужасная сцена. Просто непостижимо, как больной старик мог ее выдержать, пережить такое разочарование в страстно любимой женщине! Она не только оказалась коварной интриганкой, помогла Лагарпу украсть рукопись и извлечь немалый доход из бесчестного поступка. Запретные сочинения Вольтера ценились дорого. Возможно, прибыль была с ней разделена... Не только подвергла дядю большой опасности. Услышав, что Вольтер решил дать ей отставку и отослать из Ферне, эта парижанка, дама «высшего света», превратилась в кухарку. Как права оказалась мадам д'Эпине, издевавшаяся над претензиями вульгарной и глупой толстухи в письмах из Делис барону Гримму!

Чтобы отомстить Вольтеру, Мари Луиза увезла с собой и нежно любимую приемную дочь Вольтера Мари Корнель-Дюпюи и ее мужа. Пусть больной старик останется одиноким, брошенным самыми близкими! По свидетельству Ваньера, 1 марта, 1768 года Ферне покинули семь человек. И как?! Тайком, даже не попрощавшись с хозяином...

Слухи распространялись тогда, несмотря на отсутствие телеграфа, радио, авиации, даже поездов и автомобилей, не медленнее, чем теперь. В Женеве, Дижоне, Париже быстро узнали о перевороте в «королевстве фернейском». Племянница отторгнута и покинула замок, «дофин» выброшен чуть ли не на большую дорогу. «Чем это вызвано?» — спрашивали все.

Недоумение объяснялось тем, что одной из самых благородных черт Вольтера была неизменная забота о сохранении чести других. Чтобы оправдать мадам Дени, он уверял всех, кто соглашался слушать, — она даже не знала о воровстве. Между тем была украдена не только «Война в Женеве», но и рукопись, несравненно более опасная, — «Мемуары». Именно тогда одна копия и попала в руки Лагарпа, и без участия Мари Луизы это тем более бы не удалось.

К счастью, блистательное сочинение в то время ни издать, ни продать для распространения в списках было нельзя.

Зато был пущен клеветнический слух, что автор якобы инсценировал кражу, чтобы иметь возможность преследовать невиновных. Как это чудовищно звучит после письма Вольтера о страданиях от вызванной в припадке гнева им самим, но от этого по менее тяжелой разлуки о женщиной, которая не стоила его любви, а он ее любил!

Вольтер проявил еще более благородства, не только отрицая соучастие мадам Дени в похищении рукописей, но и объясняя отъезд племянницы угрозой ее здоровью. Писал герцогу де Ришелье: «Климат Ферне вреден для мадам Дени, врача, который мог бы ее вылечить, здесь больше нет...» В том же письме выдвигал и деловой мотив: «Двадцать лет моей разлуки с Парижем не устроили, а расстроили мою фортуна...» Попытался уговорить Ришелье и других — мадам Дени поехала в Париж и для того, чтобы взыскать долги с неисправных плательщиков, хотя сам герцог к ним принадлежал.

И то и другое было благородными выдумками. Здоровью мадам Дени климат Ферне несколько не вредил. Что же касается взыскания долгов Вольтеру, кто мог поверить, что она способна выполнить подобное поручение? Все знали, что его племянница отличалась алчностью, но отнюдь не умением распоряжаться деньгами. Она охотно брала их, но либо тратила самым неразумным и нелепым образом, либо прятала чуть ли не в чулок, не как светская дама, но как крестьянка. Посылать мадам Дени взыскивать долги, рассчитывая к тому же получить их самому, было лишено смысла. К тому же надеяться, что ей или кому-либо иному удастся добыть хотя бы десять ливров от столь же прижимистого, сколь великолепного, герцога де Ришелье, Вольтер, превосходно знавший эту черту друга, никак не мог.

Все это писалось лишь для оправдания, маскировки низменного поведения мадам Дени. К тому же, хотя отставка герцога де Шуазеля и поступок генерального контролера Тере ухудшили финансовое положение Вольтера, во взыскании долгов в 1768 году он не нуждался. Продолжая получать 80 тысяч ливров пожизненной ренты, 40 тысяч процентов с удачно вложенного капитала и храня в своем портфеле 600 тысяч ливров, «патриарх» располагал в то время весьма внушительным состоянием.

И щедрость его осталась такой же. Он выплачивал мадам Дени в то время, что она жила в Париже, 20 тысяч ливров ежегодной ренты.

Великодушно отнесся Вольтер и к всем ему обязанной, неблагодарной Мари Корнель-Дюпюи, оправдывая ее бегство из Ферне так: «Моя приемная дочь, сопровождающая мадам Дени в Париж, увидит трагедии своего двоюродного деда...», «Что же до меня, — не мог и на этот раз не пожаловаться, — я остаюсь один в пустыне...»

Не меньшую снисходительность проявил он и к главному преступнику — Лагарпу. Резиденту Энону было совсем не трудно его защитить. Несмотря на неопровержимые доказательства виновности облагодетельствованного им молодого литератора, Вольтер сказал «адвокату»: «Он взял рукописи, не спросив разрешения и даже не сказав, это имело крайне неприятные для меня последствия. Однако я прощаю его от всего сердца, считая — согрешил, но без злого умысла, и буду помогать Лагарпу до конца моей жизни». А через несколько месяцев под пером Вольтера воровство, ложь, неблагодарность «дофина Ферне» превратились в «простую неосторожность».

А вот еще оправдываемая Вольтером причина отъезда мадам Дени, может быть, самая важная. Он писал второй своей племяннице, мадам де Фонтен: «Мари Луиза не любила Ферне». Это было правдой. Она рвалась в Париж. Первоначально возмущившись отставкой, данной дядей, затем весьма охотно и с чрезмерной поспешностью, в чем мы могли убедиться, уехала. Ведь местом ее ссылки был не монастырь, не деревня, не провинция, а обожаемая столица. И великодушие Вольтера превратило изгнание в исполнение желаний мадам.

Сама она раскрыла свою «философию» в письме Ваньеру, уже из Парижа, 22 июня 1768 года, кстати, так и не научившись правильно писать его фамилию: «Все наши размышления о жизни сводятся к тому, что нужно ее прожить приятно и ни от чего не огорчаться». Она и не огорчалась. Огорчался Вольтер.

Еще раньше Вольтер открыл эту истинную причину их разлуки в письме от 4 апреля д'Аржанталю много полнее: «Я убежден, что секрет желаний, которые у нее появлялись время от времени (уехать в Париж. — *А. А.*), — естественная неприязнь к деревенской тишине, которая не может быть преодолена иначе, чем большим

стечением гостей, празднествами, роскошью... Но этот шум уже не по моим годам, слабому здоровью...»

Действительно, после отъезда мадам Дени и ее спутников Вольтер резко изменил свой образ жизни. Сократил часть прислуги, уменьшил расходы, и, главное, его дом перестал быть открытым.

Но эта резкая перемена произошла отнюдь не оттого, что возраст и болезни заставляли его предпочитать тишину шуму. «Постоялым двором Европы» Ферне был до сих пор, потому что сам Вольтер любил гостей и не мог без них жить в своем уединении. После возвращения мадам замок снова им стал.

Но без женщины, обожаемой, несмотря на все недостатки, самая жизнь в Ферне потеряла для больного старика всякий смысл, и он даже решил продать любимое имение. Уже 6 марта 1768-го, не любя ничего откладывать, писал Якобу Троншену: «Земли Ферне к Вашим услугам, дом Расль, Эрмитаж, другие здания, которые я построил, замок, мебель... Все это предоставляется в полное Ваше распоряжение. Боюсь, чтобы цена не оказалась Вам слишком высокой...»

В тот же день он предлагает Якобу Троншену половину заплатить наличными, половину — пожизненной рентой. «Я прошу сто тысяч экю... Вся же сумма вряд ли достигнет двухсот пятидесяти тысяч ливров...» — намек на то, что он долго не проживет. И тут же не может удержаться от жалобы, что «желал бы быть более счастливым».

Не переставая в своем горе быть деловым человеком, предлагает и самой мадам Дени приобрести формально принадлежащее ей наполовину имение. Хотя неизвестно, чего тут больше — деловитости или великодушия: ведь иных денег, кроме тех, которые Вольтер давал и продолжает давать Мари Луизе, у нее нет...

Зато она, не желая связывать себя с Ферне, в то же время боится, как бы дядя не продешевил при продаже его Троншену. Вольтер же еще и должен уговаривать мадам Дени в письме от 22 марта, что Якоб больше не предложит, а этой суммы, бесспорно, хватит, чтобы мадам могла приобрести роскошную модную мебель для своего парижского дома...

Тогда Мари Луиза делает хорошую мину при плохой игре и 3 апреля пишет Габриелю Крамеру: «Мой дядя пропадет, если продаст Ферне, и я окажусь виновата в его последнем разочаровании».

После ее протестов против продажи имения, полученных Вольтером через Дамилавиля 25 марта и в тот же день, когда она играла благородную роль перед Крамером, дядя известил племянницу, что не продаст Ферне никому, кроме адвоката Христина... Но окончательно от своего намерения еще не отказался.

Напоминая в эти тяжелые дни толстовского Карла Ивановича, который душевную обиду хотел возместить уплатой за бумагу и клей, Вольтер тоже мог показаться расчетливым. Но ведь и деньги, вырученные бы за Ферне, он ассигновал на парижскую обстановку мадам Дени. И главное, мнимая расчетливость лишь прикрывала отчаяние, в которое его повергали ее письма. Слова об отчаянии даже продиктованы Ваньеру: не было сил написать самому. В том же письме Вольтер великодушно отделяет доброту ее сердца от того, что выходит из-под ее пера. Конечно, это лишь иллюзия. Другое письмо, на восьми страницах, где речь словно бы идет о домашних делах, полно жалоб на его горькую судьбу и жестокое обращение с ним племянницы в последние дни ее жизни в Ферне. Нетрудно заключить, кто был страдающим лицом в этой истории и кому чего стоила разлука.

Однако проект продать имение, оставить колонию — дело его жизни — оставлен.

Несмотря ни на что, Вольтер остался Вольтером. Очень любопытен обмен письмами между ним и мадам дю Деффан в апреле того же 1768 года. «Верно, верно, — писала она, — у меня к Вам еще много вопросов, помимо тех, есть ли душа у блох, движения материи, Комической оперы и даже отъезда мадам Дени. Но мое любопытство никогда не распространяется на вещи необъяснимые или на те, которые не зависят от каприза. Вы меня уверяли сперва насчет мадам Дени, сегодня — насчет шума при дворе и того, чему я никак не могу поверить, — что Вы исповедались».

Через восемь дней, 18 апреля, Вольтер ответил своей приятельнице: «Вы захотели, мадам, чтобы я открыл Вам

свое старое сердце в части любовных дел. Я — в возрасте, когда ни одна страсть, ни какая-либо иная причина не могут помешать мне выполнять мой долг... Я не думал, что вещь, столь естественная и столь простая, может поднять и меньший шум, чем подняла... Но нужно отражать все...»

О каком долге, каком шуме и какой исповеди идет речь в этих письмах?

Все касается той же борьбы с Гадиной, принимавшей у шутника и остроумца Вольтера порой весьма причудливые формы. При его ненависти к религии он бывал порой достаточно снисходителен к духовным лицам. Не только держал у себя в Ферне целых тринадцать лет экс-иезуита, отца Адама, говоря, что это отнюдь не лучший человек на свете, если не считать того, что с ним можно сражаться в шахматы, единственную признаваемую Вольтером игру, но и способствовал, чтобы доходы пастыря росли.

Мало того, когда в Ферне появлялись странствующие монахи, принимал их как гостей. И, перестав на время быть «хозяином постоянного двора Европы», проявлял такую щедрость к капуцинам, что глава их в Риме называл Вольтера светским отцом ордена в округе Жекс.

И тем не менее однажды — это случилось как раз во время отсутствия мадам Дени — подшутил над капуцином. Бесспорно, именно этот случай имела в виду мадам дю Деффан.

На страстной неделе 1768 года Вольтер велел одному монаху, гостившему в замке, отпустить ему грехи — для того чтобы в воскресенье пойти в церковь, к причастию. Он считал внешнее исполнение самых торжественных обрядов своей обязанностью как помещика, главы колонии. На этот раз им руководила цель, еще более важная. В последнее время в местечке случались частые кражи. Он хотел воспользоваться пасхальной службой, чтобы прочесть поселянам проповедь о честности, и прочел ее зажигательно и убедительно.

Вот зачем Вольтер тогда исповедался: иначе он не мог бы появиться в церкви.

История имела свое продолжение. Исповедник донес епископу, как Вольтер использовал отпущение грехов, и

тот запретил всему духовенству своей епархии без его личного разрешения исповедовать и причащать владельца Ферне.

Но в марте следующего года, лежа в постели и диктуя, Вольтер в окно увидел некоего капуцина, прогуливающегося в саду, и тут же велел позвать его. Думал, что блеск серебряной монеты вынудит монаха забыть распоряжение епископа. Капуцин деньги взял, но исповедовать отказался.

Тогда Вольтер решил провести главу епархии. Будучи на этот раз здоров, притворился умирающим и восемь дней пролежал в кровати. А в это время через своего адвоката подал жалобу в парламент, что ему отказано в исповеди. Епископ вынужден был разрешить священнику исповедать и причастить якобы находящегося при смерти старика...

Вольтер разыграл настоящее представление. Для начала так прочел «Confedior» и «Credo», что Ванбер в соседней комнате чуть не скончался от смеха. Исповедник растерялся, но тем не менее отпустил «фернейскому патриарху» его грехи и дал причаститься святых даров, после чего удалился, вероятно, не зная, что и думать. А мнимый больной тут же вскочил с постели и отправился на прогулку в сад в восторге от того, что ему удалось так одурачить святую церковь. Шутку эту Вольтер отмолил, когда ему шел семьдесят пятый год.

Отсюда видно, как он издевался над церковными обрядами, хотя и исполнял их иногда. Это тоже был один из тактических приемов, применяемых Вольтером в борьбе с Гадиной.

Итак, отъезд мадам Дени не мог ничего изменить в его духовной жизни, хотя многое изменил во внешней.

Осенью 1769 года изгнанница или беглянка вернулась в Ферне. Она ли об этом просила, боясь потерять влияние на дядю, а то и лишиться наследства, или он сам не мог больше выдержать разлуки?

Скорее всего и то и другое... Так или иначе, не прошло и двух лет, как поместье снова обрело Даму Ферне.

Часть VII

ГЛАВА 1

ОН ЕЩЕ ЖИВ...

Возлагая большие надежды на Людовика XVI, Вольтер и не подозревал о посмертных преследованиях, которые еще при его жизни готовил ему, едва вступив на престол, новый король.

Только из 88-го тома изданной Теодором Бестерманом корреспонденции Вольтера, включающей и адресованные философу письма, и письма других лиц, его касающиеся, мы узнаем об этом чудовищном замысле.

Примечательно, что все приказы и рапорты, инструкции, которые будут приведены ниже, написаны и отправлены за два дня, 18 и 19 июля 1774 года.

Первое письмо этого ужасающего цикла было отправлено Анри Леонардом Жаком Батистом Бертенем, очевидно после полученного им устного распоряжения монарха, Людовику XVI, королю Франции 18 июля. Привожу текст: «Его величество пожелало, чтобы все произведения и другие бумаги, которые будут найдены в домах сьера де Вольтера, после его кончины, были представлены пред высочайшие очи для просмотра». Затем следует рапорт о том, что им, Бертенем, «послана инструктивная записка относительно мер, которые должен принять правитель Бургундии, чтобы эти бумаги не исчезли после того, как будет проведена протокольная процедура и полная инвентаризация». Исполнитель извещает суверена, что им отправлены также три приказа. В конце — характерная приписка: «В собственные королевские руки». (Бертен — государственный секретарь.)

На следующий день по тому же поводу отправляется несколько писем-директив. За перо берется сам Людовик XVI. Лично извещает о своем распоряжении правителя округа Фабри: «После смерти Вольтера опечатать все его дома и выдать уполномоченному правителю Бур-

гундии, который предъявит приказ, все печатные произведения и рукописи покойника, которые касаются *королей, принцев и прочих суверенов, их дворов, министров или правительств их государств* и, в частности, *двора и правительства Франции*, так же как произведения, бумаги и рукописи, касающиеся *религии и нравов*, так же как *истории, философии и всего содержания литературы*». Его величество приказывает чиновнику магистратуры составить протокол и провести инвентаризацию. (Курсив мой. — А. А.)

Несколькими часами позже, а может быть, и не отходя от бюро, король пишет семье и домочадцам Вольтера. Приказывает его родственникам и наследникам, а если таковых нет, консьержам домов открыть все помещения уполномоченному высочайшим приказом правителю Бургундии и выдать ему книги, рукописи, бумаги. «В операции, — говорится дальше, — будут участвовать судья и чиновники магистратуры. Затем все названное должно быть вывезено, а дома опечатаны».

Очевидно, распространился снова слух о кончине великого человека, а может быть, просто преклонный возраст и все ухудшающееся состояние здоровья «больного из Ферне» побуждали Людовика XVI принять все меры, чтобы оградить суверенов, дворы, правительства, религию, нравы от разрушительного и после смерти автора действия философских, исторических, литературных сочинений Вольтера. Так или иначе, 19 июля Людовик XVI отправляет его семье и наследникам еще один приказ: открыть исполнителям королевской воли все комнаты, кабинет, отпереть шкафы и ящики.

Продолжает столь же решительно действовать и Бертен. Вот его приказы, о которых он доложил королю. 19 июля извещает о том же Фабри, упомянув и французского резидента Энона, который тоже, очевидно, должен принять участие в обыске и конфискации. И тут же пишет правителю Бургундии, Антуану Жану Амело де Шейу: «Король мне приказал адресовать Вам пакет с полномочиями относительно соседа Женевы».

Не менее важна еще одна инструкция Бертена от того же числа Шейу — чтобы, получив пакет, не терять времени... Фабри же он предусмотрительно предупреждает, чтобы не приступал к исполнению приказа, пока Вольтер жив, и хранил тайну.

ГЛАВА 2

ПОСЛЕДНИЕ

ЗАБОТЫ

1776 год, 5 августа Лекен пишет: «Я вижу самое большое чудо нашего века — месье де Вольтера в его восемьдесят три (восемьдесят два. — *А. А.*) года... Вот чему я был свидетелем с моего приезда в замок Ферне... Трудно поверить в то, что этот любезный и респектабельный старик еще делает в своем возрасте. Он работает за столом регулярно по десять часов в день. Но литература не мешает ему заниматься ни колонией, ни коммерцией, всеми способами приносить людям добро, удачу, доставлять им удовольствия. И в то же время он — управитель своего дома, его метрдотель, комендант, заботящийся обо всех там живущих. Я не в состоянии рассказать Вам во всех подробностях, чего только не приходит ему в голову и как он совмещает то, что, казалось бы, несовместимо. Ни одно его занятие, ни одна забота не заставляет его забыть о других. Сейчас он подводит итоги ужасного процесса, который выиграл в парламенте Дижона».

Читаем дальше. Не случайно сам великий актер еще раз в Ферне. «Вольтер занят и театром, и это удовольствие захватывает всех окружающих. Уже одно созерцание зрителей — картина единственная в своем роде. Это и восхищение пьесой, и почтение к ее автору, и некоторые иллюзии (последнее сказало, очевидно, потому, что играет сам Лекен. — *А. А.*) относительно очарования спектакля».

Театральный зал достаточно красив, хотя и не так роскошен, как полагает сам месье де Вольтер... (Отзывы его о своих театрах в Турне и Ферне мы знаем.) И тем не менее избалованный зданием Комеди франсез и другими превосходными театрами Лекен не может не признать: «Как удивительно встретить это прелестное «не-что» в ста пятидесяти лье от Парижа, в деревне, насчитывающей всего тысячу триста жителей, в то время когда большая часть самых крупных городов не имеет ни-

чего, кроме «конюшен», которые служат для игры в лапту и для представлений шедевров человеческого духа».

В заключение Лекен рассказывает, что Вольтеру «нравится общество, к счастью малочисленное (теперь! — *А. А.*), Ферне. Оно состоит из мадам Сен-Жюльен, аббата Котье, меня, жителей замка». И под самый конец автор выражает сожаление, что «д'Аржанталь (очевидно, письмо ему: адресат не указан. — *А. А.*) не видел своего друга во всем блеске славы».

О молодости «больного старика из Ферне», как постоянно называл себя Вольтер в последние годы жизни, говорят и другие. Маркиза дю Деффан выразилась кратко и очень точно: «Я верю больше его духу, чем его метрике». Тогда, правда, Вольтеру было восемьдесят.

И все-таки, поражая всех неиссякаемой энергией, не прекращая бесчисленных и разнообразнейших занятий, он не может не ощущать бремени своего возраста и все слабеющего здоровья. 5 сентября 1777 года в ответ на письмо д'Аржанталя, где тот дает советы, как улучшить его трагедию, Вольтер пишет: «Месье, граф Сиракуз *, Вы воздаете мне слишком много... Я часто в состоянии хаоса от множества моих дел, множества моих лет, и болезней, и общей слабости. Ничто не может быть интереснее, чем решить задачу, которую Вы мне задали... но, чтобы я мог выполнить Ваши указания, нужно, чтобы Вы забрали у меня лет тридцать и наградили меня новыми талантами...»

Помимо ложных слухов о смерти Вольтера, костлявая старуха не раз заносила над ним свою косу. В 1773-м он был так болен, что д'Аламбер, беспокоясь и горя, даже не рисковал писать самому своему старшему другу. Лишь получив более или менее обнадеживающий ответ на два своих письма мадам Дени, пишет ему: «Берегите себя!»

У д'Аламбера были основания тревожиться... 3 мая мадам Дени извещала врача округа Жекс — необходимо его присутствие в Ферне, со всеми лекарствами...

К счастью, 8 мая Вольтер мог уже сам написать д'Аламберу: «На этот раз я выздоровел». Но сколько еще раз будут все основания думать, что его дни сочтены!

Нельзя забывать и о том, что все слабеет и слабеет

* Сиракузы в древние времена славились своим театром.

его зрение. Глазам вредна ослепительная, в буквальном смысле, белизна альпийских снегов, а он уже много лет живет у подножья горы Юра. Еще в 1763-м Вольтер жаловался кардиналу Берни: « Я все время по-немногу слепну, но отношусь к этому терпеливо. Говорят, что снега Альп оказывают мне плохую услугу».

Не удивительно, что готовясь к близкой смерти, Вольтер подводит разнообразнейшие итоги, как бы ревизует все свои воззрения — философские, политические, научные, исторические — и заботится о том, чтобы его идеи, его дела не заглохли и когда его не станет.

Он как бы образует спираль, возвращаясь к тому, чем занимался в молодости, и переосмысляя свои ранние занятия и взгляды. Пишет и публикует «Исторический комментарий к моим произведениям», — по сути дела свою автобиографию, — атакуя Шекспира. Сюзанна Неккер, жена знаменитого банкира, одно время генерального контролера и, как назвал ее Вольтер, «дама очень развитого ума и характера, если это возможно, превышающего ум» (мы ее знаем по истории статуи работы Пигалля), в очень интересном письме — сентябрь 1776 года — благодарит великого человека за отзыв о себе. Затем следует: «Баталья, которую вы завязали с Англичанином, произвела шум. Вы выставили неуязвимую армию солдат, чтобы защитить «Генриаду», пользуясь и поддержкой Ньютона. И «Меропа», «Альзира» противостоят Шекспиру».

И все-таки она не на стороне Вольтера. «Я видела, как Шекспира играл единственный человек (Гаррик. — А. А.), который посмел отступить от руин времени. Я плакала на его пьесах и сказала себе, что театральная правда не всегда дочь небес». Лекен в том же письме от 5 августа 1776 года сообщает адресату: «Наш патриарх полагает, что Вы сошли с ума, увлекаясь Шекспиром».

Из-за перевода Вольтером «Юлия Цезаря» между ним и д'Аламбером еще в 60-х годах разгорелся спор. Последний упрекал своего высокочтимого брата в том, что придал Шекспировой трагедии несвойственную ей французскую галантность. 10 августа 1776 года Вольтер делится с соседом Анри Рье недовольством по поводу того, что «Шекспир будет публично читаться в Академии 24 августа, в день святого Людовика, антиварвара, антипода Шек-

спира. Это свидетельствует о недостаточном почтении к святому... Да еще и день, наверно, будет такой солнечный...».

Как всегда, бои разворачиваются по широкой линии фронта. 7 сентября 1776-го в письме к Кондорсе он называет безумцем Вельша, который предлагает заменить Корнеля Шекспиром. «Не могу поверить, чтобы нашелся хотя бы один француз, настолько глупый, настолько подлый, чтобы дезертировать из нашего войска и служить этому несчастному перебежчику Ла Турнер. Но никто не объединится со мной, чтобы сражаться».

Это может показаться странным. Как Вольтер, который некогда, и называя Шекспира «варваром» и «дикарем», так его ценил и столькому у него научился; теперь с необузданной страстью ополчается на тех, кто предпочитает «англичанина» Корнелю. Но не случайно последним произведением Вольтера была строго классицистическая трагедия «Ирина».

Тогда же, когда он воюет с возрождением Шекспира, 9 августа 1776 года Вольтер пишет некоему Гийому Франсуа де Бору: «Упорство, которое Вы засвидетельствовали не раз, выступая против абсурдной доктрины материализма, позволяет мне полагать, что Вы примете с удовольствием труд, который я хочу напечатать, сражаясь в нем с «Системой природы». Но и отстав как философ от Дидро, он сохраняет к нему прежнее уважение и расположение. 14 августа того же 1776 года в письме к Дидро расточает ему комплименты, с радостью сообщает, что Фридрих II предоставил должность товарищу Лабарра. Еще важнее горестное сожаление, с которым Вольтер пишет: «Как ужасно, что философы не объединены, в то время как преследователи их всегда объединяются!» Он верен постоянному стремлению к единству своей партии.

И просто поразителен звучащий как завешание конец письма: «Живите долго, месье, чтобы смочь нанести смертельный удар чудовищу, которому я только надрал уши! Если Вы не вернетесь в Россию (очевидно, до Вольтера дошел ложный слух, что Дидро снова туда собирается. — А. А.), постарайтесь прийти на мою могилу!»

Так же верен Вольтер и отношению к врагам. В 1777 году он писал: «Несмотря на то, что я очень стар

и очень болен, месье, я не совершенно потерял память. Я вспоминаю, как около пятнадцати лет назад Тьерьо прислал мне неподписанную брошюру «Анекдоты о Фрероне». Ее автором считали Лагарпа. Но это не мог быть ни Лагарп, ни какой-либо другой писатель...» Вольтер уверяет, что «Анекдоты» написал д'Аламбер, и отношение его самого к Фрерону такое же, как в брошюре, презрительное, насмешливое... В каталогах наших библиотек они значатся как произведение Вольтера.

Адвокат справедливости в последние годы занимается общими вопросами права. В 1777-м пишет эссе «Цена правосудия и человечности» и занимается новым уголовным кодексом, мыслимым им как идеальный.

Может прозвучать парадоксом, что Вольтер обращается к Екатерине II с просьбой принять участие в новом законодательстве республики Берн, то есть Швейцарии. «Повелительница пятой части земного шара, — пишет он императрице, — простит мне без сомнения мою горячность. Она касается предприятия, которое с каждым днем становится более необходимым, чем когда-либо. Речь идет о подражании Вашему величеству... я не хочу умереть, не увидев сборника Ваших законов, и осмеливаюсь требовать выпуска этого сборника. И вот основание: магистрат Берна предложил премию в 56 луидоров тому, кто представит лучшую записку о суде и тем самым поможет общественности Берна провести реформу уголовного кодекса и процесса. Долг святой Екатерины Петербургской добавить к объявленной премии еще 50 луидоров. Иначе вознаграждение непропорционально важности задачи...» Но не здесь разгадка обращения к императрице с просьбой помочь законодательству республики. Вольтер сам предлагает проект кодекса, отличный от предложенного другим теоретиком права, опирающийся на «судебную практику наших провинций и содержащий все, что он знает о законах, принятых Вашим величеством. Премия будет присуждена лишь в 1779 году, но новый проект опубликован через несколько месяцев. Если Ваше величество благодетельствует эту инициативу 200 рублями, Вы окажетесь покровительницей тринадцати маленьких кантонов. Споры будут вестись до 1779-го, меня уже в живых не будет. (Увы, он оказался прав! — А. А.)

Но зато Вы окажетесь еще более блистательной, чем всегда, покровительницей малых народов. Ведь облагодетельствованная Вами земля крымских татар — это маленький кантон России».

В этом-то и весь секрет обращения Вольтера к Екатерине II. Конечно, сумма в 50 луидоров, или 200 рублей, для него ничтожна, ему ничего не стоило бы внести ее самому... Конечно, он давно уже знает цену благодеяниям, оказанным императрицей малым народам ее империи, да и великому русскому народу. Но в своих колебаниях между республикой и просвещенным абсолютизмом ему очень важно, чтобы, как бы примиряя обе формы государства, «вывеска» русской императрицы была над законодательством республики.

А в письме к Кондорсе есть такое место: «Я не перестаю огорчаться с тех пор, как мы перестали заботиться о народе вообще и о народе в нашей провинции. С этого рокового момента я не продолжаю никаких своих дел, я ничего ни с кого не спрашиваю и терпеливо жду, что нас задушат».

Опасность быть задушенным ему лично не угрожает. Колония в Ферне и округе Жекс, может быть, самые большие заботы его последних лет. Об этом свидетельствуют сотни писем и десятки, если тоже не сотни, документов, приложенных Бестерманом к томам корреспонденции.

1775-й, 1776-й, 1777-й и прожитые «патриархом» месяцы 1778-го наполнены заботами о крестьянах и ремесленниках, его соседях, народе «нашей провинции», продолжением прежних забот, но еще более деятельным.

Эти заботы очень разнообразны. 30 сентября 1775-го Вольтер пишет новому генеральному контролеру французского короля, хотя и знаменитому физиократу, но другу энциклопедистов, Анну Роберту Жаку Тюрго, зная, как тот поглощен множеством затеянных им реформ: «Монсеньёр, прошу прощения за то, что затрудняю Вас самой маленькой провинцией Франции, в то время как Вы заняты наведением порядка во всех остальных...

...Месье де Трюден (управитель Жекса. — А. А.) сделал нам добро, написав Вам в духе Ваших планов от имени нашей местности. Акты, подписанные им, подтверждают и нашу покорность... Но чиновники, управ-

ляющие фермами, их опустошая, не были извещены и уничтожили Ваши благодеяния». Характерно, что Вольтер везде пишет «наши», «мы», отождествляя себя с крестьянами.

Не менее интересно то, о чем говорится в письме дальше: «Я не знаю, информировали ли Вас, что наше бедственное положение не позволяет земле Жекс иметь даже одного-единственного торговца. Мы вынуждены все необходимое покупать в Женеве, и съестные припасы, и одежду. А все эти товары поступают из Франции, обкладываясь налогами. Поэтому-то ежедневно границу переходят бесчисленные контрабандисты».

Вольтер добивается, чтобы французская провинция Жекс, ее бедняки не несли на себе дополнительную тяжесть таможенных обложений, покупая все в Швейцарии, и ему это удается так же, как и пресечение самоуправления чиновников.

8 января 1776-го он с вольтеровским темпераментом пишет Тюрго: «Монсеньёр, маленький народ стал свободным благодаря Вашим благодеяниям. Опьяненный радостью и признательностью, я бросаюсь к Вашим ногам, чтобы Вас поблагодарить. Я прошу Вашего разрешения обратиться за протекцией для нескольких лиц, заслуживающих Вашей доброты. Вот, к примеру, сьер Седилло, перед тем наполнивший свой чердак солью, чтобы освободить наш народ и от этой зависимости...»

Тюрго выполнил просьбу сеньора справедливости.

И «фернейский патриарх» так преисполнен благодарности и счастья за народ «нашей провинции», что пишет об этом не одному Тюрго, но и нескольким своим корреспондентам.

Без конца рассказывает о празднике в округе. 11 января 1776-го пишет Кондорсе: «...Вы разделите мою радость, достойный философ, — видеть в деревне десять или двенадцать тысяч человек... благословляющих месье Тюрго и воспевающих свою свободу...» (Конечно, свобода была весьма относительной, но будем мыслить исторически!)

В тот же день он этой радостью делится с «философом-бабочкой», другом его преклонных лет, молодой мадам де Сен-Жюльен и призывает племянника мадам Дени: «Радуйтесь нашему освобождению!» И тоже описывает ему деревенский праздник.

Как правильно заметил Теодор Вестерман в предисловии к 93-му тому — январь — март 1776-го — «Корреспонденции», озаглавленному «Жекс», Вольтер выше собственных ставит интересы своих сограждан, он находит время для освобождения округа от налогов и для общих проблем.

Нужно отдать должное и Тюрго, который не только, вняв его просьбе, помог Жексу, но и заступился за Швейцарию. К сожалению, этот блистательный государственный деятель слишком недолго пробыл генеральным контролером и не успел осуществить задуманных и начатых им действительно грандиозных экономических и административных реформ. Вольтер оплакивал и скончавшегося в 1777-м месяце де Трюдена, который тоже заболел о Жексе.

В письме Андре Морелле от 21 октября 1775 года Вольтер рассказывает о трех днях, которые он провел в Монтини у месяе де Трюдена, очевидно, обсуждая проблемы округа «с нашими министрами, которые ужасно уставали, работая по десять часов в сутки». Он не уставал.

Вольтер благодарен каждому за добро, сделанное провинции.

Но, может быть, самое поразительное — это та работа, которую Вольтер проявляет, чтобы созданная им в Ферне колония не распалась после его смерти и не были ущемлены интересы колонистов.

Однажды, говоря об отношениях Вольтера и мадам Дени, я уже провела сравнение с героем Льва Толстого — Карлом Ивановичем из автобиографической трилогии. Сейчас же я вижу сходство между Вольтером и Мари Луизой, которую он сделал не только единственной и полной своей наследницей, но — еще при жизни — совладелицей всего своего движимого и недвижимого имущества, Дамой Ферне, и Львом Николаевичем и Софьей Андреевной тоже последних толстовских лет. Аналогия, конечно, условная и относительная. И все-таки несомненно: Вольтер заботился о колонистах, мадам Дени — о себе.

Теодор Вестерман как приложение к последним томам «Корреспонденции» дал множество актов, свидетельствующих о том, что Вольтер предвидел — мадам Дени после

его смерти колонии не сохранит и о ее жителях заботиться не станет. Поэтому он очень щедро, но с охраной не собственных, а ее интересов — он-то скоро умрет — и со всеми юридическими формальностями ссужал деньгами на постройку и приобретение домов колонистов. Все эти акты оформлял королевский нотариус округа Жекс. В части их как заимодавец фигурирует один Вольтер, в других — и мадам Дени, что, по существу, ничего не меняет: инициатива была, разумеется, его. Напротив, очень вероятно, что Вольтер давал бы эти суммы не в долг, а просто дарил бы их, если бы не ее настояния... А может быть, и дарил, но для безвозвратной ссуды документов не требовалось.

Вот, в качестве примера, один из этих актов:

«1777 года 18 сентября после полудня мной, Пьером Франсуа Никодом, королевским нотариусом округа Жекс, проживающим в Версуа, в присутствии свидетелей, чьи имена перечисляются... заключена следующая сделка между мессиром Франсуа Мари де Вольтером, кавалером, камергером, и Дамой Мари Луизой Миньо, вдовой мессира Никола Шарля Дени, кавалера королевского ордена Сен-Луи, называемой Дамой Дени, Дамой Ферне, оба там же и проживают, с одной стороны, и Клодом Берти, должником, тоже проживающим в Ферне, — с другой.

Месье де Вольтер и мадам Дени дают займы Берти для постройки дома в Ферне сумму в 5000 франков — сразу, остальные — в течение месяца...»

Часть денег дает Вольтер, часть — мадам Дени. В конце акта подробно оговорены сроки возвращения ссуды и суммы каждого платежа.

В других случаях деньги ссужались для покупки дома в Ферне, как зафиксировано в акте, составленном тем же нотариусом, в марте 1777 года. На этот раз ссуда давалась даже не местному жителю, а купцу из Савайи, Антуану Жаке.

Хотя Вольтер и признается Ришелье в одном из писем 1775 года, что предпочел бы умереть у его ног в Париже или в его поместье, носящем имя хозяина, а не среди снегов Юры, «но нужно, чтобы каждый следовал своей судьбе». Своей судьбой он считает Ферне и делает все, чтобы этот «сад, им возделанный», не заглох после его смерти.

ГЛАВА 3

ЕЩЕ ПОВЕСТИ, СКАЗКИ...

Вольтер в дурном настроении. Он узнал, что де Ла Ривьер был приглашен Екатериной II в Петербург для консультации. Французский посол императрицы указал ей на книгу этого физиократа «Естественный и существующий характер политического общества» как на шедевр и образец.

Чтобы дурное настроение прошло, «фернейский патриарх» отвечает на книгу книгой, пишет «Человека с сорока экю», дебютируя в новом жанре публицистического очерка. Он выходит годом позже книги де Ла Ривьера, в 1768 году.

Для этого Вольтеру пришлось серьезно заняться тем, чего он до сих пор не касался совсем, — политической экономией и тем, чего коснулся похода в маленькой повести «Жанно и Колен», — французской налоговой системой. Но то и другое понадобилось не только для научной полемики, теоретического опровержения учения физиократов. Исходя из принципа — производительным является один сельскохозяйственный труд, они требовали введения единого налога, который падал бы исключительно на земледельцев и взимался пропорционально получаемой ими продукции. Нет, в своей книге он прямо и решительно выступает в защиту труженика-бедняка, производящего то, без чего не может обойтись страна и так разоренная рядом перечисленных серьезнейших политических и экономических ошибок.

«Почему Франция, — спрашивает автор якобы от лица некоего старика, который постоянно пеняет на наше время и восхваляет старину, — теперь не так богата, как при Генрихе IV?» И тут же отвечает: «Потому что земля не так хорошо обрабатывается, потому что мало людей занимается сельским хозяйством. Чем объясняется явный недостаток рабочих рук в сельском хозяйстве? Тем, что вследствие отмены Нантского эдикта в стране

образовалась огромная пустота, развелось видимо-невидимо монахинь и нищих, и каждый, кто только мог, бежал от тяжелого земледельческого труда, для которого бог нас создал и который мы сделали постыдным».

«Другой причиной нашей бедности, — объясняет старик, прозрачная маска Вольтера, — являются наши новые потребности». Не впервые автор издевается над мнимыми преимуществами открытия Америки. Но сейчас делает это, вооруженный точными экономическими данными: «Надо уплатить соседям четыре миллиона за один товар и пять или шесть за другой. Зато мы имеем возможность насыпать себе в нос вонючего порошка, привезенного из Америки. Кофе, чай, шоколад, кошениль, индиго и пряности обходятся нам в шестьдесят с лишним миллионов в год». И опять вспоминаются времена Генриха IV: Вольтер верен идеальному королю, так же как недовольству отменой его Нантского эдикта.

Называется еще и пятнадцатимиллионная рента, выплачиваемая иностранцам вследствие задолженности парижского городского управления, между тем как Генрих IV, вступив на престол, благоразумно уплатил долг всего в два миллиона... Огромные затраты на внешние войны...

«Вот некоторые причины нашей бедности. Мы прикрываем ее всякой мишурой и штучками модисток; мы бедны, но имеем вкус. У нас есть очень богатые банкиры, предприниматели, купцы... но население отнюдь не богато».

И вот на этом фоне — положение человека с сорока экю (ста двадцатью франками или ливрами) годового дохода. Ничтожность этой суммы подчеркивает авторское примечание к рассуждениям старика: подсчет мадам де Ментенон расходов своего брата и его жены за 1680 год, в Париже — сорок тысяч франков ежегодно, тогда как при Генрихе IV им было бы достаточно шести тысяч. (Со времен мадам расходы аристократов не уменьшились, но увеличились.)

Пародируя любимое выражение Ле Франка де Помпийяна «Весь мир должен знать», Вольтер начинает первую главу «Разорение человека с сорока экю» так: «Я счастлив оповестить весь мир, что у меня есть земля, которая приносила бы мне сорок экю, если бы не налог».

После жалоб на то, что из-за прежних эдиктов совла-

дельцем его земли являлась законодательная и исполнительная власть, опирающаяся на божественное право (взято из книги де Ла Ривьера), и он должен был отдавать этой власти не меньше половины того, что имел, осеняя себя лишь крестным знамением перед огромными размерами ее желудка, бедняк горько сетует на еще увеличившееся налоговое бремя. Только искусство плести корзины, что знает месье генеральный контролер, позволило человеку с сорока экю платить двенадцать франков. «Как же я теперь смогу дать королю двадцать экю?»

Не без основания Крамер боялся выпускать, вероятно, самую крамольную из книг Вольтера, хотя, конечно, и без имени автора. Пусть приказ об аресте всемирно прославленного «фернейского патриарха» не решились провести в действие. Но эту его книгу сожгли по приказу Парижского парламента 24 сентября 1768 года так же торжественно, как тридцать четыре года тому назад «Философические письма». Мало того, злоба врагов была вымещена еще на трех несчастных продавцах «Человека с сорока экю». Их на три дня пригвоздили к позорному столбу, заклеямили как государственных преступников и сослали на галеры.

Власти имели основание так рассердиться.

Вольтер на этот раз ничего не преувеличивает и не остраивает. Да это и не требуется. Ничто не может быть красноречивее приведенных им фактов. «Армия олухов под командой шестидесяти генералов», как называет их герой, то есть сборщики податей с генеральными откупщиками во главе, действительно совершенно разоряла земледельцев, еще и вмешиваясь в их повседневный обиход. На крестьян обрушивались, помимо непосильных прямых налогов — земельного, подушного, подоходного, дорожного и прочих, еще и тьма косвенных. Не случайно Вольтер так боролся с обязательной для жителей Жекского округа покупкой соли. Теперь он защищал не одних своих земляков. Каждый француз, начиная с семи лет, должен был покупать у государства по дорогой цене не менее семи фунтов соли ежегодно. Причем имел право расходовать ее только на повседневную еду, но не на запасы. Если крестьянин, не досолив похлебки, часть этой соли употреблял на засолку окорока, с него взимался штраф. Так же следили за тем, что он пил, курил, ел, при взимании питейного, табачного и других налогов.

Таким образом удовлетворялись непомерные аппетиты привилегированных сословий, свободных от налогов. А еще десятины в пользу духовенства и помещиков! «Боюсь, что, если все подсчитать, у меня при прежней системе по кусочкам отнимали три четверти моих средств», — говорит человек с сорока экю. А физиократы хотели еще увеличить несомое им бремя, утверждая, что «налогом нужно облагать только землю, потому что все происходит от земли, даже дождь, и поэтому только продукты земли подлежат обложению».

Чудовищная несправедливость и бессмысленность уже действующего порядка, которые хотя еще увеличить, наглядно явствует из маленького эпизода. Человека с сорока экю посадили в тюрьму, так как во время последней войны, «которую мы вели, не знаю из-за чего... и только слышал, что в ней мы ничего выиграть не можем, а потерять можем много», сборщик податей потребовал с бедняги три меры зерна и мешок бобов, стоимостью в двадцать экю, чтобы эту войну поддержать, а у него не было ни хлеба, ни бобов, ни денег. Когда он вышел из тюрьмы — кости да кожа! — тут же встретил толстого господина, в карете, запряженной шестеркой лошадей, которого знал, когда тот был беднее его самого. Но зато теперь месье имел ренту в четыреста тысяч ливров.

«Значит, вы платите двести тысяч государству, — сказал я (человек с сорока экю. — *А. А.*), чтобы оно могло вести войну, столь выгодную для вас. Вот я, имея равным счетом сто двадцать ливров, плачу половину».

Но богатч не платил ничего и считал, что не он должен государству, а, напротив, государство должно ему. Ведь он получил наследство от дядюшки, заработавшего восемь миллионов в Кадиксе и Сурате, и владел не землей, а лишь средствами обмена — серебряными и бумажными деньгами.

В четвертой главе Вольтер клеймит собравшихся в приемной генерального контролера — грабящих народ тунеядцев монахов и весьма прозрачно агитирует за секуляризацию церковных имуществ. Он посягает и на само божественное право, узаконивающее беззаконие.

Не забывает автор и французского уголовного судопроизводства, требует его реформы, сражаясь за веротерпимость, напоминает о процессах Каласа, Сервена и Ла-

барра. Клеймит применяемые и сейчас средневековые пытки, «драконовы законы»... Не упускает случая напасть на прямо названного Фрерона.

Есть в книге и слабости. Экскурс в естествознание не на высоте науки того времени, так же как в портативном «Философском словаре». Но мы прощаем это «Человеку с сорока экю». Прощаем и сухость, даже некоторую скучноватость за то, что это одна из самых тяжелых бомб, брошенных Вольтером в старый порядок. Из того, что в ней сказано, с неопровержимой доказательностью автор сделал разящий вывод: «Самое ужасное из всех зол — феодализм. Он приносит несравненно больше бед, чем гром и молния».

Как могли не сжечь такую книгу, не расправиться с теми, кто ее продавал?

А если подумать, что в защиту самых бедных, самых угнетенных выступил богач, в защиту крестьян — сеньор, помещик, заслуга Вольтера особенно велика.

Примечательно, что, по форме несколько не напоминающая «Человека с сорока экю», расцвеченная богатейшей фантазией, ориентальная сказка «Принцесса Вавилонская» была написана лишь месяцем позже, и это не случайно.

При внешнем сходстве с «Задигом», «Бабуком», «Микромегасом», по фантастичности, костюмировке, путешествиям героев, авантурному сюжету на самом деле она коренным образом от них отличается и продолжает предшествовавший ей публицистический очерк. Сказка эта не философская, а социально-политическая.

Она включает в себя и критику старого порядка. За царством Вавилонским легко угадывается Франция Людовика XV. Кроме того, так как принцесса Формозанта и ее возлюбленный гоняются друг за другом по всему свету, страна галлов показана и более прозрачно зашифрованная.

Но главное направление «Принцессы Вавилонской» иное, чем «Человек с сорока экю». Для «фернейского патриарха» это время больших надежд, опирающихся на международные перемены. Две главные католические династии — Бурбоны в Габсбурги — кажутся ему захваченными Просвещением. Вероятно, он преувеличива-

ет влияние просвещенных венских министров и прогрессивность самого Иосифа II. И то же видится Вольтеру в Париже, Неаполе, Мадриде, Лиссабоне. Он придает большое значение делу министров Пармы, связанному с конфликтом между Бурбонами и Римом. Папа противостоит просвещенному деспотизму и поэтому предаёт анафеме дон Фернандо Пармского и его правительство. Дом Бурбонов, царствующий в ряде стран Европы, образует единый фронт против папизма. Людовик XV занимается Авиньон, отколовшись от Рима и отказываясь подчиняться папе римскому, до тех пор владыке *всей* католической церкви. Король Неаполя, король испанский тоже утверждают независимость короны от папской власти. Вольтер доволен тем, что католичество раздробилось, и надеется — это сулит торжество Просвещения. Верит, что пришел момент переворота, во главе которого станут *философы*.

Но сколько для этого еще надо сделать! Несмотря на большой успех книги Беккариа «О преступлениях и наказаниях», французское правосудие, точнее, беззаконие — осталось неизменным. В «Принцессе Вавилонской», отразившей надежды Вольтера, отражено и это. Фанатики продолжают причинять зло, иезуиты, хотя их орден и запрещен, не унимаются. Автор обвиняет французов в ветрености: «Они всегда готовы превратить трагедию в фарс». Но еще больше — в том, что там пользуются огромным влиянием «банды мрачных фанатиков, отчасти невежд, отчасти плутов, которые одним своим видом нагоняют уныние... Какая-нибудь шалость молодого человека наказывается ими как отравление или отцеубийство...» — явный намек на казнь кавалера де Лабарра.

Но далеко не благополучно и в других странах. Трезвому реализму Вольтера не мешают ни сказочная форма, ни преувеличенные надежды. Хотя Амазан и восхищается в Англии свободными конституционными учреждениями, свободный сын Альбиона невозмутимо сидит в опрокинутой карете и беседует с интервалами по четверть часа.

В политически раздробленной Германии Формозанта встречает на каждом шагу, «князей, фрейлин и нищих». Несмотря на перемены, происшедшие в «черной» Испании, принцессу принимают за колдунью и едва не жи-

гают на костре. Естественно, что особенно достается Италии. Амазан поражен папскими трактатами и всеобщим полобоством перед «старцем с семи холмов, которому подобострастно лобызают туфлю, точно щека у него на ноге», — снова ostranenie.

Повторяя свои любимые мысли, Вольтер славит императора китайского за изгнание иезуитов, проповедующих религиозную нетерпимость, и хвалит протестантскую Германию, где «благодаря прогрессу разума и философии уничтожен навеки нелепый обычай хоронить заживо людей в кельях и навязывать им противоестественный обет безбрачия».

Не нужно преувеличивать, как это часто делают, значение того, что в 18-й главе, о пребывании Формозанты в стране киммерийцев, то есть России, автор неистощим в похвалах Екатерине II. Сказка сочинялась, когда «фернейский патриарх» оживленно переписывался с «Северной Семирамидой», и она так же воплощала его надежды на просвещенных монархов. Действительно, в «Принцессе Вавилонской» мы читаем, что императрица киммерийцев «...лучшая законодательница, чем Изида у египтян, Церера у греков», под ее мудрой эгидой дикая страна скифов превратилась в государство, где процветают «искусства, великолепие, слава», она «посылает войска не для кровопролитных войн, как другие монархи», а для того, чтобы «устанавливать мир... ее знамена — «знамена общественной солидарности», и главная заслуга императрицы — «первейший из ее законов — терпимость по отношению ко всем религиям».

Но если вчитаться в то, что Вольтер писал о Екатерине II другим корреспондентам, то есть действительно думал, мы увидим — не так велики были его иллюзии. Ее мнимые заслуги служили для него лишь средством пропаганды. Прав Гэй, говоря, что Вольтер не проявлял такой наивности в отношении Екатерины II, как Дидро. «Для Вольтера, — пишет исследователь, — Екатерина II никогда не была главной его привязанностью, и вовсе не так сильно было его увлечение русской императрицей». Надо сделать, конечно, поправку на то, что Вольтер лично не пострадал от ее деспотизма, как от деспотизма Фридриха II, и у него не было такой исчерпывающей информации о далекой стране, владычица которой искусно притворялась его ученицей.

В «Принцессе Вавилонской» не меньшие восторги отданы стране сарматов — Польше, имеющей шансы быть управляемой королем-философом, и свободе, обещанной Швеции наследным принцем.

Просвещенный абсолютизм для Вольтера, как бы мы выразились, — программа-минимум. Но в сказке есть и знаменитое сравнение царей с пастухами, ибо они «стригут свое стадо догола», между тем как настоящие пастухи, «покрытые рубищем, стригут овец, одетых несравненно лучше, чем они сами, изнемогают под бременем нищеты и отдают сборщику податей половину своего скудного заработка, полученного от господ», — явная переключенка с «Человеком с сорока экю». Если воспеть Екатерину II, кронпринца шведского Густава, Станислава Понятовского — надеется автор, — может быть, удастся достигнуть уже сейчас, чтобы стадо стриглось не догола и пастухи были бы одеты не хуже овец. Но еще лучше, если кончится власть оракулов или магов над царями и цари совсем не будут стричь свое стадо!

Думается, именно потому, что была угадана последняя, затаенная и самая важная мысль Вольтера, «Принцессу Вавилонскую» издали у нас в первые годы Советской власти, в малой серии горьковской «Всемирной литературы», созданной для того, чтобы вернуть народу украденные у него старым строем сокровища мировой культуры. Слишком недавно еще русский царь, помещики, капиталисты стригли крестьянство и рабочий класс!

И на «Принцессе Вавилонской» Вольтер не иссяк как рассказчик. Много повестей, сказок, притч было написано до нее, немало — после.

ГЛАВА 4

„КОНТРАБАНДА — ЭТО Я САМ“

Как ни поглощен Вольтер жизнью в Ферне, он не хочет умереть, не увидев последний раз Парижа. При Людовике XV, была ли главной фавориткой короля маркиза де Помпадур или мадам Дюбарри, и помыслить не о возвращении, но о посещении французской столицы было нельзя. Людовик XVI, хотя и распорядился в 1774-м конфисковать после смерти Вольтера и предоставить на высочайший просмотр все опасные книги и сочинения «фернейского патриарха», если тот появится в Париже, в 1778-м, можно рассчитывать, преследовать его не станет. Комеди Франсез собирается поставить последнюю трагедию своего любимого автора — «Ирину». Вольтер заблуждается, считая ее своим лучшим драматическим произведением. Он жаждет не только увидеть «Ирину» на знаменитой сцене, но и, как в былые времена, принять участие в самой постановке. Мадам Дени всячески подстрекает дядю к поездке, нимало не задумываясь, что в восемьдесят четыре года, при его совсем ослабевшем здоровье, это путешествие может оказаться для великого человека последним.

Решение принято. 4 февраля 1778 года Вольтер, сопровождаемый Ваньером, камердинером и слугой, покидает Ферне. (Мадам Дени уехала на два дня раньше.) Он обещает жителям села через несколько недель вернуться. «Колония во мне нуждается», — мы уже знаем, что эта мысль с ним неразлучна.

Поездка сопровождается триумфами, превосходящими все предыдущие. Знаменит ответ Вольтера таможенникам на границе на традиционный вопрос, не везет ли он какой-нибудь контрабанды: «Единственный контрабандный товар — это я», или: «Контрабанда — это я сам».

На шестой день путешествия Вольтер приезжает в Париж в самом превосходном расположении духа.

По чудесному совпадению он поселился в том же са-

мои доме на улице Бон, где некогда — боже, как это было давно! — жил у маркизы де Берньер, написал там несколько песен «Лиги». Теперь отель принадлежит его любимой названной дочери, маркизе де Вийет.

Наконец-то Вольтер встретился со своим «ангелом-хранителем», графом д'Аржанталем, с герцогом де Ришелье! Сколько лет они лишь переписывались!

Приезд «пророка», «апостола» прямо-таки наэлектризовал Париж. Когда его экипаж проезжал по улицам, родители показывали на великого человека детям и вспоминали историю защиты Каласа.

Но, кроме славы писателя, философа, ученого, адвоката справедливости, внимание публики привлекала и странность вида Вольтера... Красный, окаймленный горностаем костюм, черный ненапудренный парик с длинными локонами, тоже красная, странного фасона шляпа, отделанная мехом, как бы принадлежали давно отошедшему времени. Старомодная, взятая из Ферне громоздкая карета, синяя с серебряными звездами, тоже давала пищу остроловам. Но, конечно, преобладали восхищение и преклонение.

А Версаль молчал, скрывая свое замешательство и неудовольствие. Вести, доходившие оттуда на улицу Бон, отнюдь не подтверждали ожиданий «фернейского патриарха». Мария-Антуанетта, правда, проявила интерес к запретному плоду, ей даже хотелось бы своими глазами увидеть это древо познания. Беспутный граф д'Артуа, будущий король, а тогда еще юноша, хотел бы сблизиться с прославленным вольнодумцем. Граф Прованский, напротив, подчеркивал полное свое равнодушие к приезду великого человека.

Не удивительно, что, когда Людовику XVI доложили об этом событии — именно так воспринималось появление изгнанника после почти тридцати лет отсутствия, — его величество рассеянно переспросил:

— Месье де Вольтер? Ах да, я знаю, он в Париже, и без моего разрешения...

Рассказывали, он даже приказал проверить, не дал ли его отец и предшественник прямого распоряжения о запрете Вольтеру приезжать в Париж. Подобного документа не обнаружили, и король официально никак не проявил своего отношения к тому, чем был недоволен. Духовенство тоже пришло в движение не сразу.

О врагах можно было пока не думать, тем более что дружелюбно настроенные посетители и просто любопытствующие осадили отель на улице Бон. В первый же день их набралось человек триста. Особенно долго — после длительной, хотя и менее, чем с другими, разлуки — он беседовал с д'Аламбером. Не меньше — с Дидро. Наконец-то им удалось встретиться и лично познакомиться! Академия наук и другие учреждения прислали целые депутации. Актеры Комеди Франсез хотели не только почитать своего любимого и почитаемого автора, но и посоветоваться с ним о распределении ролей в «Ирине». Не преминули засвидетельствовать свое почтение композитор Глюк, английский посланник, мадам Дюбарри. Мадам дю Деффан заметила: «Весь Парнас здесь!» Хозяин по-прежнему поражал гостей остроумием, каскадом блистательных мыслей, любезностью.

Конечно, Вольтера утомляет этот непрерывный поток. И вместе с тем он счастлив видеть вокруг себя столько почитателей, друзей и, главное, единомышленников. Генерал проводит последний смотр своей армии.

Посетил его и посланник во Франции только что созданных Соединенных Штатов Бенжамин Франклин, даже привел с собой маленького внука. Комната была полна французов. Однако хозяин адресовался к американцу по-английски. Тогда кто-то из гостей напомнил, что посланник Соединенных Штатов великолепно владеет французским языком. Вольтер на это замечание ответил:

— Я хотел показать месье Франклину, что говорю на его языке. — И тут же, адресуясь к нему самому, добавил: — Я желал бы поехать и пожить в вашей счастливой стране.

Тогда Франклин, растроганный донельзя, попросил «патриарха» благословить его внука. Вольтер торжественно возложил руки на голову коленопреклоненного мальчика и произнес: «Во имя бога и свободы!» (по другой версии: «Бог, свобода, терпимость!»).

Когда Вольтер пригласил Тюрго, теперь тот был не у дел и в опале, первое, что попытался сделать, — поцеловать руку государственного деятеля. Младший из них запротестовал. Но старший продолжал упорствовать и сказал:

— Дайте мне поцеловать руку, которая подписала спа-

сение народа! — Затем он назвал голову Тюрго, орудие добра, золотой.

При всем том в свободное от посетителей время он продолжал работать, вносил исправления в «Ирину», начал новые трагедии.

Однако Вольтеру восемьдесят четыре года, у него слабое здоровье, он привык к совсем иному образу жизни, хотя — мы знаем — тоже мало напоминавшему отдых... Уже 12 февраля он писал из Парижа доктору Троншену: «Старый больной удивлен тем, что он жив...»

Заболев, лежа в постели, Вольтер не прекращает приема визитеров, но выполняет другое распоряжение Троншена — не ездить в театр. Только 30 марта — он посмотрит «Ирину» в Комеди Франсез. В четыре часа того же дня Вольтер должен побывать на собрании в Академии наук, после чего тихонько поехать в театр.

Но как только старик вышел из дома, его восторженно встретила огромная толпа, запрудившая всю улицу Бон. Очевидно, стоило одному или двоим соседям заметить ярко-синюю с серебряными звездами карету, поданную к парадной, как распространился слух, что Вольтер оправился от болезни и сегодня выедет, чтобы столько людей ждали появления великого человека... Слух прокатился по всему городу; и где бы ни проезжал его экипаж, парижане стояли на обоих тротуарах улиц и бурными криками восхищения приветствовали Вольтера.

Наконец карета остановилась во дворе Лувра, где должна была заседать Академия. Сессия была назначена в честь Вольтера, и что иное можно было подумать, когда две тысячи человек, едва он появился в дверях, закричали: «Виват Вольтер!», «Виват месье де Вольтер!»

Словно эхо в этот день разносило по Парижу фамилию одного человека — Вольтера. Но это был словно бы и не один человек. Одни приветствовали в нем величайшего из живых драматургов Франции и Европы, автора «Генрияды». Другие неистовствовали в своем восторге, потому что он был величайшим остроумцем и рассказчиком века, создателем философских романов и повестей, несравненного «Кандида»... Третьим он был всего дороже и ближе как воплощение справедливости, неутомимый борец, защитник Каласа, Сервенов, де Лабарра...

Большой зал Академии не мог вместить всех жаждущих присутствовать на сессии. Вольтера усадили в кресло председателя. Ему были оказаны и другие почести, каких не достаивался еще никто из ученых. Вольтер же сделал несколько замечаний по поводу нового издания Французского словаря и предложил свою помощь.

Не меньшим был его триумф и на спектакле в Комеди Франсез. Автора трагедии увенчали лаврами, и его бюст, стоявший на сцене, — тоже.

Это было уже шестое представление «Ирины». И огромная толпа собралась перед театром в честь не спектакля, не пьесы, но ее автора. Снова он слышал крики: «Виват Вольтер!», видал такое же восхищенное неистовство, как на улицах, во дворе Лувра, в большом зале Академии. Давка была так велика, что тот, кого чествовали, под руку с маркизом де Вийетом едва пробился ко входу. Такое же столпотворение было внутри театра, каждый хотел увидеть прославленного старика вблизи, прикоснуться к его платью. Королева в это время была в опере, но, услышав, что происходит в Комеди Франсез, хотела поехать туда. Рассказывали, ее удержала лишь записка от короля.

Вернувшись после спектакля домой, Вольтер сказал Ваньеру:

— Если б я знал, что среди публики окажется столько сумасшедших, я бы ни за что не пошел в Комедию. Слишком много набралось этих безумцев, и они хотели, чтобы я задохнулся под их розами. Вы не знаете француз (секретарь был швейцарец. — *А. А.*)! То же они устроили бы для Жан-Жака. Парижане отдают все свое время свисткам или аплодисментам, воздвигая и сбрасывая статуи с одинаковой легкостью.

Ирония и скепсис Вольтеру не изменили. Он не переоценивал и своих последних триумфов. Но, вероятно, когда одна женщина из публики крикнула: «Это месье Вольтер, спаситель угнетенных, защитник семей Каласа и Сервена!», он не остался равнодушным.

Сама трагедия такого успеха не заслуживала и справедливо забыта. Но никогда ни один писатель Франции подобных почестей не достаивался. Мало кто так победно заканчивал свой жизненный путь. Беспрецедентным было восхищение, которое человечество, чьими представителями являлись зрители этого спектакля, последний раз выра-

зило перед замечательным стариком, хотя и раньше ему в восторгах не отказывали.

Больше Вольтер приехать в Комеди Франсез уже не мог. Незадолго до его смерти, 13 мая 1778 года, произошел только обмен письмами. В послании труппы говорилось, что она надеется еще увидеть своего автора, соберется для этого с радостью самой искренней. Актеры знают, что состояние здоровья не позволяет ему посещать театр. Позволят ли на этот раз?

Вольтер в тот же день ответил: «Старик, к которому господа из Комеди Франсез проявили такое исключительное внимание, благодарит их тоже с наибольшей искренностью. Он был бы рад облегчить свои страдания счастьем увидеть их...»

Был бы рад, но не мог. Последние сборища, на которых он присутствовал, — снова в Академии наук и в тот же день в Комеди Франсез, на возобновлении «Альзиры», относились к началу апреля.

Конечно, Вольтеру нужно было как можно скорее вернуться в Ферне: жизнь в Париже с каждым днем приближалась к могиле. Ближайшие друзья настоятельно советовали уехать. Верный доктор Троншен придерживался того же мнения: «Нельзя пересаживать такое старое дерево, если не хотеть, чтобы оно погибло». Изю всех сил старался Ваньер увезти своего патрона обратно. Вольтер и сам понимал, как опасно для него дальнейшее пребывание в столице, хотел выполнить обещание, данное колонистам, — поскорее вернуться к своему «саду»...

Возможно, если бы победили сторонники его возвращения в Ферне, Вольтер прожил бы еще достаточно, чтобы увидеть разрушение Бастилии, а может быть, и своего ученика Кондорсе на гильотине... Во всяком случае, он не скончался бы так скоро.

Но, к сожалению, среди друзей великого человека нашлись и такие, которые, руководствуясь самыми добрыми намерениями, но не понимая, в каком состоянии его здоровье, хотели, чтобы он остался в Париже. К ним принадлежал д'Аламбер. Последнему удалось найти очень важный для Вольтера аргумент в пользу столицы. Сколько он сможет еще сделать для науки, литературы, театра, если не уедет!

По предложению д'Аламбера Академия избрала «фернейского патриарха» на ближайшую четверть года своим директором. Он с обычным рвением принял за исполнение новых для него обязанностей, затеял переработку академического Словаря французского языка и взял на себя букву «А».

Подкупил Вольтера и торжественный прием в ложу «Девяти сестер», который приготовили ему масоны.

Но, вероятно, он бы все-таки уехал, если бы не мадам Дени. Как? Он хочет опять вернуться в Ферне и она должна будет его сопровождать? — негодовала женщина, именовавшаяся Дамой Ферне. Она делала все, чтобы Вольтер даже временно не оставлял Парижа, Казалось бы, Мари Луиза могла быть уже спокойна: вместо временного пристанища он даже не арендовал, а покупал дом, строящийся на улице Ришелье, не говоря уже об Академии и Словаре французского языка. Окончательный переезд в столицу решен. Но стоило Вольтеру заикнуться, что ему нужно месяца два пробыть в Ферне, чтобы привести там в порядок все дела, как мадам предприняла коварнейшую интригу. А вдруг ему так понравится в любимом имении, что он передумает и останется там навсегда?!

Духовенство уже начало травлю Вольтера и старалось вызвать решительные действия короля. Людовик XVI ответил, что старик собирается в Ферне и поэтому можно оставить его в покое. Но племянница подучила одного придворного прислать записку с ложным извещением: если Вольтер уедет из Парижа, немедленно последует указ, воспрещающий ему вернуться обратно. В то же время мадам Дени притворялась, что нежнее, чем когда-либо, относится к дяде, печется о его здоровье, писала об этом доктору Троншену и другим...

Ее интрига увенчалась полным успехом, тем более что Ваньер, который все еще пытался увести своего патрона хотя бы на время, был отправлен в Ферне за необходимыми бумагами, и Мари Луиза делала все, чтобы задержать его возвращение как можно дольше. Он приехал в Париж лишь после смерти Вольтера и крайне был этим огорчен.

Самой Мари Луизе уже шестьдесят шесть, но она ни за что не хочет расставаться со столицей и отпускать отсюда Вольтера, ведь тень его триумфов падает и на нее... К тому же она знала, что, отправив в Ферне Ваньера, мож-

но не беспокоиться о положении дел в имении, он за всем проследит.

Письмо секретаря от 22 мая пришло еще при жизни патрона, но ответ начинался словами: «Я умираю, мой дорогой Ваньер». Несмотря на то, что верный доктор Троншен переехал в Париж, он не мог не только спасти своего больного, но и облегчить его страдания. Вольтер, поддерживая свои силы, чтобы продолжать работу над словарем, пьет кофе еще больше, чем всегда. Это вызывает болезнь в мочевом пузыре. Тогда он начинает принимать опиум, что еще вреднее. Положение становится безнадежным, и Вольтер это сознает. 21 мая он посылает Троншену записку: «Пациент с улицы Бон провел всю ночь в очень сильных конвульсиях, три раза у него брали кровь. Он просит прощения, что, уже живой труп, причиняет Вам столько забот...»

А мадам Дени явно лжет, желая притупить бдительность верного патрона секретаря. 26 мая она пишет: «Мой дорогой Ваньер, дядя чувствует себя со вчерашнего дня много лучше, и я надеюсь, мы его сохраним...» И затем — задача та же: усыпить бдительность адресата — «мы с дядей убедились, Ферне не нужно сдавать в аренду».

На самом деле она, конечно, знает: дни Вольтера сочтены (31 мая он умрет). Но может не беспокоиться о сохранении его жизни и бесчеловечно обрекает его на смерть, вынудив не уезжать из Парижа... За свое будущее мадам Дени более чем спокойна. Еще 29 сентября 1777 года, в дополнение к завещанию в ее пользу, Вольтер составил следующий документ: «Я объявляю, что после моей смерти не нужно накладывать печать на мои апартаменты, так как мебель, домашняя утварь, книги и рукописи переходят к мадам Дени, которую я и раньше сделал наследницей всего моего имущества. Нужно будет передать ей все ключи. Если не все расходы по содержанию дома будут к этому времени оплачены, она найдет в нижнем из трех ящиков секретера, в библиотеке, несколько рулонов луидоров, которыми сможет покрыть долги. Возможно, различные деньги окажутся еще и в бюро в моей спальне...» (Затем следуют инструкции, относящиеся к возврату кресел, принадлежащих месье де Броссу, уплаты ему за коров и издержки судебного процесса, которого Вольтеру не следовало вести и самому. — А. А.) «Она найдет, вероятно, кое-какие деньги у...» (называются банкиры и го-

рода, но указывается точно только одна из сумм — 300 тысяч франков. Курсив мой. — А. А.).

В заключение говорится о том, где хранятся договоры с курфюрстом Палатинским и герцогом Вюртембергским.

В приложениях к 98-му тому «Корреспонденции» мы находим и доверенность Ваньеру на управление Ферне и инструкцию ему же, правда, неофициальную: «Мой верный Ваньер все покажет моей дорогой племяннице. Уверен, что он не сможет поступить иначе и лучше, чем оправдав мое полное доверие».

Секретарь доверие патрона оправдал полностью. Как распорядилась мадам Дени ценнейшим из громадного наследства, ей доставшегося — рукописями и библиотекой дяди, — лишив их Францию, мы знаем. Кстати, тот же Ваньер с исключительной бережливостью, преодолев немалые трудности, доставил ящик с книгами и папками в Петербург. Екатерина II даже назначила ему пенсию, исправив оплошность или небрежность самого Вольтера. Мадам Дени об этом и не подумала.

Насколько лицемерна была ее фраза в письме Ваньеру: «Мы с дядей решили не сдавать Ферне в аренду», явствует из того, как она распорядилась любимым пристанищем и детищем покойника: вскоре продала ненавистное ей имение маркизу де Вийет. Тот его сдал в аренду, и местечко, лишенное своего покровителя, сеньора справедливости, впало в прежнюю бедность.

А Дама Ферне быстро «утешилась». Потеряв «бесценного, обожаемого», не замедлила выйти замуж за некоего Дювивье.

Но пока Вольтер еще жив и до последней возможности работает. Кроме буквы «А» Академического словаря, сочиняет мадригал в честь счастливых новостей о ходе защиты Лалли — последнего дела адвоката справедливости. Он не прекращает корреспонденции... В последние месяцы в Ферне Вольтер отправлял писем едва ли не больше, чем когда-либо, и старым адресатам: д'Аламберу, д'Аржансу, д'Аржанталю, Екатерине II, Ришелье, маркизе дю Деффан, Троншенам, Орасу Уолполу и новым своим корреспондентам — Тюрго, Кондорсе, мадам де Сен-Жюльен. Сейчас многие из них рядом, в Париже. Но в Швейцарию, в Россию — Екатерине II и другим он пишет и теперь... Накануне смерти он отправил последнее письмо Фридриху II.

**О С Н О В А Т Е Л И
Н О В О Й Ф И Л О С О Ф И И**

В О Л Ъ Т Е Р ь, Д А Л А М Б Е Р Т ь и Д И Д Е Р О Т ь

И Л И

Э Н Ц И К Л О П Е Д И С Т ы В Е З ь М А С К И

Переводъ съ Французскаго.

В ь С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г ь.

**П е ч а т а н о в ь т и п о г р а ф и Ш м о р а,
1809 г о д а.**

Титульный лист книги
«Основатели новой философии».

Как сложились перед смертью отношения Вольтера е католической церковью, которую он с такой настойчивостью призывал «раздавить» столько лет? Вопрос очень важный, потому что по сей день «святые отцы» спекулируют тем, что этот нечестивец, этот безбожник, предчувствуя близкую кончину, признал греховным свое прежнее неверие и пожелал умереть католиком.

Несомненно, парижское духовенство весной 1778 года делало все, чтобы одержать над ним победу хотя бы перед самой смертью. Существует немало версий, отличающихся главным образом в подробностях, того, как сперва Вольтер исповедался аббату Готье, иные ошибочно называют его кюре прихода святого Сульпиция, к которому относилась улица Бон, но за день или за два до смерти на вопрос — неважно какого именно духовного лица, — верит ли он в божественность Иисуса Христа, ответил просьбой дать ему умереть спокойно.

Естественно, что мы больше всего доверяем подлинным документам и письмам. В приложениях к 98-му тому «Корреспонденции» находим следующую бумагу самого Вольтера от 2 марта 1778 года: «Я, нижеподписавшийся, заявляю, что, страдая в течение четырех дней от кровопусканий, в возрасте восьмидесяти четырех лет, не имел возможности посетить церковь. Месье кюре святого Сульпиция поступил очень хорошо, добавив к своим благим делам еще и то, что направил ко мне месье аббата Готье, священника. Я у него исповедался, и, если бог допустит, умру в святой религии, в которой родился, надеясь, что божественное милосердие соизволит отпустить мне мои прегрешения, так, как если бы я никогда не ссорился с церковью, не прося прощения у бога...» Во втором документе: «В доме маркиза де Вийет. Месье аббат Готье, мой исповедник, меня уведомил, в определенных кругах говорят — я протестую против всего, что сделал перед лицом смерти. Заявляю, я не давал к этому поводов, и это старая шутка, очень лживая, которую проделывали со многими учеными, более просвещенными, чем я».

Заявления адресованы месье аббату Готье. Кем был этот исповедник Вольтера, побудивший его написать отречение? Брейлсфорд называет Готье бывшим иезуитом, а тогда — капелланом больницы для неизлечимых. Нет оснований не верить современному оксфордскому ученому. Так же как другие биографы, Адольф Мейер, на-

пример, Брейлсфорд свидетельствует, что Готье первый написал Вольтеру, выразив пожелание очистить его бессмертную душу от всех ее прегрешений и предложив свои услуги. Это подтверждают письмо Готье от 20 февраля и ответ Вольтера: «Ваше письмо показывает, что оно написано хорошим человеком». Затем, приведя свой девиз «Бог и свобода», Вольтер переходит к следующему: «Мне — восемьдесят четыре. Скоро я должен предстать перед создателем всего существующего. Если Вы имеете что сказать мне, мой долг принять Вас».

Любопытную подробность сообщает Брейлсфорд дальше. Между парижскими священниками, несомненно, разгорелась конкуренция, кому из них удастся добиться исповеди архидеиста на его смертном ложе. Приходский священник, считая своей должностной привилегией выдавать каждому отходящему его прихода пропуск в иной мир, однако, выбрал для такой труднейшей души, как душа Вольтера, капеллана больницы неизлечимых, — утверждает исследователь. На самом деле, очевидно, дело обстояло сложнее. Готье проявил и личную инициативу, и, как свидетельствуют многие, получил прямые или косвенные указания парижского архиепископа. Но аббат, сумев расположить к себе Вольтера, достиг общей цели духовенства. Тогда кюре прихода святого Сульпиция и решил воспользоваться его успехом.

Очевидно, Готье добился своего тоже не сразу. У нас нет оснований не доверять Ваньеру, свидетельствующему, что в первое посещение аббата на его предложение исповедаться Вольтер ответил — он любит бога, но не нуждается в посредничестве священников. Когда обескураженный аббат ушел и секретарь спросил о нем своего патрона, тот сказал:

— Вероятно, он хороший человек, что не мешает ему быть старым идиотом.

Один из крупнейших немецких вольтеристов конца прошлого и начала нашего века, доктор Давид Фридрих Штраус, ошибается, говоря, что Вольтер написал свое кредо «Я умираю с верой в бога, любовью к моим друзьям, без ненависти к моим врагам и проклиная суеверия» (подлинник хранится в парижской Национальной библиотеке) по просьбе возмущенного протестанта Ваньера, *после* того, как дал или отправил аббату Готье заявление, что желает умереть в вере, в которой родился. Кредо да-

тировано 28 февраля, то есть двумя днями раньше. (У Штрауса много и других неточностей.)

Это, конечно, мелочь. Гораздо важнее ответить на вопрос, почему Вольтер согласился не только исповедоваться, но и дать в руки церкви такие документы. Разгадка в том, что он боялся повторить посмертную участь Адриенны Лекуврер и не придавал значения своему поступку.

Есть несколько версий ответа Вольтера на вопрос, почему он примирился с Гадиной. Но во всех вариантах этой фразы есть упоминание о том, что если бы он родился у берегов Ганга, то умер бы, соблюдая обычаи браминов, даже «с коровьим хвостом в руке». Различие лишь в том, что у одних биографов он так сказал аббату Готье, объясняя, почему хочет умереть в лоне католической церкви... У Штрауса он так ответил одному из своих друзей, предпослав фразе про коровий хвост другу: «С волками жить — по-волчьи выть».

Но все биографы, называя разных священников, и у одних — накануне, у других — за два дня до смерти, сходятся на том, что Вольтер одинаково отвечает на один и тот же вопрос, признает ли он божественность Спасителя: «Дайте мне умереть спокойно».

Спокойно ли он умирал? Д'Аламбер написал Фридриху II о последних днях Вольтера — принимая опиум от мучивших его страшных болей, он почти все время был без сознания и только в редкие светлые промежутки тихо жаловался на то, что приехал в Париж, чтобы там умереть.

Доктор Троншен, напротив, в одном письме сравнивает возбуждение умирающего с бурей.

Но оба сходятся в главном: Вольтер жестоко страдал оттого, что расставался с жизнью. И отнюдь не страшась мук ада... Троншен не разделял убеждений своего пациента и друга, но и он был вынужден признать, что Вольтер оставался самим собой до последней сознательной минуты, сохранил верность своим взглядам, страсть к труду... Не расставался с неотвязной мыслью о незаконченном Академическом словаре. И в своей тактике Вольтер был верен самому себе.

А примирение с Гадиной, так же как и с абсолютиз-

мом, не состоялось. Католическая церковь придала гораздо большее значение его последней просьбе — дать умереть спокойно, тому, что он так и не признал божественности Христа, чем письменному покаянию 2 марта. Ошиблись и он и поддерживающие его в этом намерении друзья. Вольтер унизил себя напрасно. Архиепископ парижский не разрешил похоронить его, тем более в присутствии всех академиков на отпевании, в церкви Кордильеров, как предполагалось. Но скорее всего запретил бы его торжественные похороны по религиозному обряду и если бы Вольтер покался второй раз, перед самой кончиной.

И мертвый, Вольтер оставался контрабандой.

Еще в Ферне он приготовил себе гробницу в построенной им церкви, позже завещал похоронить себя в ванной комнате. Близкие не могли выполнить ни первого, ни второго его желания. Набальзамированное тело племянник покойного, аббат Миньо, облачил в халат, надел на мертвую голову ночной колпак, посадил труп в карету, как живого, и поспешно увез за двести лье от Парижа, в аббатство Сельер, в Шампани. (Мозг и сердце перед этим вынули.) Сердце покоится сейчас в цоколе скульптуры Гудона в Национальной библиотеке, в Париже. 2 июня, после торжественной панихиды в церкви аббатства, Вольтер был похоронен на освященном кладбище. А едва гроб был опущен в землю, пришел приказ епископа Труа с запрещением его хоронить.

Великий человек и мертвый сыграл последнюю шутку с Гадиной. Благодаря тому, что был похоронен контрабандой, сумел избежать посмертной участи бедной Лекуврер, чего так боялся. Аббат Миньо за самоуправство, разумеется, пострадал, его сместили. Но годом позже масонская ложа «Девяти сестер» отслужила торжественную панихиду по усопшему Вольтеру, и Фридрих II приказал реквием, исполненный в берлинском католическом соборе.

На этом церемонии похорон вольнодумца не закончились. Через тринадцать лет после смерти Вольтера революционное Национальное собрание постановило перевезти из Труа его останки в Пантеон, бывшую парижскую церковь святой Женевьевы.

Исторический парадокс заключался в том, что туда же перенесли останки его заклятого врага — Жан-Жа-

ка Руссо. Великая французская революция — мы знаем — признала их обоих своими главными предшественниками.

В 1809 году восторжествовавшая реакция, ее назвали Реставрацией, превратила Пантеон снова в церковь и обоих оттуда выкинула. Прошел даже слух, что тело Вольтера выбросили на свалку и гроб в склеп перенесли пустой.

Июльская революция 1830 года восстановила Пантеон и вернула останки Вольтера и Руссо на прежнее почетное место, где они находятся и теперь. Я сама видела их могилы в 1965 году.

А дух Вольтера продолжал жить во Франции, Европе, во всем мире, вызывая такое же бурное поклонение одних, ненависть и отрицание других.

В России и очень долго после его смерти каждого вольнодумца называли вольтерианцем. В XVIII и начале XIX века переводили и издавали много его сочинений, ставили их на сцене.

Перед второй мировой войной, казалось, наследие Вольтера отошло в прошлое, представляло лишь исторический интерес. Но только началась война, сперва «странная», «как больной старик из Ферне» оказался в первых рядах французского Сопротивления, с его именем на устах маки воевали против фашистов, а реакционеры всех мастей принялись клеветать на него со страстью аббата Дефонтена и другого аббата XVIII столетия, Нонота, известного лишь своей брошюрой против Вольтера.

А сейчас, когда не только во Франции, но и в Швейцарии, обеих Германиях, особенно в ГДР, в Англии, в Америке необычайно возрос интерес к французскому Просвещению XVIII века и его отцу, генералу армии философов, Вольтер продолжает сражаться с неофашизмом. Международный конгресс по французскому Просвещению в декабре 1967 года в Берлине проходил под девизом «Прогресс и мир».

Советские ученые много сделали для изучения и нового освещения Вольтера и его века.

Работа продолжается...

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРАНСУА МАРИ АРУЭ ДЕ ВОЛЬТЕРА

- 1694, 21 ноября** — Родился Франсуа Мари Аруэ.
- 1704** — Умирает мать Франсуа Мари Аруэ. Он поступает в коллеж Луи ле Гран. Аббат де Шатонёф представляет его Нинон де Ланкло.
- 1706** — Франсуа Мари Аруэ пишет свою первую трагедию. Его представляют герцогу де Вандому, руководителю кружка «Тампль». Он начинает посещать их собрания.
- 1711, август** — Франсуа Мари Аруэ кончает коллеж. Поступает в школу правоведения. Входит в кружок «Тампль».
- 1713, сентябрь** — Секретарем французского посольства уезжает в Гаагу, **24 декабря** возвращается в Париж.
- 1714** — Франсуа Мари Аруэ продолжает заниматься юриспруденцией. Представляет на поэтический конкурс французской Академии стихотворение «Обет Людовика XIII». Публикует две первые поэмы.
- 1715** — Смерть Людовика XIV. Вступление на престол пятилетнего Людовика XV. Начало регентства. Франсуа Мари Аруэ еще теснее связан с «Тамплем». Он читает в Со герцогине дю Мен незаконченную трагедию «Эдип».
- 1716** — За стихотворение «Царствующий ребенок» Франсуа Мари Аруэ угрожает ссылка в Тюль, замененная ссылкой в Сюлли сюр Луар. Связь с мадемуазель де Ливри.
- 1717** — Возвращение в Париж. **16 мая** за якобы им написанную поэму «Я видел» Аруэ-сына заключают в Бастилию.
- 1718** — Освобождение из Бастилии. Домашний арест под наблюдением отца в Шатене. **16 ноября** премьеры «Эдипа». Огромный успех.
- 1719** — Аруэ-младший принимает фамилию де Вольтера, публикуя под ней «Эдипа».
- 1721—1722** — Вольтер работает над поэмой «Лига, или Генрих Великий». Путешествует с мадам де Рюпельмонд по Бельгии и Голландии. Ссора в Брюсселе с Жаном-Батистом Руссо. Пишет поэму «За или против».
- 1723** — Издание «Лиги, или Генриха Великого». Связь с мадам де Берньер. Вольтер болеет ветряной оспой, за ним ухаживает Адриенна Лекуврер. Написана трагедия «Мариамна». Смерть регента Филиппа Орлеанского.
- 1724** — Умирает отец Вольтера, метр Франсуа Аруэ.

- 1725 — Посвящение «Лиги, или Генриха Великого» Георгу I Английскому. Получает пенсию от французской королевы. Первое знакомство с будущим врагом аббатом Дефонте-ном. Начало правления Францией премьер-министром кардиналом Флери.
- 1726—1728, 4 февраля 1726-го Вольтера избивают лакеи кавалера де Роана. 17 апреля его заточают в Бастилию. 5 мая он под конвоем отправляется в Кале, чтобы оттуда уехать в Англию. В июле тайком приезжает в Париж, надеясь добиться дуэли с де Роаном. Тщетно! Возвращение в Лондон. Вольтера представляют английскому королю. Он завязывает знакомства с самыми выдающимися англичанами. Изучает английский язык, литературу, нравы. Присутствует на похоронах Ньютона. Посещает шекспировские спектакли. Собирает у очевидцев материал для «Истории Карла XII». Издает в Лондоне по подписке «Генриаду» — вторую редакцию «Лиги, или Генриха Великого». В ноябре 1728-го (?) возвращается во Францию.
- 1729, апрель — Вольтер в Париже. Продолжает «Брута». Работает над «Историей Карла XII», «Философическими письмами», но закончит еще не теперь.
- 1730 — Умирает Адриенна Лекуввер. Стихи Вольтера о ее смерти и позорных похоронах. Премьера «Брута». Написана «Смерть Цезаря».
- 1731 — Полиция задерживает первое издание «Истории Карла XII». Вольтер живет в Париже у своей приятельницы мадам де Фонтен-Мартель.
- 1732 — Первое представление «Эрифиль». Начало работы над «Веком Людовика XIV». Триумф «Заирь».
- 1733 — Издается «Храм вкуса». Начало любовной связи с маркизой дю Шатле.
- 1734 — Премьера трагедии «Аделаида Дюгеклен». Вольтер способствует свадьбе герцога де Ришелье и мадемуазель де Гиз. Живет у него в Монже. «Философические письма», изданные в Руане, присуждены парламентом к сожжению. Вольтеру угрожает новый арест. Они с маркизой дю Шатле переезжают в Сире. Занимаются точными и естественными науками. Но Вольтер служит всем музам. Продолжает «Орлеанскую девственницу», начатую раньше.
- 1735 — Начало вражды с аббатом Дефонте-ном. Посещения двора герцога Лотарингского в Люневиле.
- 1736 — Первое представление трагедии «Альзира, или Американцы». Начало дружеской переписки с кронпринцем прусским Фридрихом. Бегство Вольтера в Голландию из-за поэмы «Светский человек». Доказательства его европейской славы. Работа над книгой «Элементы философии Ньютона».
- 1737 — Вольтер возвращается в Сире. Кончает трагедию «Меропа».
- 1738 — Свадьба племянницы Вольтера Мари Луизы Миньо и капитана Дени. Процесс Вольтера и издателя Жора.
- 1740 — Вольтер занимается книгой Фридриха «Анти-Макиавелли». Первая их личная встреча в Клеве.

- 1741 — Первое представление «Магомета». Начало работы над «Опытom о нравах и духе народов».
- 1742 — Поезд в Брюссель с супругами дю Шатле — они ведут там судебный процесс. Запрещение «Магомета» в Париже, несмотря на поддержку папы.
- 1743 — Триумф «Меропь» в Комеди Франсез. Поездка Вольтера в Берлин с дипломатическим поручением.
- 1744 — Вольтер пишет для торжественного представления на свадьбе дофина «Принцессу Наваррскую». В октябре переезжает в Париж. Начало любовной связи с мадам Дени.
- 1745, 23 февраля — премьера «Принцессы Наваррской». Вольтер назначен историографом французского короля. Битва при Фонтенуа. Поэма о ней Вольтера. Начало фавора маркизы де Помпадур. Премьера «Храма славы». Вольтер — камергер Людовика XV.
- 1746 — Вольтера, наконец, избирают в Академию наук.
- 1747 — Неприятности при дворе. Бегство Вольтера в Со, к герцогине дю Мен. Первая редакция его первой философской повести «Задиг».
- 1748 — Вольтер и маркиза дю Шатле в Люневиле у Станислава Лещинского. Эмилия изменяет Вольтеру с маркизом де Сен-Ламбером.
- 1749 — Смерть маркизы дю Шатле.
- 1750 — Вольтер в Париже с мадам Дени. Его домашний театр на улице Траверзьер Сент-Оноре. Появление нового врага — Фрерона.
- 1751—1753 — Вольтер в Пруссии, камергер Фридриха II, его поэтический учитель. Работа над «Веком Людовика XIV». Издания книги. Вражда с Мопертюи, Лабомелем. Начало сотрудничества в «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера. Ссоры с Фридрихом. Отъезд из Берлина. Арест Вольтера во Франкфурте-на-Майне.
- 1755 — Вольтер вынужден, уехав из Лиона, покинуть Францию. Женева. Жизнь в Делис. Лиссабонское землетрясение, поэма о нем Вольтера. Издание «Опыта о нравах...».
- 1756 — Начало Семилетней войны. Первое дело адвоката справедливости Вольтера — попытка спасти адмирала Бинга.
- 1757—1760 — Скандал из-за статьи д'Аламбера «Женева». Запрещение «Энциклопедии». Уход из нее д'Аламбера. Вольтер поддерживает Дидро, продолжает сотрудничать в «Энциклопедии». Работа над «Историей России при Петре Великом». Процесс с издателем Грассе. Полемика с Жан-Жаком Руссо. Покупка имений Турне и Ферне. Домашние театры Вольтера. Его заботы о колонии Ферне. Вольтер становится «фернейским патриархом», «хозяином постоянного двора Европы», «сеньором справедливости» и «адвокатом справедливости». Первое издание и сожжение в Женеве «Кандида». Начало войны с Ле Франком де Помпьяном. Вольтер — глава партии философов.
- 1761 — Вольтер приступает к изданию полного собрания сочинений Корнеля, удочеряет Мари — двоюродную внучку драматурга.
- 1762 — Начало дела Каласа. Вступление на престол Екатерины II.

Вольтер много лет с ней переписывается, ждет реформ в России

- 1764** — Премьера трагедии «Олимпия». Издание портативного «Философского словаря».
- 1765** — Посмертная реабилитация Каласа.
- 1766** — Дело кавалера де Лабарра. Продолжение дела Сервенов.
- 1767** — Первое издание «Простака».
- 1768** — Ссора с мадам Дени из-за ее содействия краже рукописей Вольтера Лагарпом. Ее отъезд из Ферне в Париж на полтора года. Издание «Человека с сорока экю».
- 1771** — Победное окончание дела Сервенов.
- 1776** — Издание «Библии», наконец получившей объяснение.
- 1778** — Последний приезд в Париж. Всеобщее поклонение. Триумф в Академии и театре Комеди франсез. Знакомство с Дидро, Франклином, встреча в Тюрго. Продолжение переписки с многочисленными корреспондентами до последнего дня. Последняя болезнь. Мадам Дени не дает Вольтеру вернуться в Ферне. «Примирение» с католической церковью, чтобы не быть похороненным, подобно Адриенне Лекуврер, на свалке. **31 мая** — смерть. Похороны в аббатстве Сельер.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Вольтер, Перевод с франц. М. Н. Тимофеевой. Под ред. В. В. Битнера. Т. 1—3. «Вестник знания», 1910.
- Вольтер, Избранные сочинения в одном томе. Комментарии К. Н. Берковой. «Художественная литература», М. 1938.
- Вольтер, Избранные произведения. Вступ. статья акад. В. П. Волгина. Составление и редакция Е. Книпович и Б. Песис. М., изд-во «Художественная литература», 1947.
- Вольтер, История Карла XII. Спб., «Сеятель».
- Франсуа Мари Аруэ Вольтер. Повести и рассказы. Перевод Л. Буха. Издание Ф. Павленкова, 1912.
- Вольтер, Мемуары и памфлеты. Политика. Религия. Мораль. Л., «Сеятель», 1924.
- Вольтер,, Философские повести и рассказы, мемуары и диалоги. Т. 1—2. М.—Л., «Academia», 1931.
- Вольтер, Орлеанская девственница. «Всемирная литература», 1924.
- Вольтер, Орлеанская девственница. Перевод под ред. М. Лозинского. Вступ. статья С. Мокульского. Комментарии Л. Я. Галицкого и Д. Е. Михальчи. «Academia», 1935.
- Вольтер, Философские повести и рассказы. Перевод под ред. Е. Книпович. М., изд-во «Художественная литература», 1954.
- Вольтер, Философские повести. Послесловие С. Артамонова. Комментарии М. Черневича. М., изд-во «Художественная литература», 1960.
- Вольтер, Бог и люди. Статьи и памфлеты, письма в двух томах. Составление, подготовка текста и редакция перевода А. С. Варшавского и Е. Г. Эткинда. М., Изд-во Акад. наук СССР, 1961.
- Письма Вольтера. (Новые тексты переписки Вольтера.) Публикация, вводные статьи и примечания В. С. Люблинского. М.—Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1956.
- Вольтер и Екатерина II, Переписка. М., 1882.
- Бахмутский Е., Вольтер и Шекспир. Щербаковский пединститут. Ученые записки, вып. 1-й, часть II, 1956.
- Бахмутский Е., Трагедия Вольтера «Эдип» и ее место в истории французского классицизма. Рыбинский пединститут. Ученые записки, вып. 2-й, 1968.
- Библиотека Вольтера. Каталог книг. М.—Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1961.
- Вольтер, Статьи и материалы. Изд. Лен. гос. университета (1), 1946.

Вольтер, Статьи и материалы, под ред. М. П. Алексеева. Изд. Лен. гос. университета, 1947.

Вольтер, Статьи и материалы. Под ред. акад. В. П. Волгина. Изд-во Акад. наук СССР, 1948.

Вольтеру по Коллини, Ваньеру, Штраусу и т. д. Перевод с нем. И. Андреева. Спб., «Знание», 1899.

Гордон Л. С., Вольтер — читатель Бейля и Геккера. Французский ежегодник, 1961. Изд-во Акад. наук СССР, 1962.

Гордон Л. С., Политические максимы Лабомеля. «Французский ежегодник», 1967. Изд-во Акад. наук СССР, 1968.

Гюго Виктор, Пер. с франц. Столетие со дня смерти Вольтера (1878). Речь. Избранные произведения, т. 2. М., изд-во «Художественная литература», 1952.

Державин К. Н., Вольтер. Изд-во Акад. наук СССР, 1946.

Заборов П. Р., Вольтер в русском переводе XVIII века. Приложения. 1. Из истории стихотворной Вольтерианы. 2. Из истории русского «рукописного Вольтера» В сб. «Эпоха Просвещения». Л., изд-во «Наука» (Ленингр. отделение), 1967.

Засулич В. И., Вольтер. Жизнь и литературная деятельность. Спб., «Пантеон», 1909.

Каренин И. М., Вольтер. («Жизнь замечательных людей».) Биогр. б-ка Ф. Павленкова, 1898.

Кондорсе, Жизнь Вольтера Перевод с франц. Изд-во «Вестник Европы», 1882.

Кузнецов В. Н., Вольтер и философия французского Просвещения XVIII века. Издание Московского гос. университета, 1965.

Лансон Г., Вольтер. Перевод с франц. под ред. и с предисловием де Ла Варга. Изд-во В. В. Карцевых, 1911.

М. Лифшиц, Великий французский просветитель. «Новый мир», 1953, № 6.

Люблинский В. С., Наследие Вольтера в СССР. «Литературное наследство» 29/30, М., 1937.

Люблинский В. С., Наследие Вольтера в СССР. В сб. «Русская культура во Франции». Изд-во Акад. наук СССР, 1958.

Люблинский В. С., Новое о русских связях Вольтера. В сб. «XVIII век». М.—Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1958.

Морлей Джон, Вольтер. Перевод с четвертого английского издания. М., изд-во «Кушнеров и К^о», 1889.

Сигал Н. А., Вольтер. Л.—М., изд-во «Искусство», 1959.

Шахов А., Вольтер и его время. Лекции. Спб. 1907.

Штраус Д., Вольтер. 6 лекций. Перевод с нем., 1906.

Oeuvres completes de Voltaire. Kehl. 1784, 1785—1787. v. 1—70 in 8, 1—90 in—12.

Oeuvres de Voltaire. Nouvelle edition. Garnier frères. Paris, 1877—1882, v. 52.

Voltaire, «Lettres philosophiques». Edition critique par Gustave Lanson. Reçu et complete par André Rousseau. Paris, 1964.

Voltaire, *Oeuvres historiques.* Texte annoté et présenté par René Pomeau. Paris, 1957.

Voltaire, «Le siècle de Louis XIV». t. I et II. publié par Antoine Adame. Paris, 1964.

- Voltaire, «Essai sur les moeurs et l'esprit des nations» publié par René Pomeau. Paris, 1963.
- Voltaire, «Dictionnaire philosophique», publié par René Pomeau. Paris, 1964.
- Voltaire, Romanes et contes. Chronologie, préface et notes par René Pomeau professeur de Sorbonne. Paris, 1964.
- Voltaire, Contes philosophiques. Présentés et annotés par Gustave Dulong. Paris, 1966.
- Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751—1772). Les articles les plus significatives de Diderot, d'Alamber, de Jacourt, Jean Jacques Rousseau, Voltaire, Quesnay, d'Holbach, Damilaville etc., choisis et présentés par Alain Pons.
- Voltaire's «Correspondence», edited by Theodor Besterman. Institut et musée de Voltaire. Les Delices. Genève, 1954—1965, tt. 1—107.
- Lettres d'amour de Voltaire à sa niece publiés pour la première fois par Theodore Besterman, Paris, 1957.
- Voltaire's Notebooks. Edited by Th. Besterman. Geneva, 1952.
- Antivoltaireiennes. (Les). Freron, Desfontaines, de La Baumelle, Nonotte etc. Paris, Gothier. s. d.
- Barr M. N. H. A Bibliographie of writing on Voltaire (1825—1925). N. Y., 1929.
- Baune Henri, Voltaire au college. Paris, 1886.
- Belugon Henri, Voltaire et Frederic II au temps de la marquise du Chatelet. Marcel, 1963.
- Besterman Theodore, Voltaire. William glowes and Sons. London and Beccle, 1969.
- The Complete works of Voltaire (Les Oeuvres de Voltaire). Institute et Musée de Voltaire. University of Toronto Press. 1968—1969 (вышла часть томов).
- Bouregois Armant, Voltaire et Adrienne Le Couvreur. Paris, 1962.
- Brailsford Henry Noel, Voltaire. Oxford, 1963.
- Chaponniere Paul, Voltaire chez les calvinistes. Genève, 1932.
- Chardenchamp Guy, La famille de Voltaire. Paris, 1911.
- Delatre Andre, Repertoire chronologique de lettres de Voltaire. Chapell Hille, 1952.
- Delatre André, Voltaire l'impetieux. Paris, 1957.
- Desnoiresterres Gustave, Voltaire, et la Société en XVII siècle. Dixieme edition. Paris, 1869—1876, 1—8 v.
- «Europe». 1959 mai-juin. Paris.
- Girns Wiehelm, Voltaire. Berlin, 1958.
- Havens George, R. The age of ideas, New-York, 1959.
- Krauss Werner, Studien zur deutschen und französischen Aufklärung. Berlin, 1963.
- Leitäuser Joachim G., Er hannte sich Voltaire. Stuttgart, 1961.
- Mason H. T., Pierre Bayle and Voltaire, Oxford, 1963.
- Mayer Adolf., Voltaire. Man of Justice. United States, 1948.

- Naves Raymond, *Voltaire et l'Encyclopédie*, 1938.
- Naves Raymond, *Voltaire, l'homme et l'oeuvre*, Paris, 1942.
- Nicolardot Lois, *Menage et finances de Voltaire*. Paris, 1887.
- Orioux Jean, *Voltaire ou la rayote de l'esprit*. Paris, 1966.
- Pomeau René, *La religion de Voltaire*. Paris, 1956.
- The age of Enlightenment. Studies presented to Theodor Besterman. Andrew University Publications, 1967.
- Torrey Norman, L. *Voltaire and english deistes*. Jale University, 1930.
- Torrey Norman L., *The Spirit of Voltaire*. New York, 1938.
- Traxaux sur Voltaire et le dixieme siècle sous la dir. De Theodor Besterman (Studies on Voltaire and eintheen century ed. by Theodor Besterman). I—XXXVIII. Geneve, 1957—1966.
- Valery Paul, *Voltaire. Discours prononcé le 10 dec. 1944. en Sorbonne*. Paris, 1945.
- Voltaire raconté par ceux qui l'ont vu*. Paris, 1929.
- Wade. Ira O, *The seach for a new Voltaire*. Philadelphia, 1958.
- Wade. Ira O, *Voltaire and «Candide»*. Princeton (N. G.) 1959.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I

Глава 1. Кем он будет, или Два века	5
Глава 2. Младший сын метра Аруэ	17
Глава 3. Шпаги и «академии»	27
Глава 4. Дипломатия, Пимпет, поэзия...	33
Глава 5. Стихи приводят в Бастилию	38
Глава 6. Написано Вольтером	54
Глава 7. Земной рай	68
Глава 8. Поэт — это не значит принц	72

Часть II

Глава 1. На другом берегу, или Английские уроки	79
Глава 2. Возвращение	89

Часть III

Глава 1. В Сире, или Божественная Эмилия	104
Глава 2. Служу девяти музам	125
Глава 3. Между Версалем и Потсдамом	135
Глава 4. История самой истории	154
Глава 5. Придворный историограф и камергер его величества	169
Глава 6. Безделки оказываются самым серьезным	184
Глава 7. Последние годы	195

Часть IV

Глава 1. Лета, осени, зимы...	204
Глава 2. По дороге в Женеву	246

Часть V

Глава 1. Ворота открыты...	250
Глава 2. Лиссабон разрушен...	261
Глава 3. Войны и примирение	266
Глава 4. Как быть с этим миром?	272
Глава 5. Генерал своей армии, или Вольтер и «Энциклопедия»	297
Глава 6. Враги, или Гражданская война	318

Часть VI

Глава 1. В Ферне, или Все это — Вольтер...	330
Глава 2. Пароль «Раздавите Гадину!»	352
Глава 3. Адвокат справедливости	359
Глава 4. Честные люди должны знать и судить!	385
Глава 5. Дама Ферне	394

Часть VII

Глава 1. Он еще жив...	405
Глава 2. Последние заботы	407
Глава 3. Еще повести, сказки...	416
Глава 4. «Контрабанда — это я сам»	424

Основные даты жизни и деятельности Франсуа Мари Аруэ де Вольтера	439
---	-----

Краткая библиография	443
----------------------	-----

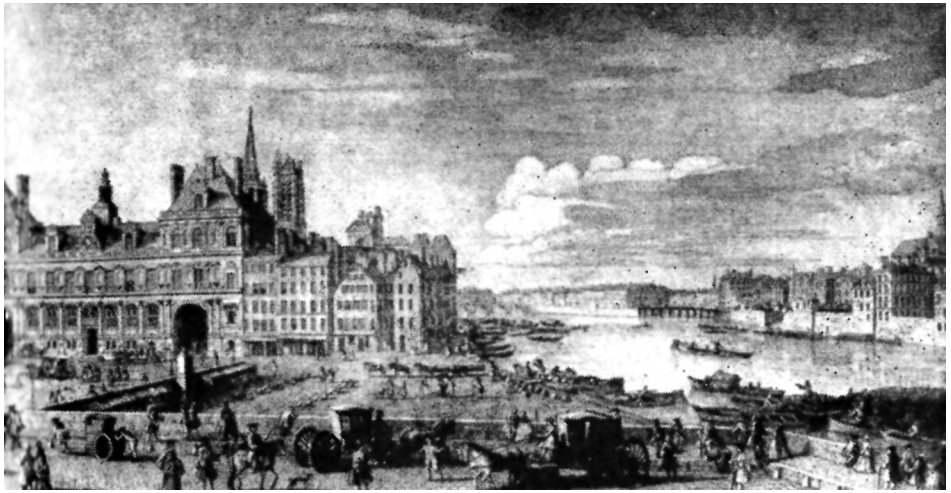
Акимова Алиса Акимовна
ВОЛЬТЕР. М., «Молодая гвардия», 1970.
448 стр. с илл. («Жизнь замечательных людей».
Серия биографий.) Вып. 13(489).

1Ф

Редактор М. Брухнов
Серийное оформление Ю. Арндта
Рисунок на обложке А. Катина
Худож. редактор А. Романова
Техн. редактор Н. Михайловская
Корректоры А. Стрелихеева, Л. Зорина

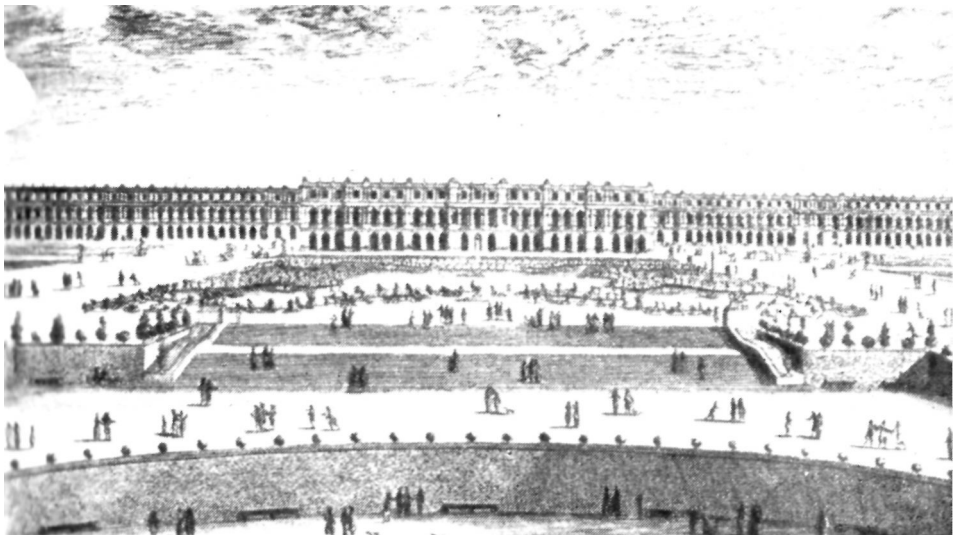
Сдано в набор 23/1 1970 г. Подписано к печати
16/XI 1970 г. А02789. Формат 84x108¹/₃₂. Бумага № 2.
Печ. л. 14 (усл. 23,52) + 25 вкл. Уч.-изд. л. 26,7. Ти-
раж 100 000 экз. Цена 1 р. 07 к. Т. П. 1970 г. № 388.
Заказ 2573.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»,
Москва, А-30. Сушевская. 21.



Париж. Гравюра Риго.

Версаль.



Людовик XIV.



Мадам де Монтенон.

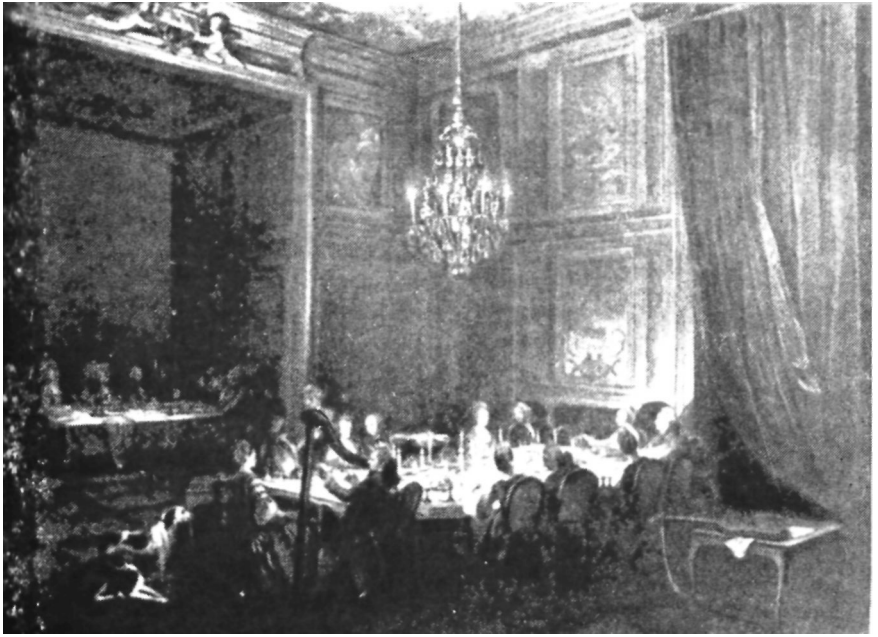
Телье, иезуит,
духовник
Людовика XIV.



Буало.



Вольтер в возрасте 24 лет.



Ужин в Тампле.

Шалье.



Нинон де Ланкло.





Похороны Людовика XIV.



Торжественный въезд Филиппа Орлеанского в парламент в сентябре 1715 года.

Филипп
Орлеанский
и Людовик XV
в Версале.



Филипп Орлеанский — регент.



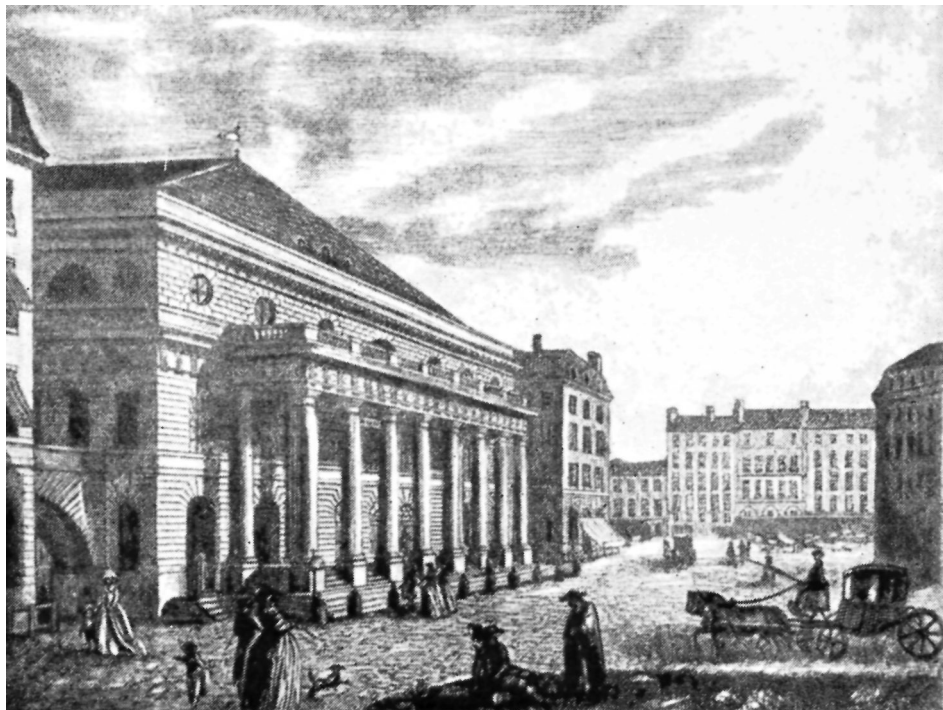
Герцогиня Беррийская.





Адриенна
Лекуврер

Театр «Комеди Франсез»



Кребийон



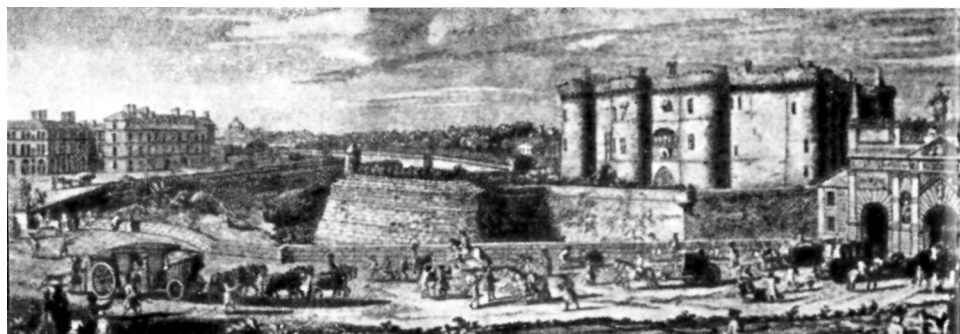
Иллюстрация
к трагедии
Вольтера
«Эдип».





Вольтер.

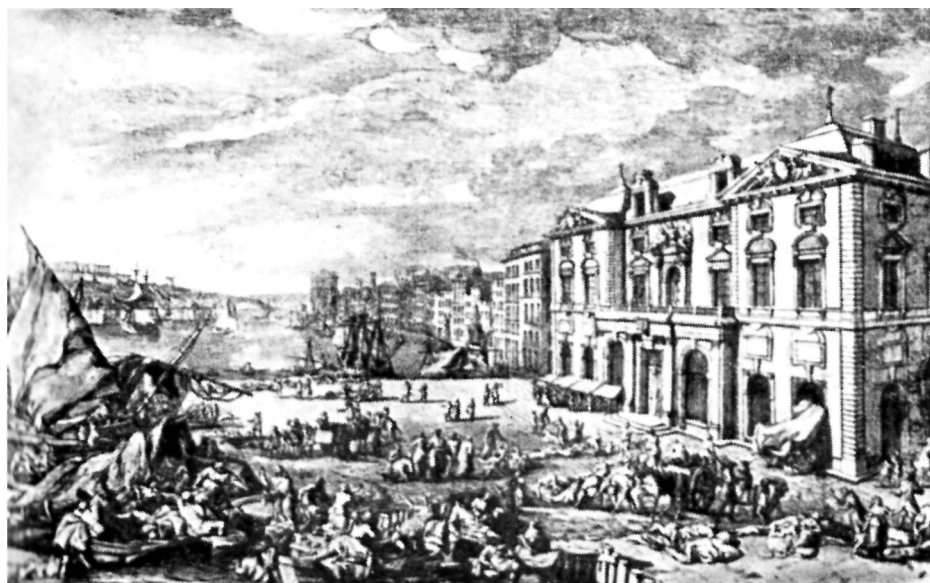
Бастилия.





Крах системы Ло. Карикатура.

Моровая язва в Марселе.





Граф де Морепа.



Лорд Болингброк

Гулянье в окрестностях Парижа.





Шарль Луи Монтескье.



Аббат Прево.



Джон Локк.



Исаак Ньютон.



Александр Поп.



Джонатан Свифт.



Роберт Уолпол, премьер-министр.

Георг I Английский.

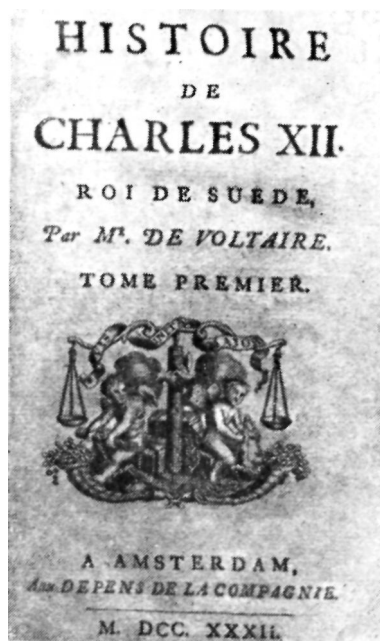
Палата общин Лондонского парламента.





Вольтер, «Генриада».

Титульный лист
«Истории Карла XII».
1732 г.





Эмилия дю Шатле. Портрет работы Натье.



Общий вид Сире.



Алексис Клод Клеро,
математик.



Иоганн Бернулли,
математик.

Христиан Вольф,
математик.



Вольтер.



Мадам де Графиньи.



Пьер Луи Моро
Мопертюи,
физик,
астроном,
геодезист.





Мадам Дени.



Вольтер. Рисунок
Латура (около
1733 г.).



Фридрих,
кронпринц
Прусский.

Титульный лист
книги Фридриха II,
подготовленной
и изданной Вольтером,

EXAMEN
DU PRINCE
DE
MACHIAVEL,
AVEC DES NOTES

Historiques & Politiques.



A LA HAYE,
Chez JEAN VAN DUREN,
M. D. CC. XLI.
Avec Privilège.

Людовик XV.



Битва при Фонтену.



Бал-маскарад
на свадбе
дофина.



Кардинал Флери.



Герцог Ришелье.



Граф д'Аржансон.

Мария Лещинская,
королева Франции.



Станислав
Лещинский.





Герцогиня дю Мен
в молодости.



Иллюстрация к «Задигу».



ÉPIÎRE DÉDICATOIRE DE SADI

A LA SULTANE SHERAA.

«Задиг», посвящение
маркизе де Помпадур.

Charme des prunelles, tourment des cœurs, lumière de l'esprit, je ne baise point la poussière de vos pieds, parce que vous ne marchez guère, ou que vous marchez sur des tapis d'Iran ou sur des roses. Je vous offre la traduction d'un livre d'un ancien sage, qui ayant le bonheur de n'avoir rien à faire, eut celui de s'amuser à écrire l'histoire de Zadig : ouvrage qui dit plus qu'il ne semble dire. Je vous prie de le lire & d'en juger; car quoique vous soyez dans le printemps de votre vie, quoique tous les plaisirs vous cherchent, quoique vous soyez belle, & que vos talens ajoutent à votre beauté, quoiqu'on vous loue du soir au matin, & que par toutes ces raisons vous soyez en droit de n'avoir pas le sens commun; cependant vous avez l'esprit très-sage & le goût très-fin, & je vous ai entendu raisonner mieux que de vieux derviches à longue barbe & à bonnet pointu. Vous êtes discrète, & vous n'êtes point déshante; vous êtes douce, sans être faible; vous êtes bienfaisante avec discernement; vous aimez vos amis, & vous ne vous faites point d'ennemis. Votre esprit n'emprunte jamais ses agréments des traits de la médisance; vous ne dites de mal, ni n'en faites, malgré la prodigieuse facilité que vous y auez. Enfin, votre ame m'a tou-

Маркиза де Помпадур.
Пастель Латура.





Вольтер.

Комната Вольтера в Сан-Суси.



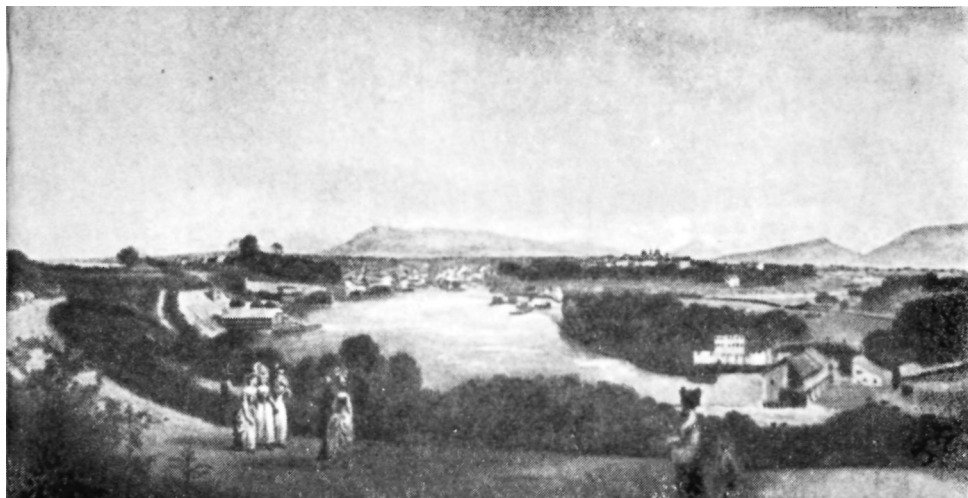
Жюльен Офре Ламетри.



Маркиз Жан Батист
д'Аржанс.



Кардинал
де Тенсен.



Вид на Женеву из Делис.





Жан-Жак Руссо.

Иллюстрация
к «Кандиду».

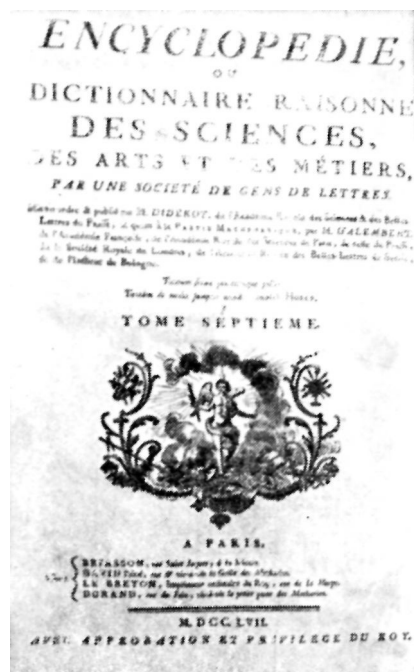




Дени Дидро.



Жан Лерон д'Аламбер.



«Энциклопедия».
Титульный лист.



Граф д'Аржанталь.



Мадам д'Эпине.

Аббат Рейналь.



Прокурор Омер Жоли де Флери.





Мармонтель, энциклопедист.



Маркиз де Кондорсе,
энциклопедист.

Мадемуазель Клерон.



Лекен.





«Философские развлечения Вольтера».

Завтрак в Ферне.



Мадам Дени.



Вольтер. Статуя
Пигалья, 1772 г.





Сцены из жизни
Вольтера в Ферне.
Художник Жан
Гюбер.





Маркиза дю Деффан.



Кардинал Берни.

Герцог де Шуазель.





Екатерина II.



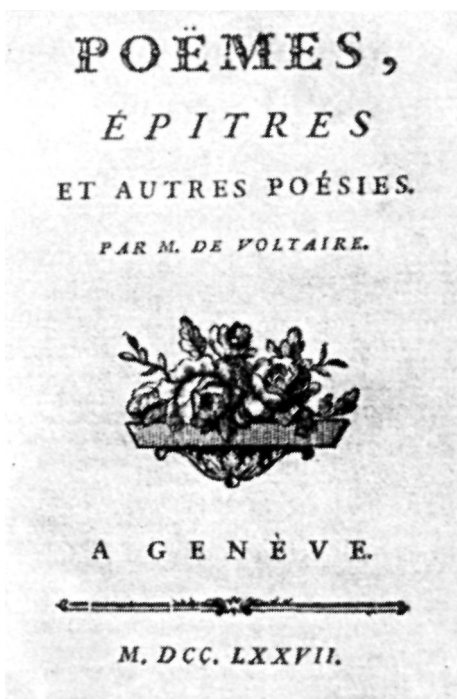
Шувалов.

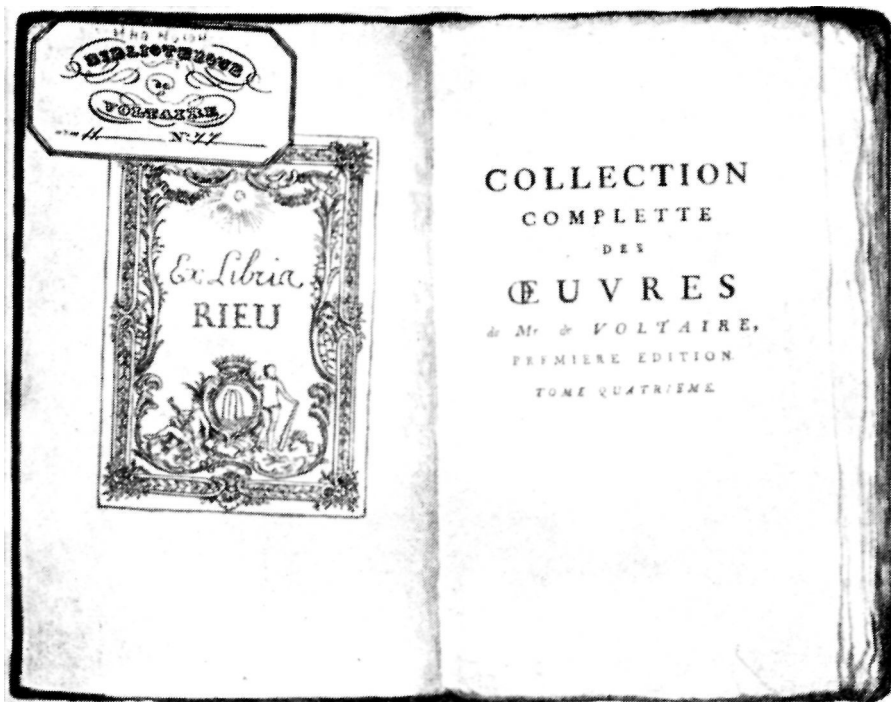


Крыло замка Ферне, где помещалась библиотека Вольтера.



Издания Вольтера —
книги из его фернейской
библиотеки.





LE
THEATRE
DE
P. CORNEILLE.

NOUVELLE EDITION,
Revue, corrigée & augmentée de ses
OEUVRES DIVERSES.

Avec les Commentaires & autres Mor-
ceaux intéressans, &c.

PAR M. DE VOLTAIRE.

Enrichie de Figures en Taille-douce.

TOME SECOND.



A AMSTERDAM ET A LEIPZIG,
Chez ARKSTEE & MERKUS,

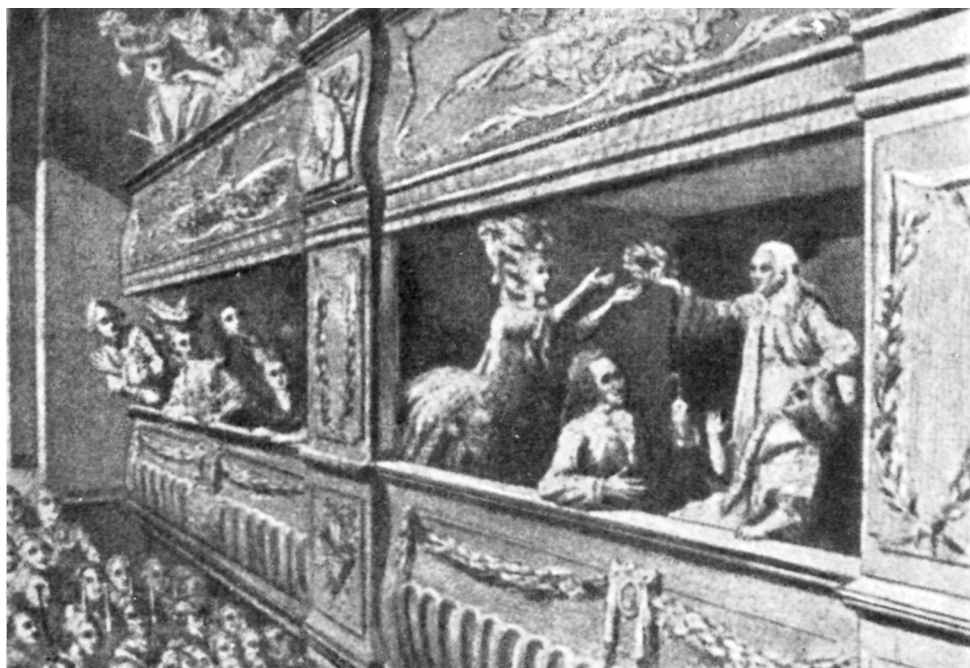
MDCCLXV.

Avec Privilège des Etats de Holl. & de Wiff



Вольтер.

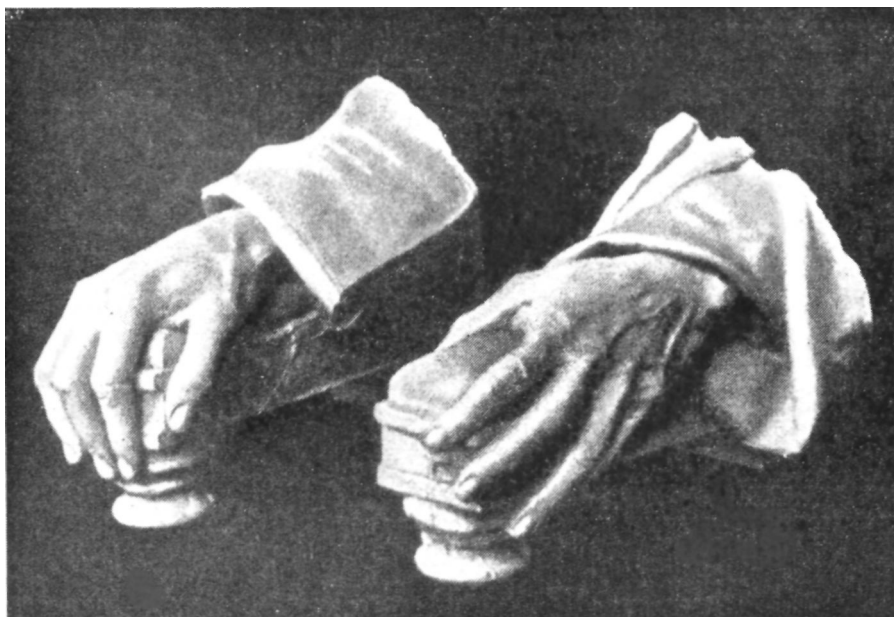
Увенчание Вольтера
лаврами в «Комеди
Франсез». 1778 г.





Спальня Вольтера в Ферне. В нише мавзолей с сердцем Вольтера.

Слепок рук Вольтера.



Вольтер.
Рисунок
пером
Сен-Урса.



Перевоз праха Вольтера в Пантеон.

